

Ж О В Ы И
М И Р

10

Ж О В Ы И
М И Р

1961

10



1961

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVII

№ 10

Октябрь, 1961 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — На подвиг века, стихотворение	3
ПЕТРУСЬ БРОВКА — Желанное — не за горами, стихотворение, Перевел с белорусского Яков Хелемский	4
СТЕПАН ШИПАЧЕВ — За мечтою вслед, стихотворение	5
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — Песня о России, Горит звезда пятиконечная, стихи	6
ПАРТИЯ ВЕДЕТ. Берды Кербабаев. Во весь могучий рост. Перевел с туркменского В. Курдицкий.— Александр Михалевич. Об урожае талантов.— С. Залыгин. Писатель и Сибирь	8
НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД. В. Емельянов, председатель Государственного Комитета Совета Министров СССР по использованию атомной энергии. Мирный атом на службе коммунизма.— Социализм плюс химизация (Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии Л. А. Костандовым). Беседу записал В. Азерников.— На ближних подступах... (Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению П. Д. Бородиным). Беседу записал Е. Темчин.— «С чем мы, медики, придем в коммунизм?» (Беседа с вице-президентом Академии медицинских наук СССР В. Д. Тимаковым и главным ученым секретарем президиума академии В. М. Ждановым). Беседу записала М. Яновская	37
КОНСТ. ФЕДИН — Костер, роман. Продолжение	58
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Лунная ночь, Окна, Дом, стихи	121
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Продолжение	124
РЫГОР БОРОДУЛИН — На Шкловщине, стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский	158
АНАТОЛЬ ВЕЛЮГИН — Тростники, стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский	159
Н. МЕЛЬНИКОВ — В командировке. Из записок корреспондента	160
ПУБЛИЦИСТИКА	
Академик П. Ф. ЮДИН — От социализма к коммунизму	187
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
Н. ВЕРХОВСКИЙ — Вторая целина	205

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. КУЗНЕЦОВ — Новое в жизни и в литературе	229
А. ЕЛИСТРАТОВА — Трагедия молодого поколения (Молодежь в американском романе)	246
ГЕНРИХ МАНН И БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ. Н. Серебров. О неопубликованных статьях Г. Манна.— Генрих Манн. Культурный народ. Немецкий писатель. Публикация и перевод Н. Сереброва	257
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Политика и наука</i>	264
Валерия Герасимова. Воспитание правдой.— А. Писарев. Зеркало наших побед.— Ю. Кормнов, кандидат экономических наук. Победная поступь социализма.— Л. Ерихонов. Подвиг Димитрова.— С. Петриковский. Славный сын рабочего класса.— А. Галкин, кандидат исторических наук. Гитлер ушел — генералы остались.	
<i>Литература и искусство</i>	281
В. Сурвилло. Вместе с народом.— З. Паперный. О лирике Ярослава Смелякова.— В. Соколов. Вторая книга.— А. Марьямов. Прочная фамилия.— Игорь Поступальский. Поэзия Тудора Аргези.— А. Назаров, кандидат экономических наук. Таковы ли истинные взгляды Добролюбова?	
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Е. Бродский — Имени Румянцева	303
КОРОТКО О КНИГАХ. Издательства — XXII съезду КПСС	308
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	314
ОТ РЕДАКЦИИ. «Новый мир» в 1962 году	317

Да здравствует XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза!

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

НА ПОДВИГ ВЕКА

На подвиг века величавый,
Во имя счастья всех людей
Серпа и молота держава
Ведет сынов и дочерей.

Отчизна мира и свободы,
Пускай враги тебе грозят:
Всегда с тобой твои народы —
За друга друг,
За брата брат.

Непобедима наша сила,
Под красным знаменем она
И новый путь земле открыла
И в звездный край устремлена.

Взвивайся, ленинское знамя,
Нам осеняя путь вперед.
Под ним идет полмира с нами,
Настанет день —
Весь мир пойдет.



ПЕТРУСЬ БРОВКА

★

ЖЕЛАННОЕ — НЕ ЗА ГОРАМИ

Желанное — не за горами,
В грядущее наше взглядишь.
Строка за строкою в Программе —
Ступени, ведущие ввысь.

Все то, что казалось мечтою,
Реально и зримо сейчас.
И слово сверкает любое
Звездой путеводной для нас.

Те звезды, что Ленин посеял,
Большой урожай принесли.
Они в мирозданье алеют,
Горят на просторах земли.

Все в звездной сияет оправе —
Плотины запруженных рек,
Дубравы, лугов разнотравье
И прежде всего Человек.

И счастье, которого ждали,
Становится нашей судьбой.
Оно не за дальнею далью,
Оно — по соседству с тобой.

Перевел с белорусского Яков Хелемский.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ЗА МЕЧТОЮ ВСЛЕД

Русла меняем рекам,
Погоды у моря не ждем.
Трудной дорогой века
К цели своей идем.

Пусть иногда на ощупь
Идем за мечтою вслед,
Видим уже воочью
Жизнь через двадцать лет.

Жизнь, где не только в таблицах
Народного счастья шифр.
Лица, веселые лица
Будут вернее цифр.

Злобствуют в сумрачном стане.
Но руки у них коротки.
Жизнью программа станет
Вся до единой строки!



АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

ПЕСНЯ О РОССИИ

За Онегой суровой, за Кемью
Выхожу на простор и пою:
Я люблю эту землю,
Я люблю эту землю,
Я люблю эту землю мою!

Где бы люди меня ни спросили,
Я отвечу им так, не солгу:
Мне не жить без России,
Мне не жить без России,
Я дышать без нее не могу!

Сколько спето о ней, сколько спето,
Сколько сложено, сколько дано!
Без нее, как без света,
Без нее, как без света,
Без нее, как без света,— темно!

Раскрывается сердце, как рана,
И горит — я о ней говорю:
Ветер, взвитый с ее океанов,
Ветер, взвитый с ее океанов,
От зари зажигает зарю!

Пью на буре настоенный воздух,
Там, где рожь и пшеница, где сталь,
Где летят пятикрылые звезды,
Где летят пятикрылые звезды
Над Россиею вдаль,
Только вдаль...

ГОРИТ ЗВЕЗДА ПЯТИКОНЕЧНАЯ

Моя речная и заречная,
Моя родная сторона.
Горит звезда пятиконечная,
Она повсюду всем видна.

Она дружна с любой долиною,
И небо также дружит с ней,

ПЕСНЯ О РОССИИ

Она сверкает над орлиною
Весенней родиной моей.

Под злыми вьюгами и ливнями,
В заре и солнце шла она,
Под нею шла на приступ Зимнего
Красногвардейская волна.

В ней отблеск грозного восстания,
На ней Октябрьские огни,
Она видна с холмов Британии,
И ей галактика сродни!

С ней высоко мое Отечество.
Но свет ее не только нам —
Она сияет человечеству,
Народам всем и племенам!



ПАРТИЯ ВЕДЕТ

БЕРДЫ КЕРБАБАЕВ

★

ВО ВЕСЬ МОГУЧИЙ РОСТ

События происходят разные. Бывают события интересные. Они вносят заметное разнообразие в ритм человеческих будней, оживляют, скрашивают их. Бывают события большие, важные. Они стремительно врываются в жизнь, стимулируют волю и энергию человека, изменяют и ускоряют процесс созидания. А есть события колоссальные, небывалой, невиданной силы и значимости. Разум человеческий не может охватить вдруг всей их громадности. Язык бессилён выразить всю грозную и сверкающую красоту их. И только чувства, как бы обретшие орлиные крылья, поднимают тебя ввысь; ты видишь, что чудесные дали твоей мечты — вот они, рукой подать, ты ощущаешь в себе трепет новых, ликующих сил, растворяешься в общей гармонии и только поэтому понимаешь, что событие, захватившее твою жизнь, как полноводный погон веточку кандыма, оно грандиозно.

Я уже немолодой человек. Тысячи километров дорог за моей спиной, сотни больших и малых событий. Я прожил большую часть отпущенного человеку. Большую, но не главную! Ибо главное начинается сегодня, с претворения в жизнь величественной программы строительства коммунизма.

Нагнетание событий последних лет невольно приводило к выводу, что теперь вряд ли что может нас удивить. Построили атомную электростанцию, атомный ледокол. Что ж, мы должны были это сделать. Невероятны перспективы Великого семилетия. Но это же перспективы для нас, для советского человека, а что ему не по плечу? Запустили ракету на Луну. На Венеру. Гагарин совершил первый космический полет. Титов сутки летал в космосе. Волнующе и прекрасно, но как же иначе? Все это тоже наша обязанность, ведь мы — советские люди!

Да, и коммунизм построим мы! Я это знал, я в это верил. Но вот я читаю проект новой Программы партии, и дух захватывает. Мы знаем, что коммунизм будет. Мы стремимся к нему, мы мостим к нему дорогу, своими руками мы закладываем его фундамент. Знаем, что он наступит, ибо он не искусственная формация, а естественное гармоническое завершение развития человеческого общества. Мы зовем его и идем ему навстречу. Он уже видится нам в отдалении и теперь вдруг, словно сидящий батыр, поднимается во весь свой могучий рост. И минутами кажется, что стоит мне отложить в сторону газету, поднять жалюзи на окне, и я воочию увижу его прекрасное лицо — лицо коммунизма.

Третья Программа коммунистической партии. Какой срок отделяет ее от второй Программы? Немного больше четырех десятилетий. Я всматриваюсь в прошлое. Сквозь призму лет события уменьшились, но не по-

теряли своей четкости и остроты. Что возникает за гранью этих лет? Я слышу, как чугунно топчут улицы Красноводска кованые ботинки ин-тервентов, слышу их глухую лающую речь. Как свора бродячих одичавших собак, рыщут они по туркменской земле, пробужденной к новой жизни властным зовом пушек «Авроры». В черной сентябрьской ночи стучат торопливые выстрелы и падают на прокаленный песок пустыни Степан Шаумян, Алеша Джапаридзе, Иван Фиолетов... Я вижу поджарого облезлого верблюда, с трудом влекущего деревянный омач — примитивный плуг туркмена. За ним идет поджарый оборванный дайханин, все богатство которого — кибитка за плечами да ложка за поясом. А за дальним барханом уже рвется гортанный вой. Это скачут к аулу банды проклятого богом и людьми Джунаида, скачут, чтобы сжечь кибитки, перерезать горло мужчинам, черным позором покрыть женщин за то, что двое из аула ушли в «красные аскеры».

Может быть, это сон, чья-то досужая выдумка? Нет, перед глазами как живые нахмуренные лица молодых дайхан. Перевитые пулеметными лентами, обожженные солнцем и пороховым огнем, они гонят остатки недобитых шакалов Эзиз-Чапыка. Вот первый туркменский колхоз, на полях которого тарыхит «шайтан-арба» — трактор. Вот туркменская женщина, рискнувшая сбросить яшмак — платок, которым в знак молчания и покорности шариат предписывал ей закрывать нижнюю часть лица. Вот задымили трубы первых туркменских фабрик.

Это были очень напряженные годы. Старое не хотело уходить без борьбы, и борьба была нелегкой. Но ее возглавляли люди, которых звали непривычным словом — коммунист. Как старались очернить, оплевать их аульные баи, ишаны и муллы! Они говорили: «Ата — большевик», «Берды — большевик», — говорили с такой интонацией, будто слово «большевик» было самой последней бранью. Много яда и желчи изливали они, эти нетопыри, боящиеся дневного света. Они визжали и пищали, махали перепончатыми крыльями и даже пробовали кусаться. Их злобные укусы оставляли подчас глубокие раны, немало славных сыновей и дочерей туркменского народа своей горячей кровью оросило ростки будущего. Но нельзя солнце закрыть ладонью, и не дано летучей мыши остановить грядущий день. На место одного павшего становилось пять новых бойцов, и люди с гордым именем «коммунист» победили. Многим тогда было еще неясно, что эта победа неизбежна, но многие поверили в жизненность и силу победоносных идей Коммунистической партии. Люди увидели, что она убеждает сомневающегося, дает мужество слабому духом, удваивает мощь сильного. Увидели — и пошли за ней. И признали ее как одну-единственную, свою, родную. А сейчас все величие дней наших, все наши фантастические по замыслам и грандиозные по исполнению дела и стремления мы олицетворяем в одном коротком и всеобъемлющем слове — наша Партия. И нет сейчас звания более гордого, более светлого и почетного, чем коммунист.

Я вчитываюсь в четкие лаконичные формулировки нового проекта партийной Программы — этого манифеста человеческого счастья — и за каждой строкой вижу и слышу: «Все во имя человека, для блага человека». Сейчас этот прекрасный лозунг высказан вслух. Но и не будучи высказанным, он всегда был главной целью во всей деятельности партии. Стоит только окинуть мысленным взором мою родную республику, и сразу же видишь этот лозунг претворенным в жизнь: богатейшие колхозы, оснащенные передовой сельскохозяйственной техникой, зажиточная жизнь дайхан, электричество, радио, автомашины. Где ты, деревянный омач? Где ты, дырявая чатма — убогое жилище чабана? Где ты, скрипучая арба? Их нет и в помине. А если посмотреть на Ашхабад? Каких-то тринадцать лет назад он был буквально стерт с лица земли катастрофи-

ческим землетрясением, а сейчас это большой, красивый, благоустроенный город. Разве во всем этом не видна забота партии о благе человека?

Третья Программа партии... Эти слова невольно вызывают в сознании сходные, другие: третья очередь Каракумского канала. Да, по любопытному стечению обстоятельств, в те дни, когда советские люди познакомились с проектом Программы КПСС, у нас в республике началось строительство третьей очереди великого канала.

Вода! Говорят, что моление о дожде — каждодневный обычай жителей многих областей Африки и Аравии; говорят, что мучительно изнывает от безводья Центральная Австралия; но мне кажется, что нужно родиться туркменом, чтобы в полную силу понять огромное значение воды. Вспоминая давние годы, я вижу, как медленно, скрипя и потрескивая, вращается большое водоналивное колесо — чигирь. А настороженные люди зорко следят за мирабом — распределителем воды: не дай бог, чтобы на чье-то поле попало воды больше, чем положено, иначе вместо воды может пролиться кровь. У туркменского поэта Чары Аширова есть замечательная поэма «Конец кровавого водораздела». А сколько их, таких кровавых водоразделов, было на туркменской земле! Она плодородна и щедра солнцем, но с тех пор как схлынули отсюда волны древнего моря и дно его стало одной из величайших пустынь земного шара, на туркменской земле блещут только солончаки — мертвые озера пустыни. Созидательные силы земли спят, как добрый могучий джин из старой восточной сказки, заключенный демонами в бутылку, и только вода может сломать печать бутылки и выпустить джина на волю.

Борьба за воду, планомерная, большая борьба, началась с первых лет советской власти в республике. Создатель нашего Советского государства и нашей партии Владимир Ильич Ленин, несмотря на большие в то время затруднения в стране, распорядился выделить громадную сумму для производства ирригационных работ в Туркестане. С тех пор эти работы велись почти непрерывно, и вот перед нами великая артерия Туркменистана — Каракумский канал.

Воды двух рек, Аму-Дарьи и Мургаба, пройдя четырехсоткилометровый путь по пустыне, слились в животворном объятии. Это была первая очередь канала. Вторая очередь, от Мургаба до Теджена, протяженностью в сто сорок километров, была пройдена в невероятно короткий срок: семь месяцев. Как здесь не вспомнить строительство Панамского канала! Он почти вдвое короче второй очереди Каракумского, а строился в общей сложности больше сорока лет. Семь месяцев — и сорок лет. Очень красноречивое сравнение! Вот что значит свободный творческий труд и подлинно материнская забота Советского правительства и Коммунистической партии о благе простого человека. И когда я представляю себе все величие и невероятную грандиозность дел, задуманных партией и осуществляемых под ее неослабным руководством, мне хочется поклониться ей земным поклоном и сказать: «Спасибо тебе, родная моя, спасибо за то, что ты есть такая, какая ты есть».

«...Выполнить обширную программу ирригационного строительства для орошения и обводнения миллионов гектаров новых земель в засушливых районах...» — так записано в проекте новой Программы. Я опускаю газету — и перед моими глазами возникают тысячные массы людей, замершие в ожидании. Я вижу, как железные зубы экскаваторов грызут широкую песчаную перемычку, и вот бурный поток низринулся в приготовленное для него ложе. Странно ли, что женщины вытирают глаза концами платков? Странно ли, что блещут светлые родинки на пергаментных щеках аксакалов? Нет, не странно, когда видишь, как, клопоча и бурля, освежающий дух жизни полнится над пустыней. И, наверное, ни один паломник не прикладывался с таким священ-

ным трепетом к черному камню Каабы, как этот седобородый старик подносит к своим губам пригоршню первой воды канала.

И вот — третья очередь. Это как немедленный ответ на новую Программу партии. Двести шестьдесят километров строители обязались пройти меньше чем за десять месяцев. И нет сомнения в том, что они пройдут. Как Гея-Земля Антею, так и Коммунистическая партия советскому человеку постоянно дает новые силы для титанических подвигов, для свершений, невиданных в веках.

На ашхабадском участке третьей очереди канала работает пока небольшая группа строителей, в их первых рядах идут коммунисты. Вот Сахат Базаров, опытный механик с двадцатилетним стажем. Полторы нормы за смену для него в порядке вещей. Но почти столько же дают и его товарищи! И Сахат, чувствуя особую ответственность — ведь он коммунист, — ощущая необходимость идти впереди, решает, что надо поднять дневную выработку до ста восьмидесяти процентов. А когда товарищи подтянутся, нет сомнения, что Базаров сумеет шагнуть и до двух с половиной норм. Вот они, воспитанники партии, рядовые передовые когорты борцов за коммунизм! Если такие люди берутся за дело, можно ли сомневаться, что в майский праздник 1962 года амударьинская вода придет в Ашхабад!

... Сплошная — домов не видно — зелень деревьев; фонтаны на площадях; плеск волн, гудки теплоходов у Ашхабадской пристани... Не фантазия ли? Ведь всего восемьдесят лет назад здесь была голая пустыня. Да что восемьдесят! В 1930 году в Ашхабаде побывал писатель Михаил Лоскутов. Что он видел? «За огнями шелкоткальной фабрики уже желтели пески... Пески начинались рядом, за железной дорогой... Пустыня ежедневно приходила в город в виде зноя и мириадов песчинок. Она оседала на зубах, и ее нужно было сплевывать каждую минуту». Вот что видел Лоскутов. О каких же причалах и волнах в Ашхабаде можно говорить? Но я вижу их, вижу явственно, ощутимо в прекрасных начертаниях новой Программы моей партии. Я слышу поступь коммунизма в самоотверженной работе заслуженного нефтяника Сатлыка Удаева, и в том, что председатель колхоза коммунист Оразгельды Эрсарыев решил выполнить свою семилетку по выращиванию хлопчатника на пять лет раньше срока, и в работе чарджоуских бетонщиков Шукура Янгигаева, которые во время неожиданного аврала работали беспрерывно, каждый за троих. Зримые черты будущего видятся и в новой жизни колхозного аула, и в жизни Небит-Дага, борющегося за звание коммунистического города, и в десятках других больших и малых деталей.

«Мы строим коммунизм. Что в мире краше...» — так сказал поэт. Краше нет ничего, ибо это воплощение самой справедливой справедливости, самой человеческой человечности.

Коммунизм. Эра величайшего торжества человеческой личности, эра величайшего прогресса науки, техники, культуры.

Светлые волнующие слова начертаны в Программе: «Мир, Труд, Свобода, Равенство и Счастье». И первым стоит слово, от которого зависит будущее миллионов и миллионов людей, — Мир. «Уничтожить войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия коммунизма». Так записано в Программе, и только за одно это коммунизм будет славен в веках и во всех уголках вселенной. Человечеству нужен мир. Нужно, чтобы цвели цветы и смеялись дети, чтобы атом мирно работал в турбинах электростанций, а не вырастал безобразным грибом всепожирающего взрыва. Светлое завтра человечества не должны омрачить черные тучи войны. Вспоминается пятнадцатая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, с трибуны которой Никита Сергеевич Хрущев предложил всеобщее разоружение. Это же непере-

даваемо прекрасно, словно из душной, дымной кибитки вылезти на свежий ветер степи и вдохнуть его полной грудью! Мир без оружия! Люди, вы слышите, вы понимаете, насколько это невиданно и чудесно? Люди, перекуем мечи на орала!

И люди доброй воли, простые люди планеты Земля, понимают это и требуют Мира. Они хотят строить, а не разрушать; они хотят растить здоровых детей, а не уродов, умирающих от лейкоцитоза; они не хотят, чтобы стронций 90 и цезий 137 утвердили свое мрачное господство на мертвой планете.

Но почему же находятся безумцы, стремящиеся к войне? Неужели империалисты не видят, что война, которой они бредят, это прежде всего их бесславный конец? Когда я думаю об этом, я вспоминаю свое детство и огромный ветвистый карагач, который рос около аула. Он казался несокрушимым, но однажды повалился от не очень сильного порыва ветра, и мы увидели, что у него почти начисто сгнили корни. Не так ли обстоит дело и с империализмом? Не потому ли представители его безумствуют и беснуются, что чувствуют неизбежность своего вымирания, как вымерли когда-то чудовищные бронтозавры?

Я как-то читал историю об одном купце, который перед смертью приказал подать себе тарелку меду и с медом съел все свои деньги. Нынешний капитализм, чужа собственную гибель, готов на любое преступление. Но этому не бывать!

Как и каждый человек труда, я ненавижу войну всем своим существом. И мне очень дороги и близки слова Программы о том, что Советский Союз «...будет отстаивать политику мирного сосуществования государств с различным общественным строем». Мне близки и дороги слова Никиты Сергеевича Хрущева, который сказал, что мы первыми никогда не нажмем кнопку наших боевых ракетных установок.

Я ненавижу разрушение. Я радуюсь апельсиновым рощам Италии и бесценным сокровищам искусств ее народа, радуюсь цветущим виноградникам Франции, могучим соснам Америки, оливковым рощам Греции. Но если оттуда устремятся на мою Родину первые посланцы смерти... Впрочем, я непоколебимо верю, что этого не произойдет. Самоубийство не свойственно ни одному из нормальных живых существ. А для безумцев существуют специальные дома и смирительные рубашки.

Стремления народов к миру, счастью и содружеству не остановить. За сравнительно короткое время я побывал в Афганистане и в Индии. Совсем недавно я вернулся из поездки в африканские государства — Мали, Гвинею и Сенегал. И везде я видел, с каким усердием люди трудятся, как они миролюбиво настроены, как хотят они простого человеческого счастья. В Индии, например, мне довелось встречаться с представителями самых различных общественных кругов, начиная от бродячего торговца веерами и кончая премьер-министром республики. И ни у кого из моих собеседников я не заметил желания убивать и разрушать. Нет, я видел в них только желание мирно трудиться на своей земле и огромный доброжелательный интерес к Советскому Союзу, к малейшим деталям жизни советского человека. Я разговаривал с главой правительства Сенегала, — кстати, он довольно крупный писатель, — и он высказал много хороших мыслей о содружестве народов и выразил горячее желание обменяться с нами культурными делегациями.

Есть, правда, люди, которые считают себя добродетельными христианами, молятся богу, читают каждый вечер библию, как, например, известный французский писатель Франсуа Мориак. Но вот он, ссылаясь

на божественную мудрость в устройстве вселенной, осудил посылку советского космического корабля на Луну. Он же не так давно порвал с прогрессивной печатью якобы потому, что она недостаточно почтительно отзывается об особе Шарля де Голля. В священном писании, которое так чтит Мориак, есть заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и «Не убий». Очень трудно примирить эти заповеди с тем, что творят сейчас по воле де Голля французские войска в Алжире и Тунисе. Сюда скорее подходит сура из корана, в которой сказано: «Мы ниспослали наших посланников с откровениями... мы ниспослали также железо». В данном случае так и получается, что африканские народы не верят добрым словам колонизаторов, значит им внушают эти слова огнем и мечом. Но ведь правят-то Францией не мусульмане!

Просчеты колонизаторов, просчеты поборников гнета и насилия очевидны. У нас, туркмен, есть хорошая пословица: собака лает, а караван идет. Если же каравану стран, борющихся за свою национальную независимость, светит такой могучий маяк, как Советский Союз, то ни лай, ни укусы никаких собак не заставят его свернуть с избранного пути. И я с глубоким удовлетворением читаю в проекте Программы: «КПСС считает своим интернациональным долгом помогать народам, идущим по пути завоевания и укрепления национальной независимости, всем народам, борющимся за полное уничтожение колониальной системы». И верю, что настанет тот день, когда все народы земного шара сольются в один могучий коллектив, как слились наши национальные республики в единый монолит — Советский Союз. Настанет день, когда сбудутся пророческие слова великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули:

Единой семьей живут племена,
Для тоя расстелена скатерть одна.

Как работник культурного фронта, как писатель я особенно внимательно вчитываюсь в те строки Программы партии, в которых определяется роль и место советской литературы в коммунистическом строительстве. Если вторая Программа ставила задачу сделать сокровища искусств всенародным достоянием, то нынешние задачи перед работниками культуры еще более серьезны и ответственны. «Советская литература и искусство... призваны служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания». Так записано в проекте Программы. И вот я, писатель, сижу и думаю.

За двадцать лет будет создана материально-техническая база и воздвигнуто светлое здание коммунизма. И в этом светлом здании должны жить люди, которые духовно и нравственно соответствовали бы этому дивному творению рук человеческих. Основной принцип коммунизма — от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. А вдруг кому-то захочется взять не только по потребностям, но и про запас? Здруг не захочется отдавать все свои способности, а часть их приберечь для себя? Вот потому, чтобы не было этих «вдруг», сейчас, как никогда раньше, со всей остротой встает вопрос коммунистического воспитания, коммунистического формирования человека. Конечно, люди сами стремятся к духовному и нравственному совершенствованию. Конечно, и партия берет на себя львиную долю забот в деле воспитания нового человека. Но разве напрасно назвал Никита Сергеевич Хрущев писателей первыми помощниками партии? Разве не следует отсюда, что на писателей тоже ложится величайшая ответственность в этом невероятно сложном, но исключительно благодарном деле? Да, следует. И мы должны прочувствовать это всей глубиной сердца.

Никогда еще на писателей не ложилась такая почетная, такая ответственная обязанность. Уже сейчас писатели должны отдавать все свои способности на общее благо, ибо учитель не может быть ниже ученика, иначе он не учитель. А писатель — это теперь и учитель. Основные задачи, которые ставит партия перед литературой и писателем в своей новой Программе, — это «укрепление связей с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед». Я уверен, что все писатели воспримут эти слова как самый священный завет.

Проект Программы подчеркивает: «Коммунистическая партия заботится о правильном направлении в развитии литературы и искусства, их идейном и художественном уровне, помогая общественным организациям и творческим союзам работников литературы и искусства в их деятельности». Как добрая мать от своих детей, партия ждет от нас, писателей, помощи, но, как мать за детьми, она неустанно следит за нами и всегда готова прийти на помощь там, где мы не знаем, как поступить, или там, где ошиблись.

Великая партия человечества! Когда она родилась, когда она приняла свою первую программу, численность ее была невелика. Миллионы составляют сейчас ее монолит. Она завоевала сердца миллионов на земном шаре. Она проложила народам столбовую дорогу к социализму, дорогу, по которой идут нынче десятки государств. Она же пролагает народам дорогу к вершине вершин — коммунизму. Будущее человечества в руках Мира и Труда. И оно прекрасно, это будущее. Путь к нему нелегок, как нелегок любой великий путь, который проходят те, кто тверд духом и стремлениями, у кого добрая воля сочетается с умением, а желание подкреплено силой. У нас есть воля и желание, а умение и силу нам дает наш добрый наставник и друг, наш вождь и учитель — Коммунистическая партия. Она вела нас в социализм, вела в коммунистическое далеко, она привела нас в коммунистическое близко.

Я прожил долгую жизнь, и иногда казалось, что все, положенное мне сделать, я в основном уже сделал. Но проект Программы говорит: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Я повторяю несколько раз про себя эту фразу, стараясь постичь ее невероятный, сказочный смысл. Нынешнее поколение... А как же я? И я чувствую, как новые силы прибывают ко мне, словно наполнился я из родника живой воды. Нет, товарищи, я еще не сделал того, что мне положено, я не вышел из строя бойцов. Есть еще сила, есть порох в пороховнице! Я хочу вместе с этим счастливым поколением «строить и месть в сплошной лихорадке буден», я хочу дойти до коммунизма, увидеть его вблизи, во весь его исполинский рост.

Перевел с туркменского В. Курдицкий.

АЛЕКСАНДР МИХАЛЕВИЧ



ОБ УРОЖАЕ ТАЛАНТОВ

Этим летом на Украине богатые хлеба. Добрый урожай невольно покоряет воображение, и когда от хлебных полей обращаешься ко всему разнообразию дел человеческих, перед тобой предстает и другой, главный урожай жизни — урожай народных талантов. Он особенно щедр и велик в нашей стране, идущей к коммунизму. А проект Программы партии всем своим огромным содержанием прокладывает дорожку новому, еще более удивительному, поистине историческому взлету творчества масс. Засеваются добрым семенем поля самые необъятные. Об одном поле хотелось бы мне сказать особо.

Будет обеспечена, провозглашает Программа, «организация широкой сети общедоступных научных и технических лабораторий... для работы в них всех, имеющих стремление и способности».

Всем, имеющим стремление и способности, открывается еще более широкий, плодотворный, заманчивый путь к научному и техническому творчеству — как это гуманно, справедливо, разумно и как это важно именно теперь для нашего общества!

Человек и общество выступают здесь нераздельно.

С одной стороны, это нужно для общества, для быстреего создания материально-технической базы коммунизма. Мы можем и должны скорее положить на чашу весов в историческом соревновании с капитализмом новые множества открытий, изобретений, технических усовершенствований, рационализаторских предложений — ведь нельзя забывать, что в настоящее время производительность труда в США пока еще превышает производительность труда в советской промышленности, а по намеченной партией программе мы должны не только догнать, но и превзойти примерно в два раза (а по часовой выработке значительно больше) современный американский уровень.

С другой стороны, это нужно для человека, для развития всех творческих задатков каждой личности, в том числе задатков научного, технического творчества. Жизнь не только сытая, обеспеченная, но и действительно творческая — вот наш принцип и идеал. Ради такой жизни мы строим коммунизм. И поэтому мы читаем в Программе: «Коммунизм несет трудящимся новые великие права и возможности», «Партия будет неустанно заботиться... о создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого человека...», «творческая деятельность во всех областях культуры становится особенно плодотворной и доступной для всех членов общества».

Наша страна идет, по прекрасному слову К. Федина, от чуда к чуду. И если многое не додумывать, не приподнимать головы над текущей или оставаться во власти казенного оптимизма и самодовольства, можно даже удивиться: о каком таком еще урожае талантов беспокоиться? Разве не хлынули они уже давно мощным потоком? Разве не восхищен мир нашими космонавтами? Разве не известны всем неустанные заботы о процветании науки, о лучшем планировании, координации научных исследований в Советской стране? Разве не держит наша страна первенства по количеству инженеров? Разве, наконец, не является наше общество самым образованным, культурным обществом?

Но небывалая и все растущая образованность нашего общества как

раз и является таким его великим преимуществом, которым можно и нужно пользоваться все более смело и умело, все более широко, разумно и дальновидно.

Хочется подтвердить это некоторыми жизненными наблюдениями.

Несколько лет назад, разбирая материалы к биографии замечательного ученого из народа Даниила Кирилловича Заболотного — знаменитого ученого, микробиолога, делами и путешествиями которого так восхищался Горький, — я столкнулся с любопытным, в какой-то мере символическим фактом. В конце двадцатых годов Д. К. Заболотный возглавил Украинскую Академию наук, и одним из первых шагов этого ученого с мировым именем на президентском посту была организация шефства академии над Донбассом. Заболотный всячески стремился подружить горняков с наукой, хотя многие из них еще недавно попрощались с ликбезом. И горняки были признательны ему за приезды ученых с лекциями, за горячий призыв смелее овладевать знаниями.

Однажды делегация донбассовцев провела целый день в академии. Заболотный тогда был избран «почетным шахтером». Рассказывают, что президент очень гордился полученными в подарок шахтерской лампочкой и шахтерской одеждой и даже принял в ней однажды делегацию иностранных ученых. Когда какой-то церемонный гость выразил по этому поводу удивление, Заболотный от души сказал, что этот подарок ему дороже многих наград, и пожелал зарубежному коллеге дожить до такого дня, когда ученому шахтеры и его страны сделают такой же подарок.

Заболотный стремился шире и шире распахнуть перед горняками дверь в науку.

Сколько лет с тех пор прошло? Тридцать. Очень быстрых, насыщенных, незаметно промчавшихся тридцать лет. И вот недавно, вернувшись из Донбасса, я побывал в нашей Украинской Академии наук, и беседа с ее нынешним вице-президентом — Александром Назаровичем Щербанем помогла мне особенно предметно ощутить, как шагнул за это время Донбасс в науку. Уже личность самого вице-президента достаточно характерна в этом отношении. Как раз в те годы, когда Заболотный звал горняков в науку, Щербань, полтавский хлопец из Диканьки, успевший поработать на макеевской шахте «София» и коногоном и плитовым, начал учебу в Горном институте, чтобы стать инженером-шахтостроителем. А потом захватила Щербаня, к тому времени горного инженера-проектировщика, идея: как вести борьбу с высокими температурами в глубоких донецких шахтах? Сколько тяжелых испытаний, а то и бед приносит горняку горячий рудничный воздух! Высокие температуры в шахтах стали предметом упорных исследований, а потом темой кандидатской диссертации Щербаня. Затем — дороги войны. Младший лейтенант Щербань со своим взводом честно бьется, защищая Москву. Капитаном сражается у Сталинграда. После победы над фашизмом снова идет по дороге науки. Много сил положено на создание первой советской установки для охлаждения рудничного воздуха. А. Н. Щербань руководит Институтом горного дела АН УССР, становится доктором, профессором, избирается в академию. Но проблемы Донбасса неотступно волнуют ученого. Послевоенные годы его жизни — это упорная схватка со злейшим врагом шахтера — рудничным газом, метаном. Как найти надежное средство, чтобы предупреждать накопление и ужасные взрывы этого опасного газа? Вместе с помощниками, в содружестве с работниками Конотопского завода А. Н. Щербаню удается создать «метаноанализатор» — прибор, который автоматически замеряет содержание метана в рудничном воздухе, сигнализирует рабочим о повышении его содер-

жания и автоматически выключает в нужный момент электроэнергию, помогая предупреждать взрывы... Есть и другие ядовитые газы, с которыми он ведет борьбу. И иные проблемы захватывают его как ученого — широкий круг вопросов теплоэнергетики.

— Представьте,— говорит он,— где-нибудь в районе Макеевки на глубине в пять тысяч метров температура пород составляет около ста сорока градусов. Как заманчиво использовать это тепло, дать громадное количество дешевой паровой и электрической энергии!..

Будучи одним из руководителей Украинской Академии наук, Щербань практически направляет сейчас усилия многих институтов на оказание самой широкой научной помощи донецкому краю. Тысячные аудитории собирают в Сталино и Луганске вошедшие в традицию ежегодные встречи ученых и работников народного хозяйства!

Как не похож на прежнего теперешний Щербань! Но и сам Донбасс тоже не похож на прежний. Один Донецкий политехнический институт успел уже выпустить семнадцать тысяч инженеров, а донецкие вузы все «плодятся и размножаются», и рядом с ними теперь прочно стала целая цепь и своих, местных, научно-исследовательских институтов — не только угольного дела, гидромеханизации, конструирования машин, но и такие, как Институт пластмасс или филиал Института автоматики. Донбасс творящий, Донбасс, жадно притягивающий к себе науку, Донбасс, который, по чуть озорному выражению одного патриота донецкого края, теперь «все может»,— вот какой Донбасс захватывает нынче воображение.

Ничем не похож наш Щербань и на тех заокеанских интеллигентов, ученых, которых тамошняя толпа величает «яйцеголовыми».

И еще одним свидетельством полной слитности нашего учёного с породившим его народом является и та сверх всякого «плана», на потребу души выполняемая вице-президентом научно-общественная работа, которая посвящена истории родного донецкого края, его удивительным людям: наверно, скоро выйдет эта книга — «Страницы летописи донецкой».

И еще необычайно важно то, что нет у нас «яйцеголовых» и нет чуждой науке, в лучшем случае только созерцающей ее «толпы»...

И если способен волновать, увлекать путь ученого, возглавляющего большую научную лабораторию, одного из руководителей академии, то не меньший интерес вызывает ныне в Донбассе, если так можно выразиться, другой полюс науки — наука «неофициальная», показывающая, какие замечательные резервы научного творчества вызваны из самых глубин народа партией, нашей советской действительностью.

Присмотревшись хотя бы к одной из таких «золотоносных жил», скажем к научно-конструкторской деятельности любителей радио, группирующихся вокруг очень инициативного радиоклуба в Сталино, можно уже судить и о количестве и, главное, о новом качестве этих резервов. Любовь к радио — тут только изначальный толчок, дальше творческая мысль пробивается в толщу заводских дел, выходит на просторы разнообразного изобретательства.

И сама жизнь, если ее наблюдаешь широко, сегодня ставит в какой-то единый большой ряд вслед, например, за рожденным первоначально в академической лаборатории «метаноанализатором» академика Щербаня многие и многие другие приборы, аппараты, механизмы различной, конечно, значимости и полезности (и какой-нибудь остроумный «электронный солемер» опытного радиолюбителя Белоцерковского, прибор весьма полезный для паросиловых хозяйств; и электронный контролер-регулятор автоматической линии горняка Науменко; и установку Королько, Черняка и Гнилосыра для опрокидывания вагонеток; и ультразвуковые весы славянского радиолюбителя Костенко; и электронный речевой ап-

парат — неожиданный подарок медицине техников Прохорова и Салосина; и целую серию сложных радиоустройств — индикатор напряженности поля, модулометр и другие — очень талантливого самодеятельного донецкого конструктора Абакумова). Все это сделано умом и руками людей без всякого официального положения в науке, без званий и степеней, но с вполне реальными, прекрасными возможностями для действительно научного, технического творчества.

Нельзя не думать о том, каким этот ряд может и должен быть завтра. Нельзя не ополчаться на тех, кто виноват в потерях, которые мы еще несем, в той или иной мере недооценивая, не помогая научно-технической самодеятельности масс.

Ведь стоило благородным энтузиастам радиоклуба в Сталино тт. Рожнову и Робулу затеять новое, тоже «неожиданное» для многих дело — организовать при клубе общественную самодеятельную «школу радиоэлектроники» с интересной шестимесячной программой, и она на двести запланированных мест получила пять тысяч заявлений от самых разных людей из всех городов и поселков Донбасса. Школа воюет сейчас за свое расширение, за создание экспериментальных мастерских. Вот вам и новый оплот смекалистого народа, бескорыстных энтузиастов научно-технического прогресса. Школа только начала существовать, а сегодня всем вокруг нее удивительно: как же мы без нее обходились?

Так завтра нам будет удивительно: как это мы до сих пор обходились без широчайшей сети общедоступных научно-технических лабораторий?

Для разведки и закалки новых «неожиданных» талантов, для ускорения приложения к практике новых революционных открытий в науке, для обогащения самой науки разносторонним низовым опытом, для облегчения борьбы с «капризами» в науке, о которых так гневно писал еще Герцен, для преодоления грехов кастовости, цеховщины и монополющщины, для воспитания у молодежи новых интересов, запросов, если хотите — даже стиля поведения, для обобщения и выхода в жизнь драгоценного опыта старых кадров — для всего этого нужна и будет исключительно полезна «широкая сеть общедоступных научных и технических лабораторий».

Народ в науке... Гениальная народная смекалка проявляла себя и тогда, когда весь строй жизни мял и душил неисчислимые тысячи народных талантов. Какое поражающее и сейчас прозрение будущего бывало у «простых», будто бы далеких от науки людей, удивительные факты опережения достижений официальной науки часто в самых ужасных условиях бедности и бесправия! Циолковский, Мичурин, с их тернистым дореволюционным путем. А до них светлые головы — плеяда крепостных и дворовых удивительных умельцев. Разговорился я как-то о делах углехимии, и вспомнили мы с собеседником: первый-то в мире переносный газовый завод поставил Иван Иванович Овцын, простой безвестный человек, еще в начале прошлого века. И тогда же угличский житель Кузнецов изобрел, как он говорил, «специальную палитиру» — своеобразный прообраз нынешних пластмасс. А крепостные крестьяне братья Дубинины, опережая современный им уровень техники, самостоятельно пришли к созданию нефтеперегонного завода. И как не вспомнить «самобеглую коляску» Леонтия Шамшуренкова. Казанский дворовый крестьянин в тюрьме изобрел будущий автомобиль, но это сочли безделицей, и умельца снова засадили в тюрьму...

Конечно, спасибо партии, Ленину, революции — нынешние Овцыны и Шамшуренковы руководят у нас институтами, академиями, снаряжают в космос «самобеглые» ракеты и небесные корабли. Но прибор талантов так велик и так нарастает, что никакие академии их не вместят, в лю-

бом институте им будет тесно; это тот величайший «резерв» нашей науки, с которым надо считаться, которому надо помогать уже сегодня.

Старейший коммунист, ученый, один из создателей Советской Энциклопедии, Ф. Н. Петров говорил мне в одной из бесед, что плодотворные мысли о научной самостоятельности масс высказывал еще Ломоносов, и эти его заветы нам следует не только помнить, но и всячески развивать.

Д. К. Заболотный был убежден, что наука действительно может и должна «прорасти» из всех пор нашей жизни; великий медик, он был зачинателем движения за создание скромных «хат здоровья». Ему принадлежит такое блестящее высказывание: «Многие думают, что для того, чтобы делать науку, нужны дворцы, только дворцы. Но из истории величайших открытий мы знаем, что многие из открытий были сделаны в бедных, даже больше — в нищенских лабораториях, при обстановке чрезвычайно неблагоприятной... Наука может развиваться и под соломенной крышей. Здесь гораздо большее значение имеют творческая сила человеческого гения и работа человеческой мысли, которые, это можно смело сказать, благодаря содействию нашей советской ответственности и советской власти находят благоприятную почву для своего развития в нашей стране».

Однако, может быть, положение коренным образом изменилось в наши дни, когда так усложнились научные эксперименты, углубляется специфика знаний, исследования требуют разнообразного и дорогостоящего оборудования, на первый план выступают высокие давления, скорости, напряжения? Но именно размышляя над новыми возможностями и будущим современного прогресса, академик Н. Н. Семенов вспоминал недавно, применительно к науке, знаменитое глинкинское: «Создает музыку народ, а мы, художники, только ее аранжируем».

«Вне и без большого коллектива соратников, помощников и последователей современный деятель науки и техники рискует оказаться совершенно бесплодным, как бы ни велика была его одаренность», — высказывает убеждение Н. Н. Семенов. «Широкие народные массы все больше интересуются наукой. Однако настоящего ее расцвета следует ожидать тогда, когда научно-техническая самостоятельность превратится в одну из основных потребностей людей».

Мне кажется, что интересным, очень поучительным для многих отраслей науки подтверждением этой мысли служит, бесспорно, выдающаяся роль массового движения радиолюбителей в развитии и успехах одной из самых современных наук — нашей радиотехники.

Уже преемники Попова, руководители знаменитой Нижегородской радиолaborатории — подлинной колыбели нашего радио, — уже эти ученые — М. А. Бонч-Бруевич, В. К. Лебединский и другие, — воодушевленные Лениным, много сделали для того, чтобы эта, как будто специальная, научная лаборатория постепенно как бы распростерлась на всю страну, отыскала, ободрила, воодушевила, приблизила к себе тысячи энтузиастов...

Благороднейший ученый Лебединский заметил, поддержал радиолюбителя Лосева. И теперь имя этого «бездипломного» ученого навсегда вошло в историю науки. Именно Лосеву удалось еще в начале двадцатых годов создать впервые в мире полупроводниковый усилитель-кристаллин, впервые исследовать многие свойства кристаллов, в том числе открыть в кристаллах люминесценцию.

Оттуда же, из Нижнего Новгорода, ученые заметили другого одаренного радиолюбителя, Лбова, которому удалось впервые достичь на коротких волнах Парижа, Лондона, Месопотамии.

Именно радиолюбители проложили путь к изучению дальнего дей-

ствия коротких волн, которые в свое время считались «бросовыми», непригодными для дальних передач. К удивлению многих специалистов, радиолюбители при помощи своих самодельных маломощных передатчиков на «бросовых» волнах добились радиосвязи на тысячи и десятки тысяч километров. Это была большая услуга науке, если хотите — массовый подвиг энтузиастов радио, предъявивших ей для теоретического объяснения новые факты. И за эту помощь всегда будут благодарны и физики и радиоинженеры.

Новые, своеобразные черты массового движения радиолюбителей не могли не привлечь внимания такого выдающегося ученого, организатора и историка науки, как С. И. Вавилов. Он писал в одной из своих статей:

«Ни в одной области человеческих знаний не было такой массовой общественно-технической самодеятельности, охватывающей людей самых различных возрастов и профессий, как в радиотехнике. Радиолюбительство — это могучее движение, которое привело к участию в радиоэкспериментах тысячи энтузиастов, посвящающих свой досуг технике. Советское радиолюбительство носило и носит в себе идею служения своей Родине, ее техническому процветанию и культурному развитию».

В сталинском радиоклубе я прочел прекрасные слова Лебединского:

«Где нужен массовый опыт, кропотливые наблюдения, негнушающаяся стойкость без дуступок, бесстрашная смелость воплощения мысли, там выступает радиолюбитель...»

Как благородна и глубока, как плодотворна сила такой убежденности, как нужна она сегодня всем ученым, чтобы активно и искренне помочь осуществить небывалое расширение сети общедоступных научных лабораторий в нашей стране!

Радио — молодая отрасль науки, особенно если сравнить ее с таким древним разделом человеческих знаний, как земледелие, агрикультура. Но разве и одну и другую ветвь нашего древа познания — и молодую и древнюю — не роднит то, что множество научных плодов на этих ветвях выхожено простыми, рядовыми тружениками?

...В Донбассе много подсолнечника, здесь любят и ценят эту красивую, рослую и очень выгодную культуру. Глядя на отливающие золотом корзинки цветов подсолнечника, я не раз с восхищением думал о том, что золото это впервые поставил на службу человеку воронежский крестьянин Бокарев. Именно он начал возделывать подсолнечник как масличное растение в полевой культуре и первым начал вырабатывать в 1835 году из семян подсолнечника масло.

А в современной истории подсолнечника вслед за именами выдающихся ученых-селекционеров Пустовойта и Жданова, «перестроивших» это растение, как не назвать донецкого «деда Ярошенко» из Марьинки, «выжавшего» из подсолнечника поразительную урожайность.

Озерный, Блажевский, Долинюк — без имен этих возвращенных партией народных ученых и практиков кто представит себе путь кукурузы в нашей стране?

В неразрывной близости к колхозной хате-лаборатории, которой заведовал отец Трофима Денисовича, полтавский колхозник, начинал свой путь в большую науку академик Лысенко... Сколько маяков высоких урожаев зажжено, сколько передовых агроприемов утверждено в практике стараниями колхозных и совхозных опытников, которых всегда так любовно поддерживает Н. С. Хрущев! Партия выпестовала глубоко народное и истинно научное движение мичуринцев. И ленинское отношение к Мичурину, его борьба за Мичурину остаются незабываемым уроком того, как надо расширять дорогу большим и малым народным

ученым, заставляя любые чиновные души уразуметь великую пользу их труда.

Право, стоит напомнить, как был открыт и оценен скромный садовод из провинциального Козлова.

В 1920 году один из земельных работников Тамбова был вызван в Москву, к Ленину, для доклада. Случилось так, что по дороге тамбовский товарищ побывал в Козлове, в скромном питомнике Мичурина. На приеме он упомянул об этом Владимиру Ильичу, хотя, рассказывает товарищ, «я тогда далеко не понимал значимости этого вопроса и мои объяснения вертелись вокруг сладкой рябины и особо вкусных груш и крупных вишен...»

Как же дальше развивались события? Ленин дает указание послать в Козлов компетентную комиссию для изучения работ Мичурина.

Увы, очевидно в комиссию попали тогда очень недалекие или очень недобросовестные люди. Наркому докладывают о Мичурине: это, мол, чудак, выживший из ума, вздорный и скрытный, мечтающий выращивать на вербе груши. Питомник ничего особенного собой не представляет, а Мичурин создает себе рекламу...

Но Ленин не выпускает из памяти Мичурина. Он требует через некоторое время раскопать доклады, все дело Мичурина, неотлагательно представить ему лично. Тамбовскому товарищу, который тогда уже был переброшен на другую работу и оправдывал этим то, что забыл про Козлов, Ленин сказал:

«Нет, нет, поверьте, дело не в этом, а в том, что вы думали и хлопотали о садовнике Мичурине, а не поставили перед собой весь вопрос в целом. Это вас отвлекло от сути дела. Теперь я это в сути возьму на себя...»

Узнав, что уезжающий в Тамбов М. И. Калинин собирается заглянуть к Мичурину сам, Владимир Ильич сказал:

«Обязательно, непременно, непременно побывайте там, Михаил Иванович, и без всяких комиссий».

В истории теперь навсегда сохранится, что вскоре после поездки Калинина в ноябре 1922 года, в самый сложный период жизни молодой Советской республики — период между двумя последними устными выступлениями В. И. Ленина, 13 ноября 1922 года на Конгрессе Коминтерна и 20 ноября того же года на пленуме Моссовета, — Ленин нашел время и счел необходимым отправить в Тамбов и лично Мичурину телеграммы, содержащие слова, окрыляющие теперь миллионы мичуринцев:

«Опыты по получению новых культур растений имеют громадное государственное значение».

Если перелистать сейчас книгу поручений В. И. Ленина за декабрь 1922 года, четырежды увидишь в ней поручения и напоминания Наркомзему: обеспечить питомник Мичурина всем необходимым. И после этого — отметки: исполнено такого-то числа.

Вот пример, вот урок, вот обязательный для всех стиль отношения к народным талантам!

Конечно, Мичурин есть Мичурин, а наши опытники лишь продолжают его дело. Но тут главное в сути ленинского подхода.

Ленин, спеша поддержать безвестного тогда Мичурина, прежде всего противопоставил обывательскому подходу к делу («выживший из ума чудак», «ничего особенного», «создает себе рекламу», «вздорный и скрытный человек», «на вербе груши») государственный, коммунистический подход («Опыты по получению новых культур растений имеют громадное государственное значение»).

Увы, мы и сейчас еще сталкиваемся порой со странными попытками «стлупить от науки» тех или иных мичуринцев, идущих своей тропой

и как бы ущемляющих самолюбие, «покой» отдельных научных учреждений.

Недавно в одном из наших еженедельников было высказано суждение, что научные институты Южного берега Крыма должны чаще собирать мичуринцев, больше им помогать. Особенно в связи с некоторыми издержками большого крымского похода за подъем садоводства. Руководители этих институтов (Никитского ботанического сада и Института виноградарства и виноделия «Магарач») тотчас же заняли круговую оборону по всем правилам канцелярского искусства. При этом они умолчали, что же нового внесут в работу с мичуринцами, а сосредоточили внимание на том, чтобы всячески принизить и даже перечеркнуть деятельность старого крымского мичуринца Акима Ивановича Бомика. Если они и называют его опытным, то только в кавычках, спешно прилагают малодоказательные акты, пытаются убедить, что он не имеет своих сортов, оригинальных агроприемов и т. д. Просто непонятно, откуда такая ядовитость, такое нежелание снять надетые на глаза шоры.

Все дело в том, что, кроме актов, которые сочиняют неожиданные гонители мичуринца, существуют принципы, а эти принципы не должны позволить советскому ученому скатиться до пошлой позиции: мы-де науку построим и без вас, не смейте совать свой нос в научные дела — знай, сверчок, свой шесток!

Нельзя «отлучить» Бомика от науки, как нельзя отлучить от нее народ. Научные руководители, затеявшие нелепое канцелярское сутяжничество с рядовым мичуринцем, ставят себя в смешное положение. У человека сердце болит за природу Южного берега Крыма, а его убеждают, что он... не заменил собой всей крымской науки, всех селекционеров и ученых. Бомику сейчас за семьдесят лет. Он-то ведь ни на что не претендовал и не претендует: ни на почет, ни на звания, ни на штатные должности, ни на оклады научных работников. Сейчас Аким Иванович трудится на своем приусадебном участке, а до этого был бригадиром в совхозе, садовником, лесником. Разве «вина» его в том, что, будучи бригадиром в соседнем совхозе «Горном», он собирал урожай плодов во много раз выше и с меньшими затратами, чем собирают там теперь, и это служит живым укором нерадивым хозяевам? Отсюда-то и главный сыр-бор! Разве «вина» опытника в том, что некоторые полученные им плоды превосходят по качеству продукцию научных учреждений? Разве «вина» его в том, что он всю жизнь неотступно думал о природе, трудился, не жалея головы и рук, знает в Крыму каждый родничок, лесок, овражек, выступал с заметками, статьями о своих тревогах, наблюдениях, а природа, как замечал еще Тимирязев, не аристократка, она требует большого труда, она любит мозолистые руки и открывается тем, кто умеет и любит трудиться? Сколько таких откровений она поведала и опытнику Бомику! Или в том его «вина», что писатель Павленко незадолго до своей смерти вручил ему заветный колосок какой-то неизвестной формы ветвистой пшеницы, будто бы из прикаспийских степей, и Аким Иванович более десяти лет ее успешно размножает, культивирует, добиваясь результатов, способных паразит и заинтересовать многих?

Авторы странных актов могут мне заметить, что кое-кто поторопился назвать эту пшеницу «чудо-пшеницей», преждевременно представить дело так, что она уже у нас в кармане — бери и засевай тысячи гектаров, — а между тем испытание пшеницы в ряде мест показало ее вымерзание... В самом деле стоит отказаться от шумихи по поводу «чудо-пшеницы». Однако вряд ли будет полезно отказываться от дальнейшей работы с ней, если ее испытание дает в одних хозяйствах отрицательные, а в других очень обнадеживающие результаты. В частности,

киевляне могли видеть в этом году на испытательном участке Выставки достижений народного хозяйства УССР хорошо перезимовавшую, высококостелистую, резко выделяющуюся крупным ветвистым колосом бомиковскую пшеницу.

Но главное еще не в этом. Та или иная форма пшеницы может жить или не жить, может устоять и может сойти на нет, но природа Крыма не может беднеть, не могут крымские сады хуже плодоносить, не может нарушаться преемственность между поколениями старых и новых садоводов и земледельцев, а смысл всех трудов, речей, статей Бомика именно в том, чтобы найти лучшие пути, как приумножить славу Крыма; пафос Бомика в практически подтвержденном убеждении, что «мы можем от природы всего брать в десять раз больше». Вот теперь и судите, научный это пафос или нет.

Но в конце концов даже после всех перестрелок и переписки некоторым крымским научным работникам можно сказать так: вы не хотите заниматься Бомиком? Вам он «навяз в зубах»? Не украшает это вас, но... не занимайтесь. Вы же сами задали себе работу, придумав странную позицию обороны от него. Аким Иванович уже оставил заметный и ценный след на земле, который не так скоро сотрется. Наверняка найдутся у него другие друзья в науке, в колхозах, совхозах. Уже запущены, к счастью, на орбиту большого сортоиспытания семена его ветвистой, и не зарастает тропа в его оригинальный сад. Не хотите заниматься Бомиком — не занимайтесь, но все равно вам придется заниматься, входить в новые контакты с Кампанейцем, с Редькиным, с Дьячкиным, со Ждановым, с Курошем, с Гусенко, с Яковлевым, со всеми другими крымскими опытниками, потому что Крыму не обойтись без движения мичуринцев, без общедоступных, массовых научных лабораторий, без народной критики недостатков в развитии садоводства и виноградарства, без того, чтобы, говоря фигурально, на каждого кандидата науки не приходилось сотни мичуринцев, не имеющих ученых званий, но обладающих взглядом преобразователей на природу.

Есть этот взгляд, есть ценные для науки наблюдения, предложения у Бринцевой, у Дьячкина, у Редькина и еще у многих сотен крымских друзей природы, которых вы не привыкли собирать для совета, помощи, разнообразных творческих контактов. А как важно именно теперь мобилизовать, осмыслить, расширить весь этот опыт, сомкнуть его с теми научными исследованиями, которые наука способна вести сегодня с помощью замечательного оснащения, — изотопы ли это, или ультразвук, или мощные микроскопы, или высокое давление. Союз самого передового слова в науке с мудростью и опытом народной толщи, способной миллионами глаз наблюдать жизнь растений, животных, почвы, атмосферы, принесет нам новые возможности и глубокого познания природных процессов и участия в них на благо человека.

...Создание широчайшей сети общедоступных научных и технических лабораторий в нашем сельском хозяйстве позволит на новой основе продолжить и развить славные дела прежних хат-лабораторий, обогатить призванное идти круто в гору колхозно-совхозное земледелие.

У научно-технической самодеятельности масс много славных страниц в прошлом, захватывающе интересные дела в настоящем, но все это лишь предвестники того небывалого цветения народного творчества, которое несет с собой осуществление новой Программы партии.

Мы восхищены успехами современной ракетной техники, реальным началом звездоплавания. Почаще бы вспоминать скромные истоки этих фантастических свершений и тот неказистый подвал в одном из московских домов, где общественная, осовиахимовская лаборатория отважно

начала переводить на язык практики мечту Циолковского. ГИРД — величали официально эту группу: Группа Исследований Ракетных Двигателей; а шутники иначе расшифровывали эти буквы — Группа Инженеров, Работающих Даром. И их девизом можно было считать строки из письма неумного Ф. А. Цандера, одного из пионеров ракетной техники, Э. К. Циолковскому (они экспонированы теперь в павильоне Академии наук СССР на Выставке достижений народного хозяйства): «Дружной работой группы воодушевленных людей продолжим изыскания в области звездоплавания — области, в которой вы разбили лед скептицизма и неверия».

Но кто же может представить себе, сколько воодушевленных людей, каких новых Цандеров, Циолковских и Мичуриных подведет к науке, открылит для творчества по-новому разветвленная сеть рожденных заботой партии общедоступных научных лабораторий?

Забьет великое множество чудесных родников, о будущей силе которых можно судить по самым различным фактам нашей действительности. Чем чаще будет удаваться соединять в этих лабораториях умудренность опытом зрелых людей с порывом и новыми знаниями молодежи, тем больше у нас будет сообщений, подобных тому, которое недавно пришло из Одессы.

Этот город гордится многими изобретателями. Они работают в институтах, на предприятиях, в сельском хозяйстве. Люди изобретают чаще всего «по своей специальности». Ну а если в большой, дружной семье старого коммуниста, механика-практика, вышедшего на пенсию, но еще полного сил, есть три разумных сына с инженерным образованием, да еще два — «на подходе», школьники, тоже сметливые ребята, влюбленные в технику? Тогда может сложиться неожиданная семейная лаборатория, которая, отдавая свой досуг техническому творчеству, поможет каким-то шагам прогресса в самых различных, опять-таки «неожиданных» отраслях производства.

Так и случилось в Одессе с семьей старого механика Петра Леонтьевича Бородина — это ударная изобретательская бригада, проверенная уже несколькими годами совместной работы и вполне аттестованная теперь многими «патентами Бородиных». «Изобретением № 105100» был найденный в «семейной» лаборатории эффективный способ восстановления изношенных бронзовых подшипников. Потом бригада создала оригинальный станок для обработки точных деталей дизельных двигателей. Бородины, среди которых двое — инженеры морского флота, проявили чуткость и к нуждам сельского хозяйства. Три года они создавали такую универсальную машину, которая могла бы заменить ряд сельскохозяйственных орудий. И вот уже готов опытный ее образец — на местном заводе имени Октябрьской революции. А Бородины трудятся уже над мерношагающей сеялкой. И полны новых дерзких планов их светлые головы!

Сегодня еще трудно полностью представить, какие конкретные формы организации общедоступных научно-технических лабораторий, какие методы включения их деятельности в общенаучный фронт окажутся наиболее жизненными. На наших глазах такие лаборатории возникают и на предприятиях, и при домах научно-технической пропаганды, и в недрах общества изобретателей, и с помощью дворцов культуры, досаафвской общественности и т. д. Жизнь отберет лучшее, не оставит в стороне и комсомол, и учебные заведения, и академические силы. На многие стороны жизни окажет влияние это новое качество народа в науку. И если мы сегодня подсчитываем, что за 1956—1960 годы наши передовые рабочие в содружестве с инженерно-техническими работниками внесли по стране более пятнадцати миллионов рационализаторских

и изобретательских предложений, то можно не сомневаться, что теперь с каждым годом эти творческие миллионы будут ускоренно расти, разумеется увеличивая ответственность за быструю реализацию каждого разумного научного и технического предложения.

...Наступление коммунизма — это неслыханный урожай народных талантов, уважать, растить и беречь которые призвано все общество и любой из нас.

На огромной щедрой ниве народного творчества не будем терять ни одного колоска!

С. ЗАЛЫГИН

★

ПИСАТЕЛЬ И СИБИРЬ

Читаю проект новой Программы Коммунистической партии Советского Союза.

Беликие принципы и цели неизменно постигаются и осознаются нами дважды: применительно к человечеству и применительно к самому себе.

Каждый из нас, людей,— это ведь тоже очень много, бесконечно много: это наша биография и наша география, наши взгляды на все явления своей собственной и общественной жизни, а для писателя это еще и его мысли о литературе; тоже и всеобщие и его личные, применительно к собственным планам и замыслам.

Так вот, чтение проекта Программы в этом «личном» ракурсе толкнуло меня к размышлениям над вопросом (или над вопросами), который, кажется, можно сформулировать так: писатель и Сибирь.

Правомерно ли ставить так вопрос? Можно ведь взять любое географическое понятие, соединить его со словом «писатель», а затем делать из этого механического соединения какие-то выводы.

Однако Сибирь играет в жизни современного советского общества исключительно важную роль. С осуществлением того, что намечено в проекте Программы, эта роль еще больше возрастет, и попытаться человеку пишущему обдумать возрастающее значение Сибири со своей специальной, я бы сказал, технологической и ему присущей точки зрения — занятие небесполезное.

Не думаю, что мысли и догадки, которые возникают у меня, когда соединяешь эти два существительных («писатель», «Сибирь») союзом «и», будут последовательны и строго логичны.

Но ведь разрозненные спорные соображения нередко даже сильнее, чем строгая логика, побуждают нас взяться за перо.

В Сибири и о Сибири написано немало очерков. Говорят, очерк начал здесь свое существование с первых пятилеток — с эпопеи строительства Турксиба и Кузбасса, с организации первых совхозов.

Верно. Советский очерк о создателях — и сам способствующий созданию — начался именно отсюда. Но очерк сибирский приобрел широкую известность еще с Короленко, с Гарина-Михайловского, с Мамина-

Сибиряка, а если заглянуть подальше, так и с Радищева. Литература сибирская началась с литературы очерковой. Время появления такого рода описательной литературы как раз совпадает с началом литературно-художественного освоения Сибири, и вполне вероятно, что Сибирь, обязанная очерку, сама немало послужила делу его развития.

Очерк — жанр, который, по определению Горького, несет элемент исследования. Он, очерк, и сопровождал каждое новое исследование в области социальной, технической, а также и в области познания Сибири.

Однако нам иногда не хватает общепринятых представлений, может быть, именно потому, что они общеприняты. Очевидно, у романиста есть еще свое, личное отношение к роману, у очеркиста — к очерку.

И я тоже позволю себе сделать здесь отступление.

Любое искусство создает эмоции, настроение. В литературе оно в самых общих чертах создается жанром: приступая к чтению романа, мы как бы настраиваемся на один лад, начиная повесть — на другой, а в пределах жанра настроение определяется еще ключом, который вручает автор читателю.

В поэзии это очень часто бывает почти так же очевидно, как в музыке: по аналогии с ключом «минор» и «мажор». поэт говорит читателю, что тот найдет у него лирику, балладу, поэму.

Настроение, создаваемое прозой (звучание прозаического слова, а за ним — фразы, а за нею — мысли), так же как и в поэзии, достигается определенной тональностью, ритмом («размером»), хотя здесь и отсутствует рифма. Зато в прозе сильнее выражено настроение познания. Мы можем познавать, усмехаясь и зло смеясь, — и будем иметь дело с юмором или сатирой; можем познавать, восхищаясь поступками героев, — тогда перед нами произведение героическое; точно так же мы познаем трагическую сторону жизни; и, наконец, читаем просто повествование. Повествование тоже создает определенное настроение. Если говорить о большом романе, так он подобен симфонии, написанной в разных ключах. «Война и мир» — это синтез героики, трагедии, сатиры, лирики, исторических и философских исследований.

Настроение познания создается автором еще и в зависимости от того, утверждает ли он, что все, что им написано, «так и было», или он только думает, что «так могло быть».

Повесть или рассказ я читаю именно в этом ключе — «так могло быть», а очерк — обязательно в ключе «так было», причем этому моему восприятию ничуть не мешают догадки, что автор что-то домыслил. Пусть его! Важно другое — его утверждение, что «так было», его ключ к пониманию вещи.

Но дело еще и в том, что в понимании действительности, «как было» и «как есть», у советского человека обязательно присутствует еще и сознание того, как «должно быть». Это даже не является качественно чем-то обособленным, чем-то независимым — это сама действительность нашего человека и это же он сам.

И еще это признак подлинной культуры в самом высоком ее понимании.

Очерк как жанр отчасти исследовательский уловил это свойство советского человека — соединять воедино то, что есть, с тем, что будет. Обостренное чувство будущего всегда было присуще русской литературе, в том числе и очерковой. Но если в очерках прежнего времени оно порою было лишь чувством теплящейся надежды (короленковские «Огоньки»), а иногда и чувством безнадежности (слова Гарина-Михайловского о малых народах Севера), то в нашем современном очерке чувство будущего связано с ясной и точно увиденной перспективой.

Программа — это устремление в будущее, трудно себе представить, сколько она даст материала для писателя. Она обращает к нему новой стороной Сибирь, в которой так явственно чувствуется все то, «что будет».

Отсюда закономерно и обилие очерков о Сибири.

Разведчик-очерк прокладывает дорогу рассказу, повести, роману, другим формам и жанрам. Мне кажется, что можно проследить какую-то связь между дальневосточными очерками Н. Гарина-Михайловского и романом Н. Задорнова «Амур-батюшка», между якутскими очерками Короленко и «Солью земли» Г. Маркова.

Быть может, здесь следует указать не на «связь», а на последовательность: было время, когда о Сибири писали исключительно в жанре очерка преимущественно писатели-несибирияки — те же Гарин-Михайловский, Короленко, Чехов.

Местные писатели — Наумов, Сорокин, Новоселов, «сосед»-уралец Мамин-Сибиряк шли к сибирской повести, к роману.

Отчасти дело обстоит таким же образом и сейчас: очерки пишут как сибирияки, так и люди, приехавшие в Сибирь; романы о Сибири и Дальнем Востоке, кроме разве «Живой воды» А. Кожевникова, «Большой реки» Вл. Лидина и еще нескольких вещей, созданы людьми, которые провели в Сибири если не всю свою жизнь, так значительную ее часть.

Но этот факт, хотя и наводит на некоторые размышления, в общем-то присущ всей литературе: крупные и крупнейшие прозаические произведения создаются на материале местном, на материале, для писателя родном, — так начинался Тургенев, таким был Нижний для Горького, таковы и «Тихий Дон» и волжские романы К. Федина.

Современная литература о Сибири многообразна и, следовательно, многожанрова, но вот что в ней часто еще отсутствует: ощущение страны, которой она посвящена. В ряде произведений достаточно заменить одни географические названия другими, исключить чисто внешние приметы вроде, скажем, зимних морозов и пельменей, а тайгу именовать лесом — и все, что мы называем в общем-то маловыразительным и далеко не всеобъемлющим словом «колорит», в данном случае весь сибирский колорит, исчезнет без следа. Удивляться этому не приходится.

Я езжу по Сибири около сорока лет, вижу эту страну, кажется, чувствую, ощущаю ее и в пространстве и во времени, а все никак не найду слов и понятий, чтобы эти чувства и ощущения выразить.

А ведь это необходимо нам, писателям. Сначала я думал, что необходимо только для вещей, которые пишутся в ключе «так могло быть». Но нет: когда пишешь, что «так было», эта тревога, это стремление ничуть не меньше.

Вы проезжаете Челябинск или Шадринск, кончается Урал, начинается Сибирь — что же вы нового увидели вдруг? Оказывается, ничего. Те же березовые колки, те же травы, кустарники и деревья и, пока вы не достигли Оби и Енисея, те же реки. Больше того: растительность здесь стала беднее, рельеф — однообразнее, реки — реже. Но почему же ощущение иной страны (здесь и всюду — в географическом смысле) не покидает вас ни на минуту? Все дело в том, что здесь иные пространства. А это совершенно разные чувства: когда вы видите один березовый колок и когда видите их тысячи; видите лес с опушками и такой же лес, но бесконечный — тайгу; видите каменистую Чуйскую степь, ограниченную со всех сторон хребтами, и видите пустыню Гоби; видите заросшее ползучей березкой болотце и видите ямалскую тундру.

Пространство, беспредельность вызывают в нас особые, неповторимые чувства и ощущения. Это и какая-то созерцательность, и ощущение величия окружающего мира и гордости за этот мир, а может быть, более всего — чувство удивления.

Пространство в эстетическом смысле в свое время прибрала к рукам та унылая литература, которая, с одной стороны, не скупилась на ахи и вздохи по поводу ничтожества человека в сравнении с пространством, а с другой, ничуть не смущаясь, объявляла пространство продуктом мышления «субъекта». Советская наука, как никакая другая, покоряет нынче пространство, и литературе нашей тоже не хотелось бы отставать — ей окончательно нужно отнять его у печальных эстетов.

Познание, во всех его формах, все более приспособляется «к объективному пространству и времени, все правильнее и глубже их отражая»¹.

У нас и в этом были великие предшественники — Лобачевский в математике, Бутлеров в химии, а в том зрительном, чувственном восприятии пространства, которое не может обойти художественная литература, для нее существуют такие современники, как Юрий Гагарин и Герман Титов. Сколько их еще, Гагариных и Титовых, покажет ближайшее время! Оно же, это время — месяцы и годы, — будет стремительно менять наши представления о пространстве. Философские понятия о времени и пространстве оно будет низводить до уровня житейских задач передвижения человека в космосе. Кто знает, как будет выглядеть тогда школьный задачник? Быть может, пункты «А» и «Б», из которых навстречу друг другу нынче двигаются пассажирские поезда, будут обозначать различные планеты, с которых вылетают космические корабли?

Художественная литература должна быть к этому готова. При этом, я думаю, наши земные представления о пространстве будут и впредь приниматься за некий эталон, по крайней мере до тех пор, пока человек остается существом земным, а не «полипланетным».

И дело не в том, чтобы как-то попроще, попонятнее изложить представление о пространстве устами героев наших произведений, хотя и это задача не простая, а в том, чтобы отразить влияние пространства на внутренний душевный мир человека.

Время ведь влияет на человека, мы в этом не сомневаемся, а другая, основная форма всякого бытия, как указывает Ф. Энгельс, — пространство? Вероятно, если бы Россия простиралась на восток только до Урала, русские были бы несколько иного национального склада. Не надо этому обстоятельству придавать того преувеличенного значения, которое ему когда-то придавали, но и отрицать его совершенно тоже нельзя. Ленинградец или житель Еревана, никогда не бывавший за Уралом, все-таки чувствует Сибирь, да и все пространство Советского Союза и всего земного шара. Разве полеты Гагарина и Титова не открыли что-то новое в человечестве и в каждом человеке в смысле ощущения пространства?

Разве проект Программы не дает нам какие-то новые представления о пространстве, поскольку она знаменует его дальнейшее покорение?¹ Разве мы не замечаем, что человек, побывавший в Арктике или Антарктике, возвращается домой, поведя не только льды и пингинов, но только ощутив влияние низких температур, но и ощутив еще и влияние пространства? И разве не об этом мы пытаемся у него узнать, разве не об этом он пытается нам рассказать? Но дело-то в том, что мы еще не научились достаточно точно выражать свои чувства и ощущения.

Ученые уже предсказали нам, что пространство за пределами Земли

¹ В. И. Ленин. Сочинения, том 14, стр. 174.

изменит представления человека о времени, нарушит его обыденный счет лет и летосчисления, возраста всего живого.

А в наших сегодняшних представлениях и ощущениях пространства не кроется ли догадка, не говорит ли предчувствие того, иного мира, в котором «все не так», и прежде всего «не то» время, «не те» границы жизни человека от рождения до его смерти?

Кто же должен подметить в человеке уже сегодня его новые чувства, если не художественная литература?

И вот я думаю, что на Земле «экспериментальной базой» для познания пространства суши является Сибирь с ее тундрами и степями, с горными хребтами и обширными плато, с океаном лесов и болот. Но океаны эти — все-таки суша, а значит, обиталище человека, и, значит, где-где, а уж у себя дома, на Земле, нам нужно научиться понимать пространство.

Литература и здесь не откроет новых понятий, неведомых науке и вообще людям, потому что она почти всегда путешествие в известное; но все известное она заставляет видеть по-своему.

Итак, продолжая путешествие по Сибири, мы будем наблюдать ее пространство, а для географии пространство — это природа.

Повседневными в нашем обиходе стали такие слова, как «покорение природы», «преобразование природы», «охрана природы», «исследование Сибири». Если эти слова произносятся не только в смысле их проблемного значения, а в приложении к какому-то человеку, так мы сразу же об этом человеке приобретаем некоторое представление. Во всяком случае, это говорит нам о чем-то. Говорить-то говорит, а что же именно?

Конечно, не случайно в русской классике такое место занимает пейзаж, картины природы. Пейзажи Толстого, Тургенева, Гончарова — это вершины искусства. Но вот о чем я хотел бы сказать здесь: следует, мне кажется, отличать пейзаж от описания природы.

Пейзаж — это плоскость, картина, на фоне которой и под впечатлением которой находится герой произведения и, уж конечно, сам автор.

Описание природы (признаюсь, формулировка не очень удачная) — это та земная среда, в которую герой входит составной частью. Мне кажется, в советской литературе познание такой среды и в то же время приобщение к ней героя идет гораздо дальше, чем это было в нашей классике. Достаточно вспомнить Пришвина, Арсеньева, некоторые вещи Паустовского и Леонова. Так и должно быть: чем дальше человек продвигается в научном понимании природы, тем объемнее и многограннее становится у него восприятие природы, в том числе и эстетическое.

В советском человеке очень развито чувство своего общества; общество же — часть природы, оно развивается вместе с нею, под ее влиянием и самое природу преобразует. Достаточно прочесть проект Программы, чтобы в этом еще раз убедиться.

Наконец, имеет значение просто количественная сторона дела: гораздо большее число людей нынче имеет непосредственное и активное отношение к природе — это геологи, гидрологи, метеорологи, ботаники и многие другие.

Познание самого себя человек теперь уже прочно связывает с познанием окружающей его природы, сложнее становится в его представлении она, сложнее и он сам. Древние представляли, будто весь мир создан то ли из огня, то ли из воздуха, и в то же время только одним каким-то свойством они наделяли человека — делали его носителем зла или добра, красоты или мести и воплощали эти образы в мифы.

Но не будет ошибкой сказать, что чувство слияния с природой нынче у человека больше, сильнее, чем в те времена, когда он одухотворял деревья или горы. Ошибки не будет, но и поставить здесь точку тоже нельзя.

Чем больше человек постигает то, что он называет тайнами природы, тем в то же время он больше ощущает себя самого как существо исключительное, возвышающееся надо всем вокруг.

На первый взгляд может показаться, что чем более достоверными становятся представления человека о природе, чем больше эти представления унифицируются для всех, тем больше будут унифицироваться и его чувства, возбуждаемые природой.

Всем ведь, к примеру, известна тайна зеленого листа, открытая Тимирязевым, а значит, и чувства, которые вызывает у нас лес, казалось бы, должны быть более или менее одинаковыми. Однако этого не происходит, а происходит как раз наоборот: чем дальше, тем все меньше и меньше живописцы копируют лес; теперь уже Шишкин их не устраивает, и даже фотография ищет оригинального изображения леса хотя бы с помощью ракурса. Конечно, всякое изображение можно довести до нелепой абстракции, но не об этом речь. Речь идет о том, что подлинное понимание природы увеличивает возможности подлинной, не оторванной от действительности эстетики.

В частности, знания ничуть не исключают чувство удивления природой и даже ощущения ее таинственности. Вероятно, без этих чувств вообще не может быть художественного изображения природы — у того же Пришвина я всегда улавливал удивление, хотя он же для меня и великий знаток природы. Опять-таки по прежней аналогии: наши предки, по представлению которых Земля благополучно покоилась на спинах работяг-китов, вероятно, удивлялись природе гораздо меньше, чем мы.

Может быть, не имело бы смысла говорить обо всем этом публицистически, если бы в плане литературно-художественном тезис «человек и природа» был воплощен и зримо и весомо. Но в том-то и дело, что слова, о которых я уже упоминал — «преобразование природы», «охрана природы» и даже «любование природой», — когда они употребляются в художественных произведениях, очень часто звучат как некий шифр, эстетическое и даже логическое содержание которого далеко не раскрыто.

Мы пользуемся таким шифром в обиходе — это допустимо; но перед художественной литературой стоит задача: шифр раскрыть в современном его значении.

О тезисе «человек и природа» невозможно говорить во всех его значениях, тем более нельзя предусмотреть те жизненные ситуации, в которых человек с природой сталкивается. Но об одной из ситуаций я хотел бы сказать. Не потому, что она важнейшая, а просто руководствуясь собственными впечатлениями, вынесенными из северных поездок и чтения.

Это ситуация, когда современный человек становится один на один с природой, с той самой дикой и суровой, с которой так или иначе сосуществовали его дальние предки.

Чувство очень сложное само по себе, и оно еще дает простор фантазии писателя.

Своего современника лицом к лицу с природой я начинаю чувствовать не с Фенимора Купера, и даже не с более позднего Дж. Кэрвуда, и не с Киплинга, который совершенно мне чужд, а с Джека Лондона. Лондон мне, мальчишке-горожанину, показал, что цивилизованный человек — обыкновенный человек, а не какой-либо выдающийся ученый и путешественник, ничего не потерял для борьбы с природой и вступает

в эту борьбу смело и горячо. В этом своем искусстве Лондон был так же юн и жизнерадостен, как древний грек, и здоровое, отчасти просто азартное, но еще не уродливое начало, которое двигало его героями, на нем же и прекратило, кажется, свое существование. Может быть, я что-то просмотрел, но я затем очень долго не встречался больше с этими героями и считал их пропавшими без вести до тех пор, пока не познакомился с великолепным «Охотником» Дж. Олдриджа. Это было печальное свидание — я как будто оказался на похоронах лондонских героев.

Все же описания охоты белых господ с неграми-загонщиками на буйволов и тигров в джунглях Африки, Азии и Южной Америки — все они, за редким исключением, даже при наличии блестящей техники письма, не более чем древняя биология, изложенная модернизированным стилем.

Природа здесь превращается в некую лабораторию, а может быть, даже в морг, в котором писатель сначала изолирует своих героев от общества, потом изымает у них последние атрибуты цивилизации — винчестеры, термосы с кока-колы, фляжки с ромом и противозачаточные средства, — а затем анатомирует их, доказывая, что ни мужчины, ни женщины ничуть не изменились на протяжении веков. По крайней мере не изменились к лучшему, и цивилизация не пошла им впрок, она нужна только самому автору, чтобы писать в современном стиле и публиковаться в современных издательствах. «Путешествие на «Кон-Тики» и другие путешествия в том же роде меня в этой оценке не разуверяют, а убеждают. Убеждают в том, что когда в подобной ситуации за перо берутся не писатели, а непосредственные и непредвзятые участники событий, они остаются людьми в полном, а не только в биологическом значении этого слова, они — герои. Тем хуже для той литературы, которой подобные герои уже недоступны.

Однако вернусь к Сибири.

Очень странно и, я бы сказал, прискорбно мне, русскому человеку, признавать, что до революции гимназисты начальных классов и пригостишки бегали в Америку, а не в Сибирь. Но объяснить это нетрудно: Сибирь была каторгой, а кто же бежит в каторгу?

И вот в нынешней Сибири за многие годы как бы накопился огромный потенциал для писателя, который так или иначе ставит в своих произведениях этот вопрос: человек и природа. Лишь в небольшой степени этот потенциал разряжен повестями Гр. Федосеева, «Солью земли» Г. Маркова и рядом очерков. Но сам очеркист, я все-таки должен признать, что философское, эстетическое и вообще наиболее полное отражение эта тема должна, видимо, получить в полотне широком, вероятнее всего в романе. Ключом «так было», о котором я упоминал выше, не откроешь все кладовые; нужен и другой — «так могло быть». Наша литература художнически уже отразила многие социальные явления, многие положения марксизма. Она отразила такое явление, как борьбу классов. Но классовая борьба — процесс более преходящий, чем борьба человека с природой; одна из важнейших целей классовой борьбы в том и состоит, чтобы поставить человека в наиболее разумное и деятельное положение по отношению к природе.

Марксизм утверждает, что с ликвидацией классов кончается предыстория человечества и начинается его подлинная история, а по словам проекта Программы, каждый может видеть, как этот тезис осуществлен уже в нашей стране и как он продолжает развиваться.

«Коммунизм... — говорится в проекте Программы, — поднимает на огромную высоту господство людей над природой, дает возможность все больше и полнее управлять ее стихийными силами». Поэтому-то и хочется подумать над новыми отношениями между человеком и природой.

Но здесь мы только разведываем пути, которыми литература наша должна двигаться. В поисках художественных средств отражения этого марксистского тезиса, применительно к переменам, происходящим в географии нашей страны.

Выше я останавливался на элементарном случае, когда человек сталкивается с природой один на один. В нашей жизни это случай редкий, и даже когда он имеет место, все равно и в одиночке живет дух коллектива, его принципы и, я бы сказал, коллективное познание природы. Оказавшись один, советский человек мобилизует все самое значительное, чем он обладает, и этим самым значительно сказывается дух коллективизма.

Возможно, что в этот момент он чувствует коллектив даже сильнее и отчетливее, чем в то время, когда он был не один, был в коллективе. Это ясно видно, когда в экспедициях наблюдаешь за самым юным поколением исследователей природы — за научной и студенческой молодежью. Как свободно, деловито они говорят вечерами где-нибудь у костра о проблемах космоса, о расщеплении атомного ядра, о познании природы — обо всем том, что для нас, людей старшего поколения, то и дело представляется столько же реальным, сколько фантастическим. У них есть свои сомнения и свои поиски в науке, но ясно, что это сомнения и поиски уже будущего поколения ученых и страстных исследователей.

Если кто хочет послушать, как полусутоливо и в то же время так серьезно, вдумчиво и душевно говорят об этом юноши и девушки, я мог бы посоветовать прочесть совершенно непритязательные записки А. Ероховца в «Сибирских огнях» под названием «Тунгусское диво».

Речь в записках идет о самостоятельной экспедиции молодежи, которая вот уже много лет отправляется к месту падения знаменитого Тунгусского метеорита, чтобы установить, действительно это был метеорит или что-то другое, быть может, космический снаряд, посланный на Землю с другой планеты.

Говоря о природе Сибири, не минуешь проблем ее преобразования. И здесь вот о чем бы хотелось сказать: человеку должно быть свойственно понимать природу не только как объект покорения и преобразования, но и понимать ее такой, какова она есть, — ее закономерности.

Почему-то последнее отождествляется у нас с пассивным созерцанием природы, и, должно быть, потому наш активный литературный герой если он вступает в общение с природой, так обязательно по принципу: пришел — увидел — победил. Иначе он «не активен».

Между тем природа нередко жестоко мстит человеку за преобразования, которые он совершает, хотя на первых порах человек и добивается желаемых результатов. Классическими стали примеры заболачивания и засоления почв в результате орошения, примеры эрозии после распашки и многие другие. Дело представляется таким образом, что природа как бы сама намечает ту последовательность, в которой она может быть преобразована.

Вот, скажем, в Сибири намечается орошение Кулундинской степи. Орошение — самое сильнодействующее и самое дорогостоящее средство в арсенале других средств повышения урожайности. Между тем еще далеко не использованы такие элементарные приемы, как задержание снега и талых вод с помощью, например, микролиманов, создание лесных полос и просто-напросто введение определенной системы земледелия, включающей средства и приемы по овладению водным режимом почв.

Вот через эти-то первоначальные, наиболее доступные средства мы нередко перешагиваем, стремясь во что бы то ни стало прийти и тотчас победить, — иначе говоря, мы теряем ощущение природы такой, какова она есть, законов ее развития, ее сущности.

В Сибири грандиозны проблемы преобразования, но это значит, что и ошибки могут быть тоже поистине грандиозные. И когда речь заходит о том, чтобы повернуть воды Енисея и Оби в Аральское море, мы еще неясно представляем себе все последствия подобного преобразования. Мы их плохо представляем, а между тем сколько нашим братом, литератором, было уже пропето дифирамбов этому проекту! И все в силу грандиозности. А разве грандиозность исчерпывает все на свете проблемы? Я не против проекта, но против легкомысленного к нему отношения.

По крайней мере я не читал еще очерка или рассудительной и достаточно популярной убедительной статьи о всех последствиях, к которым может привести подпор Оби в районе Белогорья, а вслед за тем и Енисея, о том, как скажется это на термическом режиме Карского моря — этой «кухни погоды», — на климате Западной Сибири, что будут представлять собой затопленные пространства, причем затопленные местами на очень небольшую глубину, то есть, попросту говоря, заболоченные?

Говорят — зачем болота беречь? Это верно: сегодня мы их не используем, а через двадцать лет? Недра тоже далеко не используем сегодня — значит ли это, что они и в будущем не понадобятся нам? А лесные массивы, которые окажутся затопленными, ведь они используются нынче? Источники энергии будут все новые и новые, все более дешевые и эффективные, а вот заменители древесины и всех тех благ, которые дает человеку лес, найти не так-то просто. Кстати говоря, так ли велика окажется в балансе страны мощь той же ГЭС у Белогорья лет через пятнадцать — двадцать, когда она будет полностью построена, чтобы нынче вкладывать в нее огромные средства? Воды Оби должны быть переброшены на юг для орошения пустынь и возделывания сельскохозяйственных культур, прежде всего технических. Но ведь то же растительное волокно, например, все больше вытесняется волокном искусственным!

Я не дискутирую, меня тоже увлекают перспективы преобразования пустынь, проблема восстановления баланса Карского моря — все те цели, которые этот проект ставит. Я только хочу понять все эти и другие вопросы, а пока читаю статьи, в которых очень много знаков восклицательных, знаков же вопросительных и точек не хватает.

Природа — отнюдь не неиссякаемая кладовая и не скатерть-самобранка; если мы что-то берем от нее, что-то используем из ее ресурсов, мы обязательно сталкиваемся как бы с контръявлениями и процессами, которые затем последуют. Это неизбежно, и было бы нелепо заранее перед этим отступать. Но предвидеть необходимо, и одна из сторон всей той деятельности человека, которая называется у нас покорением природы, одна из сторон человеческой сущности вообще как раз и состоит в предвидении будущего. Чем дальше, тем больше эта сторона будет развиваться. Существуют природные зоны, в которых деятельность человека во многих отношениях как бы заранее предопределена: скажем, в пустынях необходимо орошение, а в заболоченных пространствах — осушение.

Но есть еще и зоны неустойчивого увлажнения, в которых природные условия сбалансированы как бы на острие ножа: подтолкнуть их в ту или другую сторону, простейшими и недорогими средствами изменить влажность почв всего на несколько процентов — и мы можем получить очень большой положительный эффект или всерьез просчитаться.

Вот где человек действительно должен быть провидцем, вот где люди самых различных специальностей должны найти общий язык и прийти к общему мнению! Различных специальностей — в том числе и литераторы, своими средствами убеждающие или разубеждающие, но в любом случае воспитывающие чувство предвидения. Можно возразить, что это

дело технических специалистов, а не литераторов — решать, что в народнохозяйственных проблемах верно, а что неверно.

Нет, это не так. Настало, должно быть, время, когда литератор, если он хочет выступать по проблемам преобразования природы, должен глубоко изучать материал, должен, может быть, специализироваться в той или иной области знаний, иначе его ошибки и дилетантство — еще раз повторю — могут обойтись народу слишком дорого.

Время для литературы — это прежде всего категория общественная.

Уже не раз приходилось мне слышать современную притчу о бессмертии: если измерять продолжительность жизни не годами, а событиями, мы все живем чуть ли не дольше Ильи Муромца, который почил, как говорили сказители, в возрасте что-то около девятист лет.

Жизнь определяется не от какого-то года рождения до года смерти, а от и до тех или иных событий, участником и свидетелем которых человек явился.

Для литературы это не только притча, но и ее действительность: любое художественное произведение обязательно деформирует реальное время, причем делает это не в едином для всего произведения масштабе, не создает «модели» времени, но деформирует его совершенно произвольно для каждой части произведения.

Годы жизни своих героев литературное произведение чаще всего сжимает до нескольких часов и даже минут, но может и мгновенное переживание или очень непродолжительный эпизод растянуть по своему усмотрению. Собственно, в этом свойстве литературы уже заключено возражение апологетам ее беспартийности, а по существу — беспринципности: деформация времени предполагает отбор автором событий, фактов, переживаний, а всякий отбор в свою очередь определяется точкой зрения, то есть принципом, и отрицает понятие безучастного «зеркального отображения».

Поэтому событийные, а не хронологические «от» и «до» имеют для нас гораздо большее значение.

В Сибири, где совхозы начинаются с распахки целины, города — с вырубки тайги, дороги — с маршрутов, которые прокладывают проводники, понятие «от» как бы отодвигается не то чтобы в прошлое — прошлым это нельзя назвать, — оно как бы чудесным образом раздвигает жизнь в ее настоящем. Это — свойство нынешней Сибири, его трудно найти еще где-нибудь столь же ярко выраженным.

Существует и еще одно значение «от», о котором хотелось бы сказать на примере большой науки.

Наука если и не революционна в той же мере, как и традиционна, то во всяком случае время от времени у нее возникает потребность начинать как бы сначала. При этом она ничуть не поступаетя предшествующими достижениями, но нарушает, если нужно, те традиции, в которых эти достижения были достигнуты. Для новых и еще более значительных достижений ей необходимы новые традиции. И вот она ломает прочно сложившиеся школы, направления — всю систему отношений, сложившихся между отдельными учеными.

Это стремление науки начинать с «чистого места» можно наблюдать в Академгородке под Новосибирском, который три года назад был заложен в густом лесу на берегу тогда еще будущего, а теперь уже существующего Обского моря.

Не думаю, что литература не нуждается в подобных решительных шагах, но — увы! — она не нашла для себя таких возможностей, и здесь ей есть чему поучиться у науки или, скажем, у театрального или музыкального искусства Сибири.

Заложить новое, более совершенное и разумное «от» — это уже подвиг и для отдельного человека, и для коллектива, и для целой отрасли знаний или искусства. И уже само собой разумеется, это и благодарный материал для любого литературного жанра.

Несколько слов о том, как представляется мне «до».

Когда люди переселяются из Москвы, Ленинграда или Харькова в Сибирь, они делают это, очевидно, не только ради того, чтобы что-то такое по-новому начать, и не ради того, чтобы преодолеть те или иные, пусть даже и весьма романтические, трудности (едва ли трудности при-влекают кого-либо сами по себе), а для того, чтобы достигнуть определенных результатов, которые в прежних условиях казались им недостижимыми. Человек хочет достигнуть какого-то «до» — совершить открытие на малообитаемой земле, построить сооружение, достигнуть успехов в воспитании других людей, наконец, воспитать и закалить собственный характер.

Мы часто упрощаем это стремление людей достигнуть того или иного результата, рассматривая его в двух совершенно обособленных друг от друга вариантах: вариант первый — человеком двигались сугубо личные, эгоистические соображения, например продвижения по службе; вариант второй — бескорыстное служение человека обществу, сопровождаемое отречением от собственной личности.

А между тем существует, вероятно, какой-то «общественный эгоизм» (или, может быть, надо подобрать другое слово), когда человек хочет добиться результата для общества, но сделать это хочет он, он сам. И дело не в том, что в обществе если не каждый хочет быть первым, так никто не хочет быть последним — хотя и этот элемент, вероятно, не стоит сбрасывать со счетов. Дело в личной потребности каждого служить обществу, служить идее, достигнуть в этом служении определенного результата и тем самым выразить себя перед другими, а затем и быть понятым этими другими, признанным ими.

Наконец, должно быть, на идейности отдельно взятого человека не могут не сказаться те начала, которые заложены в самом понятии «идея».

В. И. Ленин различал в этом понятии такие начала, как познание действительности и хотение — цель, которая возникает от познания: «Идея есть познание и стремление (хотение) человека»¹.

Чтобы человек был воодушевлен идеей строительства ГЭС где-то в тайге, в суровых условиях Севера, или чтобы он захотел осваивать целину, он должен познать ряд фактов и явлений природы, понять, что суровая природа столько же «опротивляется» ему, сколько идет ему навстречу, что ею уже в какой-то мере предначертаны и сооружение ГЭС и подъем целины.

Если же природа не уготовила для этого определенных условий, так мы не построим ГЭС и не поднимем целину без того, чтобы не нанести обществу ущерб материальный, а вслед за этим моральный. Мы будем жестоко разочарованы и наказаны природой.

Целесообразность идеи определяется объективными условиями.

Герои наши и в жизни и в литературе как раз гораздо реже расходятся между собой в той составной части идеи, которая выражает их хотение: все хотят создавать, все хотят преобразовывать природу, но вот в познании-то природы, в понимании того, что и в какой степени уготовлено ею нынче для дела рук человеческих, — в этом они расходятся гораздо чаще. Здесь речь идет о познании природы, но, вспомнив былые времена, можно сказать и по-другому: познание природы вещей.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, том 38, стр. 186.

В Сибири, где человек в невиданных масштабах преобразует природу, он и понимать ее должен глубже, точнее. А художественная литература никак не может оставаться в стороне от этой познавательной работы своего героя, от всего того, что мы называем проблемой произведения, посвященного преобразованию и покорению природы в самом высоком, значительном и сложном смысле этого слова. Это плоскость соприкосновения литературы с наукой, с техникой, с многогранной деятельностью ее героев.

В предыстории человечества отношения между людьми были прежде всего социальными, классовыми, они мешали человеку в его борьбе с природой.

В социалистическом обществе, с наступлением подлинной истории, на отношениях людей между собой особенно сильно сказываются их взгляды на все то, что мы называем природой вещей.

Сибирь и здесь — колоссальная лаборатория для писателя.

Здесь же лежит и один из ключей, с которым я подхожу к пониманию нашего творческого метода — социалистического реализма.

Идейного литературного произведения у нас не может быть при наличии в нем только одних желаний («хотений») его героев и, будем говорить прямо, одного только романтизма.

Такого произведения не может быть и при условии одного познания, одного реализма.

Вместе же оба эти начала — при наличии типичности их для нашего общества — составляют социалистический реализм, на основе которого возникает художественное произведение.

Опасения оказались не напрасными: о теме «Писатель и Сибирь» я сказал меньше, чем хотел, зато она увела меня к непредвиденным строкам, может быть — страницам. Но для писателей и особенно для журнальных давно ведь известно, что «важно иметь повод». В данном же случае «повод» имеется всеобъемлющий. Сколько раз вернемся еще мы, литераторы, к новой Программе, которая будет утверждена XXII съездом КПСС, связывая ее и с Сибирью и с любым из своих творческих замыслов, дум и чаяний!



НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВПЕРЕД

В. ЕМЕЛЬЯНОВ

*Председатель Государственного Комитета Совета Министров СССР
по использованию атомной энергии*

★

Мирный атом на службе коммунизма

«Коммунизм обеспечивает непрерывное развитие общественного производства и высокую производительность труда на основе быстрого научно-технического прогресса, вооружает человека самой совершенной и могущественной техникой, поднимает на огромную высоту господство людей над природой, дает возможность все больше и полнее управлять ее стихийными силами».

**Из проекта Программы
Коммунистической партии Советского Союза.**

В конце прошлого года в разговоре со мной один из американских ученых заявил, что следует объявить мораторий на использование атомной энергии не только для военных, но и для мирных целей — прекратить все дальнейшие исследования и отказаться от того, что уже открыто.

Почему? Почему им кажется, что надо остановить научный прогресс?

Да потому, что достижения науки в капиталистическом обществе прежде всего применяются для того, чтобы отодвинуть человечество назад.

Именно поэтому появилась боязнь научных открытий. И некоторые честные ученые капиталистических стран, оценивая возможности науки, в страхе от своих же собственных открытий, предлагают остановить работы и «закрыть» даже то, что уже открыто.

Один из известных физиков Запада сказал мне: «А не кажется ли вам, что атомная энергия пришла слишком рано и мы еще не готовы к тому, чтобы начать ее использовать? Я говорю о мирном использовании, — подчеркнул мой собеседник, — в военной области она оправданна».

Да! Они действительно не готовы к использованию величайшего достижения науки — капитализм завел их в тупик.

Но в нашей социалистической стране, неуклонно идущей к коммунизму, для практического применения этого великого завоевания человеческого разума открываются широчайшие перспективы.

«Прогресс науки и техники в условиях социалистической системы хозяйства, — говорится в проекте Программы КПСС, — позволяет наиболее эффективно использовать богатства и силы природы в интересах народа, открывать новые виды энергии и создавать новые материалы, разрабатывать методы воздействия на климатические условия, овладевать космическим пространством».

В этих условиях атомная энергия в свою очередь открывает новые грандиозные перспективы в деле создания материально-технической базы коммунизма.

Прошло немногим более двадцати лет, как было расщеплено ядро урана, а первая в мире атомная электростанция промышленного типа, построенная в нашей стране, насчитывает уже более семи лет. С помощью атомной энергии ледокол «Ленин» ломает льды в Северном Ледовитом океане. Энергия процессов деления тяжелых ядер — урана и плутония — вышла на просторы промышленного использования.

Атомная энергия — это в высшей степени концентрированная форма энергии. Один грамм урана 235 эквивалентен четырем — четырем с половиной тоннам каменного угля. Следовательно, атомное топливо очень легко транспортировать. При переходе на атомное топливо отпадает необходимость подчинять географическое размещение промышленности наличию на месте источников топлива. И поскольку атомное топливо легко доставить в любое место, открываются благоприятные перспективы для создания большой атомной энергетики.

Исследования различных путей преобразования энергии ядерных процессов деления, расчеты и испытания различных типов ядерных реакторов выявили несколько наиболее перспективных атомных конструкций.

В природном уране ядерно-активного, то есть делящегося урана содержится только немногим более семи десятых процента, а практически в ядерных процессах используется только четыре-пять десятых процента, остальной уран пока остается неиспользованным.

А можно ли его использовать?

Можно.

В любом атомном реакторе одновременно происходят два процесса: «горение», то есть распад ядер урана 235, и образование плутония. Плутоний — это тоже ядерное топливо. Плутоний образуется из урана 238. В обычных атомных реакторах на один килограмм «сгоревшего» урана 235 образуется до восьмисот пятидесяти граммов плутония. А можно ли больше произвести плутония? Да, безусловно. Это не только показано расчетами, но и проверено экспериментально.

В Советском Союзе по идее профессора А. И. Лейпунского создан несколько лет назад и успешно работает реактор на быстрых нейтронах. В этом реакторе на каждый килограмм сгоревшего урана 235 можно получить 1,4 килограмма и даже больше плутония из урана 238 — того урана, который в настоящее время не используется. Но в таких реакторах можно использовать не только весь неактивный уран и превратить его в плутоний, но вовлечь в использование также и торий, природные запасы которого огромны. Из тория можно получать ядерно-активный уран 233. Таким образом, реакторы на быстрых нейтронах решают проблему обеспечения большой энергетики топливом.

Расчеты показывают, что при расходе в год до тысячи тонн природного урана можно создать энергетику мощностью до ста миллионов киловатт. Это колоссально! А угля потребовалось бы в год для создания таких энергетических мощностей до трехсот миллионов тонн. И этот уголь надо доставить, а потом еще убрать миллионы тонн золы.

Ядерные процессы позволяют получать тепловую энергию при высоких температурах. Это создает предпосылки для прямого преобразования тепла в электричество с высоким коэффициентом полезного действия.

Над этими проблемами работают наши ученые. Но многих советских ученых привлекают в последнее время новые ядерные процессы. Энергию можно получать не только путем деления тяжелых ядер, но также и за счет соединения, синтеза легких ядер, и в частности ядер водорода.

Среди физиков уже ведутся жаркие дискуссии о том, что лучше сжигать — горы или моря? Другими словами, надо ли развивать энер-

гетику, используя уран, находящийся в горных породах, или же используя тяжелый водород, содержащийся в водах Мирового океана.

Эти научные диспуты напоминают те, что происходили на заре зарождения воздухоплавания между сторонниками летательных аппаратов тяжелее воздуха и легче воздуха.

В наши дни наиболее изучен и достижим синтез тяжелого и сверхтяжелого водорода — дейтерия и трития. Чтобы практически осуществить синтез ядер тяжелого водорода, управлять этим процессом и получать энергии больше, чем ее расходуется на осуществление синтеза, необходимо ядра тяжелого водорода нагреть до температуры свыше ста миллионов градусов и длительное время удерживать их при этой температуре.

Над этой проблемой работают советские ученые, американцы, англичане, французы. Пока удается достигать температуры до пятидесяти миллионов градусов.

При работах по ядерному синтезу приходится иметь дело с веществом в новом его состоянии. До недавнего времени мы знали три состояния вещества: твердое, жидкое и газообразное. Сейчас появилось четвертое состояние — плазма.

Плазма представляет собой особое состояние вещества, при котором электроны оторваны от «своих» ядер и ядра вместе с электронами находятся в беспорядочном движении, не образуя обычных атомных систем, в которых ядра и электроны взаимно связаны.

Пока работы по управляемому ядерному синтезу находятся в стенах лабораторий. Нет еще ни одной даже полупромышленной установки, которая продемонстрировала бы, что задача в научном отношении решена и речь идет о создании промышленного образца. Правда, за последнее время появилось много новых идей по методам нагрева плазмы и удержания ее в нагретом состоянии. Создано много разнообразных хитроумных аппаратов для осуществления процессов термоядерного синтеза.

Почему ядерный синтез привлекает к себе такое внимание? Что сулит решение этой проблемы?

Если будет отыскан путь к управлению процессами ядерного синтеза, человечество на необозримое число лет обеспечит все потребности в энергии.

При ядерном синтезе не образуется радиоактивных осколков, в то время как процессы деления ядра создают осколочную радиоактивность. Радиоактивные отходы уже в наше время, когда атомная энергетика только начинает развиваться, вызывают большую тревогу. От того, насколько успешно разрешится проблема безопасного удаления отходов, будут зависеть темпы строительства атомных электростанций.

Но и управляемые термоядерные процессы, несмотря на всю свою привлекательность, не являются все же последним словом ядерной энергетике. Даже при таких процессах используется только небольшая часть энергии, заключенная в ядрах. Использование энергии ядерных процессов можно значительно увеличить.

Исследования последнего времени позволили открыть много новых ядерных частиц. Все в большем количестве обнаруживаются антиподы ядерных частиц, так называемые античастицы. Это антипротон, антинейтрон и другие. Следовательно, можно ожидать, что будут найдены пути к созданию «антивещества», то есть элементов, имеющих ядра с отрицательным электрическим зарядом, а оболочки из позитронов, то есть с положительно заряженными частицами. Взаимодействие вещества с антивеществом приведет к полному освобождению энергии.

Теоретические соображения не отвергают возможности таких процессов, а расчеты показывают, что при взаимодействии вещества с антивеществом, или, иначе говоря, при процессах аннигиляции, выделяется вся энергия, заключенная в ядрах. Эти процессы позволяют получать в тысячу раз больше энергии по сравнению с той, которую получают при ядерном делении или ядерном синтезе.

Но достижения ядерной физики заключаются не только в том, что наука открыла пути к новым, неисчерпаемым источникам энергии. Познав строение вещества, изучая структуру атомных ядер, мы научились сами создавать новые элементы, получать самые разнообразные радиоактивные изотопы. Получение различных радиоактивных изотопов создало принципиально новые возможности для проведения таких исследований, о которых нельзя было ранее и помышлять. Создана возможность метить атомы. Эти меченые атомы служат ученым своего рода нитью Ариадны в сложном лабиринте современных научных исследований.

До использования в исследованиях радиоактивных изотопов ученых, как правило, знал начальную стадию исследуемого им процесса, он ясно представлял, с чего начинался процесс, ему был известен и конечный продукт. Но он не знал, через какие стадии проходят реакции, через какие станции и полустанки идет сложный путь тех или иных процессов. Он мог только строить предположения о них. Радиоактивные изотопы открыли глаза на многое, доселе недоступное для исследования, и обо многом изменили наши представления.

Области применения радиоактивных изотопов все увеличиваются. В медицинской практике с их помощью точно диагностируют заболевания и ведут лечение, в металлургии контролируют толщину прокатываемого листа или ленты, в машиностроении устанавливают износ деталей машин и инструмента. При помощи изотопов нефтяники открывают нефтеносные пласты, гидрогеологи точно определяют течение подземных рек, ирригаторы могут управлять системой орошения полей. Трудно найти в наше время такую область, где бы не применялись радиоактивные изотопы.

Часто спрашивают: какие наиболее крупные задачи в области ядерной физики стоят в настоящее время перед советской наукой?

Интерес к проблемам ядерной физики понятен. Открытия последнего времени коренным образом изменили наши представления о многом, что казалось нам ясным и легко объяснимым. Было все очень просто: атом состоит из ядра и окружающих его электронов, ядро — из протона и нейтрона. От простого элемента водорода, в ядре которого всего один протон, вокруг которого вращается один электрон, мы могли легко пройти по всей таблице Менделеева, добавляя количество протонов и нейтронов в ядрах, соответственно увеличивая на орбите количество электронов.

Так было. Но этой простой картины строения атома больше нет. Нам уже известно более тридцати частиц, содержащихся в ядре. Ядро — это уже не простая конструкция из двух повторяющихся частиц. В этом сложном микромире происходят процессы возникновения одних частиц и разрушения других. Ядерные процессы совершаются в ничтожно малый промежуток времени, исчисляемый в миллионные доли секунды. Сам протон, который еще несколько лет назад называли элементарной частицей, оказывается отнюдь не элементарным, не простым. Уже сейчас установлено, что протон состоит из двух частей — ядра и мезонов, которые, подобно облаку, окружают этот «кern». Что такое «кern» — еще неизвестно; это пока только наименование, а содержание его еще не раскрыто. Эти новые данные о строении атомных ядер в корне меняют

установившиеся у нас представления. Структура ядра вовсе не такова, какой мы привыкли ее считать.

Как же сделаны были эти открытия и к каким последствиям они ведут?

Надо помнить, что огромное большинство вновь открытых ядерных частиц имеет короткую жизнь. Некоторые из них живут всего одну сто-миллионную долю секунды, а может быть, имеются частицы с еще более короткой жизнью. С дальнейшим совершенствованием экспериментальной техники перед нами раскроется еще более сложный мир — сложный своей простотой. В задачу ученого входит изучение «биографии» такой частицы, изучение ее «рождения», «жизненного пути» и тех событий, которые происходят на этом коротком пути.

А это вызывает необходимость разработать такую технику регистрации, наблюдения и измерения частиц, их связи, их взаимодействия, о которой еще десятилетие назад никто и не помышлял.

Полвека назад было замечено, что из космоса идет неведомое излучение — космические лучи. Что это за лучи, как они зародились? Над этим работали отдельные ученые немногих стран. Было даже мнение, что это излучение идет из глубин Земли, а не из космического пространства.

Начав с изучения космических лучей, исследователи пришли к необходимости воссоздать эти процессы на земле, в лабораторных условиях. Началось со строительства ускорителей для получения ускоренных частиц и исследования процессов взаимодействия этих частиц с ядрами. Мощность ускорителей росла, достигая огромных величин.

Космическое излучение представляло интерес и само по себе и как средство воздействия на материю, ее познания, изучения строения атома. В наше время космическое излучение само по себе представляет огромный и не только теоретический, но и практический интерес. Человек вошел в космос — необходимо знать космические просторы так же, как мы знаем Землю. Для вождения космических кораблей необходимо знать все, с чем встретятся космонавты; так же, как команда морского корабля знает море — его течение, рифы и мели, — так и для космонавта необходимо все знать о космосе. Физика ныне сомкнулась с астрофизикой.

Есть такой элемент — технеций. В таблице Менделеева он до недавнего времени входил за № 43 — имени у него не было. Элемент № 43 не был обнаружен на Земле, и недаром он назван технецием — его создали искусственно, технически. Впервые он был получен путем бомбардировки нейтронами и дейтронами молибдена, а затем был открыт на Солнце и на молодых звездах. Теперь его в большом количестве получают при переработке тепловыделяющих элементов атомных реакторов. Он содержится в радиоактивных отходах производства плутония. На каждый килограмм плутония образуется двадцать пять граммов технеция.

За последние двадцать лет таблица Менделеева значительно удлинилась. В ней уже создано искусственно одиннадцать элементов. Есть мнение, что 104-й элемент открывает новый ряд элементов. Они должны обладать новыми свойствами. Какими? Встретятся ли среди них элементы с большим периодом жизни, ведь между ураном и плутонием находится коротко живущий нептуний 239, он живет всего 2,33 дня. Все элементы, стоящие в таблице за плутонием, живут и того меньше. Некоторые из них — менее секунды. Ну, а может быть, дальше, за 103-м элементом, есть какие-то долгоживущие? Исследования в этой области не только расширят наши представления о строении материи, но позволят по-новому судить и о строении вселенной. Пути из микромира ведут в космос, а из космоса — в микромир.

Человечество вступило ныне в эпоху атомной энергии и покорения космического пространства. В одной шеренге идут ученые, познающие

тайны строения микромира и тайны космоса. Нам все нужно знать, чтобы на прочной основе научной теории и глубоких научных исследований сознательно управлять природой. У нас для этого создаются все необходимые экспериментальные средства. Для того чтобы познать строение атомного ядра, строятся ускорители ядерных частиц. Самый мощный из всех ускорителей в мире сооружается в нашей стране. Он рассчитан на энергию до семидесяти миллиардов электрон-вольт. Это гигантское сооружение.

До недавнего времени считалось, что физики работают с приборами, и первые ускорители также называли приборами. Но вряд ли привычное представление может подойти к действующему уже сейчас в Дубне ускорителю на десять миллиардов электрон-вольт — ведь вес магнита этого «прибора» достигает тридцати шести тысяч тонн, а вес катушек электромагнита около шестисот тонн! Диаметр этого дубненского ускорителя составляет около пятидесяти шести метров. А диаметр строящегося ускорителя, рассчитанного на семьдесят миллиардов электрон-вольт, достигнет пятисот метров, хотя вес его магнита будет относительно меньше и составит несколько более двадцати тысяч тонн — просто мы научились находить более экономные решения.

В этих гигантских сооружениях ядерные частицы будут приобретать огромные скорости, и пучок ускоренных частиц будет бомбардировать атомные ядра. В камерах, наполненных жидким водородом, потоки образующихся новых ядерных частиц будут улавливаться и исследоваться. Эти камеры, наполненные жидким водородом, также представляют собой сложнейшие сооружения.

Экспериментальная техника исследования процессов ядерного взаимодействия сложна и скрупулезна. Но не менее сложна техника создания новых элементов. В наше время искусственный элемент плутоний производится в промышленном масштабе, но плутоний готовится из урана. Достаточно в природный уран 238 добавить один нейтрон — и образуется ядро плутония. Плутоний—94-й элемент. В природе последним — 92-м — является уран.

Технологией получения плутония мы овладели практически и создали промышленные методы его производства. Ну, а как создать 102-й, 103-й, 104-й и прочие элементы?

Для того чтобы произвести элемент с высшим номером, необходимо иметь элементы номером ниже, но их нелегко готовить и у некоторых из них очень короткая жизнь.

А нельзя ли здесь применить «блочное» строительство? Взять такие элементы, которые имеются в достаточном количестве, и вводить в ядро не один нейтрон, а сразу несколько частиц, нейтроны и протоны? Такой путь возможен, хотя он и очень сложен. Для этого необходимо иметь специальные ускорители, позволяющие ускорять не протоны или электроны, а комплекс ядерных частиц — ионы. Такой ускоритель для многозарядных ионов создан в настоящее время в Дубне.

При создании новых частиц важно ускорять ионы до такой энергии, чтобы она была достаточна для преодоления сил отталкивания. Но если ионы будут обладать очень большой энергией, они могут развалить ядро, расколоть его, и тогда вместо нового тяжелого элемента будут получены осколки, то есть элементы, уже знакомые нам из таблицы Менделеева, только эти осколки будут радиоактивны.

Все конструкции ускорителей основаны на том, что ускоряются ядерные частицы: протоны, электроны или ионы. Они летят к неподвижной цели — мишени — и бомбардируют ее. Но будет значительно больший эффект от столкновения, если не только ядро к мишени, но и мишень

к ядру будет двигаться с такой же скоростью. Вот тут-то и зародилась идея создания ускорителя на встречных пучках.

Что это такое?

Представим себе два ускорителя в кольцевой камере, каждый из которых разгоняет частицы. Эти ускорители сближены так, что два кольца образовали восьмерку, а ускоренные в каждом кольцевом канале пучки частиц направлены навстречу друг другу, при столкновении таких частиц их энергия будет во много раз выше энергии каждого пучка частиц в отдельности. Этот принцип ускорения также разрабатывается советскими учеными. Сооружение таких ускорителей позволит еще глубже проникнуть в тайны процессов, которые совершаются при очень высоких энергиях взаимодействия ядерных частиц.

Все эти исследования раскрывают новые «секреты» строения материи и дадут в руки советского народа новые могучие средства, увеличивающие его власть над природой.

Социализм плюс химизация

(Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии Л. А. Костандовым)

«Одна из крупнейших задач — всемерное развитие химической промышленности, полное использование во всех отраслях народного хозяйства достижений современной химии, в огромной степени расширяющей возможности роста народного богатства, выпуска новых, более совершенных и дешевых средств производства и предметов народного потребления».

Из проекта Программы
Коммунистической партии Советского Союза.

Миллионы людей внимательно вчитываются в каждую строку проекта Программы КПСС: через несколько лет этим строкам предстоит стать нашей действительностью.

В действительность воплотятся и строки, посвященные развитию химической промышленности.

Мы уже привыкли за последние годы, что всякий разговор о современной химии начинается с полимеров. А часто на этом и заканчивается. Полимеры — тема испытанная. «Кирпичики», «цепочки», эффектный рассказ о всевозможных заменителях — существует уже целый набор готовых образов, сравнений, журналистских приемов, при помощи которых можно описать труднодоступные для непосвященного вещи. Но химия — это не только полимеры; это и мыло и ракетное топливо, это и удобрения и лекарства, это и духи и красители.

В наши дни химия вышла за пределы узкой области химической промышленности. Она властно вторглась в самые различные сферы производства, породив новое технологическое понятие — химизацию. Химизация промышленности — это кислородное дутье, экономящее электроэнергию и ценные легирующие добавки; химизация сельского хозяйства — это гербициды, разбрызгиваемые с самолета и избавляющие колхозников от изнурительной прополки сорняков; химизация быта — это моющие вещества вместо утомительной стирки. Химизация вообще — это экономия средств, облегчение труда и в конечном счете ускорение технического прогресса.

Химическая промышленность 1961 года представляет по существу прочный фундамент будущей химии. Чтобы говорить о химии будущего,

нужно сегодняшнюю химию умножить на поправочный коэффициент и прибавить к этому еще некоторое неизвестное — те новые области промышленности, которые рождаются завтра, созданные трудами ученых.

А так как будущее большей частью выражается у нас конкретными цифрами, мы попросили первого заместителя председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии, Леонида Аркадьевича Костандова, раскрыть, расшифровать их. Отыскивая в начале беседы то главное направление, по которому легче было бы вести читателей к горизонтам нашей химии, указанным в проекте Программы, мы рассудили так: какая характерная черта коммунизма? Изобилие. Так вот что может дать химия для этого изобилия?

С этого Леонид Аркадьевич и начал.

— Прежде всего поговорим о земледелии. Общеизвестны мрачные предсказания Мальтуса, предрекавшего человечеству голодную смерть, нехватку земли и снижение плодородия. Теперь нам не приходят в голову подобные сомнения: наука, в частности химическая, в состоянии уже сегодня удовлетворить очень многие потребности человечества. Еще более расширятся эти возможности в будущем; в наших планах создания материально-технической базы коммунизма мы предполагаем сделать человека вообще независимым от природы, сделать его настоящим властелином планеты. И в выполнении этой, на первый взгляд фантастической, но вполне реальной задачи возможности химии безграничны.

Сейчас в нашей стране на одного человека приходится что-то около пятисот килограммов зерна (включая сюда и зерно, необходимое людям, чтобы прокормить разводимых ими животных). Мы ставим своей целью — получать на каждого тонну. Так вот, половину этого колоссального прироста обеспечит химия. Каким путем? Путем применения в земледелии целого комплекса средств: удобрений, ядохимикатов, ростовых веществ, структурирования почв.

Конечно, удобрения — не открытие; их применяли и раньше, но недостаточно — земля не успевала накопить в себе силы, чтобы прокормить следующий урожай. Скоро мы сможем вносить больше минеральных удобрений — наши сырьевые запасы для их производства огромны.

Ядохимикаты — мощнейшее оружие агрохимии — не только повысят урожай; они помогут уменьшить затраты труда на их выращивание. Так, например, одни лишь гербициды — вещества, уничтожающие сорняки, — снизят затраты труда в десять — пятнадцать раз. А мы располагаем большим выбором ядохимикатов: инсектициды — уничтожающие насекомых-вредителей, дефолианты — избавляющие хлопчатник от листьев, фунгициды — поражающие грибковых вредителей.

Кстати, фунгициды, которыми занимается ныне один из крупнейших в стране институтов по созданию инсектицидов и фунгицидов — НИУИФ, — лет тридцать назад назывался на одну букву короче. В его названии отсутствовало именно слово «фунгициды». Казалось бы, одна буква! Но за ней история целого направления химической науки и промышленности. И кто знает, быть может, лет через десять или двадцать в названии некоторых наших институтов появятся новые буквы — символы новых побед нашей науки...

Очень перспективны для развития сельского хозяйства и ростовые вещества. Они не только ускоряют сам по себе рост растений, они тем самым увеличивают эффективность удобрений.

Структурирование почв — совершенно новое направление агрохимической науки, но и оно очень перспективно. Синтетические смолы помогают нам создавать необходимые структуры почв, а это значит, что в

таких почвах будет задерживаться драгоценная влага. Можно представить, что это значит для засушливых районов.

Не надо думать, что можно обойтись на полях одной химией. Механизация была и остается важнейшим фактором подъема земледелия; но химия делает то, чего механизация дать не в состоянии. Механизация и химизация — вот две линии технического прогресса в сегодняшнем и завтрашнем земледелии.

Если перевести будущие заслуги химии в сельском хозяйстве на деловой язык цифр, они будут выглядеть очень внушительно: себестоимость сельскохозяйственных продуктов снизится за счет химизации земледелия не менее чем на двадцать пять процентов — станет на четверть дешевле. Только по зерновым культурам химия позволит увеличить урожайность в два—два с половиной раза. И это еще далеко не предел. Мы, химики, ставим своей задачей к 1975—1980 годам полностью обеспечить сельское хозяйство удобрениями и защитными средствами, и мы сделаем это. Наши урожаи не должны зависеть от погоды, химия в состоянии раскрепостить нас от этой извечной зависимости. Уже теперь искусственное вызывание дождей или их задержание не представляет научной проблемы: существуют физические и химические методы, которые позволяют это сделать в случае необходимости, и вопрос использования этих возможностей — вопрос уже не технический, а экономический.

Через некоторое время — сейчас об этом уже можно говорить с полной уверенностью — химия позволит сократить посевные площади за счет роста урожайности. И вместо мрачных предсказаний Мальтуса, вместо обещанного голода — изобилие зерна при сокращении посевных площадей. А земля, которая освободится, будет превращена в сады. И тогда то, что теперь еще служит предметом второй необходимости, станет в каждой семье такой же обязательной пищей, как сегодня хлеб.

В проекте Программы говорится о быстром росте предметов народного потребления. В этом росте большой вклад должна сделать химия полимеров.

У нас часто называют полимеры заменителями металла, тканей, дерева. Это неверное, даже обидное для полимеров прозвище. Они гораздо больше, чем заменители. Скорее природные материалы, металлы или дерево, можно сегодня называть заменителями полимеров — такие уникальные свойства придает им современная химия.

Невозможно хорошо одеть всех людей, пользуясь лишь тканями из природных волокон, — не хватит ни шерсти, ни хлопка. Чтобы полностью обеспечить человека одеждой, нужно на каждого иметь 50—60 квадратных метров ткани. Так вот, не меньше половины всей потребности страны в текстильных материалах может обеспечить химия. Причем пятьдесят процентов — это минимальная цифра; если будет нужно, химия в состоянии дать и больше.

Но дело не только в том, что можно будет выпускать синтетические ткани практически в неограниченном количестве в отличие от натуральных; эти ткани часто обладают таким комплексом свойств, которых у натуральных вообще не может быть. И эти свойства химия в состоянии менять в самых широких пределах.

Уже широко известно такое синтетическое волокно, как нитрон. Знакомы и изделия из него: легкие, теплые пушистые шубки. Нитрон прекрасно сохраняет тепло, очень прочен, устойчив против влажности и света. Эти качества порождают для него еще одно применение: не только шубки, но также брезенты и палатки. А что нитрон заменяет? В основном — шерсть.

С другим новым советским волокном — лавсаном потребитель тоже

получил возможность познакомиться: наша промышленность уже начала его выпускать. Применение этого волокна очень широко и разнообразно — от трикотажных изделий и шерстяных тканей до войлока. Соответственно велики и заменяющие способности лавсана: могут постепенно вытесняться шерсть, шелк, хлопок.

Кстати говоря, химики создали сейчас такие текстильные материалы, которые вообще ничего не заменяют, — у них просто не было предшественников. Это — нетканые материалы. Ведь сейчас каждое волокно, в том числе и синтетическое, чтобы превратить в изделие, нужно сначала соткать. Это трудоемкий процесс. А бестканым методом можно получить ткань прямо из волокна — либо склеиванием, либо прошиванием. Не говоря уже о том, что при этом нет отходов производства, скорость изготовления тканей возрастает в несколько десятков раз.

Недавно химики создали еще один заменитель хлопка — винол. Широкодоступная сырьевая база сделала это волокно очень перспективным.

В проекте Программы партии сырьевой базе химической промышленности уделено важное место. Сырье — основа основ любой промышленности, а для химиков этот вопрос особо чувствительный, потому что при тех темпах, которыми развивается наша химия, сырьевая база неизбежно становится узким местом. Один качественный этап в производстве полимеров химии уже прошли: они сумели перестроить пути синтеза и вести его не на основе пищевого сырья, а на основе нефти, угля, газа. Это большая победа...

Но может возникнуть вопрос: если так широко использовать нефть, газ и уголь для производства полимеров, то не станем ли мы испытывать нехватку топлива? Ведь уголь, нефть, газ — это прежде всего топливо. Напрасная тревога: одно другому не мешает. Химия создает очень экономично; даже к 1965 году использование газов для синтеза не будет превышать трех-четырёх процентов их общей добычи. Разве это много? Ну а кроме того, в проекте Программы ясно сказано, что пора более интенсивно переходить к использованию новых источников энергии — атомной энергии, энергии солнца, а нефть и газ использовать преимущественно как химическое сырье. Конечно, нужны и тепловые станции. Но и здесь можно расходовать топливо по-хозяйски. Сейчас газ сжигают, чтобы получить пар, который будет вращать турбины. А завтра этот газ мы будем сжигать так, чтобы не только вращать турбины, но и использовать затем — после турбины — продукты его горения для синтеза химических продуктов. Это называется комплексным энергетическим использованием топлива...

Наша промышленность сейчас вступает в бурный процесс химизации. Рассказывать об этом можно очень много. Важно понять смысл этого процесса. А смысл вот в чем.

Если обрабатывать, например, «зеленое золото» нашей страны — древесину — механическим способом, две трети ее массы пропадают зря. Химические методы позволяют использовать ее целиком, без остатка, вместе с отходами, для производства таких важнейших продуктов, как целлюлоза, спирт, бумага, искусственное волокно, пластмассы, скипидар, уксусная кислота.

Если в строительстве вместо пиломатериалов, кирпича, стали и цветных металлов применять пластмассу, общая стоимость строительства за семилетку снизится более чем на десять миллиардов рублей.

Если в кабельной промышленности дефицитный и дорогой свинец, которым обкладывают кабель, заменить полиэтиленом или полихлорвинилом, за семь лет государство сэкономит восемь миллиардов рублей. Каждая тысяча тонн полихлорвинилового или полиэтиленового пласти-

ката сберегает шесть тысяч тонн свинца, семьсот шестьдесят метров хлопчатобумажной ткани, тридцать тонн пряжи и шелковых нитей. Вот что означает химизация!

Замена металлических форм для литья черных и цветных сплавов формами, изготовленными на основе эпоксидных смол, снижает трудоемкость примерно в семь раз и себестоимость в шесть-семь раз. Применение кремнеорганической изоляции в двигателях морских судов повышает их мощность, не увеличивая веса, на тридцать—тридцать пять процентов. В технике использование каждой тонны синтетического волокна высвобождает две-три тонны натуральных волокон, которые можно использовать для выпуска товаров широкого потребления. Вот что такое химизация!

Если подошвы, которые выпускаются сейчас из синтетических материалов, делать, как раньше, из натуральной кожи, нужно было бы каждый год забивать двенадцать миллионов голов крупного рогатого скота. Искусственный мех, изготовленный из капрона, служит в четыре раза дольше, а стоимость сырья, из которого он сделан, в четыре раза меньше. Вот что такое химизация!

Ну и, наконец, без применения синтетической резины, смазочных масел, пластмасс, высококачественных моторных топлив невозможно развитие механизации, автоматизации и электрификации производственных процессов — этих трех китов современного технического прогресса.

— В небольшом разговоре трудно охватить все направления развития химической промышленности, указанные проектом Программы партии,— закончил нашу беседу Л. А. Костандов.— Я утешаю себя тем,— добавил он,— что скоро, очень скоро все советские люди познакомятся с ними, и уже не в беседах с химиками, а воочию. Они увидят плоды этого развития собственными глазами.

Беседе записал В. АЗЕРНИКОВ.

На ближних подступах...

(Беседа с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению П. Д. Бородиным)

«Автоматизация и комплексная механизация служат материальной основой для постепенного перерастания социалистического труда в труд коммунистический».

**Из проекта Программы
Коммунистической партии Советского Союза.**

Электронный мозг работает безупречно. Он мгновенно анализирует ситуацию и мгновенно отдает команду исполнительным механизмам. Из сотен возможных комбинаций с поразительной быстротой и точностью избирается одна-единственная — самая рациональная. Производственный процесс должен идти непрерывно. Простой оборудования недопустимы, и электронный диспетчер все время шлет свои приказы цехам — каждому механизму. Машина знает абсолютно все: и на каких режимах следует вести обработку деталей, и когда наступит срок ремонта агрегатов автоматических линий, и сколько заготовок скопилось в складской ячейке. Вспыхивают и гаснут разноцветные лампочки на щитах, загораются световые табло...

Человек ходит от щита к щиту, закладывая в приемники перфора-

ционную карту с программой, по которой должны действовать механизмы. Его обязанности в этом машинном зале несложны. Принимать информацию от машины, следить, чтобы работали все ее узлы, периодически менять перфокарты. Он оператор вычислительного центра ГПЗ-1 Московского подшипникового завода...

Это одна из реальных картин самого недалекого будущего, которая возникает в рассказе первого заместителя председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по машиностроению и автоматизации Павла Дмитриевича Бородина.

На ГПЗ-1 пока еще нет вычислительного центра, еще в плановом и производственном отделах потрескивают обычные арифмометры, еще заводские конструкторы, вооружась обычными логарифмическими линейками, ведут свои сложные расчеты и сетуют на дедовский способ ведения этих расчетов. Все это еще так. Но только пока. Потому что группа инженеров ГПЗ, рассказывает П. Д. Бородин, недавно докладывала в Госкомитете о работах, которые в ближайшие годы буквально преобразят завод. Они рассказывали о своих планах комплексной механизации и автоматизации, советовались с работниками Комитета.

— Интересный был разговор,— говорит П. Д. Бородин,— интересный и предметный. Кое-что уже сделано. Понятно, это еще поисковые работы, но главное — начало положено. На заводе будет создан вычислительный центр, который сможет управлять всем производством. Кроме главного вычислительного центра, начинается также и проектирование вычислительных подцентров. Созданные в каждом цехе, они будут питаться от главного центра, принимать его команды и в свою очередь питать его внутрицеховой информацией.

Правда, пока еще такие работы ведутся всего только на двух десятках предприятий. Это, так сказать, первенцы автоматизации. Образцово-показательные. На них мы будем учиться, будем отрабатывать отдельные системы, с тем чтобы впоследствии широко внедрить их по всей стране. В автоматизации управления производством еще немало белых пятен, поясняет П. Д. Бородин. Поэтому нельзя сразу охватить большое число предприятий. Двух десятков крупнейших заводов в различных отраслях производства вполне достаточно для первого этапа работ.

Особое внимание Комитет уделяет вопросам автоматизации управления производством. Ведь в сфере управления — например, на машиностроительных заводах — занято около тридцати процентов персонала. Это кладовщики, диспетчеры, снабженцы, плановики... Счетно-решающие устройства, электронно-вычислительные машины значительно облегчат их труд, помогут быстро решать вопросы, на которые сейчас приходится тратить массу времени...

Работы по комплексной механизации и автоматизации производства на ГПЗ-1, ЗИЛе, «Фрезере» и других занимают в планах Госкомитета всего несколько строчек. Но в этих строчках огромный смысл, огромное содержание.

Эти работы — одно из мероприятий по выполнению задач, поставленных Программой партии. Речь идет о подлинной революции, охватывающей целые отрасли нашей промышленности. Мало того, что в ближайшие годы намечено коренным образом изменить самые средства производства. Произойдут крупнейшие перемены в области человеческих отношений. Сегодняшний плановик, крутящий ручку арифмометра, завтра должен перевооружиться. Он должен будет постичь законы кибернетики, усвоить сложную систему программирования.

Чтобы проделать путь от мотыги к трактору, понадобились десятилетия. Путь от арифмометра к управляющей электронно-вычислитель-

ной машине предстоит пройти всего за несколько лет. И Госкомитет по машиностроению и автоматизации вместе с другими ведомствами и исследовательскими центрами ведет кропотливую подготовку к этой подлинно промышленной революции.

План предстоящих работ обширен. Сейчас особенно важно наметить главные направления движения, главные проблемы современного машиностроения. Проблем бесконечное множество. Из них нужно отобрать наиважнейшие. В Госкомитете сейчас заняты составлением генерального плана действий. Он будет готов к концу года. И сотни институтов, конструкторских бюро, заводов примутся выполнять задачи, поставленные Программой партии.

— Какие же главные направления уже определились? Что намечается сделать, кроме непосредственной автоматизации и механизации производства?

— Многое, — отвечает П. Д. Бородин. — Например, мы считаем необходимым изменить самую структуру производства. Для быстреего осуществления задач, поставленных партией, нужна реорганизация промышленности. Заводы-универсалы, заводы, где создают машину целиком, начиная от заготовительных операций и кончая сборкой, нецелесообразны. Наши специалисты производили приближенные подсчеты, и оказалось, что около семидесяти процентов резервов таится именно здесь. Семьдесят процентов! Как же привести их в действие? А вот как. Нужно на базе заводов-универсалов создать заводы специализированные: по производству деталей, узлов, по сборке. Это облегчит решение сразу нескольких проблем. В том числе и проблемы автоматизации. Разумеется, на подобную реорганизацию потребуются весьма внушительные затраты, но они окупятся сторицей в самые короткие сроки. Эту проблему мы считаем одной из важнейших общегосударственных проблем. От ее успешного решения зависит многое.

Проблема номер два, — продолжает П. Д. Бородин, — реорганизация и реконструкция заготовительных операций. В металлообработке нужно перенести центр тяжести на заготовительные операции и резко сократить самый заготовительный цикл. Что это значит? Вот пример. Сейчас сушка смесей длится несколько часов. Мы говорим институтам: «Нет. Это нас не устраивает. Нужны новые, быстросохнущие составы, нужна новая оснастка, позволяющая ускорить процесс. Две-три минуты — максимально допустимая продолжительность этого процесса. Работайте в таком направлении».

Вот другой пример. Сейчас деталь, поступающая из заготовительного цеха в механический, требует длительной обработки на металлорежущих станках. Этот способ обработки нерационален. Комитет ставит задачу перед своими институтами разработать такие заготовительные процессы, которые позволили бы свести к минимуму последующую механическую обработку детали. Заготовка по форме и размерам должна приблизиться к той детали, для которой она предназначена. Это тоже огромный резерв...

Рассказывая о планах Комитета, объясняя его главные цели, перечисляя средства, заместитель председателя называет также конкретные сроки. Многие работы будут завершены в конце первого десятилетия. Некоторые — уже в текущей семилетке.

— Вот сейчас полным ходом идут работы по типизации в машиностроении, — говорит он. — Через три-четыре года мы завершим их. Экономический эффект пока трудно подсчитать. Но речь идет о миллиардах...

Типизации в планах Комитета отведена лишь одна строчка. Но пре-

вращение этой строки из плановой наметки в реальность даст стране миллиардную экономию. А таких строк в этих планах множество.

Вникнем в суть типизации. Что предлагает Комитет?

Когда на заводе встает вопрос о реконструкции служб, зовут проектировщиков. Те кропотливо изучают производство, намечают основные пути реконструкции, а затем приступают к проектированию. На все это уходит, как правило, два-три года. Причем каждый проект содержит много оригинальных, применимых только к данному предприятию решений. Потому внедрение таких проектов обычно затягивается. И обходится довольно дорого.

Пора создать типовые проекты цехов, участков, решили в Комитете. Оригинальничание влетает государству в солидную копейку, оно тормозит технический прогресс. Типовые проекты должны содержать в себе широкий комплекс инженерных решений — не только строительную часть, но и прогрессивную технологию и организацию производства. Все по последнему слову техники. Типовой проект — это концентрат мировых достижений. Такую задачу поставил Комитет перед институтами. И девятью восемью институтами откликнулись на призыв Комитета.

Сейчас работы идут полным ходом. Главная цель? Реорганизация, реконструкция промышленности с наименьшими затратами, в сжатые сроки. Вместо долгих лет, затрачиваемых до сих пор на каждый проект, для реконструкции завода понадобится всего несколько месяцев. Стоимость проектирования и внедрения сократится в десятки раз. Таков будет экономический эффект от типизации.

Когда промышленность получит первые такие проекты? Скоро. К концу семилетки...

Вот она, Программа партии, в действии! Вот ответ делом на величайший манифест нашего времени. Большие дела наметил Комитет. Огромнейшего народнохозяйственного значения. И не только наметил, но и приступил к их осуществлению.

Беседу записал Е. ТЕМЧИН.

„С чем мы, медики, придем в коммунизм?“

(Беседа с вице-президентом Академии медицинских наук СССР В. Д. Тимаковым и главным ученым секретарем президиума академии В. М. Ждановым)

«Медицинская наука должна сосредоточить усилия на открытии средств предупреждения и преодоления таких болезней, как рак, вирусные, сердечно-сосудистые и другие опасные для жизни людей заболевания».

**Из проекта Программы
Коммунистической партии Советского Союза.**

Время смертельных инфекций уходит

— Наибольшим достижением советской медицинской науки и советского здравоохранения, — сказал вице-президент Академии медицинских наук СССР Владимир Дмитриевич Тимаков, — я считаю борьбу и победу над инфекционными болезнями.

Должна предупредить, что оба ученых, с которыми я беседовала

в медицинской академии, — инфекционисты. В. Д. Тимаков — микробиолог; главный ученый секретарь Виктор Михайлович Жданов — вирусолог. Должно быть, поэтому оба они начали разговор с инфекций. Вероятно, президент Н. Н. Блохин прежде всего заговорил бы о советской онкологии, а вице-президент В. Н. Орехович — о достижениях науки в области химии белков и нуклеиновых кислот. Но, думаю, никто из них не стал бы отрицать, что ликвидация в нашей стране ряда инфекций и реальная возможность в ближайшие два десятилетия ликвидировать большинство остальных — бесспорное и огромное, а возможно, главное достижение отечественной медицины.

До эры антибиотиков от туберкулеза в первые пять лет заболевания погибало девяносто процентов больных. Воспаление легких было смертельным, особенно в детском и пожилом возрасте. Немногие выздоравливали во время эпидемий сыпного и брюшного тифов. В ста случаях из ста приводил к смерти туберкулезный менингит. Чума, оспа, холера скашивали сотни тысяч жизней. Дети гибли от дизентерии, кори, скарлатины, задыхались от дифтерии, навеки оставались искалеченными туберкулезом позвоночника и полиомиелитом. Неизлечимыми были проказа и бруцеллез. Невозможно перечислить все болезни, которые еще совсем недавно убивали и превращали в инвалидов великое множество людей.

И вот на протяжении полжизни одного поколения с большинством этих опасных инфекций покончено. Все меньше и меньше людей погибает от заразных болезней, в недавние годы стоявших на первом месте в статистических отчетах о причинах смертности населения. С каждым годом удлиняется список ликвидированных инфекций: к оспе, чуме, холере, туберкулезному менингиту, сыпному и возвратному тифам в прошлом году прибавилась малярия. Страшная, изнурительная, зачастую смертельная лихорадка.

Еще в тридцатых годах малярией болело десять с половиной миллионов человек. А теперь в специальных лабораториях сохраняют «нафаршированных» малярийным плазмодием комаров, ибо заражение малярией бывает необходимо в лечебных целях: прививкой малярии лечат прогрессивный паралич.

— Вы заметили, что в проекте Программы речь идет не вообще об инфекциях, а о вирусных? — продолжая рассказ, спросил Виктор Михайлович Жданов. — Век бактериальных заболеваний на исходе, и исчезновение вызываемых ими болезней зависит теперь уже не столько от науки, сколько от правильной организации борьбы. А вот преодолеть вирусы — это сейчас наша первоочередная задача в этой области. Задача огромная, трудная, но если мы, ученые, решим ее, человек коммунистического общества будет застрахован почти от всех существующих болезней. Так вот, с чем мы, медики, придем в коммунизм? Или, если хотите, без чего придем? Что сбросим по пути и когда сбросим?

Уже сейчас многие тяжелые инфекции перестали быть массовыми, а многие перестали быть тяжелыми. В некоторых городах, в целых областях полностью отсутствует дифтерия; бруцеллез существует только в отдельных животноводческих районах; проказа стала излечимой, новые заражения не возникают, а больных с застарелой формой лепры в нашей стране ничтожное количество; жизнь туберкулезных больных продлевается на много лет, заболеваемость и смертность значительно снижены; прекратились сезонные вспышки и в несколько раз снизилась заболеваемость полиомиелитом.

История борьбы с полиомиелитом — особая история, весьма характерная для советской науки и здравоохранения.

Могучее профилактическое средство против этого тяжелого недуга,

особенно страшного своими последствиями, родилось не у нас. Живая вакцина полиомиелита была создана американским ученым Себиным. Но в США она не нашла применения. Истинной родиной живой вакцины против полиомиелита стал Советский Союз. Наши ученые вместе с автором вакцины не только изменили методику ее получения — прививки были проведены в неслыханных масштабах: вакцинировано восемьдесят миллионов человек!

Массовыми систематическими прививками полиомиелит будет ликвидирован в нашей стране в ближайшее десятилетие. В этот же период советский народ избавится от дифтерии, бруцеллеза (причем он будет ликвидирован не только среди людей, но и среди животных, от которых и переходит к людям), кори, трахомы, навсегда исчезнет с лица нашей земли проказа. Резко снизятся заболевания коклюшем, болезнью Боткина, аскаридозом, дизентерией и другими кишечными инфекциями.

Советская медицина имеет все для ликвидации туберкулеза: эффективные методы лечения в любой стадии заболевания, профилактическую вакцину, первоклассные больницы и санатории, высококвалифицированных врачей. Уже сегодня этот тяжелый недуг не представляет угрозы для жизни и здоровья широких масс. Огромный рост жилищного строительства, забота государства о высоком уровне жизни и улучшении условий труда населения приходят на помощь медицине, как нигде в мире. Через полтора десятка лет туберкулеза в Советской стране не станет.

Я слушала и ждала, когда же ученый заговорит о самом массовом и, казалось бы, таком простом, обычном заболевании — о гриппе. В самом деле, подумать только, советские люди совершают полеты в космос, и участие в этих полетах советской медицинской науки трудно переоценить; хирургия творит чудеса в операциях на сердце, легких, сосудах, мозге; физиологи изучают функции организма, прослеживая деятельность каждой живой клеточки в отдельности; человека воскрешают из состояния клинической смерти. А грипп победоносно шагает по земному шару, и радикальных средств борьбы с ним нет!

Наконец Виктор Михайлович заговорил о гриппе.

— Сумма всех остальных инфекционных заболеваний, поражающих человечество, меньше, чем число заболеваний одним только гриппом. Вот почему задача борьбы с ним чрезвычайно важна. Возбудитель гриппа давно известен, и не один; известны также возбудители подобных гриппу заболеваний, которые врачи часто принимают за истинный грипп. Вирусов гриппа и ему подобных обнаружено уже пять десятков. Ежегодно создаются вакцины и сыворотки. А побороть болезнь все еще не можем. Скажу вам прямо: это одна из самых трудных для нашей науки проблем. В чем же дело? То, что грипп — вирусная инфекция, то, что он передается самым опасным для распространения воздушно-капельным путем, само по себе затрудняет и усложняет нашу задачу. Но вирус гриппа — не обыкновенный вирус: он непрерывно видоизменяется. Только создашь вакцину для одного вида, как изменение вируса превращает это поначалу эффективное средство профилактики в ничто. Поливакцина против всех пятидесяти видов — вещь нереальная, да и кто знает, как изменятся эти виды, даже если бы удалось создать такую фантастическую вакцину! Кроме того, иммунитет человека против гриппа кратковремен и неустойчив, изоляция больных практически невозможна. Так что не так это просто, как кажется непосвященным. Конечно, это и небезнадёжно: безнадёжных проблем в науке нет. Будут усовершенствованы вакцины. Будут изыскиваться химиотерапевтические средства для лечения уже наступившей болезни. Но по-настоящему бороться с гриппом можно будет опять-таки, когда наука решит вирусную проблему в целом...

То же самое говорил мне о гриппе и профессор Тимаков. Я очень внимательно слушала обоих ученых, и все время у меня оставалось ощущение неудовлетворенности. Ну хорошо, есть болезни бактериальные и вирусные, есть инфекционно-аллергические и пока еще неизвестного происхождения, есть болезни сердца и сосудов и т. д. Но почему бы не разделить болезни и на другие качественно отличные категории: те, борьба с которыми зависит только от медицины; те, проблема которых может быть решена одновременно с решением общенародных, государственных и даже международных задач; и, наконец, те, которые зависят от каждого из нас. На первый взгляд, это может прозвучать как в том лозунге, который стал уже анекдотичным: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Но при ближайшем рассмотрении это не так уж нелепо. Тот же Виктор Михайлович Жданов, опять-таки в виде анекдота, рассказывал мне: один наш уважаемый ученый заявил, что корь можно ликвидировать в три недели, — нужно только, чтобы на этот срок все человечество надело марлевые маски. «Сами понимаете, — продолжал Виктор Михайлович, — скорее мы слетаем на Марс, чем сможем провести такое мероприятие!»

А мне это совсем не показалось невозможным. Как-то я слышала, что в Китае в период пандемии гриппа вся страна надела именно такие маски, и болезнь, что называется, была пресечена на корню. Может быть, в этом рассказе не все достоверно, может быть, кто-то принял желаемое за происшедшее в действительности, но ведь так могло быть. Пусть не в масштабе земного шара, пусть только в отдельных странах — разве это не снизит заболеваемость, не пресечет беспрепятственное путешествие вируса по всему миру? А ведь такое мероприятие в самом деле куда проще, чем полет на Марс!

Пока я думала об этом, не рискуя вступать в спор с действительным членом Академии медицинских наук, профессор Жданов продолжал рассказ об очень интересных вещах, которыми занимаются и, вероятно, долго еще будут заниматься ученые-вирусологи.

— «Вирус — клетка» — вот короткое название этой проблемы. Мы знаем, что вирус может существовать только внутри живой клетки. Но как он туда проникает, как размножается там, как убить его, не повредив самую клетку, — все это пока остается неизвестным. Требуется время, длительный кропотливый труд. Но труд этот будет вознагражден с лихвой, потому что решение проблемы «вирус — клетка», это не только победа над гриппом, корью и другими общепризнанными вирусными заболеваниями, это, по моему глубокому убеждению, путь к решению проблемы рака...

На пороге больших прозрений

Вирусная теория происхождения злокачественных опухолей все шире и глубже завоевывает свои позиции. Совершенно естественно, что и мой собеседник оказался сторонником вирусной теории происхождения злокачественных опухолей.

— Известно, что, например, в первый месяц жизни ребенка зев его заселяется стрептококками, а в период, когда ребенка переводят на искусственное питание, отлучая от материнской груди, в кишечном тракте появляется кишечная палочка и другая микрофлора. Организм подавляющего большинства детей реагирует на это заселение как на нечто вполне нормальное. А часть детей заболевает и стрептококковыми и кишечными инфекциями; некоторые даже погибают от них. Еще не ясно для науки, что тут играет роль — неблагоприятные обстоятельства или индивидуальная реакция каждого ребенка. Возможно, что вирус рака также в течение жизни поселяется в организме человека и только при

каких-то определенных условиях или в зависимости от индивидуальных качеств организма превращается в его смертельного врага. Нам, вирусологам, уже многое известно. Известен ряд вирусов — возбудителей злокачественных заболеваний мышей, крыс, кур и других, известны некоторые переносчики этих вирусов.

Другая существующая теория происхождения рака — канцерогенная — отнюдь не исключает нашу теорию. Напротив, мы считаем, что на фоне канцерогенных веществ вирус и становится зловредным. Чтобы окончательно утвердиться, вирусная теория должна преодолеть одно чрезвычайно важное препятствие: до сих пор еще не доказан ни один случай вирусного происхождения рака или саркомы у человека. Быть может, возбудитель обладает такими особенными качествами, что наша техника просто не в состоянии еще его обнаружить.

Если сторонники вирусной теории принимают значение канцерогенных факторов, то сторонники канцерогенной этиологии рака отрицают вирусную теорию. И главным козырем в их руках как раз и является отсутствие вируса у заболевшего человека. Факт чрезвычайно существенный.

Трудно сказать, кто тут окажется правым — вирусологи, или сторонники канцерогенного происхождения рака, или большая группа ученых, которые утверждают, что причин много и ни одна не является глазной, а действуют они в комплексе; или наконец восторжествует еще одна, новая теория, о которой не рассказывал мне главный ученый секретарь АМН СССР и которая никак не отражена в перспективном плане развития медицинской науки на ближайшее семилетие. Я имею в виду физико-химическую теорию.

В предельно кратком изложении эта теория звучит так: причина превращения нормальных клеток в опухолевые заключается в стимулировании ферментативных процессов свободными радикалами.

В веществе под влиянием каких-либо условий образуется высокоактивная частица — атом или осколок молекулы. Осколок молекулы не может существовать сам по себе, и потому он стремится немедленно соединиться с другим атомом, отнятым у другой молекулы. Образуется новая молекула, но и новый свободный высокоактивный осколок, который тоже ищет себе дополнение. Такие атомы, или осколки молекул, называются свободными радикалами. Основные процессы восстановления и окисления в клетках проходят с образованием свободных радикалов. С другой стороны, оказалось, что многие канцерогенные вещества либо содержат в себе, либо легко образуют свободные радикалы.

В организм проникает канцерогенное вещество или ионизирующее излучение, свободные радикалы этого вещества атакуют важнейшие химические компоненты нормальных клеток — нуклеиновые кислоты и белки — и приводят к повреждению этих компонентов. Они активизируют ферментативные процессы и образуют своеобразные «раковые» ферменты. Канцерогенное вещество или ионизирующее излучение могут перестать действовать на организм, а свободнорадикальные процессы в измененном, нарушенном виде уже не прекратятся.

У свободных радикалов есть свои «враги», так называемые ингибиторы свободнорадикальных процессов, — вещества, замедляющие, парализующие деятельность ферментов, обрывающие цепь химических реакций обмена веществ на определенном этапе. В неповрежденном организме ингибиторы регулируют ферментативные процессы, сохраняя их в норме. Под влиянием же добавочных свободных радикалов уменьшается количество действующих ингибиторов. В результате пораженные клетки начинают неудержимо расти и развиваться, не регулируемые

биохимическими процессами, которые теперь уже осуществляются поврежденными ферментами.

Значит, надо искусственно пополнить недостачу ингибиторов в заболевшем организме, чтобы они снова могли регулировать восстановительно-окислительные процессы.

В этом направлении и ведутся работы в одном из отделов Института химической физики Академии наук СССР.

Если новая гипотеза и создаваемые на ее основе лечебные средства выдержат широкую проверку в лаборатории, а затем и в клинике, появится новое серьезное направление в борьбе против рака.

Нет никакой возможности точно указать, когда и как закончатся многочисленные исследования в этой важнейшей области медицины, в области, которой посвятило себя множество ученых всего мира, куда вовлечены теперь представители и других, совсем не медицинских наук. Это вопрос времени и, если хотите, удачи. Во всяком случае, человечество не имеет возможности ждать конца теоретических изысканий: как и когда бы ни была решена тайна происхождения и развития рака, лечить его надо незамедлительно.

И его лечат. Существует немало химиотерапевтических средств против различных видов злокачественных опухолей, и поиски новых, более эффективных, непрерывно продолжаются. Усовершенствуются методы ранней диагностики, имеющей огромное значение. Разрабатываются новые хирургические операции, и хирурги прилагают все усилия к тому, чтобы исчезли из их обихода слова «неоперабельная опухоль». На помощь приходит лучевая и гормональная терапия. Лечение проводится, как правило, комплексом имеющихся в распоряжении медицины методов.

Убийственным для раковой клетки и безвредным для организма — таковы должны быть и будут в ближайшие годы средства раковой терапии. В этом и заключается прогрессивное движение данной отрасли медицины — в изобретении новых, радикальных методов лечения.

— А чисто научная задача все та же, — говорит Виктор Михайлович, — раскрыть происхождение злокачественных опухолей, научиться предупреждать их и излечивать. Будет ли это совершено в ближайшее десятилетие? Кто может сказать! Лично у меня такое ощущение, что мы стоим сейчас на пороге больших прозрений...

По трем направлениям

Чем продолжительнее жизнь людей, тем чаще они умирают от заболевания сердца и сосудов. Старение сосудов — явление вполне закономерное, но тогда, когда это старение физиологическое, а не преждевременное.

Но что такое преждевременная старость? Сколько должен и может жить человек?

У собаки к двум годам наступает зрелость организма; живет собака в среднем тринадцать—пятнадцать лет, а иногда и двадцать. Кошка растет до полутора лет, корова — до четырех, лошадь — до пяти. И каждое из этих животных живет в среднем в шесть раз дольше, чем продолжается период его роста.

Человек растет приблизительно до двадцати пяти лет. Если эту цифру помножить на шесть, получится, что человек может жить по крайней мере до ста пятидесяти лет. А много ли таких людей на свете? Больше всего их в нашей стране — людей, чей возраст перевалил за сто, — но и у нас они составляют ничтожный процент по отношению ко всему населению.

Если бы люди умирали от инфаркта сердца в сто пятьдесят лет, медицинской проблемы тут вообще не существовало бы. А вот когда сердечно-сосудистые болезни выводят из строя, превращают в инвалида или губят человека в полном расцвете жизни, тогда наука всеми своими силами должна ополчиться против этих болезней.

Гипертония, атеросклероз, коронарная недостаточность — вот круг вопросов, которые решает и будет решать медицинская наука в ближайшее десятилетие. Но одна только наука решить их не может. Это как раз тот случай, когда многое в профилактике заболеваний зависит от самого человека, а многое от всего строя жизни.

Прежде всего науке предстоит досконально изучить этиологию этих трех заболеваний и научиться распознавать зарождение их, особенно гипертонии, в самом начале, пока вся нервная система еще не перестроилась патологически, потому что потом уже процесс трудно повернуть вспять.

Говоря о задачах медицинской науки, Владимир Дмитриевич Тимаков под конец добавил:

— Борьбa с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно не только средствами медицины, но и коммунистическим гуманизмом.

От любой психической травмы, от нервной встряски по какому-нибудь пустячному поводу, остро реагирующий человек может умереть от инфаркта. Говоря о коммунистическом гуманизме, профессор Тимаков имел в виду; как он сам мне разъяснил, гуманное отношение людей, строящих коммунизм, друг к другу. Потому что, как это теперь точно известно, в происхождении сердечно-сосудистых заболеваний и тяжелых последствий от них, важнейшую роль играет состояние центральной нервной системы.

Коммунальные квартиры, кухонные ссоры, неприятности по службе, семейные неурядицы — все то, что вызывает напряженную деятельность центральной нервной системы и отрицательные эмоции, — имеют чуть ли не первостепенное значение в возникновении гипертонической болезни и инфаркта.

Бережное отношение людей друг к другу во всех житейских обстоятельствах — вот о чем говорил В. Д. Тимаков. У людей коммунистического завтра иного отношения и не будет. Одно это должно снизить тяжелые сердечно-сосудистые недуги. А если прибавить огромное жилищное строительство, отдельные квартиры, которые получит каждая семья, автоматизацию производственных процессов, резко облегчающих труд, самую короткую в мире рабочую неделю — словом, все, что предусматривает программа построения коммунистического общества, надо думать, что в этот период кривая сердечно-сосудистых заболеваний резко снизится.

— И, наконец, то, что зависит от нас самих. Неправильное питание, вызывающее ожирение, тучность. У нас появилось множество толстых людей, не подозревающих, как их невоздержанность в еде пагубно отражается на здоровье. Это люди, идущие по порочному пути чревоугодия. Их очень трудно уговорить отказаться от излишеств в пище. Вы понимаете, речь идет не об экономии продуктов, напротив — у нас наступило такое изобилие, что каждый человек должен сам регулировать свое питание, а не жадно поедать все, что можно приобрести. Одним словом, я говорю о культуре питания. Очень простой и вместе с тем очень сложный вопрос. Надо доказать людям, что нельзя есть много и без разбора, а надо вкусно, правильно, регулярно питаться. Бывает, что обмен веществ нарушается по неизвестным причинам и вызывает ненормальное отложение жира. Накопление его мешает деятельности организма, жир прорастает в сердечную мышцу, начинается одышка, из-

меняется кровяное давление, и здоровый прежде человек чувствует себя заболевшим. У него обнаруживается целая серия болезней, их пытаются лечить, они трудно поддаются лечению... Я сам прошел через это,— доверительно говорит профессор Жданов,— именно так со мной и было: вдруг оказалось, что у меня масса болезней, что надо энергично лечиться, а не работать. А всего-то и надо было, как говорится, сесть на диету и регулярно заниматься физкультурой. Как только я сбросил около двадцати килограммов веса, сердце мое заработало нормально, и я уж не помню, когда в последний раз был у врача.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, представляющими наибольшую угрозу человеческим жизням, пойдет по всем трем направлениям. Львиная доля здесь ложится, конечно, на медицинскую науку, и советские ученые приложат все усилия, чтобы справиться со своей задачей. Многое зависит и от социалистического строительства, от изменения условий жизни и труда; нет человека в нашем обществе, который не был бы уверен, что эта сторона вопроса будет благополучно и своевременно решена. Остальное зависит от самих людей, от их отношения друг к другу и каждого к самому себе. По-видимому, это и есть самая трудная часть всей проблемы.

* * *

Мне пришлось ограничиться беседами только о трех магистральных направлениях в развитии советской медицинской науки на ближайшие годы. Не было рассказано ничего о значительных успехах физиологии вообще и физиологии мозга, без которой невозможно дальнейшее развитие кибернетики. Мы не говорили о больших достижениях отечественной биохимии, особенно в области химии белков и аминокислот — наиболее важных сторон этой науки. Не найдет здесь читатель рассказа об огромном скачке хирургии, совершенном за короткий срок; об иммунологии и в связи с этим — пересадке органов и тканей; о многих и многих захватывающе интересных отраслях медицины. И, наконец, о таком славном достижении наших ученых, как создание совершенно новой науки — космической медицины, в которой у нас не было предшественников и которой предстоит в ближайшем будущем сотворить немало чудес.

Наука наша так стремительно развивается, так быстро отпочковываются от главной, материнской, ее ветви самостоятельные отростки, что о каждом из них надо писать в отдельности.

Беседу записала М. ЯНОВСКАЯ.



КОНСТ. ФЕДИН

★

КОСТЕР

*Роман**

Глава шестая

1

В тот раз, четыре года назад, Извеков не придавал особого значения, что его вызвали в ЦК. Вызовы в Москву по телефону происходили часто. На его плечах лежало основное производство завода, и год был особенно хлопотный из-за расширения программы выпуска автомобилей. Бурлила кухня уточнения, согласования, утверждения проектов, планов, смет. Бывало, он поутру вернется домой из поездки в столицу, предпринятой по своему почину, а ночью его приглашают опять выехать по почину наркома либо кого-нибудь еще.

Он остановился, как всегда, в гостинице «Москва» и сразу позвонил в Отдел тяжелой промышленности, давнему своему товарищу.

— Кто? — переспросил знакомый голос.

Извеков повторил свою фамилию, добавил неизменное «здорово», сказал, что прибыл по вызову.

— Слушаю, — ответил товарищ.

— Ты что, стал глуховат?.. По какому делу меня требуют, не знаешь?

— Сейчас справлюсь.

Извеков успел только подумать, что, наверно, совсем запарились в аппарате отдела — лишнего слова некогда сказать, — как неизвестный красивый бас ровно выговорил в трубке:

— Это товарищ Извеков?.. Вам надо позвонить по телефону... (И еще ровнее продиктовал номер.)

— Кому позвонить?

— Это телефон КПК.

— Благодарю.

— Пожалуйста.

В таких случаях Извеков коротко нажимал пальцем на рычаг контакта и не мешкая набирал нужный номер. Но на этот раз привычка изменила ему — он положил трубку.

В Комиссию партийного контроля могли вызвать по любому делу, не касающемуся непременно лично его, — это была первая мысль, и в нее влилась другая, явно безответная, о том, чье же это может быть дело, требующее его явки? Известные ему партийцы были неисчислимы, перебирать их в уме не было смысла, он только попробовал вспомнить, не знает ли кого-нибудь из членов КПК, но не припомнил и кончил тем, с чего должен был начать, — позвонил по телефону, который ему дали.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 и 9 с. г.

Отозвалась женщина, попросила подождать, и он дождался так долго, что уже хотел отложить разговор, когда она секретарски корректно сообщила назначенный ему час, подъезд и комнату, куда он должен прийти. Он спросил, кто его вызывает. Она ответила:

— Вам скажут, товарищ Извеков.

Недоговаривание было вполне обычно, но толкало помимо воли выскидывать причину вызова.

До назначенного часа оставалось некоторое время, но не такое, чтобы его можно было занять большим делом. И тут пришел ему на ум Рагозин — старинный друг. Они встречались последние годы исключительно на разных заседаниях и совещаниях, редко и мельком разговаривали, всегда улавливались повидаться как следует, но вечная срочность дел мешала то одному, то другому, и Рагозин пошутил однажды, что уж, мол, выйдем на пенсию, тогда отведем душу за самоварчиком. Извеков решил пойти к нему.

В здании ЦК, подымаясь по широкой, устланной ковровой дорожкой лестнице, Извеков испытывал знакомое состояние некоторой торжественности, внушаемой важным деловым спокойствием этого большого дома с беззвучно скользящими лифтами, с закруглениями площадок между маршами, с лейтенантами при дверях, ведущих в безлюдные коридоры с такими же дорожками на полу.

Секретарь по приемной Военного отдела пошел доложить о прибывшем. Сейчас же возвратившись, он придержал за собой дверь, наклоном головы показывая, что можно войти в кабинет. Но не успел Извеков подняться с дивана, как навстречу вышел Рагозин.

— Заходи, заходи,— проговорил он и, не выпуская из своих сильных пальцев руку Извекова, продолжая отрывисто ее пожимать, заставил его пройти вперед.

Они немного постояли посередине кабинета, молча сравнивая свои сложившиеся представления друг о друге с тем, что теперь видели их встречные взгляды.

Петр Петрович Рагозин был настолько уже лысым, что лишь окаёмка сивого пуха узенькой тесьмой тянулась от ушей к загривку, и казалось, даже брови вылезли у него и усы поредели, тоже сивые, но по-старому — колючком. Он носил одежду, к которой привыкли и которую считали даже чем-то значительным многие большевики, прошедшие гражданскую войну,— галифе и нечто вроде френча. Этой форме оставались верными, допуская в ней одну вольность: она могла быть стального цвета вместо прежнего хаки. Рагозин называл ее гражданской военной образца. Галифе своими пузырями словно шире раздвигало обруч его выгнутых ног, и это особенно бросалось сейчас в глаза, когда он, стоя на месте, покачивал длинный, тяжелый свой корпус. В нем исчезла былая жилистость, он стал грузноват.

Кирилл одевался обычно, но долгополый пиджак не очень к нему шел. Он делал его еще призмистее, а подложенные плечи и стрелки отворотов острее вычерчивали и без того прямоугольное его сложение. Лицо его мало менялось, только смуглая кожа резче темнела на бритых щеках да виски сильно посеребрились. Глаза, как в молодости, были ясны и редким цветом своим похожи на крепкий чай.

— Все тот. Разве что красивей,— сказал Рагозин.

Извеков, довольный встречей, хотел сесть в кресло спиной к окну, но Петр Петрович опять взял его за руку и усадил в противоположное кресло. Кирилл улыбнулся.

— Совсем забыл — посетителю положено лицом к свету.

— Привычка, братец,— не придавая значения улыбке Извекова и обходя письменный стол, сказал Рагозин.

Он сел на свое место за столом, положил локти на стекло, прикрывавшее лист с отпечатанными номерами телефона, известного под именем «вертушка», и в отражениях белых оконных бликов, бронзы чернильного прибора.

— Да и что ты за посетитель? — продолжал он, тепло глядя в глаза Извекова. — Не знаю, кого больше хотел бы я повидать, чем тебя.

— Я тоже. Но ты не хуже меня знаешь...

— Мне как доложили, — не дал докончить Рагозин, — доложили, что ты пришел, я подумал, не опять ли ты в армию захотел? Соскучился по шинели?

— Просто на тебя взглянуть, — чувствуя внезапную нежность, сказал Извеков. — Не простишь ведь в конце концов, что так часто бываю здесь и никогда не зайду.

— Не прошу, — строго подтвердил Рагозин, и оба засмеялись, припомнив этот особо выделанный под суровость тон, пугавший тех, кто хорошо не знал Петра Петровича.

— Рассказывай, как живешь, — потребовал он и налег грудью на стол, раздав локти, показывая удобством позы, что приготовился слушать долго.

Они переговорили обо всем, что было Кириллу близко. Рагозин сам подсказывал, о чем говорить, и, выпросив о матери Извекова, Вере Никандровне, тогда еще здравствовавшей, спрашивал о дочери, ее ученье, даже ее росте (в тебя? коротковата? вон что, на полголовы выше! В четырнадцать-то лет? Фору, значит, отцу дает, вон как!), а потом, с настойчивостью, о жене (об артистке-то своей, об артистке! слышать, любят ее на Волге, правда?).

— Как же это ты, братец, — сказал он с неожиданной серьезностью, — как же столько лет ты с ней почти всегда врозь живешь и все еще не развелся?

— По поговорке, Петр Петрович: врозь-то скучно... Оно и крепче, — весело ответил Извеков.

— Нет, не горазд ты идти в ногу с временем. Нынче мужья куда притче. Сидит жена дома — почему не работаешь? Развод. Ходит на работу — чего не сидится дома? Опять развод. А ты, вижу, соглашатель — как по ее, так и по-твоему.

Хитрый глаз Рагозина поблек, он перевел взгляд за окно, и Кирилл не нашелся, чем прервать вдруг наступившее молчание: он знал, что вторая жена Петра Петровича, прожив с ним больше полутора десятка лет, умерла почти внезапно, никогда прежде не болев. Одиночество было Рагозину знакомо по его первому десятилетнему вдовству, но он не мог с ним свыкнуться и в одну из мимолетных встреч с Извековым непрошено признался, что нет на свете доли горше байбака поневоле, да к тому же на пороге седьмого десятка.

— А что, скажи, этот, как его?.. — быстро спросил Рагозин, явно уходя от разговора о себе. — Забыл, как же его... Да брат твоей Анны Тихоновны!

— Павел?

— Ну да, что ж этот Павел... Он ведь студент как будто?

— Давно уж инженер.

— Да что ты? Где же он?

— На Оружейном, в Туле. Разве твой Иван ничего не говорил о нем? Он ведь дружит с Павлом.

Рагозин широкой своей ладонью медленно провел по всей лысине, что могло означать довольно очевидную неохоту говорить о сыне, но он решительно оторвал от стола локти, распрямился.

— С Павлом дружит, а вот с отцом не шибко. То помиримся, то опять поцапаемся. Да уж коли поцапаемся — надолго.

— Чего вы не поделите?

— Я себя проверяю иногда, может, сам виноват — не умею подойти? Да нет, вроде пробовал со всякой мягкостью, можно сказать, как с дамой изъяснялся. А выходит — все одно поругаемся. И он тоже будто не хочет меня обидеть, а получается...

Рагозин посмотрел на Кирилла с неловкой, извиняющейся улыбкой.

— Очень, понимаешь, обидно получается... Ни с того ни с сего меня этаким профаном выставит. Я тебя, скажет, уважаю, но ты ничего не смыслишь в моем деле...

— Об искусстве, значит, изъясняетесь,— чуть насмешливо повторил Извеков рагозинское словечко.

— О живописи, ясно. О чем еще с Иваном говорить можно? А тут — только держи! (Рагозин сжал губы, опять отвернулся к окну.) Скоро год как глаз не жает,— проворчал он. Но, видно, ему самому послышалась в ворчле этой жалоба, и, резко поворачивая голову, глядя прямо в лицо Кирилла, он заговорил как человек, вдруг решивший выложить все, о чем долго принуждал себя молчать: — Я его последний раз прогнал. Сказал, ступай от меня, болван. Он пошел. Потом останавливается, говорит: ты будешь раскаиваться, что так сказал. Я ему ответил — никогда! Но я помирюсь с тобой, когда поумнеешь, говорю ему. А он в ответ: для тебя, говорит, поумнеть означает во всем тебе покорствоваться, а искусство, говорит, послушанием не добывается. Повернулся и этаким, знаешь, рыцарем вышел. И дверь за собой не затворил. Сам, мол, за мной затворишь...

— Оставил бы ты его своим умом жить.

— Да разве я против ума? — с некоторой воинственностью изумился Рагозин.— Тут принцип!

— Чей принцип, Ивана?

— Зачем Ивана? Мой! — воскликнул Рагозин.— У Ивана каша в голове. Заладит: двигаться надо в живописи, двигаться! Двигайся, пожалуйста, никто не возражает... Летящий, говорит, камень мхом не обрастет. Откуда у него такой афоризм — не знаю. Но не возражаю. Тоже правильно. Только куда ты летишь, спрашивается. Ежели в пропасть, то зачем же?

Рагозин повел плечами и, успокаивая себя, сказал помедленнее:

— Может, ему вывихнули мозги, когда он еще по детским домам ходил? Там тогда разные левые лады пропагандировали.

— Дети и без пропаганды всегда левых направлений,— сказал Извеков.

— Вот-вот! Иван мне тоже втолковывал, что, мол, художник в совершенном виде встречается только в ребенке. А что такое совершенный вид? Непременно разве левый? Домики да лошадок рисуют все дети. А потом из одних рисовальщиков фашисты выходят, из других — честные люди.

— Ну а принцип твой в чем? Из-за чего ваша драка-то?

— Вот он принцип мой тут и есть. Не домиками с лошадами мы дорожим, а людьми. Иван мне что говорит? Я один раз смотрю его живопись, спрашиваю: это какой породы у тебя дерево? Он мне: ты хочешь, говорит, чтобы я пересаживал на холст деревья из ботанического сада? Может, говорит, дощечки с надписями прикалывать — мол, кипарис вертикальный или там... олеа фрагранс? Хочешь, говорит, из художника садовника сделать? И пошел! Я, говорит, не выходя из комнаты, могу написать любой пейзаж вселенной. Воткну, говорит, вместо натуры старые кисти в миску с зелеными шами и создам мой ландшафт.

— Ну хорошо, Петр Петрович, его ландшафт,— смеясь, сказал Кирилл.— Но что все-таки ты от него хочешь?

— Ты слушай! — ответил Рагозин наставительно.— Я иду ему на встречу. По-мирному. Пусть, говорю, зеленые щи. Но ты смотри, говорю, на свою натуру в миске, а думай об идее. О какой, спрашивает он. То-то что — о какой! О своей. А коли у тебя ее нет, говорю, так тебе и писать нечего... Опять мы врозь!.. Последний раз так и вышло. Он снова мне толковать пошел о летящем камне. О поисках художника, о мастерстве. Я ему отвечаю, что, мол, пойми ты, кривая голова,— все дело в назначении твоих поисков, в назначении, а не в них самих. Что же он мне на это? Азбуку твою, говорит, понять не трудно. Я, говорит, знаю ее с молодых ногтей. Мастерство, говорит, будет посложнее азбуки. И беда, вдруг заявляет, беда в том, что твердишь ты о назначении искусства, а думаешь на самом деле о его утилизации! То есть вроде как я двоедушничая, так ведь? Я его за эту утилизацию и прогнал...

— Представляю себе ваши стычки,— сказал Извеков, немного будто заскучав.— Стоит ли только разрывать с сыном из-за споров о картинах, может даже о вкусах?..

Рагозин горестно махнул рукой.

— Да я бы и не стал! Пусть там поиски... летящий камень... Но во что это в жизни превращается? Непутевость какая-то! Классы Академии художеств бросил. Приехал в Москву, стал заниматься у мастеров-живописцев. Один не понравился, с другим не сошелся. Вернулся в академию, опять не кончил, опять начал прилепляться к художникам. Слышал я, специалисты о нем неплохого мнения. Талантом будто называют. А у него с ними никак не заладится — все впоперечь. Талант не талант — время уходит ведь, как ты думаешь? А толку не видно.

— Да, время не стоит,— согласился Извеков непохоже на прежний, участливый тон, а как-то чересчур общепринято.

Рагозин тонко уловил перемену, и по ответу его видно было, что он готов сменить порыв откровенности на полный нейтралитет.

— Образумиться пора бы Ивану. Мужик вымахал давно под статью отцу.

— Наверно, все-таки ты тянешь побольше,— улыбнулся Извеков.

— Нашему брату тоже бы двигаться надо, не только живописцам. А я как после гражданской войны расстался со строевой, так только из кабинета в кабинет и передвигаюсь... Заговорил я тебя. Торопишься? По части своей индустрии приехал?

— Нет, понимаешь ли, зачем-то вызвали в КПК,— очень живо отзывался Кирилл.

— В Контрольную? — переспросил Петр Петрович с маленькой паузой и, приподняв тонкую стопочку чистой бумаги, постучал ею по стеклу, сровнял листы, положил на прежнее место.

— Да. Не слышал случайно, что там сейчас за дела разбираются?

— Где слышать? У нас дела особые — раз, два, шагом марш! — шутя скомандовал Рагозин, в такт ударяя легонько кулаками по подлокотникам кресла.— А что у тебя может быть? Нажаловался кто?

— Понятия не имею.

— Что же, прямо от меня туда?

— Да, уже пора.

Они поднялись.

— Ты зайди, как освободишься,— сказал Рагозин,— расскажешь, что там.

— Непременно. Не очень ты занят?

— Приходи, я буду здесь до вечера.— И Рагозин несколько раз качнул головой, как показалось Кириллу, с ободряющим выражением.

«Значит, он полагает, что меня надо подбодрить,— подумал Извеков, выходя из кабинета,— это странно, однако, если ему неизвестно, зачем я вызван...»

Оставшись один, Петр Петрович подошел к окну. Внизу, ровно вписанный в массивные высокие фасады домов, лежал по-комнатному тщательно убранный двор. На нем никого не было, и у стен не стояло никаких обычных дворовых предметов, так что он был как бы не двором, а особым помещением смежных домов. Перед решетчатыми воротами виднелась будка дежурного поста, и по другую сторону ворот, за их чугунными прутьями, недвижимо сиял черный лимузин, казавшийся сверху длиннее самого себя. И эти ворота, и будка, и лимузин говорили о жизни вне стен домов, о близости улицы, о том, что пространство между домами все-таки двор, а не комната.

Рагозин глядел на двор, на этажи домов с их начищенными окнами, за которыми белели вздернутые или приспущенные шторы и кое-где по бледно-тепловатой подцветке угадывались зажженные потолочные лампы в белых абажурах колоколом. В окнах, как и во дворе, никого не было видно, и вся картина была неподвижной и неподвижностью знакома Рагозину настолько, что, глядя на нее, он ее не замечал, а лишь принадлежал ей, как она принадлежала ему. За каждым из окон со шторами, в кабинетах, похожих на рагозинский, находились люди, работа которых состояла в том, что они рассматривали поступавшие дела и готовили по ним доклады, заключения, предложения либо, получив по делам решения, исполняли их, составляя по ним предписания, директивы, инструкции, разъяснения. Хотя Рагозин не мог видеть людей, заселявших кабинеты за окнами, но они были столь известны ему, что словно бы находились перед взором, и, не глядя на них, он их видел и чувствовал свою общность с ними. Его работа тоже заключалась в том, что он изучал прибывавшие дела и по одним исполнял, по другим принимал решения.

Он постоял так у окна не больше минуты, вовсе не осознавая ни своей принадлежности неподвижной картине домов и двора, ни общности с людьми, сидевшими за делами по кабинетам,— ему незачем было об этом думать, потому что это было ему дано, как даны пять чувств. Но минута была ему нужна, и ее было достаточно, чтобы закончить неожиданные размышления, на которые толкнул его Извеков,— закончить тем, без чего он вообще не мог размышлять, то есть определенным решением.

Он зажег потолочные лампы, вернулся к столу. Водрузив на нос очки в роговой устаревшей оправе, он долго водил шепоткой пальцев по стеклу, отыскивая на телефонном листе нужный номер. Уселся, взял трубку «вертушки». Особенным, пониженным голосом, каким говорил только по телефону, он спросил у своего товарища, старого работника КПК, не знает ли тот, по какому поводу вызван в Комиссию Извеков. Товарищ в свою очередь спросил, не собирается ли Петр Петрович привлечь Извекова к военной работе? Рагозин ответил, что не собирался, но и не прочь бы, потому что хорошо знает Извекова по его старой службе в Красной Армии. На это было замечено с дружественным оттенком, что с тех пор порядочно утекло воды и, значит, привлекать его опять к старой службе никакого спеху не было, да, видно, и теперь нет. Кроме того, был задан вопрос:

— А что, он к тебе с просьбой, что ль, обращался?

— Нет, просто в приятельской беседе сказал, что идет в Комиссию по вызову.

— Так он сейчас у тебя, что ли?

— Нет, заходил и пошел к вам.

— Так вот, так,— сказал, помедлив, товарищ.

Из его коротких слов Рагозин сделал вывод, что решение, принятое

у окна, было правильно. Оно было правильно с двух сторон: во-первых, в КПК будет известно, что Рагозин находится с Извековым в старых приятельских отношениях (от чего Петр Петрович не подумал бы отрезаться) и что он отзывается о нем хорошо, но, впрочем, это ничуть не означает, что Рагозину надо делать секрет из беседы с Извековым у себя в кабинете; во-вторых, из разговора для самого Петра Петровича вытекало, что некое дело Извекова действительно имеется и оно таково, что если Извеков обратится с какой-нибудь просьбой, то идти ему навстречу не следует, не говоря о том, что его нельзя подпускать к военной работе (да это Петру Петровичу и не приходило в голову).

В общем, оправдывалось привычное рагозинское правило — решать все немедленно, но не торопиться. Так хорошо уяснив себе обе стороны вопроса, Рагозин все-таки снова задумался. Он постукивал сложенными очками по стопочке бумаги, повернув голову все к тому же безмолвному окну, будто именно там заготавливались ответы на мысли, которые прежде никогда не могли возникнуть в связи с Кириллом Извековым, а теперь начали пятнать его, как мокрый снег пятнает человека, вдруг вышедшего из-под крова на улицу. Просидев в раздумье немного дольше, чем стоял у окна, Рагозин внезапным движением кисти оттолкнул очки, скользнувшие по стеклу в сторону, и сказал еще тише, чем говорил по телефону:

— Нет, невозможно поверить!

Но спустя мгновение он тяжело потянул плечами вверх и точно в бессилии опустил их. Наверно, припомнились ему случаи, когда и невозможное в жизни оказывалось возможным.

Извеков в эти минуты уже находился в передней другого подъезда. Широкая дверь лифта щелкнула за ним, и по дуновению воздуха стало ощутимо, что лифт быстро пошел. Лейтенант перед входом в коридор, нагнувшись к столику, сверил по списку инициалы и фамилию Извекова с его партийным билетом, взял под козырек, сказал:

— Прямо и налево, товарищ Извеков.

Казалось, такими же коридорами час назад шел Кирилл к своему старому другу и нога так же мягко уходила в глубокий ворс розоватых, с цветами по краям дорожек. Но теперь у него было чувство, как будто он уже лишился какого-то подразумеваемого высшего доверия, так приятно поднимавшего его уважение к себе в этой безукоризненной обстановке.

Справа и слева линейно-точно тянулись желтые полированные панели и двери, и он заметил, что не пропускает взглядом ни одного номера комнат, словно номер, который был нужен, мог выскочить из всякого порядка и очутиться перед ним неожиданно. Но когда наконец очередь исковой цифры пришла, на дверях вовсе исчезли номера — на одной, другой,— и Кирилл невольно примедлил шаги.

Вдруг на третьей двери он увидел отсвечивающее золото большой надписи под стеклом и прежним шагом пошел вперед. Он прочитал надпись от слова к слову: это был кабинет председателя Комиссии — комната, куда его вызвали.

Извеков явился в назначенное время, но пришлось долго ждать. Он заставлял себя думать о делах, которые можно было попутно исполнить в Москве, но не мог сосредоточиться. Он не волновался, или ему казалось, что не волнуется. Он только заметил, что следит за своими движениями, но и это объяснил тем, что не научен терять время на ожидание.

В комнате, кроме него, находились секретарь приемной, женщина с пепельным острым личиком и у круглого стола, рядом с дверью в кабинет председателя, молодой человек в темно-синем костюме, читавший газету. Вероятно, сидел он за ней с начала рабочего дня, потому что у него смежались веки, и, как заметил Кирилл, он каждый раз, одолев дремоту, читал одно и то же место.

Секретарь входила в кабинет, возвращалась и, не взглянув на Извекова, садилась за свой стол. Ему хотелось спросить, доложила ли она о нем, но в ушах еще звучало отточенное ею приглашение: «Посидите, товарищ Извеков», — и он молча дождался. Ему подумалось, что это было предусмотрено — не принять его сразу, а выдержать при дверях, и он спросил себя: не подготавливают ли в этом преддверии по мудрости изречения — смирись, гордый человек? Усмехнувшись сперва такой мысли, он тут же почувствовал раздражение и решил напомнить о себе.

С готовой фразой к молодому человеку — «разрешите газету, вы, кажется, уже прочитали?» — он встал, но поймал вдруг направленный на себя бодрствующий, будто никогда не дремавший взгляд, и, сам того не ожидая, повернулся к секретарю.

— Можно взять газету?

На столе лежала пачка газет — наверно, вся утренняя почта, — и секретарь, быстро пропустив их между пальчиков, как книжные страницы, спросила, какую он хочет. Извеков ответил:

— Какую дадите.

Тогда пальчики будто недовольно захватили едва не всю пачку и подали ее Извекову.

— Неужели так долго я не буду принят? — спросил он.

Острое личико улыбнулось, видимо оценив изящество вопроса, но в этот момент по неувловимому для Извекова сигналу женщина поднялась и пошла в кабинет. Он не успел отойти к своему месту, она вернулась, повела рукой на открытую дверь.

— Пройдите.

Кабинет был мягко освещен. Торцом к письменному столу тянулся другой — накрытый зеленым сукном, по сторонам обставленный стульями, похожий на предусмотренную дистанцию, которую вошедший должен был пробегать взглядом, чтобы в некоторой отдаленности увидеть председателя.

Хотя он сидел в обычной позе наклонившегося над бумагами человека, было видно, что он низок ростом и изрядно плотен. Он не ответил, когда Извеков поздоровался, но через секунду, не отрываясь от бумаг, словно застуженным, хрипатым голосом утвердительно произнес:

— Задержал я тебя. — И это как бы заменило приветствие, и даже с отзвуком извинения.

Еще через секунду он поднял голову. Его глубокие маленькие глаза через весь кабинет деловито оглядели стоявшего в дверях Кирилла.

— Садись поближе, товарищ Извеков, — показал он против себя на первый из стульев, выстроенных вдоль зеленого стола.

Пока Кирилл проходил комнату, выдвигал стул, усаживался, он осматривал его, слегка пожевывая губами. Потом снова начал прочитывать бумаги, будто забыв об Извекове.

— Двадцать семь лет у тебя партийный стаж-то, — выговорил он неожиданно, не то спрашивая, не то удивляясь.

— Да, — подтвердил Извеков.

— Большой стаж, — сказал председатель.

Оба они глядели теперь друг на друга, точно в равной мере от каждого зависело приступить к делу, но каждый предпочитал не начинать.

Взгляд председателя был взыскательно-пристален, отягощенный, почти прижатый лбом с вылизанными высокими затонами над висками. Нижняя часть лица, будто не подчиняясь сильному черепу, одутловатая, плывущая, смягчала облик, и главным в нем были подвижные губы, на свой особый лад пояснявшие речь.

— Большой стаж,— повторил он.— Беречь надо такой стаж. Уметь надо дорожить.

Он потерев пальцем в ухе, словно туда налилась вода, что-то брезгливое изобразили его поднявшиеся к носу губы, он недовольно стал листать бумаги, уже совсем не глядя на то, что листаает.

— Вот рассматриваю дело, в которое затесалось твое имя. Расскажешь, как оно затесалось. Для того велел тебя вызвать.

Он замолчал.

Извеков хотел спросить, в чем состоит дело, но его сдержало чувство странной невозможности так же просто сказать председателю «ты», как говорил он. Обратиться же к нему на «вы» — значило бы поставить себя вне обычной доверия, от которого он сам не считал нужным отказываться. В председательском «ты» был заключен именно обычай. Это казалось Извекову несомненным, иначе «ты» было бы не товарищеским, грубым, а Извеков был прямо назван товарищем.

— Хочешь что-то спросить? — будто прочитал его колебания председатель.

— Мне незнакомо дело.

— Познакомись. Не в прятки играем. И не в кошки-мышки. Разговор будет начистоту.

Председатель опять замолк, долго смотрел в глаза Кирилла.

— Проступок твой возымел тяжелые последствия. Некоторые товарищи считают тебя недостойным звания коммуниста. Вопрос будем ставить.

Кирилл поднял руки на стол и с силой вдавил ладони в скатерть. Ощущение чуть прохладного сукна дало ему возврат к жизни, из которой на мгновение его словно вытолкнули.

— Не знаю за собой никакого проступка. Кто эти товарищи?

— Кто они — не относится к твоему проступку. Не из тех они людей, с которыми ты себя связал.

— Я могу назвать всех, с кем связан.

— Должен будешь. Без утайки.

— Мне нечего утаивать.

— Не ершишь. Забыл, где находишься,— отечески сказал председатель.— Тут вот кратенько составлена справка, где ты работал. Я прочитаю. Скажи, если что пропущено.

Он стал читать с маленькими остановками, изредка вскидывая глаза на Извекова и особой своей мимикой рта выражая то вдруг сомнение, то как бы удивленное согласие, оттопыривая губы, прикусывая по очереди верхнюю, нижнюю или поджимая обе сразу.

Кирилл держал на столе руки, как они легли, будто найдя верную опору для неподвижности собранного своего тела и для полноты внимания.

То, что он слушал, что было известно ему до мелочей и что вспыхивало в памяти, как только назывались одно за другим места его давнейшей работы,— все это было пунктиром обыкновенной биографии старого партийца. В иной стране такая биография не могла бы сложиться, а если бы сложилась, ее считали бы чудом. Но здесь, в мире, который делался и отстаивался такими же людьми, как Извеков, она была обыкновенна. Его шаги ступали во след событиям, и где находился он, находилась сама современность — он создавал ее совершенно так, как она его. И

все, что он слушал, говорило не против него, а за него, так что он не мог понять, зачем нужно чтение анкетного прошлого, когда прошлое исключало возможность в чем-нибудь его обвинить. Шаг за шагом оно напоминало торжество Октября, защиту Советов от мятежей, гражданскую войну, победу над анархией, подавление банд и первый веселый удар топора по свежеекоренному бревну — воскрешенный труд, первый вздох мирного возрождения, молодость, детство новой жизни с ее азбучной наукой штопать, починять, ставить латки, с ее жадным лозунгом учиться, учиться всему: торговле, арифметике, политграмоте, гигиене, вежливости, технике, отдыху, дисциплине, гражданственности и чтению, чтению без конца! О, как потом все это стало воздвигаться, шириться! Как из азбуки росла, зрела, мужала наука строить дотоле небывалый мир общности, единства целей! И те, кто еще вчера взрослыми садились с грифельной доской за парту и учились писать палочки, сегодня осуществляли индустриализацию страны, создавали университеты, академии и уже не хуже знали цену каким-нибудь астрономическим исчислениям, чем сапогам и мылу. Дорога этих побед была трудна, как трудна карнизная дорога в непроходимых горах, и ей были отданы, принесены тяжкие жертвы. Но она работалась, отвоевывалась, мостилась народом, по слову гимна — своею собственной рукой, и потому, что обещала быть не только своей, но всечеловеческой — становилась все драгоценней. В борьбе за нее были преподаны и выполнены железные уроки жизни. Они решались Извековым в строю таких же, как он, рядовых истории, и он был счастлив, что число рядовых растет и они все дружнее теснят противников, врагов этой крутой, но чарующей дороги по недоступным — никогда раньше карнизам дух захватывающей высоты.

Чем дальше выслушивал Кирилл нечаянный перечень своих трудов и дней, тем яснее чувствовал себя ободренным, что так за него хорошо подсчитано все сделанное им, будто кто-то решил заранее очистить его имя от подозрений или наветов. Сам он вряд ли рассказал бы о себе так коротко и полно.

— А в Ленинграде работал? — спросил внезапно оборвавший чтение председатель.

— Работал. На Ленинском, бывшем Невском судостроительном.

— Что же молчишь, что пропущен Ленинград?

— Не хотел перебивать. Пропуск я заметил.

Председатель брезгливо опустил углы губ.

— Больно деликатен, погляжу я: не хотел перебивать!.. В каком году работал на Невском?

— Меня направили туда из Сормова. Завод в то время переводили с судостроения на турбины. Пришлось переучиваться. Было это в тысяча девятьсот тридцать...

— Вот тебя и переучили в Ленинграде, — не дал договорить председатель и громко спросил: — Хлебцевича знаешь?

— Хлебцевич... который во Внешторге?

— Был во Внешторге, — сказал председатель с укоризненным упором на «был».

В тот же миг Извеков вспомнил, как добрый год назад из случайного разговора узнал, что Хлебцевич снят со своего поста в Народном комиссариате внешней торговли. Он считал, что Хлебцевич, человек очень способный, заслуженно подвигался по работе в комиссариате, и его удивило — почему он снят. Извеков тогда спрашивал у хорошо знавших Хлебцевича, что с ним произошло, но никто не мог или не желал сказать ничего определенного. Потом это забылось.

Извеков хотел подтвердить, что знал Хлебцевича, но его опередил вопрос:

— С какими иностранцами связан?

— Связей нет и не было,— резко ответил Извеков.— Я согласовывал с иностранцами номенклатурные списки наших заказов. Чаще всего с немцами.

— С американцами,— вставил председатель.

— Да, тоже. Всегда в присутствии работников Внешторга.

— Значит, иностранные связи те же, что у Хлебцевича,— сказал председатель.

— Мне неизвестны связи Хлебцевича. Меня он приглашал на консультации. Были заседания, больше ничего.

Председатель протянул через стол лист бумаги с отогнутым нижним краем.

— Твоя подпись?— спросил он, встряхивая в руке бумагу.— Привстань, привстань!

Опираясь кулаками на стол, Извеков приподнялся, посмотрел на свое бесспорное, с нажимом по опущенному хвосту «з», тяжело поднял глаза. Борьба возмутила его лицо, он проговорил медленно, насилию удерживая голос:

— Я не знаю, под чем стоит эта подпись.

— Надо знать, под чем подписываешься! Хочешь, чтобы я тебе доверял, а мне не доверяешь? Думаешь, ловушки тебе будут ставить? Читай!

Председатель толкнул бумагу в воздух, она взмыла вверх и, остановившись, плавно опустилась, далеко скользнув по сукну, так что Извеков должен был отодвинуть соседний стул, чтобы до нее дотянуться. Едва он увидел первые строки текста, как возмущение, которое толкало его к резкости ответов и которое он сдерживал изо всей силы, вдруг улеглось. Он сказал с каким-то доверчивым недоумением:

— Так ведь это моя характеристика Гасилова! Старая характеристика — я ее дал, кажется, еще в Ленинграде...

— Опять, стало быть, Ленинград... — будто одному себе проворчал председатель.

— Гасилова я знал еще в Саратове, в самом начале гражданской. Он работал по жидкому топливу, проводил национализацию складов Нобеля. Так и оставался потом топливником. Отлично знал свое дело. Когда я был на Невском заводе, встречался с ним по работе в Ленинграде. Там он тоже был на хорошем счету. Помогал и нашему заводу при заминках с топливом. Да, припоминаю сейчас: характеристика написана в одну из моих московских командировок. Не в Ленинграде.

— По чьей просьбе написана? — остановил его председатель.

Неожиданное раздумье помешало Извекову ответить сразу. Он старался припомнить, как появилась на свет бумага, которую он все еще держал в руке и в то же время искал разгадку, почему ход разговора ставит его в зависимость от двух выплывших чужих ему имен.

— Долго думаешь,— заметил председатель.

Вдруг, будто сделав открытие, почти обрадованно Извеков сказал:

— Гасилов-то переходил тогда из Ленинграда во Внешторг!

— Вот то-то,— с упреком вздохнул председатель.— Дай сюда бумагу. Получается, Гасилова подсунил Хлебцевичу ты.

— Я никогда ничего не подсовываю. Я написал, что о нем знаю.

— Помолчи. Все уже сказал. Больше не скажешь. Вон и Хлебцевич пишет, что Гасилова ты знал. А он не знал. Так и пишет: Гасилова с лучшей стороны рекомендовал мне хорошо знавший его старый большевик товарищ Извеков Кирилл Николаевич. Он, значит, Хлебцевич, не виноват. А ты, выходит, виноват.

— В чем виноват?

— В чем виноват! — переговорил ворчливо председатель.

В этом его ворчании, сопровождаемом разнovidным движением губ, иногда с почмокиванием, сквозило что-то добродушное, как у стариков, которые хотят быть суровыми, по природе же снисходительны. Но внезапно рот его выпрямился в линейку, губы стали бледны, голос чист и холоден.

— Аттестуешь честным советским работником мерзавца да еще спрашиваешь, в чем виноват. Гасилов — невозвращенец. Изменник! Понимаешь? Который раз за границей печатают его паскудные интервью о Советском Союзе. Клеветник!.. Хлебцевич командировал за границу клеветника. Врага народа! А кто поручился Хлебцевичу за врага народа?

Он несколько раз попробовал ухватить лист с подписью Извекова, но лист ускользал все дальше от его дрожавшей щепоти. Он, как школьник, быстро помуслил указательный палец, подцепил бумагу и, тряся ею в вытянутой к Извекову руке, крикнул:

— Вот кто!..

Он бросил бумагу и отвернулся всем корпусом вбок. Горящие маленькие глаза его сделались виднее, губы опять потолстели, надулись дудочкой, как от обиды. Он шумно дышал, раздувая ноздри.

Прошла безмолвная минута. Он встал.

— Рассмотрим вопрос о тебе на партколлегии.

Взгляд его был опущен и с неприязнью передвигался по разрозненным на столе бумагам. На низкой ноте, как будто успокоившись и со всем вскользь, он выговорил:

— Предъяви партбилет свой.

Извеков поднялся, тихо обошел председательский стол, подал билет.

Председатель раскрыл билет, долго смотрел на заглавную сторону, перелистнул страничку, также долго стал рассматривать ее оборот. Потом он взглянул на Извекова, вздернул брови, словно пораженный изумлением, и тотчас опять перевел глаза на билет.

Рот Кирилла не разжимался, под нижними веками проступили темные разводы, точно он только что встал после болезни.

Председатель медлил. Затем как-то странно, негодуя кашлянул и не отдал, а воткнул в опущенную руку Извекова его партийный билет.

— Ступай! — глухо сказал он.

Кирилл поклонился и пошел к двери. Тот застуженный, хриповатый голос, которым он был встречен, нагнал его на выходе из кабинета:

— Мы вызовем тебя, товариш Извеков.

Он придержал шаг, но не обернулся, отворил дверь, стукнулся плечом о ее закрытую половину и, глядя перед собой неподвижными глазами, все еще сжимая в пальцах свой билет, прошел приемной комнатой секретаря.

Человек с газетой смерил его взглядом по спине от затылка до бо-тинок. Секретарь поправила на виске свесившуюся буколку.

Кирилл медленно шагал пустыми коридорами, стараясь ровно держать полосы в цветах по краю мягких ковровых дорожек.

3

Если бы Кирилл Извеков не обещал зайти к Рагозину или если бы вовсе не виделся с ним перед тем, что произошло, как не виделся иногда годами, то все равно в такую минуту он вспомнил бы о нем. Петр Петрович в сознании Кирилла был уже больше тридцати лет из тех учителей, которые не только не запрещают ученику возражений, но любят, когда он возражает. Редкий разговор Кирилла с Петром Петровичем не был спором, и когда со временем ученик начал переспоривать, учитель, поупрямствовав, признавал за ним правоту, и потому всю жизнь оставался в его глазах прежним, всегда правым учителем.

Очутившись на улице и отойдя от дверей подъезда на край тротуара, Кирилл остановился. Ветер сильно клонил деревья бульвара, ветви кипели, пестро размахивая метелками своей листвы. За этим шумом неслышно подкатил, притормаживая, и стал перед Извековым сияюще-парадный «паккард». Кирилл невольно посторонился, чтобы не задела открывающаяся тяжелая дверца машины. Медлительно пригибаясь, на тротуар вылез и осанисто распрямился мужчина жизнеобильных красок на лице.

— Извеков! Опять в Москве? — сказал он, нимало не удивляясь. — Ждешь машину? Нет? А то садись, тебя доставят.

Они поздоровались. Это был знакомый Кириллу инженер-плановик, известный работникам заводских плановых отделов по прозвищу «Дам жизни!». Задержав руку Извекова в своей, он спросил:

— У тебя жар? Нездоров?

— Простыл, — ответил Кирилл.

— Чего же кепку не наденешь? Надо за собой следить. У меня приятель погулял вот так с гриппом, потом воспаление среднего уха, потом осложнение, потом трепанация, а третьего дня мы ему сыграли Шопена. Следить за собой надо, — повторил он и, уже не подавая руки, но крепко обтирая ее платком, кивнул и пошел к подъезду.

С этой чужой фразой в голове — следить за собой надо! — Извеков тронулся с места, повторяя ее бессмысленно, в то время как весь он был во власти одной-единственной мысли о нечаянно обрушенном на него обвинении и о жестоко открывшейся ему своей вине.

Уже в первый момент, как только он ступил в кабинет Рагозина, по первому его шагу Петр Петрович понял, что Кирилл явился к нему не тем человеком, которым ушел час назад. Они сели лицом к лицу перед столом, одинаково, как бы равноправно освещенные потолочной люстрой, и Рагозин молча смотрел на Извекова, пока тот не поднял веки и тоже не остановил на нем своего взгляда.

— Ну? — сказал Рагозин.

Тихое, колеблющееся движение прошло по щекам Извекова, будто он не мог решить, какой склад лица отвечает тому, что он чувствовал, да так и не решив, выговорил с однобокой, не то пренебрежительной, не то горькой улыбкой:

— Существует, оказывается, дело... дело Извекова, понимаешь ли...

— Дело?

Малословная строгость Рагозина помогла Кириллу собрать волю. Он коротко, одним духом выложил ему суть происшедшего и остановился, изумленно вскинув черную линейку своих бровей, точно не веря тому, что говорил сам о себе.

— Как же это ты, а? — тихо спросил Рагозин.

— Ну, именно! — воскликнул Извеков. — Я только услышал это, подумал прежде всего, как же это он... Гасилов...

Кирилл опять приостановился.

— Подлец... — выговорил он с омерзением. Подбородок его свело судорогой, оттянувшей рот книзу. — Как осмелился, как он мог, изменник... была у меня мысль. А сейчас спрашиваю себя: как же это я? Как это я?

— Да, брат... выходит, ты, — угрюмо сказал Рагозин.

Вдруг Кирилл уткнул локоть в колено, прижался виском к раздвинутым пальцам, быстро спросил:

— Ты не думаешь, кто-то меня хочет замешать в ленинградские дела... не знаю, со старой оппозицией, может быть? Все время клонился разговор к Ленинграду.

— Совесть, что ль, не чиста? — нахмурясь, спросил Рагозин.

.. — Это ты смело!

— А я не из робких.

— Я тоже,— немного вызывающе сказал Кирилл и резким толчком снова распрямил спину.

— Чего же испугался, что тебя во что-то там замешивают?

— Я хочу знать, что ты скажешь: может ли дело быть вовсе не в предателе или не в нем одном, не в Гасилове, а еще в чем?.. Но если ты стал сомневаться в моей совести...

Рагозин наклонил голову — не согласно, а с тем выражением, что, мол, не только может понять обиду Извекова, но очень хорошо, что он обиделся.

— Ты, видать, здорово расстроен. Не поглупел ведь?.. Выскиваешь объяснения, когда они на ладони. Как это так — дело не в предателе? Хочешь не хочешь, удружил ведь предателю...

— Не по злу же я, в самом деле! — вырвалось у Кирилла.

— Не по злу. И не по легкомыслию, наверно. По случайности. По случайности, которой нельзя допускать. Нам, партийцам, особенно нельзя.

— Теперь будешь мне говорить о партийном долге.

— Буду. Долг-то, получилось, нарушен? Не Гасилов, поди, обязан был соблюдать его за тебя.

— Значит, ты спрашиваешь насчет моей верности партии?

— Я не спрашиваю. Я говорю, как ты с твоей верностью обошелся.

— На карту ее не ставил.

— Не ставил. А ставка взята. Каким игроком — нынче тебе поднесли на подносе.

— Но ты ведь тоже знал и помнишь Гасилова?

— Вроде как помню. Крутился такой...

— А я его и много позже знал, по Ленинграду.

— Стало быть, он и в Ленинграде крутился.

Извеков откинулся на спинку кресла. У него как будто не находилось больше никаких слов или он перестал их искать. Он глядел на стол, на ту зеркальную гладь стекла, в которой недавно, вот только что отражалось лицо Рагозина — прежнего Рагозина, участливого, любимого товарища, а не хмурого ворчуна, заладившего читать монотонную пропись. Стекло на столе теперь взбрасывало вверх отражение люстры, и этим застывшим светом холодило Извекову глаза. Все стало иным в этой комнате, и, казалось, Рагозин не понимал чего-то самого главного, какой-то особой боли, испытываемой Кириллом, и не хотел дружелюбно вслушаться в нее, почувствовать то, что чувствовал он. Неужели исконный, добрый друг и впрямь мог усомниться в верности Кирилла тому, чему оба они с молодых лет отдавали свои силы без остатка?

— Верность! — словно одному себе проговорил Кирилл. — Убеждения свои складываешь мыслью. Мечту строишь тоже мыслью, воображением. К цели своей тебя зовет сердце. А верность? Дышишь — тебе и на ум не приходит, что без воздуха перестанешь существовать. Убеждения, цель, мечта — все вместе живет, пока ты этому верен, пока этим дышишь. Верность — это дыхание. Дрогни она — сразу тебе перехватит горло.

— Пострадать она может, вот что, — сказал Рагозин, — понимаешь меня? Думать о ней надо, о верности. Ладно там дыхание или как ты еще захочешь рассудить. А за чистой-то воздуха небось наблюдаешь? Зазевался — его отравят. Гасиловы всякие...

— Я говорю, невозможно, чтобы человек нарушил верность и не заметил, что нарушил! — с новым жаром воскликнул Кирилл.

— Что же ты не заметил, пока тебе не сказали? Раньше чем сочинять похвалы черт те кому, ты бы вспомнил о преданности партии.

— По-твоему, я забыл.

— Не по-моему, а по тому, что вышло.

Кирилл развел руками: оба они топтались на месте.

Он явился к Рагозину, чтобы тот отмерил его виновность той же мерой, какой мерил ее он сам. Сколько лет Гасилов повсюду считался достойным человеком, и никакой провидец, будь он святым духом, не наворожил бы, что это изменник. Почему его тень должна упасть теперь на Извекова? Если вина Извекова в том, что он поступил доверчиво, где была нужна проверка, — разве отсюда возникает его прикосновенность к измене? Он ждал, что Рагозин скажет: нет, такую меру к его вине никто не приложит. Но у Рагозина не находилось сказать ничего, кроме укора, словно он наперед вынес Извекову приговор без снисхождения. Словно не случилось бы никакой измены, не будь злосчастной бумажки, по старой памяти написанной когда-то, где-то на ходу.

— Тут никакой связи! Нельзя так ставить вопрос, — сказал Кирилл с обидой. — Это все равно, что привязать меня к Гасилову, потому что... он и я купались когда-то в Волге.

Рагозин легонько кашлянул, погладил усы.

— Волга уж, наверно, ни при чем. Ну, а ежели бы ты на Волге Гасилову купальню соорудил, тогда...

— Спину бы тер ему! — вставил почти злобно Извеков.

— Вот-вот, — уже не скрывал улыбки Рагозин. — Спину ежели бы мылил ему персонально в купальне, как же бы тебя не спросить — а с какой целью?

— Вся эта нелепая история для меня нешуточное несчастье, а ты... — перебил и не досказал Извеков.

Рагозин взгляделся в него все еще улыбающимися глазами и этим взглядом заново рассмотрел его лицо — сжатое, странно уменьшившееся и в мелком подергивании, заметном не по наружным чертам, а где-то под ними. В то же время Кирилл увидел, как улыбка Рагозина, исчезая, оставляла на нем какой-то брезжущий, рассеянный свет, точно поутру медленно приотворялась ставня. Недолгий этот момент показался им обоим внятнм возвращением прежнего взаимного чувства, может быть потому, что произнесено было все объяснявшее слово — несчастье.

— Век целый друг друга знаем и, кажется, обходились без объяснений насчет верности, — смягченно, но все еще с горечью сказал Кирилл. — Что тебе не понравилось в моих словах? То, что считаю свою преданность партии естественной, как само дыхание? Разве это значит — я не проверяю себя, не слежу за своими поступками? (Он вдруг, не очень к месту, усмехнулся.) Мне сейчас пришла одна такая мысль... Воспоминание. Может, рассказать?.. Словом... Помнишь, конечно, мироншский мятеж? Историю под Хвалынском?.. Я тогда очутился в Черемшанах, в мужском скиту. Староверы еще уютились там густо, монахи по-прежнему служили в рубленой своей церковке. Все ущелье было переполнено пришлым людом — гостями, набежавшими из городов. Но в скиту были две-три далеких кельи, их уединение ревностно охранялось. В одну меня сводили посмотреть. Я был комиссаром, и монахам надо было показать, что от начальства тайн никаких нет. Вилась туда тропинка сквозь гущу неклена. Знаешь, как у нас оплетаются нектеным склоны холмов. На таком заросшем склоне увидел я, когда уже вплотную подошел, избенку. Кряжи вполобхвата, а похожа на игрушку — очень ладно связана, вся в одну горсть. Сени были настезь, и дверь в

горницу тоже отворена. Я подал голос, никто не отозвался. Шагнул на крыльцо. В сенях на полу, как раз против входа в горницу, — открытая дубовая домовина. В головах ее — приплюснутая подушка в ситцевой розовой наволочке, и к ней прилипли переплетенные длинные седые волосы. У задней стены сеней стойком — гробовая крышка. Поверху накрашен черный крест о восьми концах. Словом, все, что в этой части наложено на монаха по схиме. Я хотел заглянуть в избу. Но появился из некленов сам схимник — сухой, опутанный седым волосом, как хмелем, старик. Сказал «мир вам», пригласил зайти в горницу. Мы поговорили. То есть говорили мои провожатые, а схимник отвечал больше поклонами. На прощание он подал руку и сказал мне «мир с вами». Мне, помню, представилось это неподходящим: я тогда воевал, на фуражке моей была красная звезда. Но, правда, не победы ведь мог он мне пожелать? Это и неважно — не к тому веду... Я спросил тогда у него, с извинением за неуместное, может, любопытство, с каких пор начал он проводить ночи в своем дубовом ложе. Он ответил (и, конечно, как это у них полагается, — очи долу), что, мол, память его этого не хранит. Но потом мне сказали, что поживает он во гробе уже скоро двадцать лет. Стало быть, с самого начала нашего века! Это меня изумило: до чего стоек старик! Такой не поддастся, не уступит... Вот и вся история. Но, представь себе, мне тогда неожиданно стало весело. Я даже рассмеялся. Да, да, там же, только мы отошли от кельи и мне сказали, что монах ночует в своей колоде двадцать лет, я засмеялся. Мне подумалось, что мы — тоже ни за что не поддадимся, не уступим! Подумалось, что мы крепки своими убеждениями не меньше, а больше, чем старик своей верой. И что не только он нас не пересилит, но и все, кто с ним, сколько бы их ни было и сколько бы ни изумляли своим упорством, не перетянут нас никогда!..

Пока Извеков говорил, Петр Петрович все больше мрачнел и так под конец насунился, будто наглухо захлопнулась ставня, через которую минутой раньше брызнул на него свет.

— Сладостная басенка, — сказал он неторопливо. — Ты что же, убеждения коммунизма со старой верой сравниваешь? С религией?

Кирилл даже отшатнуло в сторону от удивления.

— Крепость приверженности сравниваю, — воскликнул он. — Стойкость сравниваю, упорство! Шли ведь когда-то раскольники в огонь за свою веру. Разве мы отступаем перед огнем, защищая свои убеждения?

— Какое же сравнение? — настаивал Рагозин. — Там люди в чем стойки были? Что отстаивали?

— Ну, подумай, о чем ты спрашиваешь? — не переставал дивиться Кирилл.

Но Рагозин только настойчивее напирал. Впервые за разговор он вдруг поднялся и, нависая над Извековым всей твердыней своего тела, уже одним видом говорил, что не намерен соглашаться.

— Староверам хотелось, чтобы ничего в мире не двигалось. Вот они за гробы и держались. Чтобы вся жизнь была приуготовлением смерти, и все как было, так бы оставалось. А мы идем к тому, чего еще никогда не бывало. Стоим за то, чтобы все менялось, вперед двигалось к перемене. Они за покой готовы были жизнь положить, да и клали, знаю. А мы из беспокойства сделаны. Они на смерть шли, потому что по-ихнему все вокруг должно умереть и весь род человеческий алтарю господнему представится. А мы на смерть идем, потому что по-нашему все вокруг должно жить. Мы за жизнь, они за смерть. Как же этого не понимать?

Рагозин уже решительно прохаживался, останавливаясь на каждом своем «а мы» и взглядывая на Кирилл осуждающе.

— Наша стойкость иного источника и совсем иных целей. Никакую другую в сравнение с ней поставить нельзя. Пусть твой монах сто лет проспит в колоде, упрямство его все равно бессмыслица и потому нуль. А ты своим сравнением нуль этот возвеличиваешь.

— Сразу уже — мой монах! — сказал Кирилл с усталостью. — Ну что ты мне вдалбливаешь? Я не совсем тупой. Сравнение пришло мне на ум давным-давно и больше со смехом, чем всерьез.

Он тоже поднялся.

— Раньше ты умел в шутке найти соль.

— Знай, чем шутить! — почти оборвал Рагозин, но тут же добавил помягче: — Да и не до шуток тебе сейчас.

— Верно, не до шуток, если уж и ты говоришь со мной, точно с отступником.

Рагозин только метнул суровым глазом, достал платок, развернул его обрывистым взмахом, накрыл голову и протер лоб и лысину. Точка была поставлена.

— Я хотел бы знать, — сказал Извеков, — дашь ты обо мне товарищеский отзыв, если понадобится?

— Спросят — отмалчиваться не буду.

— Извини за длинный разговор, — сказал Извеков и подал руку.

Когда он уходил, Рагозин посмотрел ему вслед с таким выражением, словно никак не ждал, что разговор на этом будет в самом деле кончен. Ему важнее всего было убедиться, что Извеков только ошибся, не более, и он убедился, что это так, и не понимал, отчего не успел сказать об этом Кириллу. И тут в нем очнулась к Извекову любовь. Это было так, будто кровь остро прилила к сердцу и остановилась в нем. Он поднял руку, хотел позвать Кирилла, но тот уже закрыл за собой дверь.

Кирилл закрыл дверь совсем не с тем чувством, с каким до того выходил за дверь другого кабинета, где обрушилась на него неожиданно-негаданно беда. Оттуда вышел он ошеломленным. Рагозинский кабинет он покидал в полной ясности сознания, говорившего ему, что старый друг оттолкнул его в горькую минуту. Он сознавал, что Рагозин был по-своему прав, как по-своему прав был он сам. Он искал мыслью, почему эти две правоты не сошлись в одну, а разошлись. На это он не мог себе ответить. Но из того, что правота Рагозина не сошлась с его правотой, вытекало одиночество, которого Кирилл не знал никогда в жизни и которое угадал предчувствием, когда расстался с другом.

Он в тот же день уехал из Москвы домой. Ночь в поезде его знобило, он не спал: стояла зяблая весна.

Вскоре партийный комитет завода и партбюро районного комитета рассматривали его дело, и дирекция завода предложила ему оставить должность. Через двадцать семь дней (он считал эти дни) ему прислали направление на новую работу. Он был назначен в Тулу. В Москву его больше не вызывали.

В полушутку сам с собой он говорил о себе как о штрафном. Всерьез же он сложил правило: делай, что должен, и терпи, что неизбежно.

Как много вмещает в себя минута воспоминаний! Она похожа на короткий взгляд, брошенный с горы на окрестность: видишь сразу леса, поля, речную пойму в лугах, дорогу, то исчезающую в зарослях, то лентой перетянувшую взгорье, строения под одинокими деревьями, и крыши в садах, и карусели облаков в воздушных далях, и все это — в сумраке теней и бликах света, все в красках, движении людей, машин, животных,

и все, кажется, обернулось туда, куда торопится охвативший пространство ветер. Беспорядочно смешанные подробности зрение улавливает в один миг, связывая их в целое.

Так в быстрых подробностях и в один миг вспомнил Извеков множество событий, предшествовавших его приезду в Тулу, едва только вышел за калитку и заметил беспечную струйку воды, которая вилась из крана колонки на перекрестке улиц. Память искрами выбивала из прошлого важное и ничтожное, далеко ушедшее и недавнее, и все это вилось во-круг одного стержня, как падающая струя воды.

Всего несколько минут ходу предстояло Извекову до обкома. Он торопился. Еще звучал в ушах голос радио, отчеркнувший прожитую жизнь от новой. Надо было в эти минуты решать, что брать с собой из пройденного в эту новую жизнь. Хотелось, чтобы все было ясно: точное осознание случившегося, твердый план действий. Но чувства бушевали, и сразу смирить их ему не удавалось. И вдруг неожиданная мысль приостановила шаг Извекова: «Хорошо, что умерла мать».

Он сейчас же пошел по-прежнему быстро. Ему никогда раньше не приходила на ум такая нелепая жестокость. Он жалел, что мать не пожила еще, не увидела выздоровевшей Нади, не посмотрела, как жизнь подвигается дальше. В последние годы он старался оберечь мать от всего, что ее могло встревожить. Но ведь нельзя же было бы скрыть от нее войну! Сейчас ей стало бы известно, что случилось с Аночкой. Она уже терзалась бы мукой за Кирилла, за Надю. О да, мать сделалась бы опорой Кирилла в испытаниях, которые для него наступили и теперь ожидают всех. Она умела бороться без жалоб. Кирилл учился у нее самообладанию. Но все же лучше, что смерть оградила ее от горя, собравшегося шагнуть, а быть может, уже шагнувшего через порог извековского дома. Разве мог Кирилл пожелать, чтобы это бремя ему облегчила мать своими старыми плечами?

...Он вспомнил, как однажды померкли от горечи всегда ясные ее глаза. Это был все тот же случай, который своротил жизнь Извекова с большака на проселок. Когда он сдал дела завода своему преемнику и вернулся домой, он взялся очищать свой стол от накопившихся бумаг. Тут были наброски размещения станков по цехам, карандашные эскизы разных чертежей, черновики докладных записок, планы жилых домов для рабочих. Он думал, могут найтись документы, нужные заводу, однако бумаги оказались ему отжившим век хламом. Он решил все сжечь. Но тут мать позвала его ужинать.

Они сидели вдвоем — дочь возвращалась из школы поздно, жена была в отъезде (Кирилл ждал ее на другой день). Он спросил:

— Ты, мама, все еще, кажется, бережешь мои письма с фронта и разную разность?

— Даже твои ученические тетрадки,— ответила она с гордостью.

— Не добавишь ли к ним кое-что из бумажек времен здешней моей работы?

Немного подождя, она спросила:

— Что-нибудь случилось?

Он взглянул ей в лицо и опустил глаза.

Он не мог спокойно видеть, как спрямились в спичку побелевшие ее губы и темнел свет ее взора.

— Ты прости, что я молчал до сих пор.

— Думаешь, я ничего не замечала?

Он заставил себя вновь посмотреть на мать и улыбнуться.

— Нет, не думаю.

— Скрывать тяжелее, чем сказать,— опять повременив, выговорила она.

Он рассказал, что с ним произошло. Она ни разу не прервала его. Она настолько ушла в слух и затихла, что ему стало казаться — он вместе с ней начинает слышать удары ее сердца.

Едва он кончил рассказ, мать поднялась и подошла к нему. Она провела по его голове ладонью, потеревила, помяла густые волосы, как делала в его детстве, своим учительским приободряющим движением, потом по-матерински вдавила его лицо к себе в грудь и все еще молча вернулась на свое место.

Его голова горела, он ничего не мог сказать, а только пожал плечами и со странной мерцающей улыбкой глядел на мать.

— Ты обманулся, Кирилл. Но сам ведь ты никого не обманывал. Это главное,— сказала она.

Лицо ее уже прояснилось, и чуть-чуть выступившие слезы жарче осветили взгляд.

— Аночка еще не знает? — спросила она.

— Я скажу ей завтра.

— Конечно, в письме этого не опишешь,— рассудительно сказала мать.— А переезжать нам с тобой не привыкать.

— Не в переезде дело.

— А в чем? В работе? Пользу людям ты делал на всякой работе.

Он не ответил и встал. Она озабоченно потрогала посуду с ужином.

— Все остыло. Я подогрею.

— Есть я не хочу. Принеси мне, пожалуйста, чаю.

Он пошел к себе, но обернулся и почти с веселой усмешкой сказал:

— Я, мама, все-таки дам в твой заветный архив кое-какие планы жилых домов. Теперь ведь я по коммунальной части.

Мать хорошо знала его силу, но знала также, что любая сила питается своими источниками, а неисчерпаемых источников нет. Их должно быть поэтому много. И она щедро расходовала себя на семью сына и на него самого. Она была лоном ключа чистого, неприятельного, как все в природе: ни разу в жизни Кирилл не заметил, чтоб она чем-нибудь тяготилась.

«Теперь ей было бы очень тяжело»,— подумал он и тотчас оборвал себя, потому что это была обратная сторона мысли о том, как хорошо, что мать умерла.

«Это все эгоизм,— рассуждал он, тверже и словно бы злее шагая.— Просто мне было бы сейчас немотогу, если бы прибавилась тревога за мать. (Он снова перебил себя.) Ах, что за чушь! Мне было бы легче, если б она жила. Несравненно легче. Мать взяла бы на себя всю заботу о Наде. Воспитала же она ее одна! Хотя нет, она никогда с этим не соглашалась. Она была уверена, что Надя воспитывалась всей семьей. Всей семьей? Но Аночка, дай бог, чтоб месяца три в году жила дома!»

— Ничего не значит,— когда-то возразила мать Кириллу.— Если Аночка сумела внушить Наде любовь к себе и уважение, значит она настоящая воспитательница. Такую семью, как наша, в былое время называли бы благословенной. Ты недостаточно придаешь значения семье.

Кирилл не придавал значения семье! Да если бы у него нашлось иное слово, разве повторял бы он про себя в счастливую минуту полушутливо и отрадно — «благословенная семья»?

...Вдруг мелькнула в его памяти очень давняя картина. Они втроем — мать, Аночка и он. Квартирка в Сормове, распахнутые окна, прикрытые ставни и духота июня. Это было в последнюю нижегородскую ярмарку. Кирилл только что встретил на пристани жену. Она привезла с собой необъятный букет пионов: кончился сезон, и театральные товарищи пышно проводили ее домой. Она перебирала на столе тяжелые — не уместить в пригоршне — осыпающиеся шапки цветов, расставляла их по

вазам. Пол пестрел розовыми, белыми, свекольно-красными лепестками, воздух стал душно-сладок. Она смеялась, спрашивала обо всем, что вертелось на уме, не дослушивала ответов, начинала рассказывать о себе, перебивала себя новыми вопросами:

— Ну а что у тебя, Кирилл? Впрочем, ладно, можешь не говорить! Все знаю, все читала! (Она заговорила тоном радиорепортера.) Основные восстановительные работы по волжскому судоходству закончены. Заложены современного типа теплоходы. Вводятся новые производственные мощности... Нет, это невыносимо! Откуда, Кирилл, откуда этот язык? Представь, я говорю со сцены: «Какими вы, товарищ инженер, располагаете мощностями?»

Оторвавшись от цветов, она делала вращательные пасы, охватывая руками все больше пространства и считая: «Две мощности... пять мощностей — что это такое?» Потом неожиданно останавливалась.

— Теперь точка! Я говорю, говорю, а вы толком не сказали мне даже про Надю!

— Надя тоже вводит новые мощности,— смеясь, начала докладывать Вера Никандровна.— Является недавно из детского сада, спрашивает: бабушка, скажи мне, пожалуйста, капиталистов выгоняют или они превращаются в людей?..

— Что за прелесть! — вскрикнула Аночка, с хохотом бросаясь к мужу и обнимая его.— Подумай, Кирилл, девочка на шестом году! Что же будет дальше? И как вы ей ответили?

— Я сказала, давай спросим у папы — он имел с ними дело.

— А ты? А ты, Кирилл?

— Что ж оставалось? Я сказал, если капиталисты не превращаются в людей, то их обыкновенно выгоняют.

Они хохотали, и даже теперь, когда вместе с этим мгновенным воспоминанием зажглась у Кирилла мысль, что, может быть, он больше никогда не услышит смеха Аночки,— даже теперь ответом счастливой сормовской встречи секунду держалась на лице его улыбка...

Аночка нисколько не была смешливой, она, пожалуй, вообще смеялась скупно, но почему-то сейчас Кириллу виделась только веселой.

...Не так давно Извекову пришлось заниматься городским парком: переделывалась планировка цветника, высаживались кусты, всю весну заливались песнями пилы вокруг возводимых павильонов и волновался в воздухе колючий запах свежей олифы. Наконец на скрещении аллей расставлены были прибывшие из Москвы скульптуры.

Аночка приехала летом. Парк уже блистал чинным порядком. Кирилл показывал жене свое многотрудное достижение. Ранним утром они обошли сначала боковые аллеи в пушистых тенях на дорожках. Это входило в замысел Кирилла: ему казалось, в сравнении с убором почти нетронутой природы декоративные красоты в центре парка должны просто покоришь воображение дорогой гостью.

Но странно: легкая, праздничная, сосредоточенная на своем удовольствии, что идет об руку с Кириллом, Аночка словно заскучала, как только они вышли на разлинованные площадки, где зелень парка отступала, стыдливо прячась за спиной торжествующей фанерной архитектуры. На солнце жгуче пылали анилиновые краски не очень большого разнообразия, но такого бесстрашия колеров, что никто не заподозрил бы строителей в мучительных поисках цветной гармонии.

Искоса взглянув на жену, Кирилл спросил:

— Тебе не нравится?

— А тебе нравится?

— Что же ты отвечаешь вопросом на вопрос!

Она засмеялась и, потянув Кирилла за руку, заставила его повернуться.

— Тебе не кажется, что эту богиню с лодочным веслом мы где-то уже видали? — спросила она невинно, кивнув на гипсовое изваяние. Плечистая дева своими завидными пропорциями доказательно убеждала, что гребной спорт полезен для здоровья.

— Конечно, это не подлинник, — почти серьезно сказал Кирилл. — Но что ж из того? Венеру Милосскую повторяли куда чаще, даром что она безрукая.

— Но, однако, это испорченная Венера, несмотря на руки и даже на лопату в руках.

— Не знаю, что в ней испорчено. Формы как формы, — усмехнулся Кирилл, — я не скульптор.

— Но это твой вкус? — не унималась Аночка.

— Скорее вкус Павла.

— Как — Павла?!

— Я его просил узнать, где в Москве покупают садовые статуи. Он отправился к своему приятелю Ване Рагозину. Тот повел его в мастерскую. Там они сообща отобрали несколько фигур, и я их заказал.

— Заказал, не посмотрев?

— А зачем? Я знал, что покупал. Ты сама говоришь, спортсменка где-то нам встречалась... На Нижегородском Откосе, правда? — спросил он, лаской голоса напоминая Аночке вечерние прогулки с ней над Волгой:

— Хорошо бы только на Волге! А ведь это весло богини маячит даже там, где в жизни не видали лодок. Чуть не в пустынях.

— Не велик выбор, — словно поддразнивая, заметил Кирилл, — приходится мириться с тем, что есть.

— Что значит — мириться? — горячилась Аночка. — Разве не поэтичнее таких пародий на Версаль простая зелень или цветы? Нет; нужны непременно антики в трусиках!

Словечко развеселило его, и, со смехом поглядев в сияющее лицо жены, он повел ее дальше, держа за кончики пальцев, как когда-то, в юношеские времена.

Веселость не могла, конечно, разрешить спор о вкусах. К тому же Кирилл и в спорах привык доводить дело до конца. Скамья поодаль от раскрашенных павильонов должна была помочь ему.

Они долго не разговаривали, прислушиваясь к шелесту березовой листвы в ответ на еще робкий утренний ветер. Кирилл положил руки на плечи жены, и это движение, похожее на приглашение к миру, отдалось в ней знакомым чувством — она знала, что он хочет высказаться.

— Я не думаю утверждать, что парк нельзя устроить лучше, красивее. Ты права. Но убранство, даже бедное, обязывает — как это выразить? — к хорошему поведению, что ли. Посаженных цветов не рвут. Поставленную статую не ломают. Должны не рвать. Должны не ломать. Мы ведь по убеждениям своим — воспитатели. (Он улыбнулся.) Ты скажешь: воспитывать надо на хороших образцах. Прививать плохой вкус не годится. Опять ты права. Но как, по-твоему: должны ли мы посредственным театрам запретить играть Шекспира только потому, что они посредственны?

— Нет, нет! — воскликнула Аночка, вся вдруг всколыхнувшись. — Запрещать — нет. Но мы обязаны выпускать на сцену только хороших исполнителей!

— Но ведь пока у нас больше плохих?

— Пока — да, — подтвердила она с убеждением, но быстро, на озорной нотке опровергла себя: — Плохих, наверно, всегда будет больше.

— Это ты от гордыни, — сказал он шутливо. — Плохих будет со временем меньше, я уверен. Но пока... Лукавая штука, это самое «пока», — остановил он сам себя. — В сущности, мы должны из возможного выбрать лучшее. Во всем. И наши, как ты говоришь, антики — они сейчас лучшее... в своем роде, разумеется. И парк сейчас не так уж плох. Ты зря смеешься, право.

— Не обижайся, — сказала она с улыбкой, — я сочувствую... твоему... помнишь, как говорила Надюшка? — твоему безобразительному искусству.

— Ну, удружила... Дело, однако, не так просто. Было бы из чего выбирать лучшее. Но — возможности, каковы возможности? Знаешь, раньше я все иначе понимал, потому что многое иначе видел. Кто долго работает в промышленности, у того особый взгляд на вещи. Там все растет. Даже плохой работник, хочет не хочет, тянется за общим ростом, иначе ему каюк. Хороший же идет впереди роста, тянет рост за собой. Его все время спрашивают: а можно сделать больше, скорее, лучше? Можно, говорит он, если будут деньги, люди, головы на плечах. Будет все, отвечаю ему, деньги, люди, — получиай новый план, делай план, работай по-новому. И он работает, и все вокруг работают — быстрее, совершенней. Попробуй отстань! Попробуй завали план!.. Когда я приехал сюда, мне сначала городская работа показалась куда обширнее заводской. Помнишь, я тебе говорил: завод — это продукция, город — это жизнь. Там — часть. Здесь — целое. Здесь рождаются, учатся грамоте, создают семьи, кормятся, лепят свой личный быт, ищут счастья, мечтают, как нигде, трудятся на тех же заводах, фабриках, в каждом переулке, под всякой крышей, отдыхают, развлекаются, старятся, страдают, лечатся, приобретают навыки жить ульем, сообща. Здесь так все разделены и так все сцеплены, что никакое производство, будь оно из тысячи процессов, невозможно сравнить с городом. Стоит только произнести слово «жизнь», как мы представляем себе город. И не одни горожане. Нынче, может быть, особенно — негорожане... Так вот, в тот город, который мы унаследовали, который отбили у истории кровью лучших ради молодой жизни, в тот город надо вдунуть новую душу... Это действительно большой план. Это план титанический.

Он говорил тихо. Он думал вслух не раз передуманное молча. Аночка сидела неподвижно. Никто не мешал им, не прошел мимо — был воскресный день и все еще рано.

— Я собирался приняться за работу широко, по заводскому примеру — планом сверху. Но во всяком деле есть еще план снизу. Это — возможности, реальность. Прикрываться объективными условиями нельзя. За это у нас бьют. И поделом. Но это не значит, что объективной действительности нет. Она существует. Мы зовем не отрицать ее, а переделывать... Ну, я и переделываю нашу тульскую объективную действительность. Как? Вот слушай.

Кирилл помолчал, вопросительно глянул куда-то вбок.

— Не знаю, с чего начать. Да с чего ни начни, — усмехнулся он. — В год, когда мы с тобой приехали сюда, все жилищное строительство местных Советов велось в Заречье, и было оно в три раза меньше построек личных собственников на окраинах — в Мясове, в Рогожинском, в других поселках. Год спустя, когда я уже впрягся в телегу, мы выстроили в десять раз меньше, чем собственники. А прошлый год — в восемьдесят два раза меньше. Неловко сказать — все-то наше достижение вообще измерялось двумястами квадратными метрами. Обгонял нас, коммунальщиков, эти четыре года фонд предприятий, учреждений, кооперации. Но и этот фонд изрядно отставал от собственников, которые, кстати, прошлый год в два раза опередили и школьное, и больнич-

ное, и жилое заводское строительства, взятые вместе. Значит, эти годы городское коммунальное хозяйство свое жилье только теряло. Нужда более нетерпимая бьет нас ожесточенно. Ведь кто бы ни соорудил дома, обслужить их должен город. А у нас еще до сих пор есть деревянный водопровод, и заменить его весь чугунным мы пока не можем. Мы планируем ежегодно утечку воды. И прошедший год план блестяще перевыполнили. А что мы делаем с бедной тульской Упой? Около четырех миллионов кубометров сточных вод мы спустили в нее за год без очистки! И так за что ни возьмись: мосты, дороги, прачечные, бани... А главное, дома, дома!

Он приостановил свою медленную речь и вдруг с облегчением сказал:

— Знаешь, я все чаще думаю о маленьких домах. Даже о каких-нибудь шестистенках. По-русски. Доступнее, скорее строить. Кварталы, которые омываются дыханием леса, полей. С водоемами, а зимой с катками для ребятишек.

— Но коттеджи, наверно, малоэкономичны,— перебила Аночка с видом критически мыслящего плановика.

Ее шутовское лукавство он, конечно, уловил, но ему хотелось договорить серьезно:

— Представь — нет. Если это не барские особняки, разумеется. Я вычислял. Получается, что при одинаковой жилой площади строительство и содержание многоэтажных домов-коробок по вертикали гораздо дороже, чем комплекс маленьких отдельных домов по горизонтали. Там лестницы, лифты, поэтажные перекрытия, подвалы, глубокие фундаменты. Тут этого не надо. Чем выше дом, тем больше тратится металла. Попробуй растяни в длину трубы, калориферы, перила, каркасы железобетона, балконные решетки и что еще там? Металла с лихвой хватит на массивный квартал поселка.

— Деревенского,— добавила она, покосившись на Кирилла.

— Типового. Благоустроенного. Превосходящего не только деревню, но прежде всего город. Без его пыли, сажи, грохота, толкотни. Без потасовок в коммунальных квартирах. Все дело в планировке, в размещении. В оздоровлении условий. В характере градостроительства.

— Все поселки ползут вширь,— скептически заметила Аночка.— Сколько же надо земли?

— По-твоему, у нас мало? Мы же не спекулируем землей. Другое дело — разбазаривать ее.

— Ну а транспорт? Если твои горизонтальные поселения растянутся на километры...

— Это из области ужасов! Города-гиганты бессмысленно перегружаются промышленностью, а жилье строят так, что горожанину до места работы скорее как за два часа не добраться. И жалуются на трудности коммуникаций! Надо перестать кучиться. Тогда и с транспортом будет куда проще. Дело в пропорциях между промышленностью и жилыми строениями. В размещении по плану. В большом государственном плане!

— В мечте,— улыбнулась Аночка.

— Да. В битве за мечту,— подтвердил он сурово и заговорил с необычной для него поспешностью: — Меня ругают. Кто? Все, кому нужна вода, жилье, трамвай, мосты, очистка ям, кто ходит в бани, в парикмахерские, лечебницы, кто лежит в больницах, родильных домах, живет в бараках, которые значатся под рубрикой аварийных. Граждане. Горожане. Они-то, во всяком случае, правы. Одна беда — сам себя ругать я не могу. На свой вопрос, делаю ли, что возможно, я по совести отвечаю себе — делаю все, что мыслимо. Мою мыслимую, а вернее немислимую, работу критикует исполком, тянет меня на своих заседаниях. Но заговори я о средствах, о людях, о том, что и коммунальному делу надо дать

размах, а не подпирать его то тут, то там пасынками, как гнилые телеграфные столбы, — только заговори! Разве я не пробовал? Меня засмеяли. Намереваешься раздуть коммунальный вопрос, а сам не выполняешь даже своего малого плана! Почему же меня не прогонят со службы, когда я его не выполняю? С любого завода прогнали бы, наверно. Да потому, что нельзя строить дом без кирпича или без леса, без плотников, нельзя вести водопровод без труб, без слесарей, землекопов. План слишком мало обеспечен, потому и мало выполним. Все это знают. Знают также, что без коренной, решительной перемены в подходе ко всему коммунальному делу нечего и говорить о каком-то большом плане. Еще лучше знаю я, что большой план придет. Это никогда не может быть слишком рано. Однако не должно быть и слишком поздно. Но сейчас... С этим придется, товарищ Извеков, погодить. Пока это невозможно. Пока...

Он наконец остановился. Видно было, что мысль его не изменила направления, но ведь не с отчетом же он выступал перед пленумом исполкома, да для пленума и не годилась бы его речь, а для жены она могла быть, пожалуй, много короче.

Аночка нежно погладила его руку. Он спросил:

— Ты что? Жалеешь меня?

— Разве таких, как ты, жалеют! — вдруг сильно сжав его пальцы, отозвалась она.

Он поднялся. Она тотчас встала и пошла с ним в ногу.

— Взвиться бы соколу орлом в поднебесье! — раздвигая плечи, громко сказал он и огляделся. — Всего становится больше, как ни говори. И чем больше становится, тем больше не хватает.

Тогда она опять засмеялась:

— Насчет орла, милый мой сокол, и насчет того, что всего становится больше, — это чтоб я не подумала, будто ты со своим немощным хозяйством сильно устал!

— По-твоему, тульские немощи заслонили мне весь свет? А я вижу, мы растем, и знаю — будем расти еще больше. Если нам не помешают.

— Кто? Помешает — кто?

...Сейчас Кирилл живо расслышал голос беспокойства, заглушивший Аночкин смех ее настойчивым вопросом. Они тогда много говорили о том, кто может помешать росту, помешать жизни. Зачем должно было случиться, чтобы Аночка теперь первой, одной из самых первых и на самой себе узнала, кто помешает, кто уже помешал? Зачем? Что с ней, что с ней теперь, в эту минуту, когда он слышит ее голос, ее смех, видит ее так кристально-четко, как ни в одну из прежних разлук? Что с ней, повторял и повторял он, пока воспоминания, перегоняя друг друга, смешиваясь или разделяясь, струей вились вокруг единственного чувства, внезапно переломившего сознание: мы в войне. Уже в войне.

Нет, не выходит из головы никчемный теперь вопрос: что же все-таки сделано за прошедшие четыре тульских года? Что прочно, что гнило? Чему предстоит выдержать испытание, чему рухнуть? Так много, кажется, поработано для будущего, так мало выполнено. Чугунный вопрос с запятой играет на перекрестке язвительной струйкой воды: да, товарищ Извеков, такой срок — и так мало сделано.

Черт побери эту колонку! Она вывинчивает из памяти Кирилла все, что ей захочется, да еще и посмеивается: немного сработано, товарищ Извеков, немного. Например, можно было бы провести водопровод к себе в квартиру. Всего каких-нибудь метров десять через мостовую от колонки. Небезызвестный Михаил Антипович Придорогин, удержавший за собой скромную должность по водопроводной части, советовал такое благоустройство осуществить непременно. Но Извеков не внял совету.

— Не раньше чем дойдет очередь до нашего квартала, — возразил он. — Есть нужды поострее моих.

— Старомоден ты, товарищ Извеков, право, — сказал на это Придорогин.

— А по-моему, новомоден. К тому же ты первый напишешь докладную, что, дескать, Извеков самообслуживается.

— За кого ты меня принимаешь? — в высшей степени обиженно парировал Придорогин.

— За тебя, — спокойно ответил Кирилл.

...Новомоден. Что значит это дурацкое слово — новомоден? Оно бессмысленно лезет в голову Кириллу, и нужно чуть ли не физическое усилие, чтобы выбросить слово вон из головы и с ним всю путаницу, нахлынувшую после того, как прозвучала по радио страшная новость.

Кирилл делает это усилие и распаивает хорошо знакомую дверь здания на улице Коммунаров.

5

По лестнице обкома Извеков поднимался не один. Впереди, торопясь, шли люди — он видел перед собой запыленные сапоги. Разговоров слышалось немного, звучали они глухо.

На верхней площадке становилось тесно — движение замедлялось в дверях. Явившиеся здоровались друг с другом, и здесь, наверху, держалось тихое гудение голосов.

Наряду со знакомыми лицами были никогда не встречавшиеся Кириллу, среди них — совершенно молчаливые военные. Ему несколько раз пожали руку, и кое-кто на ходу задал вопросы, не обязывающие отвечать, вроде: «Ну, что скажешь?» Все говорили короткими фразами, которые будто нечаянно выпадали наружу из замкнутых размышлений, более важных, чем произнесенные слова.

Эта сдержанность, эти обрывистые фразы на какой-то общей низкой ноте мужских голосов не только не создавали шума, естественного для стечения людей, но производили впечатление напряженной тишины.

Кириллу стало казаться, что ему давно знакомо такое странное впечатление тишины и одновременного гудения голосов, что это, наверно, отвечает какому-то состоянию чувств, в котором находятся все, кого он видит, и он сам. Он все больше ощущал тесноту, все внимательнее останавливал взгляд на лицах, продвигаясь вместе с другими вперед. Ему представилось, что он уже когда-то продвигался вот так же, замедляя шаги, теснясь в проходе к дверям, и что так же, вплотную с ним, двигались его товарищи, обмениваясь обрывистыми словами, и что тогда тоже было напряженно тихо.

И он увидел Саратов.

Да, конечно, это происходило там, происходило не раз, когда созывались экстренные собрания по поводу неожиданных событий, к назначенному часу являлись вызванные товарищи и шли в зал. Жизнь в то время была жизнью фронтов гражданской войны — ими жил вместе со всеми Кирилл. И что же было теперь? Продолжение тех лет или возврат их, как повтор припева в песне? Далеко отодвинутые в историю события откликались из прошлого неумирающим своим смыслом. Смысл состоял в том, что старый враг снова открыл военный фронт, что опять наступила эпоха фронтов. И вот оно, знакомое чувство борьбы решимости с тревогой, — в этих сдержанных голосах, в этой тишине.

Кто-то тронул Кириллу за локоть. Он вполоборота посмотрел назад. Придорогин, отдуваясь от жары, во весь голос выдохнул:

— Повеюем, товарищ Извеков?

«Не ты ли со мной?» — хотел отозваться Кирилл, но подумал, что глупость — самое терпимое из несовершенств Михаила Антиповича, и промолчал.

Он уже дошел до дверей в зал, когда кто-то громко попросил «минутку повременить», и все начали сторониться, насколько еще было можно. Кирилл увидел Новожилова и за ним, плотной кучкой, несколько членов обкома.

Крупное, немного рыхлое лицо Новожилова стало как будто мускулистее и сбавило сильные свои краски. Но шел он, как прежде, — с раскинутыми плечами, выдвинутым подбородком. Он был прям и высок, а в этот момент почудился Кириллу даже еще выросшим, в старом своем защитного цвета френче, туго обнимавшем туловище.

Поравнявшись с Кириллом, Новожилов, точно от неожиданной боли, крепко сдвинул веки и чуть заметно дважды кивнул с таким выражением, будто подтверждал, что оба они — Кирилл и Новожилов — одинаково все понимают, одинаково чувствуют. В то же время он левой рукой нащупал правую Кирилла, сжал ее в запястье, подтянул Кирилла к себе, повел его рядом.

— Как самочувствие? — спросил он вскользь, продолжая смотреть прямо перед собой.

— В порядке, — ответил Кирилл.

Они вошли в зал, где сразу стало просторнее. Новожилов выпустил руку Кирилла. Они поглядели друг другу в глаза на миг дольше, чем прежде, и в этот миг Кирилл понял, что ответил Новожилову не так, как хотел бы.

— Порядок нужен теперь военный, — сказал Новожилов, но, словно перехватив колебание Кирилла, тут же спросил: — Что у тебя?

— Надо что-то сейчас же сделать для жены. Она в Бресте, — торопливо ответил Кирилл.

Новожилов на мгновение остановился, голова его толчком поднялась еще выше, он спросил едва слышно:

— Как в Бресте?

— С каким-то театром. Только вчера улетела.

Новожилов уже двигался дальше и уже по-прежнему глядел вперед, но снова подтягивая к себе за руку Кирилла, отстающего в проходе между стульев, сказал недовольно:

— Даже не знаешь, что за театр?

— Какой-то московский. Молодой.

— Зайди ко мне после собрания.

Минуту спустя в зале стихло. Кирилл сидел в первом ряду. Против него, чуть наискось, высился Новожилов: подойдя к своему месту за столом, он не сел, а стоя выверял взглядом весь зал, как будто без переклички хотел установить, кого недостает в строю. Потом он медленно произнес обычное слово, зазвучавшее необыкновенно:

— Товарищи!

Кирилл принял слово как в самом деле необыкновенное для такого часа, когда все должно было решительно перемениться. Но слово было прежним. Привычка к нему десятилетиями впитывалась кровью. Если оно зазвучало необыкновенно, то потому лишь, что власть его господствовала вопреки перемене, содрогнувшей всю жизнь.

Новожилов сказал, что товарищи уже слышали сообщение, переданное по радио, но он огласит его еще раз по записи. Он начал читать. Рука его твердо держала сложенные листы бумаги. Он был веско неподвижен, как глашатай. Одни губы его грозно затворялись и размыкались, да глаза, которые он отрывал от бумаги, синим отблеском пробегали по залу.

Извеков чувствовал, как водворяется в душе самообладание. Но мысли продолжали свою странную рысь несколькими ярусами, то вклиниваясь одна в другую, то опять расслаиваясь.

Если бы надо было повторить, что читал Новожилов, он повторил бы. Но повторялось также все, что бушевало в его мозгу, когда он сидел перед холодной шторкой радиоприемника. Мы находимся в войне, твердил его внутренний голос. Нам не скоро теперь дадут передышку. Нам никогда ничего не давали. Мы брали сами. Все надо взять самим. Всего можно добиться, как мы добились в гражданскую войну. И вот мы опять в войне. Что следует дальше? Каким будет исход войны? Откуда эти слова об исходе? Война только что грянула — и нет, не время думать об ее исходе.

Извеков не отрывался от лица Новожилова. Оно было гневным и было добрым. Новожилов всегда был таким — гневом ограждал он добро, во имя которого поднялась революция. Он умел быть другом и был им Извекову. Что случилось бы с Кириллом, если бы Новожилов не согласился дать ему работу в Туле?

Четыре года назад Извеков неожиданно узнал, что своему переводу в Тулу обязан Рагозину. Оказалось, Новожилов хорошо знал Петра Петровича. Однажды при встрече он пожаловался ему, что старая Тула с ее тесовыми домишками гниет, новых квартир дают мало, население растёт, рабочих прибывает все больше. Петр Петрович в разговоре об Извекове с председателем Комиссии партийного контроля вспомнил об этой жалобе. Взыскание, наложенное на Извекова партией, не открывало ему никаких заманчивых далей. Рагозин предложил направить провинившегося на жилищное строительство в Тулу. Председатель Комиссии, сам туляк, отозвался в том смысле, что сватом быть не собирается. Случись опять какая промашка у Извекова, отвечай тогда вдвойне перед своими земляками! Пусть решает отдел кадров. Рагозин поговорил в кадрах. Там ответствовали: как посмотрит Новожилов — ему работать с Извековым. Новожилов отвечал, что посмотрит хорошо, но ведь не он направляет на работу, а к нему. Кончилось тем, что Рагозин и Новожилов согласились поддержать Извекова сообща, и он прибыл в Тулу.

Когда в первом подробном рассказе Новожилову о своей печальной истории Извеков назвал себя «штрафным», тот пошутил:

— Ничего, мы тебя в ускоренном порядке перекуем!

Извеков с сомнением повел плечами.

— Беда, что перекованный всегда в худшем положении, нежели перековщик: он во веки веков не станет равноценен своему воспитателю, даже если превзойдет его качествами, — он ведь произведен из худшего, чем воспитатель, материала.

— Ну! — воскликнул совсем повеселевший Новожилов. — Ты разве росточком немножко не вышел, а материал, я знаю, закаленный.

— В Питере я наблюдал любопытный случай, — сказал на это Извеков. — Был там один упоенный успехами своего учреждения директор. И служил в учреждении очень дельный бухгалтер. Только в прошлом за бухгалтером числился грешок, который искуплен был трудовым лагерем. После лагеря директор решил перековывать бухгалтера дальше и определил в свой финансовый отдел. И вот осчастливленный бухгалтер начал выказывать чудеса такой одержимости своим делом, что поднял всю бухгалтерию до идеала. Директор не нахвалится им. Приди какой важный посетитель и окажись, как на грех, под рукой бухгалтер, сейчас же директор: «Познакомьтесь, прошу вас, — это наша гордость, главный бухгалтер, отличник, можно сказать — герой труда, золото, а не работник, вдохновляет весь аппарат, энтузиаст финансов... А ведь, подите-ка, с какой анкетой! Смеются вон, дурни разные над перековкой, а ведь он

в лагере три года отработал, да-с, в лагере за нечистоплотное дельце — вором ведь был, вором!»

— Что ты говоришь! — перебил с изумлением Новожилов. — Не может быть! Анекдот!

— Представь себе, может быть. Я знал обоих. Директор и мне продемонстрировал свое перскованное сокровище. Мало того, что обозвал его вором, потребовал еще, чтобы бухгалтер сам подтвердил. «Правду говорю про тебя, а?»

— А тот что?

— Подтвердил. Опустил голову, глаза в землю. «Правда,— говорит,— было несчастье».

— И что же... Что с ним... с бухгалтером?

— Ничего особенного. Спился понемногу.

Новожилов рассмеялся, но тут же нахмурил лоб.

— Сопьешься!

С неожиданной ласковой хитринкой он сощурился на Извекова:

— Это ты что же, мне в поучение?

— К слову,— улыбнулся Кирилл.

— Понимаю. Да слово-то у тебя олово. Стукнешь — не забудется... (Новожилов усмехнулся.) Я себе в заслугу демонстрировать тебя не собираюсь. И мой тебе совет — поменьше думай, что проштрафился. Ни к чему. Перестань. Это, брат, интеллигентщина...

Перестать думать о своей беде Кирилл не мог. Но после разговора стал думать меньше и меньше: пришла работа без роздыха, да и Новожилов чутким своим расположением к нему настроил многих в его пользу.

Сейчас в застывшей неподвижности зала взгляд Кирилла не отрывался от лица Новожилова и память в невольном беспорядке вычитывала из прошлого то одну, то другую встречу, в которой этот друг ободрил его мимолетным пожатием руки. Кирилл назвал в эту минуту Новожилова не только другом, но даже спасителем, уверив себя, что Аночка непременно будет спасена Новожиловым, только им, никем иным. «Зайди ко мне после собрания» — слова эти сопровождали все мысли Кирилла, на всех ярусах, по которым они скользили. Раз Новожилов сказал — он сделает, он спасет ее. Кто же еще, кроме него? Он, один он в силах вырвать Аночку из огня.

И вдруг Кирилл увидел самого себя в то давнее, давнее время, когда судьба солучила его впервые с Новожиловым. За двадцать лет с тех пор ни разу не думалось с подобной остротой о необычайном событии, сопутствовавшем этой встрече, а тут оно удивительно быстро прорезалось иглой воспоминания.

В 1921 году

...Белые армии были разбиты. По укромным углам русской равнины держались одни шайки бандитов. На подавление бандитов Извеков был послан в лесную Тамбовщину с отдельным отрядом Красной Армии. Но неожиданно его откомандировали из армии и назначили начальником уездной милиции. Тут встретился он с Новожиловым.

Новожилов стоял во главе местной Чрезвычайной комиссии. В первом разговоре, с глазу на глаз, он сказал, что, мол, вот Извеков два года был комиссаром на фронте и служба в милиции чудится ему, наверно, мелкой. Но милиция — дело особенное. Она близка к населению, много знает, должна больше кого другого отвечать. Слышал ли Извеков, спросил он, за что посадили прежнего начальника, нет?

— Это относится к теперешней твоей задаче,— сказал Новожилов.— В уезде гуляет Иван Шостак. Он из здешних. Был раньше у белых, дезертировал. Сразу как возвратился домой, начал подбивать по деревням людей: айда, ребята, за мной — искать в зе-

леном лесу правду. Научился у своих атаманов на юге. Мы все время на его следу, но банда уходит из-под рук. У Шостака что ни деревня — свои покровители. Он прошлый год ловко купил кулаков: отбил у советского продотряда обоз с хлебом и весь вернул кулакам. Они в благодарность всю шайку от себя на паек поставили. Мы арестовали человек сорок, о которых знаем, что они с бандитами связаны. Начальнику милиции приглянулась одна молодуха из арестованных. Он потом сам показал, что красавица стояла у него перед глазами во сне и наяву. Выведут арестованных на прогулку — он за ней в шелку смотрит, оторваться не может: пава! Про себя он решил: попроси она, чтоб он помог ей убежать, он поможет. Она возьми да и заговори с ним. Почуяла, видно, его вздохи. Этот народ опытный. Я с ней беседовал. Действительно, хороша собой, ведьма. Дальше — больше, начальник стал давать ей разные поблажки. А уж тут — что ему оставалось? Они положили бежать вместе. Но сорвалось — мы перехватили их по дороге... На следствии пава эта смеется мне в лицо: потеряли вы, говорит, начальника, он теперь ко мне прикован. А про свои делишки с бандой — ни слова. Но мы установили, что она вела дружбу с Шостаком еще прежде, чем ему уйти с белыми. Начальник милиции клянется, будто об этом не знал. Да все равно. Знал, не знал — чести не прибавит. Первый долг милиции — честность. Если без утайки, то у нас в этом пункте имеются нарушения, — закончил Новожилов.

Извекову поручили ликвидировать банду. Это была его единственная операция на службе в милиции. Его вскоре отозвали, он опять вернулся в армию.

Задача была военной, но войну в деревнях вели хитрее, чем на фронте, — не вдруг углядишь, кто на чьей стороне, все будто мирно, гладко. Идешь по земле, как по травке. А под травкой — огонь. Где он вырвется — не угадаешь.

Как только Шостаку стало известно, что прислан красноармейский отряд, он начал маневрировать, запутывая следы банды, распространяя по деревням вздор о ее движении. Извеков поддерживал с красноармейским отрядом связь. Шостак все внимание сосредоточил на военном отряде и, отходя от него, сближался с милицейской группой. Разведка наконец донесла Извекову, близ какой деревни банда остановилась на дневку. Шостак перед тем ночевал в этой деревне у завязатого кулака Воронкина. Не исключалось, заночует и еще раз. Извеков решил действовать немедленно. Людей у него было немного, и только он один и его помощник — на конях, остальные — пешне. Но он успел до вечера обложить деревню двумя линиями милиции с лесных сторон. Проезжую дорогу, которая шла по деревне из конца в конец улицей, Извеков приказал держать открытой, поставив секреты.

Один милиционер, родом из этой деревни, в сумерки заметил на дороге крестьянку, узнал ее, вышел из укрытия, поговорил с ней. Она направлялась переночевать в соседнее село, чтобы с утра занять очередь в фельдшерском пункте: она мучилась зубами. Милиционер не удержался спросить про Воронкина. Она ответила: ничего, мол, черту лысому не делается, живет — пирует.

— И сейчас пирует? — спросил милиционер.

— А кто его знает.

К полночи лазутчик доставил Извекову сведения, каков был результат разговора на дороге. У Воронкина за полдень были будто бы неизвестные люди, пили самогон, но как присумерничало, вдруг схватились с места и все до одного исчезли. Операция была выдана. Извеков арестовал милиционера, сказав, что женка своими большими зубами заговорила дураку его здоровые.

Надо было поправлять проруху. Извеков подтянул обе линии милиции к деревне и в полночь приказал проводить себя в избу Воронкина.

Ему открыл сам хозяин. Кирилл велел засветить огонь, вошел в горницы в сопровождении двух милиционеров, другие оцепили двор. Вся семья поднялась со сна, чужих никого не оказалось. Воронкин был человеком умным. Он признал, что днем к нему явились люди, погрозили («Вот как вы теперича, товарищи») оружием, потребовали достать вина, выставить сала, выпили, наелись, наказали проглотить язык («Не то быть от двора моего с избой останутся одни головешки») и ушли, как пришли. Никого из них Воронкин, по словам его, никогда не знал, а исполнял, что они требовали, под

страхом. О Шостаке заявил, что о таком слышал, но видеть не видал («Бог миловал!») и в подтверждение перекрестился на божницу.

— Ну, Воронкин, довольно вранья, хоть врешь ты складно,— сказал Кирилл — Нам все известно. Правды от тебя добьется суд. А теперь выбирай: либо ты сейчас идешь в тюрьму, либо выполняешь задание, которое исполнить я тебе прикажу. Банда Шостака свое отгуляла — она в кольце. Мы действуем с Красной Армией. У Шостака один выход — сдаваться. Понятно?

Воронкин ответил с раздумьем:

— Понятно. Давай вам бог, ежели оно так, как изволите сказывать... А какой же мне будет от вас приказ?

— Ты сейчас отправишься к Шостаку и скажешь, чтобы он вышел со мной на переговоры. Передашь ему от моего имени, что Красная Армия вести переговоров не будет, у нее приказ — разгромить шайку наголову. Бандитам выгоднее иметь дело с гражданской властью, с милицией. И это тоже передашь Шостаку. Запомнил?

— Как не запомнить, товарищ начальник! Куда только мне теперь идти? Вы укажете? Лес велик, а ночью того больше. Каким таким людям ваше слово передать, которых я ведать не ведаю?

— Тогда вели хозяйке дать тебе смену белья да два каравая хлеба на твоих конвоиров. Пойдешь в город, в Чека.

Женщины по горницам, за ними детишки принялись голосить, плакать. Воронкин цыкнул на домочадцев, чтоб замолкли, стал к иконам, помолился. Оборачиваясь к Извекову, развел руками:

— Тут тюрьма, там смерть — выбирай, чего хочешь. Сколько живу, ни разу не ходил по грибы в ночное. Слушаюсь, товарищ начальник, ваша воля.

— Не вздумай остаться с бандой! Я буду ждать тебя в избе. Никто из твоих отсюда не выйдет, пока не вернешься. Не забывай про семью.

— Об ей как забыть! — сказал Воронкин и с этими словами взял с лавки армяк, накинул на плечи и, поклонившись Извекову, пошел к дверям.

Много передумал Кирилл, дожидаясь Воронкина, поворачивая в уме его последние слова, которые могли означать что угодно. Так ли, этак ли поступит Воронкин, но с появлением его у бандитов Шостак получал достоверные сведения о местонахождении милиции. Стало быть, надо было ждать удара с любой стороны.

Однако на рассвете Воронкин возвратился и принес ответ Шостака. Главарь шайки соглашался встретиться при условии, что встреча произойдет без оружия.

— Значит, бандиты будут меня держать на мушке, а я перед ними как новорожденный,— сказал Извеков.

Воронкин пожал плечами.

— Я ихним желаниям не волен.

— Ты ничему не волен, а небось сыскал в лесу своих дружков без промаха!

— Не я их искал, товарищ начальник, они сами меня пымали.

Кирилл засмеялся. Подумав немного, он расстегнул пояс, скинул с плеча портупею и отдал свой маузер милиционеру.

— Показывай дорогу,— приказал он Воронкину.

Они вышли за околицу деревни вчетвером — двое милиционеров при винтовках конвоировали Воронкина, Извеков ехал верхом.

В лесу висел туман и было сонно-тихо. Они прошли с полчаса, когда Воронкин объявил, что с этого места Извекову надо ехать одному по просеке, на которой его встретят и проведут, куда следует.

— Когда встретят?

— Они скажут. Услышите.

— Ты знаешь, Воронкин, чем я рискую,— предупредил Извеков.— Но мои ребята (он показал на конвой) тоже знают, что им с тобой делать по первому выстрелу.

— Кто же станет стрелять, товарищ начальник, когда вас ихний голова дожидает? Извольте навязать на рукав белый платочек да езжайте себе шагом.

Так Извеков и сделал.

На узкой, заросшей просеке туман был гуще. Сентябрьский холодок нетронуто дер-

жался в лесной тени. Но Кириллу было жарко. Он расстегнул шинель и френч. Сделать это было надо и потому, что френчем к самому сердцу прижат был наган. С каждым шагом назойливее мучило его желание повернуть вспять. Ему казалось, он обманут. Весь его план ему представился детски-глупым. Но он видел, что перестраивать замысел поздно. Время потеряно. Он отпустил поводья. Конь обходил выступавшие из тумана деревца молодого подлеска. У него было ощущение, что просеку заглатывает вода и сам он медленно идет ко дну. Он глядел на часы. Стрелка двигалась лениво, как никогда.

Раздался свист. Конь рванул вбок. Кирилл остановил его. Было тихо. Он тронул вперед. Засвистели еще раз. Он вновь остановился. Что означали слова Воронкина — «они скажут»? Он подумал: разбойники говорят свистом. Он не двигался. Он думал: как быть, если его подкарауливают справа и не видят платка на его левом рукаве? Он ничего не слышал. Он следил за ушами коня. Конь поводил ими в обе стороны. Вдруг он потянул мордой влево, поднял ее, дважды кратко и тихо проржал. «На лошадь», — подумал Кирилл и крикнул с нетерпением:

— Выходи! Я безоружный!

Почти сразу он услышал шелест раздвигаемой листвы.

На просеку вышли двое. Один держал винтовку наперевес, другой — браунинг. С противоположной стороны показались еще двое вооруженных. Все они неторопливо обошли коня кругом, держась в сторожком отдалении. Тот, что с браунингом, спросил Извекова, кем он будет и привел ли кого-нибудь за собой. Потом потребовали, чтобы он спешился, и взяли коня под уздцы.

Кирилла повели в лес по старой тропе. В нескольких шагах стояла привязанная к осине лошадь. В седло вскочил человек с браунингом — он командовал людьми. Скоро вышли на небольшую поляну. Туман здесь успел поредеть, было светлее. Извекова вывели на середину поляны и отошли от него. Он сказал себе, что, может быть, теперь конец, и улыбнулся тому, что во всем виноват сам. Он стоял как перед расстрелом.

Спустя минуту против него, на опушке, бесшумно появились три парня и, раздвигая сапогами несмятую, тяжелую от росы траву, медленно зашагали к нему.

Средний из них — высокий, очень худой, с подстриженными темными усиками, в запачканной панаме и накинута на плечи помятой военной шинели — первым остановился перед Извековым и приложил руку к виску. Кирилл удержал дернувшуюся в ответ руку и кивнул. Все молчали. Голубыми навывкате глазами высокий рассматривал из-под пригнутого поля панамы лицо Извекова. Парень справа проговорил нахмуренно:

— Атаман Иван Шостак слушает, что скажете.

Извеков повторил слово в слово то, что уже должен был передать Воронкин. Шостак молчал. В стане шайки принятого решения, очевидно, не было. Ее главарь раздумывал, прикрывая свои мысли словно омертвевшей неподвижностью испытанного лица. Неожиданно оно все дрогнуло, от сощуренных глаз до рта, который засветился неровными зубами. Он спросил слегка певучим голосом:

— Вы требуете сдачи на милость?

— Я ставлю требование по расчету сил. Превосходство на нашей стороне.

— Мы о вас больше знаем, чем вы о нас, — сказал Шостак.

Он взглянул на своих подручных. Они усмехнулись. Лицо его опять остыло. Он добавил вызывающе:

— Красноармейский отряд запутался в четырех соснах. А над начальником милиции сейчас наша воля.

— Я не боюсь и не верю, что вы меня убьете, — быстро и зло сказал Извеков. — Это вы прежнего начальника вокруг пальца обводили. За то он теперь и сидит. Вы меня убьете. Вас все равно разобьют, переловят. Уйти вам некуда. За нами Советская власть, а что за вами? Вы убьете десятерых. Вас уничтожат всех. Сложите оружие. Я гарантирую вам жизнь. Если кого суд накажет, отбудете наказание, станете честными людьми.

Оба парня покосились на своего жоака с улыбкой. Его лицо не менялось. Кирилл чувствовал, что пора выкладывать козырь.

— Кто из вас хочет сегодня же пойти по домам, ночевать с женами? Все могут

идти. Завтра явитесь, я сдам вас Советской власти. Вас будут судить, применят амнистию как к добровольно сдавшимся, закон вам известен. За свое слово я отвечаю. Убьете меня — вам хуже. Дальше бандитить не рассчитывайте. Ваши семьи у нас в руках. (Кирилл остановился на мгновение.) А у кого семей нет — красавицы. Сошлем всех. Сдадитесь — семьи будут пощажены, и вы к ним вернетесь.

Он замолчал. Шостак не двигался. По-прежнему выпяченным своим взором он изучал лицо Извекова. Потом голова его нехотя оборотилась вправо, и, будто с удивлением, он хмыкнул, не открывая рта: «Гм?» Наверно, это была его манера спрашивать: парень, на которого он смотрел, потупился, но не ответил.

Шостак снял панаму, взмахнул ею, как флагом, и вдруг высоким, залившимся голосом пропел команду:

— Парламентера от-пу-стить!

— Я буду ожидать два часа,— сказал Извеков.— Прибыть надлежит с оружием во двор Воронкина.

— Переговоры кончены,— отрезал Шостак и отступил на шаг. Парни заслонили его собой, и через их плечи он, смеючись, сказал: — Прыткий товарищ!

Той же тропой Извекова проводили на просеку. Ему отдали коня. Он перекинул поводья, поправил седло, не спеша сел и тронул шагом. Он думал, что же означала команда — отпустить? Отпустить на тот свет? Он ждал пули в спину. Он едва подавил желание выхватить спрятанный наган, чтобы отстреливаться. Но он продолжал ехать шагом. Уже уверенный, что туман скрыл его, он ударил коня стремени и поскакал.

Когда он завидел милиционеров и осадил коня с галопа, его встряхнуло ознобом, и он почувствовал, как ледяная нательная рубаха словно примерзает к лопаткам и плечам. Он приказал милиционерам занять секреты, чтобы надежно следить за бандой, и вернулся с Воронкиным в его избу.

Время, назначенное Шостаку на размышление, он провел в подготовке к схватке, на которую рассчитывал больше, чем на сдачу бандитов. Срок истекал, а их не было.

— Что, Воронкин, уйдут твои дружки?

— Один господь знает,— вздохнул Воронкин.— Не ихней кончины дожидаю, а своей...

— Убьют они тебя за то, что их выдал?

— Время такая — каждого кто-нибудь безотменно убьет...

Извеков не успел открыть рта, чтоб ответить,— прискакал его помощник с донесением: банда при оружии и во главе с вожаком вышла на дорогу и двигалась к деревне.

Ворота были распахнуты настежь, в глубине двора, из-под повёти, выглядывал пулемет «максим» — оплот милиционеров.

Шостак подъехал к воротам и спешился. Извеков подошел к нему.

— Приняли условие?

— Неверяешь? — почти с насмешкой спросил Шостак, опять уставив выкаченные глаза в лицо Извекова.

Оба помолчали.

— Сдашь оружие — заслужишь доверие.

Шостак содрогнулся всем корпусом, отвел лицо на свой отряд, застыл. Извеков следил за его опущенной правой рукой. Кисть ее была прижата к бедру, и тонкая светлая материя пальтеца, затянутого в поясе офицерским ремнем, струисто переливалась под дрожавшими кончиками пальцев.

Не поворачиваясь к Извекову, Шостак небрежно сказал:

— Всякому делу свой черед. А выслуживаться не собираюсь.

Он вскинул руку, прихватил свою панаму, помаячил ею высоко над головой. Вся его команда, вытягивая шею, чтоб лучше видеть его, зашевелилась. Хмурый парень — тот, который на переговорах в лесу первым обратился к Извекову, — крикнул с коня:

— Слушай, ребята, атамана!

Шостак опустил руку, выждал гишины. По кадыку его, острым большим углом выпиравшему на худой шее, видно было, как он, раз за разом, проглотил слюну. Потом пронесся вдоль улицы его пронзающий голос:

— Кóней во двор, на коновязь! Пешим, всем до одного, в избу за мной!

Он резко повернулся и, обходя Извекова, пошел вперед на крыльцо.

В горнице он сел к пустому столу. Воронкин, свесив голову, стоял поодаль, у косяка. Шостак сказал ему со своей мгновенной гримасой усмешки:

— Что ж плохо принимаешь гостей, хозяин?

— Хозяин будут вот они — товарищ начальник, — ответил Воронкин.

Извеков вдруг приказал ему раздобыть ведро самогона, принести снетной зелени да нарезать барана. Воронкин не только безропотно, но с виду повеселев, бросился через сени на бабий кут давать распоряжения.

Извеков сел рядом с Шостаком, к торцу стола, почти под иконы. Атаман молча глядел за окно. Изба стала заполняться его людьми. Кто постарше — устранились на лавках вдоль стен, помоложе — скучивались у печи, в дверях и все теснее набиваясь в сени, откуда уже выглядывали форменные фуражки милиционеров, одна к другой.

Еще на улице Извеков прикинул на глаз число бандитов. Оно было невелико, не больше трех десятков, и ему запало подозрение, что явилась не вся шайка, а могла какая-то часть укрыться в засаде, и, стало быть, милиции приготовлена ловушка. Но по словам Новожилова гоже выходило, что людей у Шостака мало, силен же он пособничеством кулаков. Шостак, наверно, сам того не думая, навел Извекова на мысль — выставить банде вина: откажись она пить, значило бы, что замышлена каверза; прими она угощение, тогда можно ее употчевать допьяна.

Извеков внимательно посматривал на собравшихся.

Все они держались за свое оружие. Наполовину были с винтовками, кое-кто с охотничьими дробовиками, а двое даже с берданками образца прошедшего века.

— Не богато оснащено твое воинство, — сказал Извеков Шостаку.

Тот сразу и нарочно громче отозвался:

— Хватает! Одним «максимом» нас не запугаешь.

— Одним не знаю, а моим трем нечего делать, — схитрил Извеков, но тут же пожалел: шумок, поднятый сапогами, оружием, пока люди размещались, заглох, едва они услышали разговор. Слова его были внятны всем, и тишина наступила такая, будто горница вми опустела. Начинать с угроз было не к месту. Но Шостак неожиданно пришел Извекову на помощь:

— Ну, коли так, начальник, открывай конференцию по нашему перевооружению, — засмеялся он, — мы от твоих «максимов» не откажемся.

— Шутить рано. У нас не перемирие. Раз привел людей — значит, условия мои приняты, надо их выполнить. Без общего вашего согласия ты бы сюда не явился.

Все глядели на атамана, но тут задвигались люди в сенях, стали расступаться. В горницу протиснулся Воронкин, со взъерошенным затылком, с мокрой лысиной, и — по четверти самогона в луках.

— Полведра расстарался, товарищ начальник, — бойко оповестил он. — Покеда разопъете, мужики промышлят еще... А барашка в сарае обихаживают. (Он мазнул пальцем по глазам, будто смахивая слезу.)

Девочка в синем сарафане робко вынырнула из-за его спины, кучей высыпала из подола на стол огурцы, веником бросила охапку зеленого луку. Женщины стали вносить шербатые чашки, стаканы, кружки. Кто-то зычно сказал:

— Поминки, похоже, ребята, а?

— Сватанье! — задорно поправил другой.

— Пропой девки! — крикнул еще кто-то.

— А который жених?

— Вон красный околыш сговорил себе в бабы Иван-атамана.

Шостак вскочил. Худое лицо его удлинилось, побелело. Он шумно втянул воздух, но сдержал голос:

— Кто меня заместил — подыми руку!

Все замерли. Шостак переждал секунду, потом на свой лад певуче сказал:

— Моя воля, мой ответ. Наливай вина.

Он сел, опять отвернулся к окну. Начали разливать, поднесли первый стакан Шостаку. Он крикнул Воронкину, чтобы подошел. Тот принял стакан, но поставил его

перед Извековым, поклонился ему, назвал его «уважаемым товарищем», осклабился. Извеков отодвинул вино, покачав головой.

Шостак трунливо спросил:

— Брезгаешь нами?

— Служба запрещает,— ответил Извеков и погода договорил: — Да и не за что пока с вами пить.

Шостак снова быстро поднялся, отвесил поклон на обе стороны.

— Пейте, молодцы, на здоровье. Я выпью, чтоб мачеха-судьбина не больно вас била. Как порядили, так тому и быть. До нового свидания!

Он стоя, неторопливыми глотками, опорожнил стакан до дна. Ему подвинули солоницу, дали луку. Принялись пить его побратимы, передавая друг другу сборную посуду. Захрустели на зубах огурцы, заскрипел лук. Стало шумнее, хоть слова еще были у всех редки и коротки.

Шостак придвинулся к Извекову:

— Что ты нас не разоружаешь?

— Не хочу вас унижать. Разоружайтесь сами.

Навалившись на стол и снизу близко подставляя свое лицо Извекову, Шостак остро, испытующе сверкнул на него взглядом.

— А что потом будешь делать?

— Потом всех перепишем, отпустим до завтра по домам.

— Перепишешь? По паппортам или как?

— Ты что, паспорта своим выдал?

— Зачем выдавать? Революция паппорта отменила. Остается тебе записать нас по кличкам.

— Один созреет, а скопом не удастся,— улыбнулся Извеков.— Думаешь, мало про вас знаем? Вот хоть бы ты. До войны певчим был, так?

Шостак откинулся к стене, тихо смеясь, взял стрелку луку, откусил, пожевал.

— В козловском соборе пел на клиросе, это верно. (Он задумался, но тотчас покоился на Извекова недобро.) Ты меня по лесам не за то ведь ловил, что я певчий?

Он подождал ответа. Извеков молчал. Шостак поднял взгляд к матице, губы его обиженно что-то пошептали.

— Я человек музыкальный,— сказал он со вздохом.— Мне много говорили — учись, Иван, вторым Собиновым сделаешься. Тенор у меня был атласный. И нынче еще, как запою, народ за мной — в огонь так в огонь. А женщины... Девицы эти... Да что себя растравлять! Пришла война, забрали в солдаты. Очень меня оскорбило, что природного таланта не пожалели. А там поехал...

— Что же от белых сбежал? Не сладко?

— Я за сахаром не гоняюсь. Мне справедливость подай, вот чего хочу! Справедливости! — чуть не зарычал Шостак и грозно побил себя в грудь кулаком.

— В бандиты пошел за своей эсеровской справедливостью?

— Не за своей, а за моей и твоей, твоей человечей, а не милицейской, и вон за его, и за его, за всейной, мирской! — Шостак повел рукой на окно и пропел: — Ребята! Разливай по чарочкам, потрудися! Да чтоб никого не обделять! По-божески! Слышишь, в нос бараниной шибнуло?

Шум скоро закружил по горнице винтом, на столе появилась третья четверть, в сенях пробовали песню, кто пристукивал прикладом по полу, кто завел спор. Воронкин с кем-то обнимался, какой-то малый голосил через головы бабынькам; чтоб они сбежали в погреб — поскрести по днищам кадушек, не осталось ли чего соленого, квашеного.

Шостак неожиданно забеспокоился, озирая пьяневших людей своих, да, видно, и по себе заметил, что хмель в нем не спит. Он опять пригнулся к Извекову.

— Лучше разоружи, а то вино ударило в головы. Не знай, что может случиться. Народ горячий.

— Ты не страшай,— сказал Извеков,— а скорее дай приказанье. Я приказывать не буду.

Шостак раздумывал. Извеков следил за ним настороженно — не угадать было, что бродит в уме у избалованного послушанием самовольного вожака. Долго ждать, как

дело само собой пойдет дальше, казалось опасным, но вмешаться в него было, пожалуй, еще опаснее: люди только рагуливались, заливая вином горькие свои ростани. Нанеси обиду их гореванию, разве не могут они со зла повернуть на попятную от своего раз принятого решения? Извеков положил про себя выждать еще пять минут — что будет? — и посмотрел на часы. Шостак мгновенно ожил, приметив его движение.

— Тревожишься? — с участливой издевочкой спросил он.

— Нет, — спокойно ответил Извеков, — только смотрю, куда девалась у тебя лесная храбрость. Раз твой собор преподобный постановил сдаться, чего же ты мямлишь?

— Ты не промах, начальник, — ухмыльнулся Шостак.

Вдруг почти шепотом, но очень ясно и строго он спросил:

— Что ты давеча, в лесу, сказал про красавиц? Моя — жива?

— Жива. Сдержишь слово до конца, жива и останется.

— А что конец?

— Сейчас сложишь оружие, а завтра — в сельсовет с повинной.

— Это не конец. Это кончик, — пробормотал Шостак. Губа его в усиках дрогнула, скривилась. Помедлив, он отпил глоток из стакана. Лицо его сморщилось, но он перекинул отвращение, поманил пальцем своего подручного, сидевшего от него слева. Тот перегнулся через стол.

— Угомони их, — велел Шостак.

Парень встал, приподнял полу своего солдатского френча, вынул из коротких ножен на пояском ремешке финку, обушком ее звонко постучал в пустую четверть. Люди не спеша стихли.

— Атаман говорить будет! — угрюмо объявил парень.

Извеков видел, как Шостак сучил неумными пальцами на коленях, потом сжал кулаки, уткнул их в край столешницы, с трудом поднялся.

— Скажу вам это слово, братцы, и нет больше моей воли над вами — исполняю свое полномочье. Пора. Сколько сокол в небе ни летай, а на землю сядет. Не просили мы крестить нас в крови, да уж семь лет как силком в купель нас окунули. Коркой покрылись сукровичной с головы до пят. Смерти не страшимся, да кто ее ищет? Осудят нас или помилуют — что было, того не переделаешь. В войну всяк про правду трубит, да только верх берет сила. Я тоже свою совесть не заспал — как хотят, пускай обо мне думают. Не на разбой вас вербовал. Сами как понимали, так поступали. За веру вашу кланяюсь вам, а в чем провинен — отпустите.

Он поклонился, едва не тронув стол головой. Никто не шелохнулся — сидели, стояли бессловесно, и у всех опущены были глаза. Шостак окинул избу пылким взглядом, не встретил в ответ ни одного прямого взора и тоже опустил воспаленные веки. Негромко затем припечатал кулаки к столу, задел и подхватил стакан — не дал опрокинуться, только плеснул мутным вином на выскобленные добела доски. Распрямился, немного повысил голос:

— Слушай, ребята, мой последний приказ.

Он сухо закашлял, скулы его потемнели, кадык челноком скользнул под подбородок, опустился. Он напряг дыхание.

— Приступить к сдаче нашего оружия Советской власти!

В избе по-прежнему не двинулся ни один человек.

Шостак ногой толкнул колени Извекова, молча протиснулся между ним и столом, подступил к людям у печи, развел их на стороны руками.

— Складывай, ребята, в порядке. Огневое, холодное. Огнеприпас. Полностью. Приступай.

Он расстегнул пояс, стащил с него свой браунинг в кобуре, бросил на пол. Достал из кармана две полные обоймы, нагнувшись, положил их рядом. Долго не мог, подпоясываясь, попасть концом ремня в пряжку. Крикнул обрывисто:

— Спета песня! Нет атамана!

Попятился и сел не на прежнее место, а на край лавки, спиной к Извекову. Вытер ладонью лоб, сплел пальцы рук, опустил их низко меж колен.

Трудная минута прошла в оцепенении, пока не поднялся первым из-за стола малорослый, с виду старший по годам, уже с сединой мужичонок. Подойдя к печке,

он аккуратно поместил на полу, рядом с браунингом Шостака, свой дробовик, скинул через голову замызганный парусиновый подсумок с патронами, сказал скребучим голоском:

— Крепись характером, давши слово-то, братцы мои. Вон куда линия поворачивается. Не как бабка загадала, а как карта вынулась.

Всех будто расковала немудреная прибаутка — люди задвигались, стали решительнее выходить один за другим и кто кидать оружие злобно, кто класть его примиренно. Быстро — со звяканьем и стальным скрежетом стволов, с грохотом березовых прикладов, со скрипом и хлястом ремней — выростала нестройная куча винтовок, пистолетов, шашек, сабель. Двое милиционеров по знаку Извекова протиснулись толчеей в горницу, стали у наваленного оружия на караул.

Последним снял свой маузер в деревянной кобуре подручный Шостака и, отойдя, хотел замешаться среди людей, но Извеков громко позвал его:

— Эй, что же финку не сдал? Приберечь думаешь?

Парень обернулся, отстегнул нож от пояса и с размаху кинул на стол, Извекову.

— Подавись,— выжал он сквозь зубы ненавистно.

Извеков не дотронулся до ножа.

— Возьми, положи куда следует,— сурово сказал он.

Парня словно кто-то толкнул из стороны в сторону. Качаясь, он подошел к столу, взял нож. Секунду глядел на Извекова сощуренно, потом распахнул по-бычьему недвижимые, дымкой замутневшие глаза и тяжело шагнул к нему.

Извеков вырвал из-за пазухи наган. В этот момент вспрыгнул и всем телом загородил его от парня Шосгак.

— Пули захотел, дуралей? — крикнул он.

Ближний милиционер оттащил парня за руку, выбил из его пальцев нож.

Извеков встал, спрятал наган. Оглядывая людей, он — уже полный хозяин — спросил:

— Ни у кого не осталось оружия? Добром не зачтется, если кто не сдал.

Он повременил, еще раз озирая всю горницу.

— Теперь слушайте меня. Я знал, у вас хватит соображения. Сдаваться вам было не миновать. И не потому, что испугались. Вы смельчаки не хуже, чем головорезы. Испугались вы белых, а не красных. Красные мужиков шомполами не драли. А вы мужики и хорошо знаете, что вас всех перепорят, дайте только себя оседлать помещику. Вы думали, уйдете от белогвардейцев — значит, уйдете и от помещиков. Ан нет! Кулак тот же помещик, разве что посмекалистее. За него эсеровская колокольня трезвонила. Против чего вы дрались? Против хлебной разверстки. А у кого хлеб? Кулацкие амбары-то попузатее ваших. Да и времена теперь другие. Белых мы разбили. Сибирь, Украина, Кубань стали советскими. Нужды в хлебной разверстке нет. Она отменена. Колокольня эсеров с вашим звонарем Ангоновым рухнула. Чем нынче подманивать вас кулаку? За что вам драться с большевиками?

Он остановился. Исподлобья горящие взоры людей взыскательно ждали, что дальше, и он чувал, что в безмолвном ожидании люди напрягали головы уже не той думой, с которой прежде слушали своего вожака.

Медленно подняв руку, Извеков выпрямил ее, оттопырил и словно бы вонзил указательный палец в кучу оружия на полу.

— Вы побросали свои самострелы к ногам Советской власти, потому что ноги ее твердо стоят на земле. И потому, что знаете, что огнем да ножом ничего, кроме преступления, не достигнете. Вас подучивали не признавать большевиков. А что вышло? Не признавали большевиков попы с архиереями. Да нынче вон в Сибири за Советы молебны служат. С похмелья, видно, после колчаковцев. Чадам своим возвещают нелицемерную покорность предрержавшей власти, «яже есть,— говорят по апостолу,— от бога». Ну, если рабочих и крестьян попы в ряд со своим богом ставят, мы мешать молебнам не будем. Не признавали нас министры Антанты. Да как пришлось убраться из России восвояси всему разношерстью иностранных вояков с кораблями, пушками, танками, так и Антанта заговорила с нами по-новому. Тихо-ладно торгуют нынче с Советами и Англия, и Германия, и все восточные соседи. Денежки-то манят! Заморский купец тоже,

наверно, возносит моления ко господу, да уже не о победе над нашей революцией, а, поди, о преуспевании своих контор в сделках с красной Россией.

Что-то будто придержало Извекова — он отвел глаза к окну. День давно разгулялся, сиял синевой сентября, и ветер разносил над крышами редкие стайки первых золоченых березовых листьев.

— С великой красной Россией! — вдруг тише договорил Извеков и продолжал по-прежнему: — Что же остается делать вам, бандитам, во зеленом во лесу, по оврагам да буеракам? Не признавать победивших большевиков? Становиться к стенке и душу отдавать за разгромленную контрреволюцию? Нет, на этакую дурь вас больше никто не подобьет. Потому что шкурятину-то вам кулаки пришили бандитскую, а мясо ваше, с мослами и мозгами вместе, осталось у вас крестьянское. Глаза вострые, сметка выклáдистая, рассчитали вы теперь верно: куда денешься, если не выйдешь на улицу да не поклонись всему честному народу? Народ-то ведь большевиков признал еще в Октябре. И вышел победителем. Счастье ваше, что повинились перед ним. Не сносить бы вам головы... Вон ты (Извеков кивнул), ты говоришь — карта вынулась не та, какую бабка загадала. Вольно слушать бабок. По ворожеям хсдить — до острога доворожиться. Тебе бы сперва умом раскинуть...

— Дозвольте! — перебивая, вскинулся седоватый мужичонок и даже привскочил. — Дозвольте, ваше... товарищное начальство.

— Ну?

— Желательно знать, к примеру, как располагает Советская власть по случаю летонной засухи? Народ голодовать начал, а зима, между прочим, еще и на пятки не наступила.

Мужичонку было тесно — он не то стоял, не то сидел, зажатый соседями по лавке. Голову держал он набочок, будто тянулся заглянуть в неудобную маленькую щелку, и ладонью приямл бороденку к губам. На него сразу обернулись с любопытством. Видно стало, что в банде был он вроде школьного озорника.

— А ты с голодом думал своим ржавым дробовиком побороться? — гневно спросил Извеков — Вдвойне, втройне работать заставим, чтобы одолеть народное бедствие!

— Да уж как пить дать, не иначе, — поубавил прыти вопрошатель, но опять заглянул в заманчивую щелку. — Еще, будьте добреньки, скажите нам разъяснение: прощенные мы теперь или бы выкланять надо отпущенье-то? И опять же у которой такой дистанции просить?

— Повторять не буду. Закон вы знаете, — ответил Извеков. — Я свое военное дело выполнил. Допивайте, что на столе, да кто из ближних деревень — ступайте по домам, мойтесь в банях, отсыпайтесь. Кто из дальних — бани вам тут вытопят. Завтра ровно в полдень явиться всем в сельсовет. Да чтобы без обмана! Не то будет худо...

Так закончила свои дни шайка Ивана Шостака.

Последний час в избе Воронкина прошел громко. Ловко, по-артельному разобрали накромянные куски баранины, разлили расстанные чарки, лихо загорланили песни. Сам Воронкин то подтягивал певцам, то плакал, то подлещивался к милиционерам, допытываясь потихоньку, вышел ли он из опасной игры целым, а свою роль в игре выставлял заслугой.

Извеков в тот же день повез Ивана Шостака в сельсовет. Сидя рядом в телеге, они почти всю дорогу не проронили ни слова. Только на виду села Шостак спросил:

— Ты мне свидание устроишь... с кралей моей?

— Увидишь ее на первой очной ставке.

— Мне бы в ее очи окупнуться, — вздохнул Шостак, — а все равно, в каком месте. Хоть на курином наместе.

Он засмеялся, но оборвал себя, нахмурился, сказал обиженно:

— Кабы не я, полоснул бы тебя финкой мой порученец. Я тебе жизнь спас. Должен понимать.

— Проценты с меня хочешь содрать? Не удастся, — невозмутимо отговорился Извеков.

— Черт тебя родил, бесчувственного! — буркнул Шостак.

Извеков лишь улыбнулся. Они больше не говорили. Уже назавтра, когда Извеков сдал его Новожилову, Шостак сказал на прощание:

— Ты сдержал слово, пустил моих ребят к родным на побывку. Не струсил. Я тоже своему слову крепок. Так вот заметь: решетки мне не помеха, через месяц я из тюрьмы уйду.

Слух о поимке и сдаче банды без единого выстрела облетел скоро весь уезд. Начальника милиции узнали по имени, и на первых порах загорелось что-то вроде тяжбы, где Извекову быть дальше — возвратиться в армию или осгаваться на новом посту. Армия, конечно, перетянула.

Отсюда пошла его дружба с Новожиловым. Расставаясь, они проговорили вечер один на один и узнали друг о друге все, чем наполнено было первое их десятилетие пребывания в рядах большевиков. Новожилов сказал тогда, сжимая руку Извекова:

— Теперь у меня на свете два человека, которым верю я совсем, одинаково. Первый — это я, второй — ты.

Много позже, случайно, узнал Кирилл, что и правда Ивац Шостак угрозу, свою выполнил, бежав из заключения и уведа с собой конвойного, который воеил его на дф-прос. Как распорядилась с ним потом судьба — об этом Кириллу слыхать, не довелось.

Когда теперь Извеков увидел себя, каким был на исходе гражданской войны, к нему опять вернулось только что отвергнутое им слово — исход: ко времени ли думать сейчас об исходе войны, начавшейся всего полсуток назад? Разве не говорил Ленин, что сегодня надо делать дело сего дня?

Но вот, вот кому принадлежит слово «исход»! Ленин! Мы находимся в войне (мгновенно припомнилось Кириллу), и судьба революции решится исходом этой войны.

Исход — это задача войны. Это цель войны, диктуемая ее смыслом. В чем задача войны, если не в победе?

— Победа будет за нами! — кончил Новожилов свое чтение.

Разве не звал Ленин этим лозунгом Красную Армию к битвам на смерть, когда Деникин грозил Туле? Разве не воскликнул он, что победа за нами, когда ворота Петрограда таранил Юденич?

Да, с первого часа войны надо думать о ее исходе, потому что уже в первый час бросается жребий последнего, а последний решает народную участь. Дело сего дня — судьба революции.

О, конечно, конечно, война разбудит дремлющие упования Воронкиных, на рокотание фронтон они выползут из своих щелок, как на настье выползают наружу земляные черви. Иваны Шостаки загарцуют на конях, которых снисходительно разрешат им вывести из захудалых конюшен там, где только отыскали себе Шостаки какого-нибудь покровителя.

Если революция вынуждена вести войну, то ведет ее всегда и только против контрреволюции, думал Кирилл. И где же будет его место, когда теперь страна поднимается на самозащиту? Там, где оно было, когда решалась судьба революции, — в Красной Армии. Нигде больше: в ней и с нею.

Он старался вникать в речи ораторов совещания, говоривших, как делалось дело дня и часа. Уже остались позади вопросы о маскировке заводов, о затемнении области и города. Уже выступил военный с сообщением, что командованием гарнизона дано приказание произвести проверку готовности частей противовоздушной обороны. Уже военком доложил о предстоящем пополнении личного состава районных военкоматов и о необходимости выделить помещения под сборные пункты для мобилизуемых. Наконец усатый военврач, все время подсаживая длинным белым пальцем сползающие очки, мягко и на бестрепетном

языке канцелярских бумаг потребовал, чтобы исполком немедленно выдал смотровые на здания, предназначенные под госпитали, на предмет ознакомления с пригодностью таковых зданий для таковых целей, как то предусмотрено мобилизационным планом.

Тогда вновь поднялся Новожилов, собрал в целое все, что разрознено сказано было ораторами, и предупредил о строгом требовании ко всем — находиться на своем посту денно и ночью.

— Нет малых и больших дел,— сказал он,— всякое дело велико, если исполнено по зову Родины. То, что вчера было долгом гражданским, нынче стало долгом военным. Все, что у нас есть, и самих себя мы обязаны отдать славы нашей Красной Армии.

«Он говорит моими словами. Мы отдадим себя нашей армии безраздельно»,— думал Кирилл, чувствуя, как молодеет голос Новожилова, и сам волнуясь молодо.

— Наша родная Тула,— продолжал Новожилов,— не запятнает историческую свою гордость Кузницы оружия, а послужит несокрушимой опорой победе над врагом. Все учреждения, и в первую очередь исполкомы с их отделами, не теряя ни минуты, переводят свою работу на военный лад. (Тут Новожилов, будто по заранее рассчитанному прицелу, остановил на Кирилле остро светившиеся глаза.) На товарища Извекова возлагается ответственность по обеспечению в черте города всех требований военной власти в отношении расквартирования частей любого рода оружия или предоставления жилплощади на любые воинские нужды.

Новожилов выдержал короткую паузу, полуобернулся назад и указал на знамя, неподвижным красным слитком ниспускавшее тяжелые свои складки с древка под вызолоченной звездой.

— Наши руки крепки, как тульская сталь. Знамени этого у нас из рук не выбьет никакой противник, будь он трикрат наглее немецких фашистов. Нынче утром на этом священном полотнище огнем советского сердца зажглись слова: смерть фашизму!

Зал вспрянул, словно к общей присяге. Кирилл поднялся вместе со всеми и вместе со всеми бил в ладони, высоко вытянув руки.

Новожилов первым пошел к выходу, за ним двинулись, кто находился за столом. Зал провожал их аплодисментами, и потом все начали быстро скупиваться в дверях.

Извеков, занимавший место в переднем ряду, шел в числе последних. Людской шум казался ему все живее, голоса звонче, движение теснее. Его сдавили в дверях и толкнули такими же, как он, сдавленными и вослед ему вытолкнутыми телами. Так и должно было все происходить, представлялось ему,— проще обычного, устремленнее, жарче.

Но что-то вошло не вполне понятное в его мысли с последними словами Новожилова — нет, разумеется, не со словами о красном знамени, а с теми, когда он, Извеков, был назван по имени. Истертое, недопустимо будничное для возвышенной, драматичной минуты слово: жилплощадь! Не мог же Новожилов позабыть, что Извеков всю гражданскую войну был комиссаром Красной Армии! Кем хотят сделать Кирилла теперь? Распределять ордера да выдавать смотровые на квартиры довольно было бы какому-нибудь майору интендантской службы. Или, может быть, Новожилов полагает, что простой администратор не справится с обязанностью квартирьера? Пусть это даже очень ответственная обязанность. Но неужели он, Извеков, верный, опытный, боевой товарищ, годен уже только к тыловой работе?

Он выбрался из тесноты и шагнул по коридору. Он был уверен, что сейчас все станет ясно с ним. с его назначением, с эвакуацией Аночки.

В приемной Новожилова, поодаль от его кабинета, два лейтенанта

дымили папиросами, обволакивая низенькую, полнотелую женщину в сиреневой ленточке, охватывающей волосы, и тоже с папироской во рту. Кирилл поздоровался с ней и попросил доложить о себе Новожилову.

— Товарищ Новожилов занят. Подождите.

— Он мне назначил.

— Я знаю.

— Он сказал, чтобы я зашел к нему сразу после собрания.

— Я знаю. У него совещание.

— Разрешите, я скажу ему по телефону.

Лейтенанты переглянулись. Один из них, совсем молоденький, в ной, с иголки, форме, солидно кашлянул, сказал:

— Но вам же говорят, у товарища Новожилова совещание.

Кирилл оглядел его: неужели этот мальчик в форме считает себя старшим? Не потому ли, что на пиджаке у Извекова нет знаков различия?

— Я разговариваю с секретарем товарища Новожилова, — вырвалось у него на низкой нотке, но он не мог удержаться на ней, — и не имею удовольствия знать, какую должность занимаете здесь вы.

Секретарь взяла Извекова под руку, любезно повернула его, прошла с ним несколько мягких шагов к стульям, пыхнула дымком, полусшепотом говоря:

— У товарища Новожилова начальник гарнизона. Короткая беседа с командованием. Он просил, чтобы вы подождали.

— Сколько это продлится? С полчаса? Ну, минут двадцать, да?.. Я успею сходить домой? Мне надо. (Кирилл запылся, но нечаянная мысль уже отчетливо сложилась.) Я только переоденусь.

В самом деле, переодеться — это, наверно, было то, чего не доставало и что надо немедленно сделать. Старый френч, галифе покоятся в сундуке, оставленном в наследство матерью. Новожилов явился на собрание во френче, хотя тоже не носил его давным-давно. Теперь все переоденутся. Все станут похожи на молоденького лейтенанта. Каков мальчик! С каким видом отпустил замечание! Наверно, уже слышал, что Извеков по-прежнему будет вязнуть в своем коммунхозе. Что его не собираются мобилизовать. Что его не допустят в армию — нельзя допустить!

«Штрафной!» — обидно вспыхнуло в сознании Кирилла.

Он едва не бежал по улицам, огибая квартал, и одним махом, по-школьничьи, через две ступени, взял лестницу к себе на второй этаж.

Он не сразу вставил в замок ключ, а когда вставил, не мог повернуть и, выдернув его, терпеливо повторил все сначала. В это время раздался шаг по лестнице. Он отпер, распахнул дверь, но не вошел в переднюю, а шагнул назад, к пролету, и посмотрел вниз.

Поднималась женщина с пачкой телеграмм в руке. Он кинулся по ступеням ей навстречу. Она дала ему карандаш, помуслякала палец, сняла с пачки верхнюю телеграмму. Не глядя, он расписался, где она показала.

В тот миг, как взгляд его ухватил на телеграмме смазанные, наседавшие друг на друга буквы адреса, мысль отчеканила полные надежды и трепета слова: «Не уехала! Осталась в Москве!» Но он перевернул депешу, увидел другое четкое слово: «Бреста...» и затем цифры, которые он не стал разбирать, а пропорол ногтем бумажную заклею, развернул листок, прочитал: «Долетела отлично целую».

Безостановочный звонок полился из дальней комнаты квартиры. Он взбежал вверх, с размаху захлопнул за собой дверь, бросился к телефону. Сказали, чтобы он не уходил от аппарата, — вызывала Москва. Не вернулась ли Аночка? Ведь очень может быть. Самолетом. Утром вылетела — и сейчас в Москве. Позавчера так же трещало в телефоне,

когда она звонила из Москвы. Черт знает, что творится с телефонами! Техника! Возьмутся когда-нибудь за нее или нет?

Он старался скинуть пиджак, подергивая плечами и трясая левой рукой, с зажатою в пальцах телеграммой, а правой прижимая к уху трубку. Было душно, хотелось распахнуть окно, но дотянуться до него было нельзя.

— Говорите,— отчетливым альтистом сказали ему.

Он говорил. Он кричал. Какое-то бульканье разнотонных звуков то начиналось, то переходило в непрерывный треск, точно медленно разрывали кусок полотна.

— Говорите,— опять услышал он.

— Да я говорю, черт побери!..

— Спокойно, гражданин,— невозмутимо и на диво чисто сказала телефонистка.

Он будто опомнился, замолчал. И тут очень, очень тихо долетели до него, как сигналы бедствия, повторяющиеся отрывистые слова:

— Папа... Папа... Папа, это ты?

— Надя! — выкрикнул он.— Я, я! Надя!

— Что с мамой, папа? — страшно близко прозвенел ее голос, словно она вошла в соседнюю комнату.

— Маму обещали доставить на самолете,— сказал он внезапно с полным убеждением.

— Почему — доставить? Что с ней?

— Ее устроят на самолет. Мне обещали.

— Когда? Кто обещал?

— Ну, это потом! Один ответственный товарищ.

— Ты что-то скрываешь.

— Не выдумывай. Успокойся. Как ты доехала?

— Я буду добиваться билета, папа. Я сегодня же вернусь. Или завтра, самое позднее — завтра!

— Но послушай, Надя. Не пори горячку. Зачем? Зачем тебе возвращаться?

— Даю Тулу,— раздалось в ответ.

— Надя, ты слышишь?

— Москва на проводе.

— Я говорю с Москвой! Не перебивайте! — крикнул он.— Надя! Надя!

— Товарищ Извеков? Не отходите, даю Москву.

— Но это наконец безответственно! Я требую, чтобы меня не перебивали!

— Перезову на прямой.

Что-то шелкнуло в трубке, как в перегоревшей электрической лампе. Отчаянный голосок Нади опять задрожал позывным сигналом из бесконечной дали:

— Папа!.. Папа!.. Ты слышишь меня?.. Па... Па...

Но отчеканился уже знакомый, невозмутимый альт:

— Абсент у аппарата. Говорите.

Ровная мужская речь включилась неторопливо:

— Товарищ Извеков?.. Здравствуй. Беспокоит тебя Рагозин... Да, Петр Петрович. Не узнал?.. Да, давненько... Нет, и не думал забывать. Все про тебя известно. Знаю даже, что ты только что с собрания... Верно, сейчас звонил Новожилов. Что у тебя с твоей артисткой-то?

Это был вопрос, которого уже ждал Кирилл, едва Рагозин проговорил, что не думал его забывать. Странно скрестились в этот момент два чувства Кирилла: радость и страх, что она неосуществима. Ему хоте-

лось завопить от боли. Он заставил себя говорить тихо и сказал все, что мог, понимая, что довольно было одного слова — Брест.

— Сделаю все возможное. Обещаю,— ответил Рагозин.— Ты крепись. Новожилов говорил — большое дело на тебя возложено. Поработать придется. Да ты справишься, знаю. Жму твою руку, дружище. На счастье. Будь здоров.

— Спасибо,— отозвался Кирилл.

Он думал добавить — обнимаю тебя, по-старому,— но расслышал, как была положена трубка.

Он, правда, обнял бы Рагозина от чистого сердца. Если не пришла радость, то родилась надежда.

Он раскрыл окно и вдохнул жаркий, но легкий воздух, которым потянуло из густой листвы дворового ясеня.

Ему показалось, что он успокаивается. Разве только звучал еще глубоко в душе позывной отчаянный голосок:

— Папа!.. Папа!..

Да пальцы не переставали катать скрученный уголок телеграммы.

Глава седьмая

1

Приезд Анны Тихоновны Улиной в Брест был неожиданностью для драматического коллектива, прибывшего из Москвы. Труппа была образована из молодых актеров, только что выпущенных театральным институтом,— в состав ее вошло всего два-три артиста со стажем, которых в кругу молодежи звали «стариками». Перед самым выездом из Москвы заболела актриса, исполнявшая главные роли в небольшом репертуаре новой труппы. Расстраивался план работы с его расчерченными «графиками» открытия театра, репетиций, премьер, расходов и сборов кассы — того переплетенного, постоянно лихорадящего театрального хозяйства, о котором не хочет, да и не должен знать зритель, слушающий из рядов, как человек с наклеенными бакенбардами произносит свое знаменитое «Карета подана». План труппы рушился, карета не могла быть подана.

Улина в то время находилась в Москве, где думала провести часть своего летнего отпуска и куда должна была приехать Надя к своей подруге, на подмосковную дачу: девушки собирались вместе хлопотать о поступлении в университет.

В первый день своего пребывания в столице Анна Тихоновна пробежалась по улицам, заглянула в магазины, удивилась, что в Москве «все есть», съела пломбир с земляникой, купила полдюжины открыток с видом на одну и ту же кремлевскую башню и в кучке зевак посмотрела, как милиционер штрафует шофера-любителя в соломенной шляпе.

Переходя Моховую, она встретила свою любимую артистку — Гликерию Федоровну Оконникову, или тетю Лику, когда-то очень ей покровительствовавшую. Тетя Лика была с Александром Пастуховым. Встреча произошла в толпе пешеходов, застигнутых посередине дороги движением, и тетя Лика как обняла, так и не выпускала Улину из объятий, пока справа и слева летели автомобили и прохожие теснили друг друга. За эти минуты актрисы успели раз пять поцеловаться, условились о свидании на завтра, и тетя Лика представила Улиной Пастухова. Анна Тихоновна сказала, что играет в его пьесах и что — он, конечно, забыл — она с ним знакома еще по Саратову.

— Значит, вы были совсем крошкой! — сказал Пастухов.— Я не ездил в Саратов двадцать... позвольте, сколько же лет?..

Тетя Лика его одернула:

— Ладно подсчитывать. Она, моя милая, как была, так и осталась все той же Аночкой!

Блестящая длинная машина промчалась на желтый свет вдоль самого края толпы. Аночка ахнула — сшибут!

— Что вы! — сказал Пастухов в полном спокойствии. — Сшибать приезжих! Москвичей-то всех никак не посшибаем.

Он улыбнулся и любезно пригласил Улину к себе на дачу.

Светофор открыли, толпа двинулась, актрисы еще поцеловались, Пастухов, протиснувшись с Улиной, полуобернувшись, увидел, что она тоже оглянулась, крикнул ей:

— Тетя Лика вас ко мне привезет! — И, подняв щеки, проговорил сквозь неразжатые зубы: — Привези ее, тетя Лика. Славная какая артисточка...

Улина пошла к себе в гостиницу в превосходном расположении духа: сразу налаживалась интересная жизнь со встречами, поездками за город, знакомствами, словом, та рябизна впечатлений, которой не доставало в областных городах, особенно в Туле, где она играла прошедший сезон.

В вестибюле, едва она вошла, перед ней, как по команде, сняли шляпы двое мужчин, явно дожидавшихся ее, и один затараторил в карьер:

— Милая душечка, Анна Тихоновна! Какая радость, какое счастье, честное слово! Сколько лет, дорогая, и все такая же обаятельная, простая, легкая, светлая, с неповторимой улыбкой... Тот же свет в глазах — помните, о вас говорили: мерцает свет неугасимый у Анны Улиной в очах... Честное слово! Познакомьтесь, душечка, это директор моего... нашего театра. Да что говорить! Какой театр!.. Вот вы увидите, честное... Вы в каком номере, дорогая? Десять восемнадцать, да?..

Улина сразу вспомнила этого известного среди бывалых театральных работников администратора с прозвищем «Не будь я Миша», и потому, что ей в эту минуту все улыбалось в Москве, она с удовольствием позволила ему трясти, жать и бормочущими губами чмокнуть ей руку.

— Подыдемся к вам, дорогая. У нас единственный капитальный вопрос, всего на пять минут, ни секундой больше! Я вам расскажу реалистическую, но полную романтики новость. Вот как раз лифт! Скорее, душечка, мы дорожим каждой третьей вашего отпуска, мы знаем, вы отдыхаете, знаем, что тульский театр кончил, что вы остаетесь еще на сезон, что вас зовет Саратов, зовет Свердловск, но вы предпочитаете Тулу, и мы, душечка, хорошо понимаем: муж, семья, положение в городе, что поделаешь? Осторожно — дверь. Ближе ко мне. Вот так. Щелк! Поехали. Мы знаем о вас, дорогая Анна Тихоновна, все, все!..

Он на самом деле знал все. Если театральные администраторы — профессия, то он был истинным профессионалом. Вождение маломаневренных драматических галер по рифам безденежья и провалов; борьба за кассу и афишу, за актеров — не по вкусу худрука, а по вкусу публики, за репертуар — не ради отчета перед начальством, а ради успеха у зрителя; дни и ночи труда, изобретательства, придумок, препирательств, обид, страха, угондений и, однако, в конце концов любовь ко всей этой пытке, умеренная зависть к актерской славе и несколько преувеличенное обожание сцены — никто не скажет, что этот хлеб легок и в этом искусстве нет своей хитрости. Старый знакомец Улиной заслужил популярность не всегда поощряемыми качествами. Но о нем говорилось, что это пример перерастания одних качеств в другие: он так много переменял за свою жизнь театров, что уже не было такого, где он чувствовал бы себя не у места. Получив назначение в новый театр, он тут же делался в нем своим человеком настолько, что переставал отличать свое от чужого. Его обычно удаляли с должности со скандалом, но, удалив, вспоминали о нем с сожалением.

Пока лифт поднимался, Анна Тихоновна весело слушала лишнюю всякого смысла трескотню. Но как только вошли в номер и присели на плюшевых зеленых креслицах под такой же зеленой картиной, изображающей то, что в инвентарях гостиниц числится под именем «Шишкин-лес 90 x 60», Анна Тихоновна почувствовала, как хоршее расположение ее исчезает.

Лицо администратора выразило мучительное страдание, он бледнел, отчего бритые щеки его синели больше и больше. Его нога, спущенная с кресла, была согнута в коленке и упиралась носком лакированного башмака в ковер, как у премьера в сценах объяснения с героиней. Он вперил горящие глаза в лицо Улиной. Голос его ослаб и задрожал.

— Анна Тихоновна,— сказал он, сдерживая дыхание,— спасите. Гори! Какое дело погибает! На каком историческом этапе! В каком центре! Остро политического, пограничного значения центр, душечка! Не пойдет занавес в срок — иди сам арестовывайся.

Вдруг в своем неудержимом темпе он ринулся выкладывать все, что надо было, по его мнению, выложить, чтобы убедить Улину в совершенной неотложности ее поездки в Брест; чтобы расписать таланты молодой труппы, закладываящей себе розовую будущность в эти решительные для своей славы дни; чтобы клятвенно заверить, что от Улиной потребуются исполнить всего две роли, притом именно такие, в которых она имеет несравненный успех, и что выступит она не более чем в пяти спектаклях, и это будет ее напутствием юному племени дарований и свидетельством могучего расцвета театрального искусства перед лицом дорогих нам зрителей недавно воссоединенного с Советской Белоруссией красавца города.

Ему понадобилось не больше минуты для речи, исчерпавшей весь предмет и в своем роде блистательной, и за эту минуту он не дал Анне Тихоновне выговорить и одного слова, которое ей хотелось сказать.

Она поднялась. Он понял, что предстоит борьба, выхватил из нагрудного кармана платок в горошек, обтер влажно сверкавшую кругом рта синеву и — будто хотел сказать: рубите мою голову, я не отступлю — кончил:

— Судьба театра в ваших руках.

— Почему же? Если труппа на самом деле так сильна, в ней должна быть на эти роли дублерша,— сказала Анна Тихоновна.

— Не верю! — вскрикнул он. — Не верю, что уши мои слышали это от вас! Чтобы новый театр открывался с дублершей в главной роли! Душечка, не надо, не надо так! Зачем это вы? У меня сердце. Я человек. Зачем?..

Улина отошла к окну. Москва размахнулась перед ней своими дымчатыми далями. По беспорядочно насыпанным разноцветным крышам запутанных улиц стелились длинные предвечерние тени высоких зданий. Зной огненного июня еще не сдавал. Местами колыхался бледно-серыми клубами пар, поднимаясь с горячего асфальта, политого водой. Желтели облачка золотисто просвечивающей пыли. Глубоко под окном тянулся приплюснутый Манеж, затененный университетом. Вдоль сада, окаймившего Кремлевскую стену, подрумяненную солнцем, и справа по площади бежали маленькие автомобили. Все чудилось игрушечным с высоты, и люди на тротуарах бойко перебирали коротенькими, словно подставленными ножками.

Улина вспомнила Пастухова с его гладкими щеками, опирающимися на подбородок, как на фундамент, с его меткой улыбкой едва ли не на строгом лице. Она вспомнила добрую тетю Лику, ее бесчисленные ласковые морщинки, ее запрятаный в глазницы лукаво-заманчивый взгляд. Уехать из Москвы, сломав свой отдых, не повидав никого из друзей, не побегав вместе с Надей по музеям, паркам, не услышав, как Надя назо-

вет себя первый раз студенткой, — счастье, которого не узнала ее мать, — ради чего это делать?

Она была уверена, что откажется, что уже отказалась ехать, и только одно придерживало ход ее мыслей — то, что существует театр, еще не начавший работать, наверно беспомощный, но переполненный желанием показать себя, жаждой взять зрителя в руки, покрасоваться перед ним и, может быть, повести его за собой — куда? Ах, куда хочет вести молодежь, куда хотела в юности вести за собой зрителя Аночка! Да и не так это было давно — она молода до сих пор, она чувствует себя по-настоящему счастливой среди таких, какой сама была почти вчера. Вчера она была еще неумелой, но дерзкой в душе, еще неловкой, но совершенной и чудесной в своем воображении. Сегодня она могла бы научить других, как можно жить на сцене, — у нее есть опыт, есть потребность учить, которая приходит и начинает расцветать как раз с ее возрастом, на пороге... нет, нет, нет!.. Вовсе не на каком-то пороге, а тогда, когда молодость овладевает всеми своими силами, поспевшими, как урожай к сбору.

Она смотрела на Москву и думала, что ей никуда не надо ехать и она ни за что не поедет, но что если бы поехала, то, пожалуй, как раз к желторотой молодежи, которая еще не сыграла перед зрителем ни единого спектакля.

Тяжелый удар по полу, приглушенный ковром, раздался позади Анны Тихоновны. Она резко повернула голову. Не прекращавший своей мольбы администратор съехал по скользкому плюшу креслица на пол и стоял коленопреклоненный.

— Простите меня, — быстро сказала Улина, — вы ведете себя, как... Это наконец шутство!

— Бог ты мой! За что, за что? — простонал он, прикрывая лицо ладонями, сложенными как для умывания.

— Никогда не поверила бы, что за столько лет вы не отучились от этих водевилей.

Он сел в кресло, не открывая лица, сжавшись и даже как-то очень жалостливо, чуть слышно подвизгивая.

— Почему вы решили, что я ни с того ни с сего полечу бог знает куда? — говорила Улина, переходя с места на место и останавливаясь после каждого своего вопроса. — Почему именно я должна играть с никому не известной труппой? Неужели вам мало всей Москвы, чтобы найти замену какой-то выпускнице театральной школы? А если бы я уехала с дочерью на дачу или сидела бы в Туле, вы что же, распустили бы своей коллектив?

Вдруг она остановилась вплотную против директора:

— Что же вы все время молчите, товарищ директор? Правда то, о чем мне здесь наговорено, или это сказки?

— Правда, Анна Тихоновна, к сожалению, правда, — сказал директор печально и мягко.

Это был человек болезненного вида, с постным очерком сухого рта и тихим, будто выгоревшим цветом глаз. То ли его смутила напористая работа помощника, то ли он считал задачу безнадежной и не хотел за нее браться, а может быть, это была продуманная тактика, но только директор и тоном своим и скромностью жестикуляции обнаружил унылую примиренность с постигшей его неудачей и понимание, что переубедить Анну Тихоновну никому непосильно.

— Мысль пригласить вас, уважаемая Анна Тихоновна, конечно, очень отважная, но совсем не случайная. Я сегодня должен был вылететь в Брест, но утром мы позвонили в Тулу, и нам сказали — вы выехали в Москву. Я остался. Идея, что, может, вы сыграете на нашей сцене, родилась у молодых товарищей — они еще студентами видели ваши выступления в Москве. И наша заболевшая, так сказать, премьерша — во-

сторженная ваша поклонница, с отличием кончившая институт артистка. Вот так вот. Миссия наша ответственная, а положение, вы сами понимаете, пока безвыходное.

Улина опять отошла к окну, нисколько не скрывая раздражения, а директор продолжал вьедливо-грустную речь, глядя Анне Тихоновне в спину:

— Вы изволили сказать: замена. Разве мы не понимаем, что значит — Улина? Почетное участие, гастролы — вот на что мы осмелились надеяться. Если бы вы оказали нам такую честь, долг мой сдержать слово: пять спектаклей. Только.

Администратор, мгновенно оживший, махнул директору рукой и сначала прошептал, а потом крикнул:

— Четыре... Четыре! Ни одним больше!

— Я подумаю, — сказала Улина.

— Не надо думать! — всколыхнулся он. — Некогда, некогда, душечка Анна Тихоновна, думать! Это же военный город! Когда там думать?

— Я посоветуюсь.

— С кем, милая, с кем советоваться? Это же Брест!

— Я завтра увижу Оконникову и поговорю.

— Тетю Лику? — возопил обрадованный администратор. — Зачем же завтра? Сейчас, сейчас!

— Мы с ней условились. И потом... ее теперь нет дома.

— Господи! — воскликнул он, сорвавшись с места и подбегая к телефону.

Он мигом пролистал свою потертую записную книжку, уважительно нагнулся над столиком с телефоном, набрал номер и заговорил новым, слегка жеманным голосом:

— Можно просить к телефону Гликерию Федоровну?.. Ах, это вы? Извините, Гликерия Федоровна, как мог я не узнать!.. Ах, вы только что поднялись в квартиру! Простите, пожалуйста. С вами желает говорить Анна Тихоновна Улина... Да, да, совершенно верно: ваша Аночка. Я передаю трубку...

Он распрямылся.

— Анна Тихоновна! Вас ожидает у телефона Гликерия Федоровна.

Улина пожала плечами, улыбнулась. Он величавым шагом пошел к окну, заложил руки за спину и принялся выбивать двумя пальцами трель по запястью.

Анна Тихоновна рассказала тете Лике о нападении, которому подверглась после встречи с ней на Моховой, сразу же добавила, что, конечно, не подумает никуда ехать и что ужасно радуется завтрашнему свиданию. Она была убеждена, что тетя Лика никуда ее из Москвы не пустит, а только посмеется вместе с ней над анекдотом с коленопреклонением администратора. Но Гликерия Федоровна неожиданно разохалась в телефон и стала чуть не слезно уверять, что если бы Аночка поехала, это было бы благодеянием для удивительно способных мальчиков и девочек, которые составили такую обаятельную брестскую труппу. Оказалось, тетя Лика принимала в институте выпускной экзамен у этих мальчиков и девочек, а заболевшая актриса необыкновенно напомнила ей на экзамене своем Машей из чеховских «Трех сестер» самое Аночку, и тетя Лика думала непременно завтра ей об этом сказать. Она так растроганно это описывала, что Улина в полушутку спросила, уж не в сговоре ли тетя Лика с брестской дирекцией, на что та ответила, что вот, мол, истинный крест — ни сном, ни духом! Разговор почему-то очень разволновал Анну Тихоновну, и она его кончила обещанием еще подумать.

Пока она говорила, администратор все чаще перебирал и постукивал пальцами, так что уже вся пятерня принимала в этом участие, а когда

Улина положила трубку и взглянула ему в лицо, оно сияло таким заразительным счастьем, что она расхохоталась.

Она потом сама признавала — ей так никогда и не удалось понять, какой бес кольнул ее в эту минуту вдруг сказать свое короткое:

— Хорошо!..

Но с этой минуты она вновь принадлежала той машине необходимости, которой принадлежать ей было часто очень отродно и никогда не обременительно.

Администратор, считая победу вырванной единолично своим гением, перешел на самый высокий из доступных ему стилей.

— Сегодня, без красного слова, большой день, — произнес он. — Дорогая Анна Тихоновна! Картина, написанная молодым живописцем, может стать шедевром, когда к ней подойдет мастер и положит мазок своей кистью. Вы сделали великодушный шаг нам навстречу. На нашей многообещающей афише вспыхнуло: «С участием народной артистки республики...» — и Брест пал. Мы его взяли.

Он низко поклонился Анне Тихоновне и на том закончил торжественную часть визита. Он наскоро перечислил, что будет сделано директором до отъезда, и говорил с такой юркостью, что Улина принимала его слова как любезную заботу о ней, а директор мог их принять за предписание себе, однако нисколько не посягающее на директорский авторитет. Потом он назвал Анну Тихоновну спасительницей, взял директора под руку и, удаляясь из номера, зажег электричество.

— Зачем вы? Совсем светло, — сказала опять повеселевшая Улина.

— Простите, по привычке к гостиницам. Я прочитал: «Уходя, гаси свет»... Через два часа доставлю вам, душечка, на подпись соглашение и аванс на дорожные расходы. Ровно в одиннадцать. Не будь я Миша...

Ночью Анна Тихоновна говорила с мужем по телефону. Было плохо слышно — наверно, где-то ходили грозы, — но Извеков понял, что ее неожиданная поездка продлится не то девять, не то десять дней, а она уловила не столько слухом, сколько привычкой чувствовать его состояния, что он ее одобряет. Ей показалось, она ясно разобрала фразу «Ты засиделась со мной в Туле!» и короткий добродушный смешок. Она тут же написала ему открытку с пересказом восторгов тети Лики от молодежи и нового театра и поставила три восклицательных знака после задорной угрозы посмотреть, чем нынче у нас гордятся театральные институты. Огорченная известием о свадьбе брата в ее отсутствие, она решила не посылать поздравительной телеграммы, но написала ему с Машей другую открытку, а потом третью — Наде, обещая дочери пожить с ней в Москве по возвращении из Бреста.

После этого принялась укладывать в чемодан платья, еще не успевшие отвисеться в стенном шкафу.

Театральные люди, когда им нужно, проявляют неукротимый натиск энергии и могут быть сравнены в преодолении препятствий только с вооруженными силами государства. Утром Анна Тихоновна сидела в самолете, держа на коленях сумочку с пропуском в Брест, и рядом с ней, склонив себе на плечо голову и открыв рот, покоился спящий администратор брестского театра.

Нельзя сказать, чтобы неожиданный приезд Улиной мог произвести в Бресте впечатление особого события. Вдобавок к артистам, музыкантам, певцам, танцорам, которых город перевидал и переслушал за последние года полтора, со времени прихода Красной Армии, можно было всегда ждать, а можно и не ждать еще одну артистку. Горожане были перекормлены искусством, и, например, в гостинице Улину совсем не думали

порадовать гостеприимством. Сражение за номер, которое театральный опекун Анны Тихоновны дал войсковому коменданту отеля, решилось в пользу военных сил. Улиной оставалось поместиться в комнате, предназначенной для не приехавшей по болезни актрисы.

Осмотрев свое новое жилище, Анна Тихоновна повела смеющимся взглядом на администратора и нарочно вполголоса, чтобы не заводить долгого разговора и скорее остаться одной, сказала:

— Ну что ж. Заменять так заменять во всем...

На клочке бумаги она, торопясь, написала короткую телеграмму мужу и дала ее администратору с просьбой непременно отправить сейчас же вечером.

Комната Анне Тихоновне понравилась. Стеклянная дверь стояла отворенной на маленькую террасу со ступеньками в сад. Старый серебристый тополь шатром накрывал дом. Скамейка под сиренями с отцветшими коричневыми султанами, две-три строчки маргариток на пахучей, только что политой земле — все напоминало тульский дворик, к которому Анна Тихоновна успела привязаться.

Она достала из дорожной сумки книгу и, не читая, просидела в саду до сумерек, прислушиваясь к смеху детей за забором, к накатам далеких, угасающих шумов города.

Когда она вернулась в дом, уже надо было зажечь свет. Опять, как вчерашним утром в Москве, она стала вынимать из чемодана платья и, встряхивая их, рассматривать, какое нуждалось в глажении, какое можно повесить на распялке в старомодный ореховый гардероб.

Кто-то робко постучал в дверь. Она приоткрыла ее. Хозяйка квартиры, опираясь рукой о косяк, всунула голову в щель и тихо, подзванивая польски в нос, доложила:

— Мадам, к вам один господин.

— Где он?

Хозяйка подалась ближе, прошептала:

— Он вошел и тут стоит.

Улина распахнула дверь.

В комнате, обставленной по традиции зальца провинциальных домиков, под бронзовым настенным бра из двух ламп в лилиях голубого стекла стоял навтыжку прямой красивый старик. Под этими лампами волной голубела его седина над смуглым лбом. Он был одет в летний чесучовый разглаженный, но поношенный костюм. Обеими руками он держал, прижав к груди, обвернутую розовой бумагой бутылку.

Улина обхватила плечи руками крест-накрест.

— Цветухин! — выговорила она чуть слышно и вдруг вскрикнула: — Егор Павлыч, хороший мой!

Ни она, ни он не могли сдвинуться с места. Он сказал вполне серьезно:

— Мне сейчас на улице сообщили, что ты похищена из Москвы. Если нужен избавитель, вот твой рыцарь.

У него был такой знакомый и, ей показалось, молодой голос. Она бросилась к нему. Они поцеловались по обычаю — три раза.

Она ввела его к себе в комнату. Он осмотрелся.

— О-о,— протянул он многозначительно,— тебя, кажется... окружили заботой?

Он поставил на середину стола бутылку, спросил:

— Ты не против?

Они молча и долго смотрели друг другу в глаза.

— Аночка,— сказал он.

Она часто дышала, взгляд ее все больше светился.

— Не знаю, Егор Павлыч... не знаю... но я давно не была так счастлива!

Он повторил тише:

— Аночка...

Они услышали какой-то шорох, обернулись на открытую дверь. Хозяйка с готовной улыбкой заговорщицы спросила:

— Господам чай?

— Господам два бокала для вина! — почти пропела Аночка, схватила Егора Павловича за локти, и они начали смеяться с такой раздвигающей грудь полнотой удовольствия, с какой смеялись когда-то очень давно.

2

За двадцать лет после того, как Анна Тихоновна покинула Саратов, отправившись на фронт актрисой красноармейского театра, она только однажды встретила с первым своим сценическим учителем.

Проездом через Москву, стоя в очереди у кассы Художественного театра, она заметила голову, наклоненную к маленькой оконной прорези. Голова еще была наполовину смоляной, а матовая, как замша, смуглость лба, который виднелся за чьим-то плечом, была так особлива, что Улина тотчас громко назвала Цветухина по имени.

Ему достался единственный, чудом застрявший в кассе билет на вечерний спектакль, а он той же ночью должен был уезжать из Москвы. Им хотелось как следует выговориться, и ничего не оставалось, как зайти в актерское кафе-полуподвальчик через дорогу против театра. Они заказали коньяку, лимонаду, фруктов и проболтали добрый час.

Этот час показал, что они во многом были близки друг другу. Слегка наставнический тон Цветухина нисколько не смутил Улину — уже уверенную в себе актрису, не разучившуюся, однако, прислушиваться к советам из десятка которых разве какой-нибудь один заставлял ее вновь проверить свои профессиональные навыки или убеждения. Назидания, высказанные Цветухиным, относились, пожалуй, к категории девяти — их можно было пропустить мимо ушей. Но они говорились человеком, который поставил на театральные подмостки ноги Анны Улиной и любовно глядел в ее лицо, когда она, сменив свою девичью фамилию Парабукиной на сценическое имя, прочитала его в афише спектакля и с тайным восхищением сказала себе: это я!

В кафе было малоллюдно. Официантки с накрахмаленными хохолками поверх коротковолосых причесок неслышно скользили в туфлях, известных под странным названием «тапочки», в тихом бездумье расставляли по столам традиционные пары бокала с рюмкой и кое-где мягкосердечным движением пальцев подбадривали поникшую над скатертью гвоздичку в ее предсмертный час.

Невероятно, но во всех искусствах не умирают и едва ли умрут азбучные приемы работы, заучиваемые мастером раз навсегда. На сцене азбука применяется актером в той же бездумности, в какой официант накрывает стол. Здесь нет места спорам и были бы бесплодны вольности — просто надо уметь на глазах у публики стать на колени перед героиней, так же как в ресторане надо уметь сервировать. Споры начинаются там, где выплывает вопрос — какому зрителю служит актер или (что то же самое) какому едоку предназначается суп в тарелке.

Люди разных поколений, Цветухин и Улина, учитель и ученица, считали себя воспитанными дореволюционным театром, но душой и плотью принадлежали советской сцене: он — потому что в старом театре ему всегда было тесно, она — потому что ее жизнь началась в театре новом. У них, конечно, могли найтись разногласия, но в ту московскую встречу слыш-

ком много надо было рассказать о себе, а главное, с первой минуты вспыхнула их нежность друг к другу, какой ни он, ни она не ждали.

Протянув руки над маленьким круглым столом, они чокнулись. Он легким оборотом кисти перелил в рот стопку коньяка, она чуть-чуть отпила из рюмки и взяла яблоко.

— Вот очень хорошее,— сказала она, увидав, что Цветухин тоже выбирает яблоко, и отдавая ему свое.

Он зажал в ладони ее пальцы вместе с яблоком. Она не отнимала руку. Взгляд его лучился, и они несколько раз согласно качнули головами, подтверждая, что их волнение одинаково.

— Ты больше прежнего Ева,— прожевывая с кожурой хрустящую мякоть яблока, говорил он.— Но поздно Адаму надеяться на то, чего он не успел достичь в свое время.

— Что теперь у вас с Агнией Львовной?

Вместо ответа Цветухин передернул плечом, с улыбкой пробормотал:

— Ты и раньше была малость дипломатом...

Он налил себе еще коньяку, но не выпил, нахмурился.

— Я решил наконец добиться развода. Она недавно опять явилась в Саратов. (Он замолчал, и что-то задорно-вызывающее стало загораться в его лице.) А я бросил Саратов! — выпалил он мальчишески.

— Как? — воскликнула Анна Тихоновна, пораженная и тоже загоревшаяся от любопытства.

— Я понял, это необходимо,— сказал он решительно и придавил стиснутые кулаки к столу.— Целых три эпохи в одном городе! Это должно убить актера. Пришел конец эпохе. Понимаешь, что это означает? Все равно, как будет называться период, в котором мы уже начали жить. Неважно. Но опять что-то новое, небывалое. С неведомыми людьми, которые недавно были мальчиками. Их отцы дрались в гражданскойскую и понемногу седеют. Журавли отлетают, куры остаются. Я не хочу больше сидеть на нашесте.

— Но Саратов — без вас! — в недоумении сказала Улина.— Я же всюду слышу о вас, если говорят о Саратове. Стоит дойти молве о каком-нибудь успехе, как уязвленные театралы ворчат: затвердили — Саратов, Саратов! Посмотрели бы мы на Саратов без Цветухина!

Он был польщен, но обиженно опустил губы.

— Мою славу не подвергают сомнению, а почести убавляются.

— Вы никогда не жили одними почестями, Егор Павлыч! — сказала Улина с возмущением в притушенном голосе.

Он гордо встряхнул головой.

— Ты права. Да. Есть нечто, что мне дороже всего... За наше искусство!

Он выпил свою стопку. Поежившись, неожиданно хитро сощурил левый глаз.

— И все-таки! Почести — это кислород актера.

Он стал доедать яблоко, разглядывая лицо Улиной, любясь им и вместе изучая его. Она не могла под этим пристрастно оценивающим взглядом скрыть женское удовольствие.

— Ну как? — засмеялась она.

— Если бы ты жила в Саратове, я остался бы там,— горячо ответил он, но Улина почувствовала, что мысль его отошла от нее.— В городе считают меня редким артистом, я знаю,— сказал он.— Но уже не удивляются моему таланту, как не удивляются памятнику, мимо которого каждый день ходят на службу. К моим поискам новшеств любопытство пропало. Улыбаются, если не отмахиваются: ну, Егор Павлыч опять что-то придумал! А во мне — помнишь? — беспокойство, страсть, любовь... Бежать, бежать! Иначе я умер.

Он взволнованно оглянулся. Анна Тихоновна догадалась — он хочет позвать официантку — и приподняла рюмку:

— Выпейте мою. Я не буду.

— За тебя! — поспешно отозвался он, принимая рюмку и немного плеснув на стол.

— Публика не должна привыкать к актеру, к художнику, как бы талантлив он ни был, — говорил он без передышки. — Я чересчур знаком каждому зрителю в партере, ложах, на галерке. Мне аплодируют, потому что я известен, а не потому, что хорошо сыграл. И я начинаю клевать носом в кресле славы. Завтра я в нем засну. А спящий художник не проснется. Аплодисменты его не пробудят. Они прекратятся. Где спят, там стараются не шуметь.

Было заметно, он хмелеет, но что-то гипнотическое лилось из его возбужденного монолога, и Анна Тихоновна все больше узнавала в нем прегрешную влюбленность в сцену, и одержимость фантазерством, и сумасбродство изобретателя, и раньше всего — властность артиста. Она слушала его преклоненно.

— К актеру, которого зритель видит впервые, он придирчив и подходит резниво. Зритель хочет, чтобы новый актер его покори́л. Это держит актера начеку, не дает ему киснуть, заставляет работать изо всех душевных сил. Слабость актера, которого зритель давно признал, он снисходительно ему извиняет, как мать своему баловню сынку. В актер-любимце хотят видеть непременно то, за что его полюбили. А я не могу, я не хочу, я не буду себя повторять! Я хочу вечно обогащаться. Я все время пробую ввести что-нибудь новое в уже сыгранную роль. Если это вызывает отзвук у зрителя, значит я сделал приобретение, значит я живу. Кто вдул в меня жизнь? Зритель. Только зритель, который оценил мое открытие, мое новое достижение. Без зрителя я не сдвинулся бы с места ни на шаг.

Цветухин откинулся, обнял позади себя спинку стула. Речь будто утомила его. Лицо пожелтело и вздрагивало. Он долго молчал.

— Спасибо, милый Егор Павлыч, — тихо и словно не зная, что сказать, проговорила растроганная Анна Тихоновна.

Он оперся локтями на стол, нагнулся, погрозив указательным пальцем, и, поднимая брови, низким своим маслянистым голосом таинственно сообщил:

— Только тебе одной. И смотри, ни слова!.. Я пишу книгу. Она будет называться «Работа зрителя над актером»...

— Это напоминает... — начала было Улина, но он строго затряс головой.

— Это не напоминает, нет! Это дополняет! Будет дополнять великую книгу, о которой ты подумала... Я тебе скажу главное. Но смотри, чтобы никому! Главное — это исторические смены качеств зрителя. Отражение этих смен на исполнителях, режиссуре. И, само собой, на репертуаре. Понимаешь? Кто смотрит на сцену — вот в чем вся философия. Кто смотрит!

— Философия? — удивилась она.

— Да, да! Не улыбайся. Своего рода теория среды актера. Теория, родившаяся из опыта, из практики нашей сцены. Из моих проб, которые я, артист, не прекращал никогда. Я пробую непрерывно перерождаться, отвечая перерождению среды или массы зрителя.

— Почему — перерождению? — в растерянности спросила она.

— Ну... Может быть, народжению. Не в том вопрос. Я это найду. Это вчерне. Важно главное. Смена качеств. История смен. Тут ядро глубочайшей истины нашего искусства. Оно здесь, — кратко срезал он, схватив раздвинутой пятерней свою красивую черную голову.

Его глаза, искрившиеся, как в гневной решимости, затревожили ее, и она нарочно оживленнее, чем к этому был повод, сказала:

— Знаете, Егор Павлыч, вы должны написать свои воспоминания. Столько ролей, такая огромная жизнь!..

— Это потом. Сейчас книга,— недовольно посмотрел он на нее и добавил: — Ты совсем не пила. Возьмем еще? Почему ты загрустила?

— Я думаю... как вам покажется на другой сцене? Куда вы сейчас?

— В Ленинград,— быстро и все еще недовольно ответил он.— Меня давно звали. И уже все решено. В Большой драматический. Рассказы-вают, там еще томится дух Александра Блока.

— Как хорошо! — восхитилась она, испугавшись, что в душе не поверила ему.

Он разгадал деланный тон.

— Уж не думаешь ли ты, что без саратовского лукошка я пропаду? Но ведь ты сама перелетная птица. Что тебе не сидится, бродяга, а?

Ее повеселевшая улыбка смягчила Цветухина, и он стал слушать с увлечением, как она превозносила какой-нибудь один театр, чтобы разбранить другой, или пророчила великое будущее своей подружке, о которой никто нигде не слышал, а то читала отходную некой прославленной известности.

— Вы так удивительно верно сказали, Егор Павлыч, что зритель хочет, чтобы его покорили. А разве не чудесно — встретиться с неизвестными товарищами по сцене? Столкнуться с их непривычными требованиями? Убедить их в своей силе? Мне каждый новый театр приносит новый приток воодушевления. Всякий раз, даже в старых ролях, выступаешь чуть-чуть дебютанткой...

— Прекрасно, прекрасно,— поддакивал и умилялся Цветухин.— Не засиживайся, Аночка, на месте. Засидишься — захочется вздремнуть... Значит, ты одобряешь мой шаг? Да? Моя публика слишком меня любила. Я оставляю ее. Пусть она потоскует. Это как во всякой любви: будет крепче. Согласна? И не думай, что я уступлю тебе, милая моя ученица! Я возложу на себя подвиг. Подвиг бродяги на старости лет!

— Ах, ну какая же старость? — перебила Анна Тихоновна в искреннем протесте.

— Ты полагаешь? — отозвался он, очень довольный, и с нежной вкрадчивостью спросил: — Ты счастлива?

— Сейчас?

— Сейчас и вообще.

— Сейчас — очень! Вообще... тоже очень! — сказала она вдруг чресчур твердо.

Он в сомнении прикрыл глаза, повел головой к одному, потом к другому плечу.

— Ответ сердца всегда быстрый, ответ ума медленный.

— Мое сердце ответило сразу, но ум захотел проверить его,— живо сказала она.

— И контролер увидел, что ошибки нет? — продолжал он в манере искусителя.

— Да, ошибки нет! А вы ждали другого признания? — со смехом кончила она и поднялась.

Зашли в гардероб: у нее оставался там зонт, у него — шляпа. Этот гардероб был неудобной крошечной раздевальной, зажатой в угол ступенями входа, и отделялся занавесом от зала кафе. Швейцар куда-то отлучился. Тяжелое драпри грубо-зеленого мятого бархата заслонило их. Через оставшуюся щель не было видно в зале никого.

Цветухин неожиданно обнял Анну Тихоновну, сжал пальцами ее щеки, вдавил усатый свой рот в ее открывшиеся губы.

Сдвинулась в сторону полоса драпри.

— Номерочек, граждане,— прозвучал с подкашливанием голос швейцара.

Что было сил упираясь руками в грудь Егора Павловича и оторвав голову от его лица, Улина громко сказала:

— У вас!..

— Что? — не понял он.

— От вешалки! — прикрикнула она и, распахнув занавес, взбежала по ступенькам к выходу.

На улице, остановившись, она облегченно вздохнула. В ошеломившем ее поступке Цветухина воскрес его поцелуй, которым он напугал ее давно-давно, после первого ее дебюта. Но она не чувствовала оскорбления, как тогда. Ей было стыдно и отчего-то тоскливо.

Вышел из кафе подгарцовывающей своей походкой Егор Павлович, с поклоном подал зонтик.

— Ничуть ты не переменялась, упрямец,— постарался он сказать с шутовой досадой.

— Вы тоже.

Ответ был ему приятен. Но он все-таки испытывал неловкость. Он показал медлительным жестом на приземистый театр, как всегда, производивший впечатление слишком маленького для самого себя со своим величием, в скромной оливковой одежде, с тесными окнами особняка.

— Знаменательно, что мы встретились с тобой в этом московском святилище,— будто по тетрадке прочитал Цветухин.

— Хотя лишь в очереди за билетами,— сказала она и вдруг, в упор устремляя взгляд на него, рассмеялась: — Эх вы! Жуир!

Они расстались, не сердясь друг на друга, без всякой обиды, но и без грусти.

3

И вот, отсчитав после московского свидания больше десятка лет, они встречаются в Бресте.

Они сидят под абажуром, обшитым дешевыми розанчиками, в комнате с отворенной дверью в душный темный сад. Они не видят этой случайной для них комнаты, похожей на будуар заштатной красотки, которым, наверно, гордится его чопорная хозяйка, любезно, если не льстиво, подавшая на стол бокалы и чуточку стукнувшая ими, чтобы господа послушали, как звенит настоящее баккара. Они видят и слышат только друг друга.

Егор Павлович — все в прежней волнистой богатой шевелюре. Но она сплошь бела. Он снял усы. Мешки бритых щек скатываются к помятому подбородку. Брови густы, но тоже побелели, словно затем, чтоб — черносливами — ярче блестели глаза.

Анна Тихоновна глядит на него, не веря себе. Старик! И все-таки сколько еще в нем трогательной нежности, когда-то возбуждавшей в ней отклик! Кажется, его старое чувство и не содержало того дурного отпечатка, который оттолкнул ее от Цветухина в Саратове и позже ошеломил при свидании в Москве. Нет, он никогда не был жуиром. Просто однажды, еще девочкой, она приняла его совершенно естественную мужскую тягу к ней за пошлость. Без всяких уверений себя она чувствовала в эти минуты, что Егор Павлович привязан к ней всем сердцем.

Они выпили шампанского друг за друга, и Анна Тихоновна сразу попросила налить еще.

— Ужасная духота!

— А-а,— одобрительно тянул он под ее радостный смех,— прогресс, прогресс!

Они не могли не вспомнить своего московского разговора, заново проверяя, что в них осталось от прошлого, что изменилось.

— Одного не могу понять,— говорил Цветухин, удивленно двигая морщинами высокого лба,— как это у тебя соединилось абсолютно, по моему, несоединимое? Если твой Кирилл так тебя любит, то как он может жить с тобой врозь?

— Почему — врозь? — тоже удивленно, но с веселой и счастливой живостью говорила Анна Тихоновна.— Всю нашу жизнь мы с ним вместе.

— Ну, это хорошо говорится. Вроде девиза. Но что это за жизнь? Не помню ни одного такого брака.

— Сколько угодно! Как же иначе, когда разные профессии? Сначала получилось неожиданно. Его перевели в другую дивизию. Я была в отчаянии. Мне насилу удалось перебраться к нему — у них там была концертная группа. Но его, как нарочно, опять откомандировали. Так и пошло: я за ним, он от меня. А после войны только я устроюсь в театре в городе, где Кирилл работает, как его переводят на новое место. Точно назло! Нас это сперва страшно мучило, но мы думали, переездам вот-вот наступит конец, и все пройдет. Но ничего не проходило. Мы поняли, что это неизбежно, начали привыкать к цыганскому кочевью..

— Цыгане-то семьями кочуют, всегда вместе,— усмехнулся Цветухин.

— В том-то и дело, что мы не цыгане! Ни он, ни я не могли бросить свою работу, а работа нас все время разлучала. Не отказаться же было от счастья из-за того, что нет постоянного местожительства. Для меня мое призвание то же, что долг. А для Кирилла долг, я убедилась, такое же призвание.

— Опять девиз,— остановил он ее быструю речь.— Ты мне скажи лучше: где же любовь? Я понимаю — отказаться от совместной жизни, если не любишь. Когда бы я любил, я ни за что не примирился бы с разлукой. Не простил бы ее жене. Не перенес бы.

— Значит, это не была бы любовь! — заносчиво сказала Анна Тихоновна.— У наших разлук с Кириллом есть свои замечательные праздники: наши встречи.

Она выговорила два этих слова — наши встречи — с каким-то замкнутым торжеством, очень тихо, будто хотела сказать их одной себе, и отвернулась к двери. Он тоже отвел взгляд за дверь, в темноту сада, и они целую минуту не говорили.

— Будь я счастлив, я сумел бы уберечь свое счастье какой угодно ценой,— сказал он глубоко-сосредоточенно.— Я даже бросил бы сцену.

— Никогда! — воскликнула она с жаром, но тут же стихла, как будто, внезапно разглядев Егора Павловича, открыла в нем неизвестную, изумившую ее черту.

Он сгорбился, облокотившись на колени, голова его почти легла на край стола, тень придавила опущенные глаза. Необыкновенная печаль сковала все его лицо.

Анна Тихоновна боялась спугнуть его неподвижную горькую задумчивость. Все ее чувства к нему превратились в одно сострадание. Она прежде никогда не поверила бы, что этот привыкший к успеху человек мог быть таким жалким. Она не знала, как продолжать разговор, с чего начать, чтобы сгладить боль, которую, наверно, причинила ему таким живым торжеством эгоистичного своего счастья.

— Конечно, у нас с Кириллом бывало... Это, в общем, не всегда так легко. Не без каких-нибудь...— искала, заговорив, и все не могла найти она нужного слова.— Не без неожиданностей, изредка несогласия... У меня был один разговор с ним. Я очень запомнила. С Кириллом. Рас-

сказать?.. Он вначале очень следил за моими успехами. Всегда радовался, когда узнавал даже о крошечной удаче. Может, у него были сомнения на мой счет, не знаю,— он не говорил. Наоборот, убеждал постоянно, что у меня большие способности, ну и прочее... Я ужасно много работала, хотела как можно больше достичь, потому что думала: чем большего добьюсь, чем больше буду актрисой, тем он больше будет меня любить. И это было так. То есть тогда. Теперь, правда, тоже. Но тогда это я больше чувствовала. С годами мне стало казаться, что он меньше говорит о моих успехах. Меня это задевало. Но он, наверно, привык... или уже так уверился, что я достигла своей цели. И потом он настолько занят, перегружен работой. Это ведь, знаете, не шутка: раньше — его заводы, теперь — эта несносная служба в Туле... Я уж это отлично знаю! Но вот один раз мы были в отпуске, на Кавказе, и много говорили — мы вообще много говорим, а тогда почему-то особенно. Отпуск мы стараемся всегда провести вместе. Мы что-то толковали о нашей жизни. Одним словом, я задала ему наконец свой вопрос... ну, насчет того, почему он редко говорит со мной о театре. И писать мне тоже стал мало о моей работе. А ему я очень много писала. Пишу и теперь. И всегда буду. Я спросила — почему? Он любит иногда отшутиться. Говорит, тебе мало, что ли, твоей славы? Я сказала, что мне нужно больше всякой славы его признание. Он все шутит: я тебя, говорит, давно не видел на сцене. Но я настояла, чтобы он ответил. Он тогда сказал, что любит меня все равно, независимо от моего успеха, от признания, от известности. Я была ужасно обижена. И возмутилась. Сказала, что нельзя любить «все равно». Если я тебя люблю, сказала, то люблю со всем тем, что в тебе есть, каждую частицу твоего дела, каждую каплю твоих переживаний. Не могу же я, сказала ему, любить тебя все равно — коммунист ты или нет. Он говорит на это: ну да, если я коммунист. А если бы я им не был? Я очень тогда на него рассердилась, не хотела больше разговаривать, только сказала: разве ты мог бы им не быть? Тогда это был бы просто-напросто... не ты! А любить не тебя я не могу...

— На том вы и помирились, да? — спросил Цветухин со все понимающей грустной улыбкой, и Анна Тихоновна ответила ему немного смущенным кивком.

Пока она рассказывала, он постепенно оживал, но выражение странной, изумившей ее печали не исчезало с его лица — он с чем-то не мог совладать внутри себя и потому ждал, чтобы говорила опять она.

Но, кончив свой рассказ, она замолчала. Ей казалось, Егор Павлович нуждался в участии, и вряд ли это был утешительный путь — говорить ему о своей любви к мужу.

— Я с тобой согласен, — вдруг сказал Цветухин. — В любви к артисту непременно должно присутствовать признание его таланта. Иначе ему и любовь не в любовь.

— Я вовсе не говорила, что Кирилл не признает моего таланта! — готовая обороняться, возразила она.

— Но его признание не очень для тебя питательно.

— И этого я не сказала!

— Ты много чего не сказала, — улыбнулся он, — но из того, что сказала, я вижу, что у мужа с тобой нет полного понимания.

— Ведь это же как раз обратное тому, что я говорю, Егор Павлыч! — воскликнула она. — Вы все вывернули!

Он смотрел на нее, не переставая улыбаться, точно поддразнивая, и продолжал в снисходительно-добром тоне:

— По-настоящему понять артиста способен только артист. Я тебя так и не видел на сцене полноценной актрисой. Ты вон уже в народных ходишь. А в моем сердце ты еще девочка, еще Луиза, не знающая, с ка-

кой ноги сделать лучше реверанс. Я тебя как актрису на веру принял. Понаслышке. И признаю. Потому что дар твой — от матери-природы. И мне хорошо известно, ты не скряжничала эти двадцать лет, не скупилась на актерский труд, о котором никто, кроме актера, даже махонького понятия не имеет. Каторжный труд! — вдруг с неожиданной обидой провозгласил он и, выдержав паузу, повторил шепотом: — Ка-торж-ный!.. Но одно дело я, актер. Другое дело... Я не хочу ничего о твоём муже сказать в умаление его.

— Да вы забыли Кирилла! Не знаете, какой он!.. — горячилась Анна Тихоновна.

— Пожалуй, не знаю. Но не забыл. Помню, ершом таким наскочил на меня и отчитал. За что? За то, что я не по его вкусу трактовал Барона в «На дне». Ты вот с такими косичками тогда бегала (он показал палец), а Кирилл твой уже читал нотации известным актерам. Теперь он не признает тебя, хоть и не смотрит, когда ты играешь спектакли.

— Неправда! — резко перебила она. — Зачем вы говорите неправду? Кирилл прошлый сезон видел меня в трех новых ролях. В Туле он редкий спектакль пропустил, когда я играла.

— Ты не сердись, — мягко сказал Цветухин.

— Нисколько я не сержусь, — по-прежнему резко и торопливо говорила она. — И вообще вы все неверно истолковали и вовсе не хотите понять. Мы с Кириллом прекрасно друг друга понимаем. И я не собираюсь ничего доказывать. И вы сами начали о нас с ним. И о любви... и не знаю, о чем... И начали потом вдруг...

Анна Тихоновна неожиданно нащупала уязвимое место противника и, решив нанести удар, придержала на один миг свой нескладный разбег и старательно-ровно спросила:

— Вот вы сказали, по-настоящему понять артиста может только артист. Вероятно, вас всегда очень хорошо понимала Агния Львовна? Она ведь тоже артистка.

Егор Павлович опустил глаза. Не ожидая этого вопроса, он все время не переставал думать, что неизбежно надо будет на него ответить, что вопрос выплывет сам собой. Вызывая Улину на откровенный разговор, он подчинялся своей потребности, своему желанию заговорить откровенно о себе самом.

— Агния Львовна, конечно, артистка, — с тихой усмешкой ответил он. — Именно — тоже артистка. Но у нее ко мне, ты знаешь, никакой любви не было. Странно ждать от нее понимания. Как раз потому, может быть, что она слишком мало артистка...

— Развелись вы с ней наконец? — не совсем уверенно спросила Анна Тихоновна, колеблясь, уступить ли раскаянию, что затронула вечно болезненную для Цветухина историю, или своему любопытству к ней.

— Давно. Очень давно, — сказал он. — Агния Львовна уже не возражала. Может, ей надоело противиться. А скорей всего я перестал быть ее пристанищем, так как чересчур много теперь передвигаюсь. Но знаешь, что удивительно? Чуть не целую жизнь я все хотел порвать с ней навсегда, думал о разводе, добивался ее согласия, а когда добился и она согласилась, стало как-то... нечего делать.

Он засмеялся негромко и поглядел на Анну Тихоновну извиняющимися глазами.

— Все-таки ей я был нужен... хотя бы для того, чтобы меня терзать, — пояснил он и опять засмеялся.

Его смех был старым, шипучим, точно насквозь продувались воздухом щеки. В то же время веки его едва заметно мигали, будто с иронией приглашая не принимать смех за чистую монету. Но и при желании нельзя было считать посмеивание Егора Павловича искренним.

Анну Тихоновну не столько изумляла очевидная постарелость его, сколько то, что он уже не молодился, не думал прихорашивать свою старость, как в былые времена, когда она была хороша и без того. В том, как он теперь говорил, как держался, было что-то просительное. Казалось, он хотел, чтобы его брали без прикрас — каков есть. И опять ей стало жалко его.

— Человек хочет быть кому-нибудь нужен,— продолжал он, почти не скрывая жалобы.— Кому-нибудь. Не вообще, не всем нужен, но одной-единственной какой-нибудь личности. Проще сказать, надо, чтобы его кто-то любил... Наверно, это самозащита. Когда виден конец, хочешь не хочешь, задумаешься, кто тебе подаст воды, если сам ты не дотянешься до кружки.

— Егор Павлыч! — с болью остановила его Анна Тихоновна.

— Брось, миленькая. Тут не мелодрама. Тут трезвость... Когда я бывал счастлив или думал, что счастлив, я не был счастлив вполне. Всю жизнь только мечтал о полном счастье. Что это такое, полное счастье, не могу ответить. Да и кто ответит?.. Я делал то, что хотел. Старался делать. И этого было довольно. Будущее добавит, чего тебе недостает,— я был убежден в этом, потому что работал не только для своего будущего, не для себя одного, а для всех. Для всех тех, кто меня смотрел в театре, кто у меня учился, кого я учу до сих пор. Но пришло время, и я вижу, что мне мало этих всех. Мало. Мне нужен еще кто-то один. Недостает его, единственного. Его нет. Его нет...

— Я не верю. Это все не так,— сказала встревоженная Анна Тихоновна.— Не верю, что вы одиноки, разочарованы, что...

— Постой, постой! О разочаровании нет и речи. Мне только страшно... немного страшно...

— У вас есть друзья,— не давала она ему говорить,— вас так любят...

— Кто?! — вскрикнул он.— Кто любит? Где? Где меня любят?

— Тише. Мы в чужом доме!

— Здесь все дома чужие для меня... А может, и для тебя. Для всех нас,— вдруг прибавил он, неприязненно озираясь на развешанные кругом, затененные абажуром картинки, вазочки с живыми и — рядом — с шелковыми цветами, тюлевые гардины с подзорами на золоченых карнизах.

Он разлил остаток вина, стукнул ножкой своего бокала по неподнятому бокалу Анны Тихоновны и, пока таял стонущий хрустальный звон, медленно цедил свою порцию, точно в надежде, что пощипывающий нектар успокоит его. И правда, понемногу к нему стало возвращаться мужество, взгляд его снова добрел.

— Нет, нет! — вздохнул он шумно.— Мне претит разочарование. Не так-то бедна моя жизнь. Но что правда, то правда. И прежде хотелось, хочется и сейчас ощущения счастья, еще не известного. Всего один раз в жизни причудилось или приснилось мне, что я испытываю вздох до глубины глубин легких. Представь и поверь, друг мой Аночка, что это связано не с теми женщинами, которых я знал, а с твоей чистой улыбкой, с твоей рукой...

В голосе его слышалась мольба, и, как в мольбе, он сложил руки, но сразу же и опустил их бессильно на стол.

Анна Тихоновна не смотрела на него. Замешательство овладевало ею. Боязнь чего-то, что могло, казалось, сейчас случиться, и желание, чтобы не улетучилось так вятно звучащее напоминание о юных годах, грусть и сочувствие — все вместе боролось в ней и волновало.

— Ты не пугайся,— сказал Цветухин отечески-усмешливо.— Я ведь не собираюсь просить, чтобы ты возместила мне, чего я не получил.

В конце концов разговор повторял московское искушение, и Анна

Тихоновна решила укрыться в прибежище, которое всю жизнь было ее щитом.

— Я не пуглива. Я рада, что вы откровенны в своих чувствах. Вы хорошо знаете, что женщина любит самое слово «любовь». Не говорить о любви ей трудно. И труднее всего — о своей любви. Но, наверно, правы те... прав мой Кирилл, когда он однажды сказал, что в любви не говорят о любви, — в ней просто любят.

— Моя ошибка, — не медля, отозвался Егор Павлович, — моя ошибка в том, что я собирался заговорить с тобой о любви, когда ты в ней ничего еще не смыслила... Твой Кирилл, как видно, из проповедников. Тебе не пресно с ним?

— А вы не пересаливаете? — обиженно вспыхнула она.

— В тебе есть что-то флюберовское, провинциальное, — сказал он, улыбаясь.

— Я должна оскорбиться? Или это похвала?

— Ты должна гордиться.

— При чем же здесь Флобер?

— Ты уверяешь себя, что счастлива. Это — борьба с чувством, которое знает, что один шаг, какая-нибудь встреча, какой-нибудь неожиданный человек — и возникло влечение, и счастье пошатнулось.

— Послушайте, вы, прорицатель! — стараясь побороть смущение, засмеялась она. — Не довольно ли вашего ясновидения? Лучше поставим на мне точку.

— Вот и ответ — при чем Флобер. Эмма Бовари тоже ведь не очертя голову бросилась за желанным счастьем. Была борьба с долгом...

— Довольно, довольно! — замахала руками Анна Тихоновна. — Иначе я перестану разговаривать.

— Трусись? — прищурился на нее Егор Павлович.

— Нет. Я хочу слушать. Но говорите о себе... Что у вас с вашей книгой?

— Откуда тебе известно о книге? — весь насторожившись, спросил он.

— Неужели забыли? Ведь вы сами, в Москве, посвятили меня в свою теорию.

— Да?

С тревожным удивлением он всмотрелся в лицо Анны Тихоновны и нерешительно отвел взгляд.

— Меня немного огорчает... Не то, что ты знаешь о книге, — встретился он, — нет! А вот, что стал забывчив... О далеком прошлом, представь себе, помню все отчетливо. А недавнее как-то... (Он по-прежнему иронически усмехнулся.) Ты понимаешь, что это за признак... Н-да. Так, значит, о книге... Я ее написал. Правда, не совсем. Известные части. Да. Читал в близком кругу. Так сказать, фрагменты. Делился с некоторыми товарищами. Очень хорошо слушали. Ну как это обычно бывает, когда автор захватывает. Критические замечания, дискуссия, большой интерес, одобрение, рукопожатия и все такое. Один театровед даже соавторство предлагал. Известный. Ты его, наверно, знаешь. Не стану называть, потому что с ним разругался. Я не хотел сразу давать ответ на его предложение, а он взял да исковеркал в мизерной полемической статейке мою заветную мысль. Представь, а? И так вздорно... Ты не читала?.. И хорошо, что нет. Порядочный оказался свистодуй... Ты не будешь допивать? — живо окончил он и потянулся к вину Анны Тихоновны.

Ей показались трудный перевал Егор Павлович уже осилил — было ясно, что книги он не написал, а с тем, что мог написать, провалился, — и она вдруг вспомнила, что в молодости он слыл незаурядным исполнителем Хлестакова. Она подумала об этом с внутренней веселостью, и

нечаянное воспоминание не переставало еще больше занимать ее, пока Егор Павлович настраивался на высокий лад.

— Я еще с гимназии помню самохарактеристику Державина, — продолжал он. — Поэт сказал о себе, что он «горяч, и в правде чорт». Я всегда был склонен к воспитанию в себе образцовых качеств — это было приметой и немножко модой нашего поколения. Больше всего я стремился быть в правде чертом. Но мой черт не снискал заметного признания у начальства, да и у редких коллег по театру имел успех. Понятно, почему. Я окончательно убедился, что наши актеры заучились. Театр повторяет себя, подобно академиям искусств. Сцена любительская, как мы ее раньше называли, одна обещает нечто значительное. Если, конечно, мы ее не загрызем до смерти, мы, актеры-академики... Я очень многому научился в своих скитаниях. Лучше сказать — наново переучился. Сколько я перевидал за последние годы всяких клубных кружков! Сколько их создал! Решил отдать себя всего кружковцам. И отдаю. Думаешь, зачем я здесь? Надо пополнить один превосходный коллектив самодеятельности. Я ведь уже опять три года в Ленинградской области. И вот иду хорошего героя. Узнал — есть в Минске необыкновенный самородок. Приехал, говорят — он в Бресте. Явился сюда — он уехал назад, в Минск. Зато я отыскал здесь обаятельнейшую травести! Не девушка, а ртуть! Непременно покажу ее тебе. Ты ахнешь...

Одно выражение лица Егора Павловича сменялось другим произвольно и быстро, по привычке актера рассказывать наружными чертами все, что делается внутри. По сменам этим было очевидно, что он не может найти главную мысль, — она была где-то заложена и все время терялась, и мимика его едва успевала за отыскиванием мысли, и он говорил, говорил.

Анна Тихоновна следила за его лицом почти с мучительным вниманием, и ее лицо тоже произвольно, под властью усвоенной привычки, отзывалось на все переходы его мимики. Так же, как Егор Павлович, она казалась то заносчивой, то мечтательной или что-то осуждающей, чем-то восхищенной. Но она не понимала, о чем же он говорит, а только видела, что он не может остановиться, и это возвращало к его словам о забывчивости как признаке старости, потому что струение его речи было тем же признаком. Она уже отказалась от своего уподобления Егора Павловича Хлестакову — сострадание к нему снова заняло в ее сердце. Какой же он Хлестаков! Скорее уж обыкновенный Несчастливцев. Вечный и еще, еще один новый Несчастливцев!

Придя к этому грустному сравнению, она не могла отвязаться от него, но жизнь ее лица продолжала зеркально отражать Егора Павловича, и было похоже, что она безраздельно ушла в слух.

— Да, да, провинция! — задумчиво сказал он и тотчас сменил тон на суровый. — У нас дали этому слову презрительную окраску. Опозлили его, сделали кличкой. Провинциала перекрестили в мещанина. А где было больше мещанства, чем в петербургском большом свете? Столичные купцы, чиновники — чем они лучше своих собратьев-провинциалов?.. Возьми художников, актеров. Все гении пришли из провинции. Театр — откуда он, если не из захолустья? Да и чем было бы искусство, если бы его не напоили жаром талантов и крови незваные и званые пришельцы из Ярославля, Казани, Саратова, из крепостных гнезд и деревушек? В каких только углах не побывал я за эти годы! Как там восторжаются талантом, как его ценят! Разве кто-нибудь умеет любить творчество, как мы с тобой, провинциалы? Как произносили мы эти высочайшие из человеческих слов — творчество, любовь! Слышишь? (Он наклонился к ней, привставая.) Лю-бовь... Наши раскрытые огромные глаза, которыми мы смотрим на природу... Наш голос, который выплы-

вает из души, точно летний рассвет... А бескорыстная жадность! Стоит нам услышать, что где-то нашлось письмо Чехова, Толстого — открытка, клочок бумаги, — мы бегим смотреть. В столицах покоятся горы и горы драгоценностей в архивах, музеях. Кто зайдет поглядеть на них, если не приедет дорожащий минутой, запыхавшийся от спешки провинциал, чтобы дохнуть застывшим воздухом, которым окружены святыни?

— Да это гимн! — воскликнула Анна Тихоновна. — И... бедные столицы! Хорошо еще, в них тоже немало провинциалов...

— Не шути, мой друг, — строго и тихо остановил ее Цветухин. — Мне слишком дорого приходится оплачивать убеждения, сложенные в борьбе за творчество. Я жизнью своей заработал право быть в правде чертом! Ты увидишь: во весь голос скажу я о бессмертных, которые явились на сцену провинциалами и воздвигли великий русский театр. Любовью к искусству земля наша искони выковывала актера. Выковывает и теперь. Его лишь надо уметь найти. Об этом ты прочитаешь в моей книге!

Цветухин встал, величаво, будто в клятве, поднял руку.

«Недостаёт ramпы», — подумалось Анне Тихоновне, но она тоже быстро поднялась и протянула ему руки, тронутая его вдохновением.

— Это будет книга о вас самом, милый, милый Егор Павлыч.

— И о тебе... Книга о нас с тобой, — неторопливо ответил он.

Она не сомневалась, что только сейчас родилась эта идея в горячей его голове, — о такой книге он раньше и не думал.

Он подошел к ней, взял ее руки, поднес к лицу, но не поцеловал, а приложил их ладонями к своим вискам, и она слегка погладила пальцами тугую гриву седых его волос.

— Я тебя люблю за одно то, что ты не изменила провинции, — выговорил он осекшимся голосом и неожиданно по-детски просиял. — Впрочем, я тебя и так люблю. Так, без всяких умных обоснований.

Он махнул рукой с добродушным отчаянием.

Она ответила той улыбкой радостного спокойствия, которая является, когда душевная борьба окончится облегчением.

— Выйдем в сад. Взглянем на брестскую ночь, — сказала она, беря его под руку.

4

Они вышли на террасу. Свет лампы падал из комнаты, затененной сверху ветвями тополя, свисавшими над дверью и окном. Ночь показалась темной, но глаз скоро привык к ней. Выпукло проступили в саду деревья, кусты, скамья, и вот уже начали в отдельности белеть кружочки маргариток, разглядываться листья, отсвечивать тропинки. Воздух был сонно-ясен, небо чисто.

— Встречаются заря с зарей, — сказал Цветухин.

— Да.

— Пойдем сядем в саду?

— Нет.

— Почему?

— Поздно.

— Целый час до рассвета, — настаивал Егор Павлович.

— Утром репетиция, вечером спектакль. Я боюсь: меня будет смотреть Цветухин, — шепнула ему на ухо Анна Тихоновна. — Бог знает, что за актеры эти дети, которыми соблазнила меня тетя Лика. Уж она их расхваливала!

Как бывает в ночной тишине, потянуло неожиданным прохладным током. Кое-где чутко отозвалась ему едва слышным вздохом листва и сразу опять стихла. Дуновение это принесло с собой очень далекие звуки аккордеона, сейчас же угасшие.

— Откуда это? — спросила Анна Тихоновна.

— Где-нибудь танцуют... Веселый город, — сказал он. — Все развлекаются, точно на роздыхе в походе. Я здесь две недели. Вечерами полно народу на гуляньях, полны кинематографы. Масса парочек, толпы молодежи. Множество артистов, больше с бору да с сосенки. Думаешь, где я узнал о тебе? Приехала новая эстрада. Я зашел в театрик полюбопытствовать. Ни одного места — битком. Больше половины — военные. Суббота, у всех увольнительные. Я стал в проходе. Программа — знаменитая окрошка. Певица, фокусник, акробаты, за ними — допотопный декламатор. На декламации я не утерпел, сдался. Пробираюсь к выходу, и тут — твой гений-похититель. Обнялись, вышли на улицу. Он мне сразу: какую, говорит, я звезду схватил в московском поднебесье!.. Ну и выложил победоносно всю историю с тобой...

Егор Павлович засмеялся.

— Веселый город... Тетя Лика знала, что делала. Будет интересно. Ты не раскаешься в своей афере!

— Я не раскаюсь, потому что увидела вас, — шепотом сказала Анна Тихоновна. — А теперь ступайте. Правда, поздно.

Он мягко положил ей на плечо руку. Они помолчали, стоя по-прежнему неподвижно.

— Ты что, всегда будешь говорить мне «вы»?

— Всю жизнь, — ответила она. — Идемте. Только тише.

Они на цыпочках прошли в переднюю, долго в темноте не могли справиться с замками: разгадают один, оказывается, есть другой, отперли его, обнаружили третий. Когда раскрылась дверь и они шагнули через порог, улица удивила их покоем ровного, бледного света.

— Вот и утро, — проговорила Анна Тихоновна. — До свидания вечером на спектакле!

Она так же тепло, как только что в саду Цветухин, дотронулась до его плеча и в напутствие слегка подтолкнула его.

Вернувшись к себе, она разделась и легла взволнованная, с боязнью, что, наверно, скоро не заснет. Но невозмутимый, бледный покой рассвета начал заплывать в комнату и клонить к дремоте. Веки быстро тяжелели. Впечатления суток стали смешиваться, несвязно порождая обрывистые картины.

Несколько раз она силилась ответить себе на возвращавшийся вопрос: неужели она в самом деле та маленькая девочка, которая жила на берегу огромной реки с мамой, папой, братиком? Неужели девочка, которую актеры поймали в креслах театра, куда она забралась во время репетиции, и потом Цветухин держал ее в своих коленях и о чем-то выспрашивал, неужели та девочка — то же самое, что Анна Тихоновна? Седой, усталый старик, проговоривший с ней до утра, это совсем не Цветухин — молодой, сильный, черноволосый красавец. Маленькая Аночка, которая принесла отцу в больницу кисель, сваренный для него мамой, а отец заставил ее съесть кисель, и она долго боялась есть, а потом съела — та девочка, которой она тогда была, и артистка Анна Улина, которой она сделалась, прожив так много, много лет, неужели они одно и то же?

Она задавала себе вопрос не словами, а разрозненными воспоминаниями, и чем больше приходило воспоминаний, тем больше она ощущала, что засыпает.

Ей показалось, будто она сейчас уловит неуловимый момент, когда явь кончается. Возникло как бы еще одно воспоминание, но она успела себе сказать, что в жизни с ней не было того, о чем она вспомнила...

Она увидела себя маленькой и почувствовала, что укутана чем-то шерстяным, мягким и теплым. Это теплое было большой толпой, тесня-

щей ее со всех сторон, почти несущей своими телами. У всех людей в толпе — свечи. И отец Аночки, прижатый к ней сбоку, тоже держит свечку в жилистой тяжелой руке. На нем праздничный шерстяной пиджак, и по бородавтому светлому лицу с дрожью мелькают отсветы желтого свечного огня. Она понимает, что это пасха, пасхальная утренняя, и толпа с крестным ходом идет вокруг объятого ночью высокого дома семинарии. Аночка смотрит вверх и видит на низенькой звоннице кудлатого семинариста. Он таращит на нее белые глаза с пляшущими в них язычками огня и вдруг дергает обеими руками веревки колоколов. Тре-звон оглушает Аночку, она прячет лицо в колючий, ворсистый рукав отца, и отец гладит ее по голове. Звон становится тише, тише. Толпа уже у входа в семинарский домашний храм, и, точно крылья сверкающей птицы, раздвигаются беззвучно двери, и народ начинает петь, и отец шепчет Аночке, щекоча ей ухо волосами бороды: «Что ты не поешь, пой!» И сам залевает — «смертию смерть поправ...» Его светлое лицо опять близко к Аночке, увлажненные глаза блестят, он говорит: «На, возьми, это тебе, ты давно хотела...» В руках у нее что-то холодное, гладкое. Это детские резиновые ботинки. Она с радостью надела их, разбежалась, прыгнула и вот летит, скользя по накатанному ледку уличной канавки между тротуаром и мостовой. Перед ней бежит по льду серебряным остриженным ноготком отражение месяца. Она вот-вот догонит ноготок, но он убегает и дрожит, дрожит впереди и манит, играючи, вперед. Тут она видит — ледовая дорожка обрывается куда-то в яму. Она не может остановиться, ей делается жутко, страх перехватывает горло. Она слышит, кто-то нагоняет ее на коньках и кричит ей: «Стой!» Но она мчится, и темная яма все ближе, ближе к ней, и она вдруг видит, что это Кирилл стремительно настигает ее, на страшной скорости поворачивается, соскабливает коньками со льда взвизгивающийся кверху снежный щит, и она срывается в пропасть. До нее еще долетает пронзительный свист коньков по льду, когда от грузного удара она содрогается всем телом и через силу раскрывает глаза..

Пробуждение Анны Тихоновны было тем переходом от тягостных снов к действительности, который в первый момент состоит из мучительного желания и полной невозможности понять, кончился ли сон.

Она лежала навзничь в незнакомой, залитой солнцем комнате, и с потолка сыпался на нее тонкий, как пыль, сухой дождь. Матрац под ней гудел звоном потревоженных пружин. В доме слышался женский визг с плачем. Где-то вдали, за стенами комнаты, катились, нарастая, волны глубокого гула.

Анна Тихоновна провела ладонью по потному лбу и ощутила прилипшие царапающие зерна пыли. Визг раздался ближе, совсем рядом, и в то же мгновение в комнату ворвалась с рыданиями хозяйка в длинной, до пола, розовой сорочке, перехваченной под грудями скрученным пояском.

— Мадам! Мадам! — крикнула она визгливо и, размахивая над головой связкой ключей, глядя перед собой остановившимися мокрыми глазами, промчалась к двери на террасу.

Анна Тихоновна приподнялась на локти и, вытягивая шею, поглядела через окно в сад. Хозяйка бежала по дорожке, до коленей подобрыв мешающий подол сорочки, взмахивая, словно дирижер, в такт бегу ключами.

Вдруг она дернула головой вверх, окинула взглядом небо, бросила подол, рванулась в сторону, упала. Не подымаясь, а только привстав на колени и часто передвигая босыми ногами, она поползла с дорожки в сторону и забралась под скамью.

В том гуле, который накатывался издалека и начал угрожающе при-

ближаться, прорезался на высочайшей ноте свист. Нота стала быстро падать ниже и ниже, из свиста превращаясь в стон и стон переводя в вой.

Не думая, чего можно ждать или что надо делать, Анна Тихоновна сбросила голые ноги с кровати на пол и стала нащупывать туфли.

Солнечный свет дрогнул в этот миг, будто пересиленный молнией, и вместе с этим взблеском гром пал наземь и взвыл раскатами.

Удар опрокинул Анну Тихоновну и приплюснул к постели. Она зажмурилась от боли и от ужаса, что стены затрепетали, точно паруса. Она слышала дрожь дома, звон искрошенных и осколками протрещавших по полу оконных стекол. Она страшилась шевельнуться.

Потом, приоткрыв глаза, она увидела прямо у себя над головой углом впившийся в стену обломок винного бокала, колеблющиеся полу-сорванные гардинки и в саду, за выбитыми окнами, медленно, как крупные хлопья снега, разлетающиеся тополиные листья. Хмарь известковой пудры клубами затягивала солнце.

Тяжесть тела мешала ей встать, но, одолевая боль, она опять села в кровати. «Что теперь с женщиной в саду?» — подумала она, пытаясь оторваться от постели, но расслышала с террасы шлепающие по половицам шаги.

Хозяйка, в остатках папилюток на раскосмаченной и обсыпанной пылью голове, в измазанной травой сорочке, вошла и твердо остановилась. Протягивая кулак с зажатыми ключами, она погрозила ими Анне Тихоновне, как оружием и своим оплотом.

— Всё ты! — насилу выговорила она от одышки, сдавившей грудь. — Такие, как ты...

Анна Тихоновна, еще не совладавшая со страхом и не понимая, что значат слова женщины, робко потянула на себя за угол одеяло. В глазах хозяйки слезы исчезли бесследно, щеки сухо пылали. Она оглядела стены, с которых все было сорвано, схватилась за голову, простонала:

— О-о! — И крикнула, снова оборачиваясь к Анне Тихоновне: — Будь ты проклята, с твоими русскими, большевиками! Это русские виноваты, ты, ты!

Анна Тихоновна увидела кровью ненависти горящий взгляд, и смысл бесстыдного крика обжег ее сердце.

Она резко накинула одеяло на ноги, выпрямилась, сказала негромко: — Перестаньте болтать вздор. Оставьте меня!

— Ты! Ты! Вон из моего дома! — провопила хозяйка и пошла к себе, неожиданно осторожно выбирая, куда ступить босой ногой, чтобы не пораниться стеклом.

Вывавшись из непрерывного гула, новый взрыв взревел неподалеку.

Анна Тихоновна упала на подушку, как в детстве, зарывшись в нее лицом. Единственное слово, в которое заключены были все чувства, безответно повторялось в ее голове:

— Неужели? Неужели...

(Окончание следует)



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ЛУННАЯ НОЧЬ

Луга луной озарены —
Здесь нет иного освещенья.
Разгорчивы ощущенья
Под странным отсветом луны.

Иду один — в луга, в луга.
Луною залита дорога,
Лежит прямая тень от стога,
И травы, травы — как снега.

Иду один. И мнится мне
Под этой белою луною,
Что хоть она и надо мною,
Но будто сам я на Луне.

Как бы не весь, а только часть...
Не те законы притяженья.
Соизмеряю все движенья,
Чтоб не взлететь и не упасть.

С тобой бывает так? Сидишь
В своем привычном, мирном доме,
Но сам ты в битве, в пекле, в громе,
А между тем повсюду тишь.

Вот так и я сейчас — брожу
В земном, в полночном мире этом
И вдруг знакомый по газетам,
Тот, лунный, выпел нахожу.

И средь бездонной тишины
Вдруг вижу, что в лучах очнулся,
Что только что с Луны вернулся...
Луга луной озарены.

ОКНА

Сопровождают окна вас повсюду.
Они, как звезды, незаметны днем,
Но вечером они, подобно чуду,
Внезапным озаряются огнем.

Скользит их свет, пронзая теплый воздух.
Звезда. Звезда. Еще одна звезда.
И на вопрос: «А есть ли жизнь на звездах?» —
Я говорю с уверенностью: «Да!»

На них свои туманности и пятна,
Их, астроном, попробуй — изучи!
Вон та звезда знакома и понятна,
У этой необычные лучи.

Они глядят сквозь спутанные ветки,
Их отражает в лужицах вода.
А выдернули вилку из розетки —
И выключена целая звезда.

И грустно мне, что зыбким полукругом
Лежат во тьме пустынные дворы,
Что поздний час, что гаснут друг за другом
Торжественные звездные миры.

ДОМ

Не четыре стены,
А над ними крыша,—
Дому нету цены,
Шире он и выше.

Не диван, не кровать,
Не обоев краски.
Нужно дом начинать
С верности и ласки.

Если в нем скопидом,
Это просто зданье,
Это вовсе не дом,
А одно названье.

Это тоже не дом,
Если там, к примеру,
Нас едят поедом,
Е нас теряют веру.

Что ты сделаешь тут?
Скверная примета!
Если дома не ждут —
Право, дом ли это?

Но своим чередом
К нам приходит чудо.
И у вас будет дом,
Если нет покуда.

Голубая звезда
В мировом пространстве.
Возвращаюсь туда
Из далеких странствий.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

16

Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать «Бурю»: только-только Валя декламирует «Гамлета» — и уже какая-то Гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергей у Днепра, потом Ники поет партизанскую песенку в горах Лимузина — трудно следить за происходящим. Возможно, эта читательница права: роман — парк, и даже густые заросли в нем обдуманы. А жизнь — лес, и в книге о прожитых годах трудно соблюсти стройность повествования.

Я писал о Проточном переулке — и сразу перехожу к Пенмарку во французском округе Финистер. (Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине; все это я сейчас опускаю.) Ничего не поделаешь — с семнадцати лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных мебелишек, часто менял адреса, трясся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом, да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги; ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег; сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков; я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы — так вот сложилась жизнь. Наверно, это — свойство природы: есть домоседы, есть и «вечные жида»; здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться.

В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал, исхлестанных океаном, или своеобразие древней бретонской скульптуры; право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддается описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий; порой незначительное происшествие, деталь быта, случайная встреча врезаются в память и многое предопределяют.

Пенмарк — небольшой городок на одном из западных мысов Еврочи; его жители занимаются рыбным промыслом — ловят сардину; женщины работают на консервных фабриках. Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки.

Когда я впервые увидел этот городок, меня поразило беспокойство и природы и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря, оно стучалось в каменные ворота земли. Ветер сбивал с ног; и ни одно дерево не смягчало картины — камни, камни, а между ними белые кубики кон-

* Продолжение Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

сервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. В порту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры; их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были закрыты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, не знакомого с ловом сардины: они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками, говорили, что недостаточно оборудования; на самом деле они брялись, что цены на консервы могут упасть.

Забастовку рыбаки проиграли — у них не было денег про черный день: все дни были черными. Я присматривался к жизни людей, она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети. Хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудованы, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Бретань художники любили писать женщин Пенмарка, их привлекали старинная одежда, чепцы, красота лиц; а руки у работниц были красные, разъеденные солью.

Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардину, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту — Одьерне была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей, рыбаки решили попытаться счастье, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмо говорили: «А что им делать? У них большие семьи...»

Есть размышления о «мыслящем тростнике», есть фантастика Вилье де Лилль Адама, есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и другое — голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней, звериной нуждой.

Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря: люди колотились в закрытые ворота фабрики. Хозяев не было — вероятно, они отдыхали на курортах. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляя прислать отряд жандармов.

С маяка пошла моторная лодка, и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море; женщины аккуратно отрезали сардинам головы или укладывали рыбу в жестянки.

Ничего, таким образом, не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не разумеет, я знал и раньше — не только из книг, по своему опыту. Да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить, я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня другое.

Рыбаки Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда подымает, и кажется, нет мифа прекраснее, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о «Фраме» Нансена и потом, в течение моей жизни, пережил события, большие или меньшие, потрясавшие воображение всех: Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали жителей Мессины во время землетрясения, Кальмет нашел антигуберкулезную прививку, ле-

докол «Красин» спас полярную экспедицию Нобиле, погиб Амундсен, челюскинцы удержались на льдине, советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс, Флеминг открыл пенициллин, англичане взобрались на верхушку Эвереста, норвежцы на плоту доплыли до Полинезии, советский спутник закружился вокруг Земли, и, наконец, мир, восхищенный, замер — впервые человек, Юрий Гагарин, заглянул в космос.

Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы — рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота.

В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Далена. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели — капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое... Есть подвиги и есть барыши — вот что невыносимо! Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь «мыслящий тростник» только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран.

Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети. Акционеры консервных фабрик получали дивиденды.

Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми событиями. Сэр Генри Детердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти — в Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроен торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется «Дон Жуан». В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера; хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о «жизненном пространстве на Востоке». В Москве рапповцы повторяли: «Необходимо сорвать маски со всех», — к маскам они причисляли и лица многих писателей. (Впрочем, тогда все ограничивалось статьями...)

Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголи Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, готовых на все ради наживы; он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах. Океан неистовствовал. Рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни.

Мецената Моголи Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пенмарка, писал: «Ужасен мир, где Каин и законодатель, и жандарм, и судья!.. В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную». Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на один год...

Среди рукописей Е. П. Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки: «Красная армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще стиль того времени был такой: на все начихать, письма писать глупо, МХАТ — бездарный театр, читайте «Хулио Хуренито». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард» — замедленная съемка. «Париж уснул». Увлечение кинематогра-

фом. «Кабинет доктора Калигари», «Две сиротки», Мэри Пикфорд. Фильмы с погонями. Немецкие фильмы. Первые фокстроты. При этом жили очень бедно».

Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов. Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики»; немецкие фильмы вроде «Доктора Калигари», мне, однако, не нравились, я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Рене Клером.

Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с «материализацией фантастики», вернее сказать — с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям. (В 1928 году Маяковский писал из Берлина: «Вся надежда на Малик...») И вот я получил письмо от Герцфельде: «Уфа» хочет инсценировать «Любовь Жанны Ней», фильм будет ставить один из лучших режиссеров — Георг Пабст.

Пабст был австрийцем, он никогда не увлекался экспрессионистическим нагромождением ужасов или, как мы тогда говорили, «страстями-мордастями». Я знал его картину «Безрадостная улица» — о разоре послевоенных лет; она мне понравилась, и я обрадовался предложению «Уфа». Вскоре Пабст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки.

Успех «Броненосца «Потемкин» заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных «докторов». Ковбои успели тоже надоеть. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль де Милль спешно изготовил «Волжских бурлаков», Морис Лертье — «Головокружение». Пабст решил приправить интригу моего романа живописными сценами: бой белогвардейцев с «зелеными», заседание Совета рабочих депутатов, ревтрибунал, подпольная типография. Зная, что сценарий, состряпанный кем-то наскоро, изобилует нелепостями, немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с труппой джигитов.

В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодосии с аркадами, русскую замызанную гостиницу, монмартрский кабак, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статую богоматери, нары ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в пятидесяти шагах от Парижа, между ними торчал крымский холм; белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном.

Фильм был немой, это позволило Пабсту набрать разноязычных актеров. Жанну Ней играла хорошенькая француженка Эдит Жеан, Андрея — швед Уно Геннинг, злодея Халыбьева — немец Фриц Расп, Захаркевича — бывший актер московского Камерного театра Соколов.

Из съемок мне запомнились три сцены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жеан настраивалась на слезы — может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о неудачном ангажементе. Пабст в кожаной куртке напоминал командира батареи, он безжалостно браковал слезы Жанны: то недолет, то перелет. Наконец он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Он представил меня кинозвезде; она улыбнулась: «Ах, это вы написали

такую печальную историю? Я вас поздравляю». Конечно, я должен был в свою очередь ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул.

Вторая сцена связана с клопами. По замыслу Пабста клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев — их настигать и давить; причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок «Уфа» доставил банку с чудесными клопами; однако насекомые оказались несообразительными — они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева, никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клопы влетят «Уфа» в копейку — на них потратили четыре часа.

Третья сцена — кутеж белых офицеров. Пабст пригласил на съемку бывших денкинцев. Они сберегли военную форму; трудно сказать, на что они рассчитывали — на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, высились лихие папахи, на рукавах красовались черепа «батальонов смерти». Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе.

Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане «Феодосия». Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу — полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов: «Давненько мы с вами не видались...», «Простите, в каком полку вы служили?..»

Пабст командовал: «Переведите! Пусть веселятся! Я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно?» Красавец полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Пабст кричал: «Переведите — нечего разводить истории! Трусы ей оставят. Пусть думает, что она на пляже...»

Белые получали по пятнадцать марок за день и были довольны.

(В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал: «Говорят, что Чжан Цзо-лин вербует русских. Двести долларов подъемных и на дорогу...»)

Чтобы фигуранты лучше играли, Пабст пообещал вызвать их снова: через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст «Уфа». Бедняги обрадовались: это было куда реальнее, чем Китай...

Не скрою, мне было нелегко глядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекавая кутил, пели, танцевали, ругались, плакали; видел в притонах Стамбула сотни русских проституток; и вот эти офицеры, убежденные, что они спасли свою воинскую честь от позора, радуются, что будут изображать большевиков... Нет, лучше на такое не смотреть!

Из актеров мне понравился Фриц Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер.

Вскоре Расп приехал в Париж: Пабст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных Сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное, я его называл Жанной.

Мы встречались и позднее — в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Распу было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточном предместье. Там засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу. Спасли его мои книги с надписями, фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласти его детям.

Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Пабст ответил, что я не понимаю специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой.

Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистичский эпизод: «Уфа» оказалась накануне банкротства, дефицит достиг пятидесяти миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет; он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира — предпочитал им кривого прусского орла.

Новая дирекция «Уфа» предложила Пабсту изменить сценарий. Пабст пытался возражать, но с директором «Уфа» было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами.

У меня есть друг, американский кинорежиссер Майльстоун, который в начале тридцатых годов поставил фильм по роману Ремарка «На Западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Леммле и сказал: «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливым». Майльстоун ответил: «Хорошо, я сделаю счастливую развязку: Германия выигрывает войну...»

Леммле был бизнесменом и человеком без твердых убеждений. А Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на «Стальной шлем». Пабсту пришлось уступить. Мне показали фильм.

(Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Прощай, оружие!». Только когда на экране появились голуби — режиссер хотел показать, что война кончилась, — Хемингуэй встал, сказал: «Вот и птички», — и вышел из просмотрового зала.

Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран: то злобно смеялся, то ругал всех — Пабста, Гугенберга, Герцфельде, самого себя.)

Я не хочу сейчас защищать интригу моего романа, написанного в 1923 году, — в ней много натянутых положений. Я писал роман, не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая (конечно, тогда я этого не понимал). А эпоха была другая, нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобилует сентиментализмом. Героя, большевика Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое понимает, для нее начинается вторая жизнь — борьбы против мира лжи, денег, лицемерия, она уезжает в Москву. Так написано в книге. На экране все выглядело иначе — от деталей до сути. В романе имеется, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Пабст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по парижским улицам мимо старой церкви. Жанна ведет Андрея в церковь — там темно, а ей хочется поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна — верующая католичка, она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться господу богу, большевик становится на колени, и богородица спасает его от гибели. Они поженятся, у них будут дети. Все обошлось хорошо, можно идти спать.

Я протестовал, писал письма в редакцию. Герцфельде напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию «Уфа». Мне отвечали: «Фильм должен быть с хорошим концом...»

В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил: «Почему вы не вернули книги?» — «Потому что я их кинула в реку». — «Как же вы могли выкинуть в реку чужие книги?» Экспансивная девушка ответила: «А как мог Эренбург написать «Жанну Ней» с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в Куру все книги...» Судья присудил ее к штрафу; не знаю, чем он руководствовался: защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку...

Я понял, что такое «фабрика снов», где серийно изготавливаются фильмы, усыпляющие сознание, оглуляющие миллионы людей. В течение одного 1927 года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка», «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото», «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина». Им показали еще один вариант: «Любовь Жанны Ней».

Я писал: «В моей книге жизнь устроена плохо — следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо — следовательно, можно идти спать».

Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое — и «Любовь Жанны Ней» и консорциум Гугенберга. Одно, впрочем, живо: страх перед трагическими развязками.

Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом; по-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя назвать иначе как трагедийной. Понятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требования, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальным и сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником.

В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя «черной литературы», а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь: она большая, но не розовая...

Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель; это была надстройка над старым домом, разумеется сизо-пепельным. Домовладелец, желая дорожке сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение, почти все отказались: не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик.

Конечно, еще неприятнее контролера была непрошенная гостья — история, и люди радовались, что она убралась восвояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись — все-таки они были французами; но в душе они твердо верили, что, пока они живут, никакой войны не будет: дважды в жизни такое не приключается.

Карикатуристы занялись новым премьером Тардые; его легко было рисовать — он всегда держал в зубах длиннущий мундштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали,

как ювелир Месторино убил маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бюнюэль показал забавный фильм: на двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал: «Прежде при любом скандале говорили: «Ищите женщину», теперь мы вправе сказать: «Ищите нефть». Другой депутат прервал его: «Не сравнивайте нефть с женщиной, женщина — божество!» Третий при общем смехе добавил: «К тому же женщина не воспламеняется»...

В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием — кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом: приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца двадцатых годов.

Для меня это были тягучие, длинные годы. С деньгами было трудно, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика», вдруг датская газета «Политикен» вздумала напечатать перевод «Треста Д. Е.», вдруг из Мексики пришел гонорар за «Хуренито». Однако все это мне казалось идиллией — я не голодал, как в предвоенные годы, и не ходил в лохмотьях.

Люба много работала. Друг Модильяни Зборовский устроил выставку ее картин; Мак-Орлан написал предисловие к каталогу.

Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка, — картавила; приходя из школы в жаркий день, пила не воду, а белое вино; как-то я ее увидел на террасе кафе «Капуляд» с девчонками и мальчишками; они о чем-то горячо спорили; я пошел дальше, подумал: вот и новое поколение в новой «Ротонде»...

Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанное накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской и там с утра до вечера стучал: писал о трибуне народа Гракхе Бабефе, о конвейере на заводах Ситроена, о бурной жизни гомельского портного Лазика Ройтшванца, изъездившего поневоле свет.

Однажды я увидел Поля Валери. Это было в ресторане «У Венсена», который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поль Валери маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя; талант у него был не меньший, чем у Малларме, но изменилась акустика... Судьба Валери не напоминала судьбы «проклятых поэтов»: в пятьдесят лет он получил шпагу академика и сан «бессмертного»; но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Малларме.

А Поль Валери в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству: «Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал бы себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час; все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы». Это правильно: плоды созревают в конце лета, их тщетно искать глубокой осенью или ранней весной. Но Поль Валери ошибался в календаре — «очаровательный час» был позади — в конце XIX, в начале XX века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валери дожил до второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без сво-

боды и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии.

Меня представили Андре Жиду. В тридцатые годы я с ним часто встречался и в книге к нему вернусь. А при первой встрече он меня озадачил. Он походил на ибсеновского пастора, может быть на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви — молодой спортсмен, кажется немец или голландец, с туповатым лицом, в коротких штанишках.

Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Моруа ввел новый жанр — романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготавливать такие книги на конвейере, они сплетничали о любовных похождениях восьмидесятилетнего Гюго, о том, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша.

Франсуа Мориак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить; он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст богу душу богатый адвокат, а он, старый, больной, живет наперекор всему, его вдохновляет желание лишить своих наследников наследства. Разбирая роман Мориака, критик Эдмон Жалу писал: «Наследство и завещания — самые основные и самые традиционные черты французской жизни».

Я часто думал, что старый мир, с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герой Мориака, живет одним: не хочет ничего оставить своим наследникам. А прочитав статью в «Литгазете» или встретившись с рапповцами, я говорил себе, что есть люди, которые не хотят наследства, беспризорные, облеченные властью цензоров и прокуроров.

Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивные». Я бывал иногда у Дюртена; он говорил о нашей стране приветливо, чуть снизходительно, пытаюсь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью «славянской души». В Париж приехала из Ленинграда О. Д. Форш. Как-то мы пообедали втроем: Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется, Советская Россия, остепенившись, станет полувосточным государством; следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил «версты» в старых русских романах и сказал, что французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли... Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность: видимо, он убежден, что может своим сантиметром измерить наши дороги...

В редакции журнала «Монд» я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накинута дружба: «идеализм», «мистика». А для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа что-то рисовал в воздухе.

Помню ужин, устроенный Пэн-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен; в своей речи он постарался

каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал «полупарижанином», а Бабелю сказал: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV, Ришелье и Корнеля. (В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе «Иль де Франс». На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину; среди них я увидел и Жюля Ромена...)

Ужин Пэн-клуба я вспоминаю с благодарностью — там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свево. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Триесте, а Итало Свево (его настоящее имя Этторе Шмитц) был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали.

Джойс был уже знаменит, его «Улисс» казался многим новой формой романа; его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота — французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан; когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить, он сказал официанту: «Я вам оставляю расписку, в Дублине меня знают». А тот ответил: «Это я тебя знаю, и ты не из Дублина, ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы...» Он подетски смеялся.

Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел — страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателям. Работал иступленно и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась вторая мировая война, он в ужасе воскликнул: «А как же я теперь допишу мою книгу?..» Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным «перемудрами» ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, Свифтом по отпущенному ему дару, только Свифтом в пустыне, где нет даже лилипутов.

Итало Свево в отличие от Джойса был мало кому известен; редкие французы оценили его роман «Цено». Он был на двадцать лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна; его имя нужно поставить рядом с Джемсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман XIX века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии, людей не знал, да и не хотел знать. Свево мне рассказывал, что Стефан Дедал, герой романа «Улисс», должен был называться Телемахом; Джойс любил имена-символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свево, наоборот, искал вдохновения в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего я.

Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан-Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди.

Я познакомился с молодыми писателями — Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу; о некоторых из них я расскажу впоследствии. А тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал.

Сюрреалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Иногда они устраивали шумные вечера, выступали с ультрареволюционными манифестами, срывали чествования — все это напоминало наших ранних футуристов.

Потом я подружился с некоторыми французскими писателями, а в те годы мне трудно было с ними разговаривать — не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием: для одних — апокалиптическим светопреставлением, для других — театральной постановкой. А меня мутило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки.

Андре Жиду было тогда под шестьдесят. Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не хлебнувшими горя, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью.

В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались, как далеким, необычайным явлением природы.

Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев «Лионского кредита», Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это, кажется, единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл «большевианом». Задыхаясь, он прибежал ко мне, сюсюкал: «Я вас умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай!.. Ах, они так прекрасны!..» В Париже тогда гостили Уткин и Жаров. (Пять лет спустя Андре Жермен писал: «Самая характерная черта нацистов — это идеализм. Геббельс прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями».)

Андре Жермен, конечно, карикатура. Что касается настоящих писателей, то, восторгаясь «Конармией», они удивленно разглядывали Бабея: этот «красный казак» превосходно говорит по-французски, умен, но в искусстве ретроград — любит, например, Мопассана! Приехал С. М. Эйзенштейн. Я был в Сорбонне на его вечере; должны были показать «Броненосец «Потемкин», но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией.

В Париже выходила ежедневная газета «Комедия»; в ней было мало политических новостей; полосы были посвящены театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженную статью о моей книге «Жизнь Гракха Бабефа», вышедшей во французском переводе. Критик заканчивал статью словами: «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Эренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовления русского борща». Имя «Илья» сбило критика с толку, он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга: не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабеф. Я решил послать в газету шутивное опровержение: указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику-гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург оказался мужчиной — «большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола». А в гастрономической рубрике

редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием: «Любезно предоставлен нам господином Ильей Эренбургом». Я, кажется, слишком часто рассказываю, как различные критики меня сердили; вот я и припомнил, как порой они меня развлекали.

По вечерам мы шли на Монпарнас. «Ротонду» оккупировали американские туристы; мы сидели в «Доме» или в «Куполе». Приходили туда некоторые старые художники — Дерен, Вламэнк; они были когда-то «дикими», сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться; нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить. Я подружился с американским скульптором Кальдером, огромным, веселым парнем; он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца, шотландского терьера Бузу. Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без. Норвежец Пер Крог молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги.

Подсаживались к нашему столу молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол недописан...

Приходил в кафе «Дом» петербургский искусствовед и режиссер К. Миклашевский. Он написал книгу «Гипертрофия искусства». Я частенько вспоминал эти слова: искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел — мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска.

Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку; а в Париже конца двадцатых годов я задыхался — уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности.

Поль Валери прав — полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели Полю Валери: свобода без справедливости или справедливость без свободы, журнал парижских эстетов «Коммерс» или «На литературном посту». (Несколько лет спустя Жан-Ришар Блок, выступая на Антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника: подлинная свобода — в уважении обществом его своеобразия, его индивидуальности, его творчества; иллюзорная — в тщетном стремлении жить вне общества. Говоря о свободе, я думаю, разумеется, не о свободе от общества, а о свободе в обществе.)

В прошлом столетии люди знали полярное сияние; русские поэты издавали «Полярную звезду». Полюсы были обследованы в XX веке. Березы, дубы, ольвы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой, это знает каждый, и каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, а жить на нем трудно.

Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году, а встречались мы позднее, в 1929—1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, чело-вечностью — ничего в нем не было от профессионального литератора.

Потом он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить, или, как говорят во Франции, «расщепить волос на четыре части». Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым.

Деснос был одним из самых молодых и одним из самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму «автоматизма» творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать — кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда двадцать два года, и я знаю об этом из рассказов других.

А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и, как ни старался Андре Бретон, которого шутя называли «папой сюрреализма», сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон.

В 1930 году Деснос заявил: «Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон,— одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший сподручный для возрождения католицизма и церковного духа».

Что меня подкупало и в его стихах и в нем самом? Ответу словами Элюара: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый из всех...»

Я говорил, что мы иногда встречались; несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель (консьержка, считавшая и меня и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги; он ей спокойно ответил: «Мадам, вы ж...»). Как-то был я в его мастерской на улице Бломе, возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неопишуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на «блошином рынке» — так называется парижская толкучка. У меня осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. (Много лет спустя я прочитал его стихи: Юки — женщину, которую он любил, он называл «сиреной», а себя — «морским коньком».)

Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой — был репортером в «Пари-матиналь» у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал: «Разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью...»

Деснос много писал о любви, и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки; красивая, очень живая, она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем «Ротонды», японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию, и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 году гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки: «Моя Любовь! Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь по крайней мере на тридцать лет... Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 000 сигарет, двенадцать чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, маленький домик в Компьенском лесу, дом на острове Беллиль и маленький букетик лан-

дышей за четыре су...» Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии — это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в «лагере смерти», обращены к Юки: «Я так мечтал о тебе, я столько шел, столько говорил, я так любил твою тень, что у меня ничего не осталось от тебя, я теперь тень, тень среди теней, во сто крат больше тень всех теней, только тень, тень будет ходить, тень будет приходить в твой солнечный день...»

В 1931 году Деснос, которому опротивели газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием квартир. В его биографии мало живописных эпизодов — стыдливость цензуровала жизнь.

Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу — там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты-песенки.

В 1942 году Деснос написал «Куплеты об улице Сен-Мартен» (он там родился). В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом... «Улица Сен-Мартен у меня была, улица Сен-Мартен мне теперь не мила, улица Сен-Мартен даже днем темна, не хочу от нее и глотка вина. У меня был друг Платар Андре. Платара Андре увели на заре. Крышу и хлеб мы делили года. Увели на заре, кто знает куда. Улица Сен-Мартен, много крыш и стен. Но Платар Андре не на Сен-Мартен...»

В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года; был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все: будет, не будет?... Деснос был печален. А когда мы расставались, выругался: «Дерьмо! Чистое дерьмо!» Не знаю, к кому это относилось: к Гитлеру, к Даладье, к войне?

Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в Сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его предупредили по телефону: «Не ночуйте дома...» Деснос побоялся, что, если он скроется, возьмут Юки. Он спокойно открыл дверь.

Когда его привезли на улицу Соссэ, где помещалась «сюртэ», молодой фашист гаркнул: «Снимите очки!» Деснос понял, что это означает, сказал: «Мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин — бейте кулаком...»

Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах: «В Компьенском лагере теперь, представьте себе, поэт! Сейчас я вам скажу... Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали...» Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный (он потом удрал в Испанию), воскликнул: «Его мало выслать! Его нужно расстрелять! Это опасный субъект, террорист, коммунист!...»

Из Компьена Десноса отправили в Освенцим. Некоторые из заключенных чудом выжили; они рассказывают, что Деснос старался приободрить других. В Освенциме, увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке, и всем предсказал долгую жизнь, счастье. Он что-то бормотал — писал стихи.

Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы догнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва шли; эсэсовцы убивали отстававших.

Третьего мая Советская Армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью: любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Йозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал: может быть, тот?.. Деснос подтвердил: «Да. Поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, Соппротивление. Он умер восьмого июня.

Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни.

Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котентен возле вокзала Монпарнас; но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марселя и оказались в кофейне при мечети. Там было темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив: он нашел Юки, много писал, да и внешне как-то успокоился.

Не знаю почему, мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку.

Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте я умолчу — о том, что в общезнании называют «сердечными делами»; мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но, начиная эту главу, я подумал: неужели я буду писать только о «гримасах нэпа» или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала, и юношей — с двойным чувством ужаса и притяжения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял: нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью.

И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его Деснос, и начал неожиданно — не с мыслей о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру: «Материя в нас становится мыслящей. Потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверно гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда!..»

Недавно я получил исследование о поэзии Десноса, изданное Бельгийской академией. Автор, Роза Бюшоль, приводит неопубликованный сонет Десноса, написанный им в концлагере: «Взгляни — у бездны на краю трава, послушай песнь — она тебе знакома, ее ты пела на пороге дома, взгляни на розу. Ты еще жива. Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова, глава уйдет разрозненного тома. Ни голоса, ни жатв, ни водоема. Не жди возврата. Ты блеснешь едва, падучая звезда, ты не вернешься, подобно всем, исчезнешь, распадешься, забудешь, что звала собой себя. Материя в тебе себя познала. И все ушло, и эхо замолчало, что повтोरало «я люблю тебя».

Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда вводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь! Друзей, Юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилия, серые дома...

Эхо замолкло. Но ничего не проходит бесследно: ни стихи, ни мужество, ни тень среди теней, ни беглый свет вспыхивающей звезды. Я мало пригоден для философии, редко думаю об общем; это, наверно, один из

самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни: сюда входят, конечно, и ропот «мыслящего тростника» и эхо, которое Деснос слышал до последней минуты,— слова любви, жар сердца.

20

В семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал «Стихи о канунах», а ночью работал на товарной станции Вожирар, я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта и люмпен-пролетария. В советских газетах я читал о «монополистах», «империалистах», «акулах капитализма» — таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготавливать изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей.

Я начал работу в 1928 году, а кончил в 1932-м; четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал «10 лошадиных сил», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрику снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей».

Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было, и я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей.

В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать; скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию, это труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто меня никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов; я сам себя осудил на это занятие.

Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негри разводится с мужем — грузинским князем, о том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бедель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Примо де Ривера холодно разговаривал с испанским королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смитс, протанцевавшая чарльстон без перерыва двадцать часов подряд.

Куда более серьезные события развертывались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой, война без танков, без бомбжек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал катастрофически в цене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль начал битву; специалисты ее называли «планом Стефенсона»: площадь, засаженная гевеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель «Американской каучуковой компании», пытался договориться с Черчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал: «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались, и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу — второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая тогда голландцам.

В Соединенных Штатах гевеи не могут расти, но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир. Иначе было в 1929 году. Генерал Сандино напрасно взывал: «Вчера авиация обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше сотни бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин. Позор убийцам женщин! Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартине! Отечество в опасности!..» Американцы лаконично сообщали: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери незначительны».

Шла и другая война — за нефть — «Рояль датч» с американским трестом «Стандард ойл», сэра Генри Детердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза.

Швед Ивар Крейгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве; у него был темперамент Карла XII.

Форд воевал с «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» с «Вестингаузом». Магнаты железных дорог опрокидывали правительства Франции. Король обуви Томаш Батя глядел свысока на президента Чехословакии.

Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику; в Швеции я был на заводах Крейгера; в Лондоне взглянул на сэра Генри.

Детердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке как мелкий клерк. Но счастье нашлось — его взяли на службу в контору «Рояль датча». Пять лет спустя Детердинг стал директором, десять лет спустя — королем нефти. Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфтский университет присвоил ему звание доктора «гонорис кауза». Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании.

Наверно, он считал себя нефтяным Наполеоном: он не раз говорил, что его миссия — поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть «краденной». Он организовал налет на «Аркос» и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского посла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на «Дероп», торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы; он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом.

Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени леди Лидии Детердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные; когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил: «Нефть».

Ивар Крейгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизировать франк, помогал полякам проводить

«санацию». На Уолл-стрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу, в Германии убедил социал-демократов запретить ввоз спичек, чтобы ограждать рабочих от безработицы: в годы инфляции он скупил немецкие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию, и Крейгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских: они осмеливаются не только изготавливать у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или об Уайльде.

В 1930 году вышла моя книга о короле спичек; в отличие от других моих книг того времени (документальных) «Единый фронт» — роман с ключом. Ивар Крейгер в романе назывался Свенем Ольсоном. Не знаю почему, но я решил похоронить короля спичек, он умирал, поговорив о французском премьер-министре Тардьё. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год; мировой кризис рос. Крейгер нервничал; он пытался объяснить публике падение акций «большевистскими интригами»; в некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться.

Правительства во Франции быстро менялись, но Тардьё еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крейгер застрелился. Его секретарь барон фон Дракенфельс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу.

Крейгера похоронили с почестями; газеты называли его «невинной жертвой мирового кризиса». Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крейгер подделывал итальянские облигации; благородный джентльмен оказался шулером.

Я писал также о главе американской фирмы «Кодак» Джордже Истмэне. Его карьера началась с лозунга: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное» — он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет, он писал Эдисону: «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он начал изготавливать киноленту. Он неслышанно разбогател, но его ждали испытания: на его пути встала «Агфа» — разветвление концерна «ИГ». Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и «Нэшионел сити бэнк», начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Истмэн не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле.

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке, ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истмэн вышел в соседнюю комнату и застрелился. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное?»

Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми, опытными дельцами, а молодыми влюбленными или поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими: что ж, они были людьми. Начал Крейгер — в марте 1932-го. Месяц спустя покончил с собой король бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей стали, Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер; он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить.

В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с семнадцати долларов до девяти. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна.

Личный самолет Бати стоял наготове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал. Самолет поднялся над Злином и упал.

О Томаше Бате я должен рассказать: он отнял у меня немало времени.

Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням — торговал ботинками, потом уехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город Злин походил на тюрьму: на фабрике Бати работали запасные и военнопленные. Настал мир, и Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями: «Будем веселыми», «Надо работать, надо иметь цель», «Жизнь не роман». На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей; помню, рядом красовались два его изречения: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов — они вас лишают радости жизни».

Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». (Я все же увидел его вотчину.) У Бати была мания величия; он расписался на скелете мамонта; он объявил «пятiletний план Томаша Бати». Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами: «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов.

Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Батя рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии, и судить меня должны были немецкие судьи. Батя наложил арест на причитавшиеся мне деньги — за переводы книг, за фильм.

Батя любил судиться, он возбудил два процесса — гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок (никогда в жизни я не видел таких денег). От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за диффамацию.

Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал «Батовак», где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала.

Адвокат Бати явился на судебное заседание с переводом «Хулио Хуренито», цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков: «Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаша Батю!..»

Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаша Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаша Бати, а третьему рейху.

Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров.

Теперь я скажу о коровах — не иносказательных, но доподлинных фюненских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году и мне снова придется забежать вперед.

Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение: в Америке излишек пшеницы превышал двести сорок тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали. Фермеры разорялись и нищенствовали.

Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки. В мире было сорок миллионов зарегистрированных безработных. Импорт пшеницы в западно-европейские страны сократился в семь раз.

В Риме собралась конференция представителей сорока шести государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе. В Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина: красное зерно сможет пойти на корм скоту.

Началась пропаганда: «Кормите скот пшеницей — она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за тридевять земель в поисках хлеба.

Коровы ели пшеницу первого сорта — манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса, именно поэтому люди умирают от голода.

В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну, тихую, зеленую, зажиточную. Датчане продавали англичанам и немцам масло, мясо, бекон. На острове Лоланн, в маленьком городке Найсков, я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначавшиеся для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. (Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней.)

Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог смотреть, как их уничтожают.

В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод, и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза.

У древних греков было предание о Сизифе — коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание: он должен был поднимать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал. Но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на сизифов труд? Сначала расширяли посевную площадь; потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам; потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней...

Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей: среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные; дело было не в их дьявольской сущности, а в бессмысленности самого строя.

В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, тупыми, порой свирепыми, но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными умами-лишенными.

Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Теруэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, а теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии и в любой московской квартире, то тупость, варварство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Белоруссии...

21

Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Мерль знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу книгу «Хорошего аппетита, господи!» — вдохновенно предлагал он; я упирался; в итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем: «Акционерное общество «Европа».

Не следует думать, что Мерль был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги; выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени; писал статьи; делал дела.

В ранней молодости он был анархистом, водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как года за три до мировой войны Париж взволновался: огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Либертер» тогда писала: «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного порядка, они правильно понимают свою роль в обществе...» Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил, остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем.

Твердых политических убеждений у Мерля не было, но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушают французским школьникам с ранних лет. С сильными мира сего Мерль был беззащитен, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, ве селлем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем.

Родом он был из Марселя, где его отец, по имени Ангел, торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло. По-французски «мерль» — дрозд, и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую: в эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц

или на год богател, иногда рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом; он и брал и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы.

Еще до того как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Пари матиналь» — Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В стеклянной клетке перед толпой зевак молодой человек, Жорж Сим, писал детективный роман; написанную страницу тотчас уносили в типографию. (Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном и поднял оболюбованный им жанр до уровня литературы.) Мерль грозил политикам сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии; и вдруг газета исчезла...

При одной из первых встреч Мерль сказал мне: «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта...» Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон — она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матэн». Кроме нее, Мерль позвал Десноса, которому покровительствовал.

Деснос поел, а главное, выпил и начал обличать «Матэн», каждый раз поворачиваясь к Бомон: «Я, конечно, имею в виду не вас...» Как подбало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные и, характеризуя «Матэн», перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен — ему не удалось сосватать меня с мировой славой: «Может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя...»

У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне — ел помидоры, которые густо солил, — и поездом отправлялся в Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы.

Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней, обожал айоли — майонез с чесноком, — часто ходил к Нине: у нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого я только не встречал за столом Мерля — анархистов и промышленников, Лавалья и Даладье, поэта Сен-Поль-Ру, Тристана Бернара, «принца гастрономов» Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров!

Когда Лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал: «Это самый галантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит договориться с Гитлером». Даладье тогда называли «быком из Воклюзы» — в своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил: «Французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Ну как можно назвать Даладье быком? Ведь это типичный вол! Можете спросить любую телку...»

В 1933 году раскрылась очередная панاما: Стависский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который пятнадцать лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл шестьсот пятьдесят миллионов франков. Тардые уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался: «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Стависского — он делал подарки и друзьям Тардые...»

У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погу-

бить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Гренгуар» Карбучия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом: «Примите в подарок ногу моего незабвенного Карбучии...»

Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил десять ящиков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил: «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили: «Да здравствует господин Мерль!»

Он любил фалос: «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей, пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка».

Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне: народное блюдо — луковый суп — обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сглазить. Мерль жаловался: «Прежде я был спокоен — во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные, приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов, это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам — они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался: «Нельзя перечить судьбе». Однажды крестьяне пришли удрученные: деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами.

Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных принципов, — вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров; но Деснос мне рассказывал — стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе.

Когда Батя подал на меня в суд, Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать пар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерлю разговаривать обо мне с французскими конкурентами Бати. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением: «Бог ты мой, до чего вы наивны!.. Но я вас за это уважаю...»

Побывав в Москве, Панаит Истрати начал поносить Советский Союз. Мерль возмутился: «Когда я начинал работать в газете, там был славный малый, репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом, совершенно окровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой: «Почему вы обижаете нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула: «Вы хотите знать почему? Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам». Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? Здесь нет никаких аллегорий. Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братияну...»

Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили, это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял: «Честнейшая женщина!..» Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил: «В девяносто девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей».

В Испании началась гражданская война; я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой; встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял: «Я теперь только и думаю, что об Испании...» На следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не знаю, где он достал машину, но работала она превосходно.

При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим; у него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла.

Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали, просто история одного не похожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи; Мерль иногда давал чеки без покрытия. Но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях — в жизни нужны и белые вороны...

22

В 1927—1928 годах французы зачитывались книгами Панаита Истрати. Его произведения переводили на различные языки; особенно ими увлекались в Советском Союзе — за два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромен Роллан, восхищаясь молодым автором, называл его «балканским Горьким».

Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории; он мне скорее нравился — добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый, не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой: эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи.

Возле Больших Бульваров на улице Шатодэн помещался восточный ресторан, содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие салом, душистый кодар, анисовую водку с водой — арабы этот напиток зовут «львиным молоком», греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати; он восхищался яствами, которые соблазняли его в детстве; сладости, пряности, запах баранины его пьянили, он начинал рассказывать фантастические истории.

По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком; рассказывал он очень хорошо, увлекался. сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками; их слушают затаив дыхание, нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями; только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят: «Ну и врет», или: «Какое богатое воображение!»

Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий: он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески и работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом — в Ницце на набережной снимал туристов; много лет он странствовал, побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции; говорил на многих языках и ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей родиной он считал Румынию; его мать была румынской крестьян-

кой, отец — греком и контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемежку — Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Роллана.

Наконец все ему опротивело — голод, фантазия, книги, пальмы Ниццы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь; он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Роллану: хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние; будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Роллан восхитился талантом молодого румына, и Панаит Истрати узнал новую профессию: стал писателем.

Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенное — и перечитывая восторженные рецензии и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски; были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантинского хвастуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне: «Я ведь не писатель... Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь...» Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказавшийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут сума и пыльная дорога.

Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидав Шехерезаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки: они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался политикой, организовывал забастовки; вероятно, это было правдой; но еще раз напомним — чем только в жизни он не занимался!

Живи он в XIX веке, все кончилось бы хорошо; он написал бы еще десять или двенадцать книг; стал бы французским академиком или вернулся бы на родину, где над его романами проливали бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии... Но на дворе стоял иной век.

В 1925 году Истрати поехал в Румынию, он увидел, как жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступал в «Лиге прав человека», написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя: что делать? Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе.

Рассуждать он не любил, да и не умел; он мыслил сказочными образами; для него мир делился надвое — нечестивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать: он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов.

Он поехал в Москву, шумно восхищался решительно всем, заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и по большей части несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был на-

столько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о «коварстве» и «подкупе», другие — о «чудодейственном прозрении».

Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала другие книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политиканы, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игровой картой на зеленом сукне.

Он мне как-то рассказывал, что в ранней молодости ездил «зайцем» в поездах, на пароходах, это была увлекательная игра — добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел «зайцем» пересечь век? Его высадили на чужом, незнакомом вокзале. Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он уехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мориак. Умер в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах: его успели уже забыть...

Много лет спустя на свадьбе в глухой румынской деревне я встретил героев Истрати, задорных и нежных; они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя, забияку и забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатодэн; и еще раз я подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное — водить перышком по бумаге: платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью...

23

В годы, о которых я рассказываю, я много колесил по Европе, изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом «Известий», и многие поездки были связаны, хотя бы частично, с газетной работой. А в 1928—1929 годы я еще не был профессиональным журналистом (иногда мои путевые очерки печатала «Вечерняя Москва»). Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того чтобы любоваться живописностью фьордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской, а потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей и где я ночью беседовал о судьбе нашего века с представителем паровой компании; в Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер и спускался в допотопные шахты Сванси; в Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду.

Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импрессарио, я читал доклады о литературе; в Англию пригласили Пэн-клуб и издатель; в Вену я поехал на встречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси.

Пушкин писал об Онегине: «И начал странствия без цели, доступный чувству одному; и путешествия ему, как все на свете, надоели». «Цели» и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и где бы я ни был, меня не покидали мои мысли. Вероятно, именно поэтому я любил (и до сих пор люблю) путешествовать: иногда за тридевять земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал за своим рабочим столом... Мне

было тогда под сорок — следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывают с понятием становления; но по-прежнему я чувствовал себя школьником.

Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей; познакомился с Майеровой, с Новомеским, с Антони Слонимским, с Броневским, с Андерсеном-Нексе, с Нурдалем Григом, с Иозефом Ротом.

На одном из датских островов я случайно встретил Карин Михаэлис. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнуют вопросы женского сердца, а она говорила о другом: о неминуемой катастрофе; рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны жир, сон, равнодушие. (Восемь лет спустя в Мадриде на конгрессе писателей, среди разрывов снарядов, кто-то прочитал приветствие большой Карин Михаэлис, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме.)

Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах — со старым пастухом «бачей» в Тиссовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, со внуком цадики из Гуры Кальварии, с берлинскими рабочими.

Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Кируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена, Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженно холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мною горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал — знал сотню русских слов; Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больнице влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша — «душа русской революции», и огорчался, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну, и недоуменно говорила про товарищей мужа: «Это они с жиру бесятся...» Я не хотел ее строго судить: она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша говорила, что еще не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей они обязаны счастьем...

Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы; да и я их не делал. Я старательно записывал свои впечатления.

Некоторые поездки я описал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя.

Представитель Советского Союза в Лиге наций М. М. Литвинов паразил всех лаконичной формулой: «Мир неделим». Блуждая по чужим

странам, я понял, что неделим и другой мир — тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой.

Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» предостерегал читателей: «Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою «душу», зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем «Пармском монастыре» тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной «душе» логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией...»

(Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя А. Н. Толстой напечатал рассказ «Русский характер», в театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали «русские обычаи», «русскую любовь» и, разумеется, «русскую душу». Никто их не корил, им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась «душа» — то есть некоторые черты национального характера, — очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал, как я или как другие писатели «преодолевали былые заблуждения». А те, кто нас упрекал? О них не пишут. Между тем они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать.)

Я никогда не думал, что «душа» народа связана с кровью — я многом болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияют география, особенности социального развития, повороты истории. Другие материи я увидел позднее — после второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крейгер или банкир Валленберг, но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого «идеализма», и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма.

Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные холодные домики с узенькими лестницами в квартире в современном многоэтажном доме, что в отличие от французов они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу? Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок живописи, а в Вене сотни магазинов, где продают ноты, и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах развлекаются по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем в выборе клуба редко сказываются политические симпатии; в каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены спят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или на улице и смотрят на прохожих; когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивают. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику; в одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры — сколько калорий в каждом блюде (витамины пришли позднее), в другом посетители лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бистро. В английском парламенте

люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь описывать различные страны, а только хочу отметить, какое влияние оказали путешествия на мой дальнейший путь.

Я увидел, что люди живут по-разному, но различие форм жизни не заслонило от меня того общего, человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными (теперь они стали несколько проще), нельзя было просто выпить рюмку водки — существовал сложный этикет. Выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном, бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и две мои книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать.

Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого: крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны, как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня; я нашел там много добрых друзей — поэта Новомеского и других.

Англичане выглядели существами с другой планеты, на все отвечали «у вас континентальный вкус» или «это не у нас, а на континенте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются Чеховым; когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам.

Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения: они родились давно, еще в годы первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мысли, механизацию любви, убийства, смерти, я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно, мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени.

Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки; но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928—1929 годах, я невольно изменю или пополнию их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии:

«Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете, другой изготавливает зажигалку, чтобы огонь вспыхивал при небрежном движении... Я был у Максимилиана Гардена... Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне: «Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...» В уличных уборных Берлина надпись: «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт...» Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь предметы особого культа. Меня пригласил к себе автор романа «Александрплац» Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация, он говорил, что был в Польше, разговаривал с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии.

Я был в Дессау, где теперь помещается Баухаус — школа современного искусства. Стекланный дом; найден стиль эпохи: культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны; они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут: люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гроппиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую; все продумано, вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок искусству — новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал: «Кандинский путаник и полуконсерватор...»

На вокзале Штутгарта или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубистическими витражами, Христос напоминает часть сложной машины».

Вот об Англии:

«Презрение к Америке и американизация быта: американские фильмы, американская архитектура, американские магазины.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома, как один. Англичане любят индивидуализм, однако это идиллическая казарма их не смущает.

В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот огромный город — на острове, в стороне от жизни, среди сырости и хандры? Как властвовал и угнетал? Как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами? Как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета? Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами? Англичане — завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям.

Они стоят, сконфуженные, перед молодой и наглой Америкой.

Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и Поплар. Роскошь, выставленная напоказ, и неопишуемая нищета района Доков. Шахты в Южном Уэльсе примитивно оборудованы; часто приключаются обвалы; я видел в шахтах детей, мне объяснили, что недавно запрещена работа до четырнадцати лет, этим уже пошел пятнадцатый. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда. А Диккенса нет...»

Вот Скандинавия:

«Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго — в Швеции всего семь миллионов людей, остальное — лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают.

68 гр. с. ш. Три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Кируна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес — это номер дома. Горняки живут хорошо. Среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина. У шахтеров автомобили. А кругом тундра. Роскошная церковь: золотые статуи (стиль модерн) изображают различные добродетели. В газете: акции «Луосагаара-Кируно»

ваара» в повышении. Один из крупных держателей акций Ивар Крейгер.

Рест — крохотный остров (Лофотенские острова). В Норвегии король, он торгует маслом. В Ресте — мэр, рыбак и социалист. Однако подлинные властители острова — скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов. Из отбросов варят клей. У скупщиков рыбы магазины, они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют; вся жизнь острова подвластна им.

Шоколадная фабрика «Фрейя». Работницам делают маникюр, в заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы «Фрейи» платят мало, отказались признать профсоюз.

Фугт говорил мне, что у Норвегии «особый путь». Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти свою душу, конечно до первого американского парохода.

Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки: они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир»: «Интересная книжка». Помолчав минуту, спросил: «А сколько могли заплатить вот такому Толстому?..» Другой фермер заказал фрески — история его жизни. Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии. Первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены — приданое, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сонм свиней.

Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебу, который пишет в «Политикене». Много пьют, пытаются воскресить богема, жалуются: свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов: стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя, рассматривается, как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике...»

Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка «На Западе без перемен» показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас. Про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене, как к надоевшей всем древней истории; помню, кто-то сказал: «Была еще Троянская война...» Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь...

До 1914 года сохранились известные понятия, нормы, идеи. Анатолий Франс, с его скепсисом, с культом красоты, с чуть холодным гуманизмом, в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валери казался анахронизмом. Старые представления о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новые не удалось.

Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи: богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых, обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы. Усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира. Все последующие события были подготовлены: мало-помалу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов.

упрощенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные.

24

Я сидел в роскошном кабинете редактора «Франкфуртер цейтунг», который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой, нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами; неожиданно он сказал мне на дурном русском языке: «Скажите ему — запрещено резать, и запрсите больше — у них много денег...» Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом; это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей.

Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов! Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать — русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке; считался немецким писателем; говорил всем, что он австриец; когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал: «Все ясно!» — взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей; старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами — никогда он не собирался никого зарезать, но обожал ножи. «Франкфуртер цейтунг» его посылала как репортера в различные страны; он писал путевые очерки, мучась над каждой строкой — ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, а чертил ею что-то в воздухе.

Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны — не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице.

В 1932 году меня пленил его роман «Марш Радецкого». Тридцать лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества и людей.

Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Итало Свево было пятьдесят семь лет; Францу Кафке — тридцать пять, а Роту — всего двадцать четыре года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии.

Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа; таковы «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, «Цено» Итало Свево, «Фальшивомонетки» Андре Жида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанной так, как рассказывали писатели прошлого века: «Семья Тибо» дю Гара, последние романы о Форсайтах Голсуорси, «Американская трагедия» Драйзера. «Марш Радецкого» написан по-

новому, но это роман, и притом крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов; в романе Рота много света и воздуха.

Меня поражала любовь Рота к людям. Ну что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького, никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри, и я вместе с его героем потрясаюсь, стоя у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность, телесность.

Рот одно только делал с сердцем: писал. «Франкфуртер цейтунг» отправила его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я увидел его радостным. Он пришел ко мне с молодой, очень красивой женой, я подумал: вот Рот и нашел счастье...

Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. (Об этом новом корреспонденте я хочу сказать несколько слов. Его звали Зибугом, он считался левым и называл себя другом, почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции» — это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни; французы говорят «как петух в тесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецом приехал Зибург — ему было поручено присматривать за французскими журналистами.)

У Рота не было денег. А здесь случилась катастрофа: его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, и ее увезли в клинику.

Я тогда слышал от некоторых общих знакомых: «Бедняга Рот спятил... Сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит... Стал приверженцем Габсбургов... Словом, с ним плохо...»

Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в «Марше Радецкого» апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз — это ее похороны. Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют «императорским величеством» и у которого течет из носа.

Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер...» Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости.

Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи.

Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести; только в верхнем этаже в маленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в маленькую гостиницу на той же улице.

В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж; шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел, чувствовалось, что он живет через силу, но, как всегда, был очень вежлив, галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла горка блюдец; он говорил связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде, внимательно слушал, потом сказал: «Я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не

знаю. Слишком много крови, трусости, предательства...» Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. «Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе мер и весов. Может быть, это и плохой роман, я теперь часто думаю — до чего мы неталантливы! Но я хочу вам сказать о другом... Мой инспектор жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит, ему кажется, что он не инспектор, а лавочник, к нему приходит самый главный, грозный инспектор, а у него весы неправильные — обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в тюрьму... Он говорит инспектору: «Конечно, у меня гири легче, чем полагается. Но у всех так — без этого в нашем городе не проживешь». Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шустнига. А я думал о людях, таких как я. Вы скажете: «Зачем вы печатаете ваши романы?..» Я должен жить, хотя это и ни к чему...» Он заказал еще рюмку. Потом мы расстались. Больше я его не видел.

Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было сорок пять лет, но он не мог больше жить.

Друзьям передали рукописи и старую палку.

(Окончание следует)



РЫГОР БОРОДУЛИН

★

НА ШКЛОВЩИНЕ

Там, где лучи шекочут спозаранку
Листву дубов, в краю, что сердцу мил,
Лакей, когда-то вышедший в подпанки,
На Шкловщине Америку¹ открыл.
Решил назвать Америкою вёску,
Что получил в наследство от жены.
Зимой в округе пахло брагой, врском,
Ворочались медведи до весны.
Порою летней мимо льна и проса
(В дому давно не водится деньжат)
Грохочут оси, тарахтят колеса,
Американцы на базар спешат.
Чумазый дубровчанин стежкой росной,
В рубахе, без порток, годами мал,
На пасху на побывку к доброй крестной,
Босой, пешком в Америку шагал.
Не хмурили соседи в злости брови,
Соперничали мирно каждый год.
В дни косовицы — впереди Дуброва,
Америка — в горячий обмолот.
Ну, а потом — в тридцатом это было —
Прорезал трактор в поле борозду.
Тогда в артель Америка вступила,
Дуброва — в том же памятном году.
Возникнет спор — исключены угрозы,
Ни драк, ни ссор не затевают тут.
Вопрос решают мирно всем колхозом
И мировую полюбовно пьют.
Так в нашем крае две соседних вёски
Связала нерушимо дружбы нить.
Неплохо б той Америке, заморской,
Так научиться по-соседски жить!

Перевел с белорусского Яков Хелемский.



¹ Америка и Дуброва — деревни в Белоруссии.

АНАТОЛЬ ВЕЛЮГИН

★

ТРОСТНИКИ

Покой лесного Заозерья.
Жара. Сугробы облаков.
Над плесом зеленеют перья
Почти недвижных тростников.

Порой вода идет кругами —
Ломают зеркало лещи.
И снова тишь над берегами
И на воде дрожат лучи.
И дремлют лозы-недотроги
Под вертолетами стрекоз.

О чем я думаю в тревоге,
Глазами обнимая плес?

Ах, Куба!..
Слышу я — над бродом
Бушует сахарный тростник.
Чернобородая свобода
Стоит на страже в этот миг.

Топча живые стебли грубо,
На остров движется война.
Далекий гром..
Но рядом с Кубой
Моя земля, моя весна.

Из Санта-Клары в Заозерье
Доносится далекий зов.
Зеленые колышет перья
Тревожный шорох тростников.

Перевел с белорусского Яков Хелемский.



Н. МЕЛЬНИКОВ

★

В КОМАНДИРОВКЕ

Из записок корреспондента

Еще с порога Галя Сазонова посмотрела на меня с вызывающей усмешкой и сказала:

— А я-то думала, кто это заинтересовался моей личностью? — Прикрыв дверь, она ногой подтолкнула к себе стул и села. — Ну что ж, начнем фельетон про меня писать? Материала хоть отбавляй. Отбила законного мужа — раз. Дерусь в общежитии — два.

Секретарь комитета комсомола Мухтаров прикрыл ладонью глаза, но я видел, что он улыбался. Его выдавали пушистые усики. Когда Мухтаров злился, злились и усики. Смеялся он — смеялись усики. До прихода Гали он предупреждал меня, что никакого толку из разговора с ней не выйдет, зря только время потеряю, и под конец даже съязвил, спросив, всегда ли я откапываю из ряда вон выходящие экземпляры. Я не остался в долгу и в свою очередь спросил, правильно ли, что комсомолку уволили с завода, а комитет комсомола не знает об этом. А ведь случилось именно так. Сазонову по заявлению начальника общежитий и двух соседок по комнате уволил директор за недостойное поведение, позорившее коллектив.

Теперь Мухтарову наверняка хотелось, чтобы Галя показала себя во всей своей красе: пусть, мол, сам увидит, что она за фрукт, и поймет, что комитет комсомола все равно не смог бы ее защитить.

Галя настроенно поглядывала на меня.

— Ну что ж вы не спрашиваете, как я дошла до жизни такой? Меня все спрашивают.

Мухтаров закурил и предложил ей:

— Может, закуришь? Мне говорили, ты курить стала.

Нехитрый замысел секретаря Галя легко разгадала.

— Ты мне еще сто грамм предложи, — сказала она. — Пусть посмотрят, какова Сазонова. Я не курю, Мухтаров. Представь себе.

Но Мухтаров не отступал:

— Может, ты и по ночам со второго этажа на простынях не удираешь?

Галя улыбнулась и ответила:

— А чего двери запирают? Я и без простыней могу со второго этажа, когда надо.

— Нет, не надо! — оборвал ее Мухтаров. — Я с тобой сколько раз по-хорошему говорил!

— Ты не умеешь по-хорошему. Ты грубый человек, Мухтаров.

Он глубоко и устало вздохнул.

— Я тебе и сейчас скажу. Зачем тебе женатый человек? Зачем, понимаешь, тебе разбивать семью? Да и вообще он по-русски два слова знает. О чем ты с ним говоришь?

— Приходи, заслушаешься,— сказала Галя.

— А мальчика тебе его не жалко? Ребенка без отца оставлять?

— До чего ты жалостливый!

— Имей в виду,— продолжал Мухтаров,— мы на комитете будем резко ставить этот вопрос.

— Не советую,— сказала Галя.— Лучше не касайся этого вопроса. Эх, жаль мне твою Наташку.

— Что? Что ты сказала? — Мухтаров даже привстал.

— Жаль, говорю, твою Наташку. Скажу ей, чтоб замуж за тебя не шла. Ты же зверь, а не человек.

Кто-то заглянул в дверь, хотел войти, но Мухтаров так грохнул кулаком по столу, что человек отшатнулся, захлопнул дверь.

— Так недолго заикой сделать,— сказала Галя.

Мухтаров обратился ко мне:

— Если у вас есть терпение, продолжайте.

Сказав это, он стал рыться в ящиках своего стола, с шумом выдвигая и задвигая их, бормотать что-то не по-русски.

— Славно поговорили,— заметила Галя.

Затем я узнал, что родилась она во Владимире, окончила там восемь классов, есть в семье младшая сестренка — учится в шестом, отец вышел на пенсию, мать по дому работает; сама она, когда приехала сюда, профессии не имела, работала приемщицей в цехе готовой продукции, теперь аппаратчица в киповском.

— Ну вот,— заключила она.— С анкетой покончено.

Я предложил Мухтарову пойти вместе с ним и Сазоновой в ее общежитие, поговорить с начальником общежитий, да и вообще посмотреть, как там живут.

— У нас хорошо живут,— сказала Галя.

Мухтаров ничего не ответил, молча поднял телефонную трубку, связался с общежитием.

Тихо приоткрылась дверь, и в нее робко, боязливо заглянул молодой человек в галстук бабочкой. Похоже было, что это его напугал Мухтаров, саданув по столу кулаком.

— Заходите, чего стесняетесь,— пригласила его Сазонова.

Молодой человек вошел и остановился.

— Садигесь,— разрешила ему она.

Он сел.

Мухтаров пообещал кому-то по телефону прийти через полчаса и, положив трубку, посмотрел на молодого человека.

— Что скажешь?

— Я все же хотел бы, чтобы вы меня восстановили в комсомоле.— Он сказал это просительно, как бы извиняясь, будто речь шла о том, что Мухтаров задолжал ему десять рублей, а они как на грех понадобились.

— Ах, ты хотел бы! — возмутился Мухтаров.

Молодой человек — недавно окончивший инженер. О нем мне как-то рассказывали. Не проработав на заводе и года, он подал заявление с просьбой освободить его от работы по состоянию нервной системы. Однако медицина признала его здоровым. Тогда он подождал две недели, положенные по закону, и больше не вышел на работу. Комитет комсомола решил втолковать ему, что завод в трудном положении и бросать его — недостойно комсомольца. Но молодой специалист стоял на своем и был исключен из комсомола.

— Вернись на завод, поработай, тогда поговорим,— сказал ему Мухтаров.

— На моей стороне закон. Мне придется жаловаться.— Голос у инженера был монотонный, глаза ничего не выражали: ни сожаления, ни гнева.

— Жалуйся,— ответил Мухтаров.

— Что тебе закон? — прикрикнула на инженера Сазонова.— Совесть у тебя есть?

Сейчас она и Мухтаров, будто не было между ними ссоры, дружно костили бывшего комсомольца. Я смотрел на молодого специалиста. Конечно же, дело не в том, что он одет в ультрамодный костюм и узконосые туфли.

Никогда не забуду нашего институтского франта Генкина. Одевался он лучше всех нас. Когда мы выпускали стенную газету, он притаскивал собственную пишущую машинку. На вечерах Генкин виртуозно наяривал на рояле фокстроты и танго. Накрахмаленные воротнички были законом для него. Но никому в голову не пришло бы назвать его пижоном, явись он хоть в фантастической гавайке, каких тогда еще не носили. На второй день войны мы стали солдатами истребительного батальона. Генкин тоже. Он написал музыку на известное стихотворение Киплинга «Пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, отпуска нет на войне...» До сих пор молодежь поет эту песню, но вряд ли кто знает, что музыку к ней написал студент Литературного института комсомолец Генкин, институтский франт, павший смертью храбрых в боях за Москву.

Мне могут сказать, что ведь то была война и, случись такая беда сегодня, молодой специалист, бросивший завод, покажет себя не хуже, чем автор песни на слова Киплинга.

На это я могу ответить только, что у нашего студенческого франта были другие глаза: в них порой была радость, порой гнев, они умели смеяться, стыдиться и плакать. У этого же глаза были пустые.

Напоследок он козырнул — да, именно козырнул — не слишком хорошим здоровьем своей мамы; она жила где-то в другом городе. На это Мухтаров ответил:

— Дай бог здоровья твоей маме, но мне не верится, чтобы ты был таким горячим сыном. Иди и подумай.

Молодой человек встал, поклонился и вышел.

— Пижон,— послала ему вдогонку Сазонова.

Мухтаров поглядел на свои часы.

— Пора идти, нас ждет начальник общежитий,— сказал он и спросил: — Пешком или на трамвае?

— Пешком,— сказала Галя.— Погода хорошая, жалко в трамвае ехать.

Город, в котором живут Мухтаров и Сазонова, стоит на берегу моря. В Москве, когда я уезжал, была зима, здесь — конец весны. Мы перешагнули трамвайную линию и направились к берегу. Галя сказала, что если идти пешком, то уж, конечно, рядышком с морем. Мухтаров шел впереди, мы — сзади. Берег был усыпан большой галькой, не так-то легко приноровиться идти по ней, того гляди шлепнешься. Первая заговорила Галя:

— Мухтаров — хороший парень,— сказала она.— Вот только под башмаком у директора живет. И Наташка Попова что надо. Не знаете ее?

— Знаю. Бригадиром отделочников работает.

— Она самая.

На Гале был светлый плащ, под плащом черный свитер с высоким воротом по самый подбородок. А сегодня на улице теплым-тепло. Я спросил ее, чего она так по-зимнему вырядилась.

— Холодно.

— Какой же холод — семнадцать градусов тепла.

— Жить холодно, — ответила Галя и добавила: — Но весело... Вот только начальник общежитий грозит из города выселить. А за что? Я все равно никуда не поеду.

Я сказал, что хотел бы помочь ей уладить ее дела. Галя остановилась и оглядела меня с ног до головы.

— А я вас об этом не просила. Сама могу за себя постоять.

Я ответил, что если ей охота ругаться и со мной, то глупее ничего не придумаешь.

— А вы уж обиделись? — спросила Галя и, как бы предлагая мир, сказала: — Зачем вы мне «вы» говорите? Вы же по сравнению со мной старикан.

Мухтаров шел по-прежнему впереди, не оглядываясь. Галя, видно, хотела и с ним заключить мир, окликнула его. Он оглянулся, махнул рукой и зашагал дальше.

— Вы думаете, ему приятна вся эта история со мной? Ничего подобного.

Галя, осторожно ступая, подошла к морю, присела на корточки и пополоскала в воде руку. Прибой был еле заметен.

— Я каждый день воду трогаю, — сказала Галя. — Ледяная еще.

Мы пошли дальше.

Я спросил, правда ли она дерется или это вранье, ведь она не такая уж маленькая.

— Первая никогда не начну, — ответила Галя, потом спросила: — Вы на нашем ветеране, трубопрокатном, были?

— Нет, не был еще.

— Его весь мир знает. А на товарной?

— Тоже не был.

— Интересно. Там, между прочим, моя любовь работает. Машинистом на маневренном.

Я решил, что раз уж мне оказано такое доверие, то я могу спрашивать, о чем хочу.

— Давно встречаетесь?

— Давно. Целый год. Непокойно, конечно. Я ведь не какая-нибудь... Семья у него.

Я сказал, что хотел бы повидать его.

— Зачем? О чем вы с ним говорить будете? Сами слышали — Мухтаров сказал, что он два слова по-русски знает.

— Вы же говорите с ним.

— Я — другое дело, — ответила Галя и усмехнулась, — нам и помолчать не скучно. А в общем сходите, — разрешила она. — От вокзала рукой подать. Спросите Нуриева.

Мухтаров свернул к городу. Скоро мы вошли на широченную улицу с новеньким асфальтом. По обе стороны, точно они сошли с конвейера, стояли пятиэтажные жилые корпуса.

— Смотрите, какой квартал отгрохали! Имени Карла Маркса, — сказала Галя.

То тут, то там в окнах мелькали разноцветные женские косынки. Еще не везде закончилась отделка. Нижние этажи были отведены под магазины. У магазина «Мебель» толпился народ.

— Второй день кровати продают, — пояснила Галя. — Это у нас самый большой магазин будет. Пока только кровати завезли. Скоро шифоньеры обещают.

Те, кому посчастливилось, вытаскивали кровати на улицу, тут же собирали их и катили своим ходом домой, благо они на колесиках. Как

правило, за переднюю спинку тянул мужчина, заднюю толкала женщина. Мы поравнялись с одной такой парой. Женщина, завидев нас, засмущалась, прыснула и отвернулась. Галя не могла пройти мимо, чтобы не бросить ей словцо.

— Чего смущаешься? — крикнула она. — Дело житейское.

Вдали показался Дом культуры.

— Когда его строили, — рассказывала Галя, — то дворцом называли. Потом дворцы отменили. Небось читали постановление. Наш предгорсовета — человек башковитый. Взял и быстренько в Дом культуры переименовал. А то сидеть бы нам на бобах. У меня сегодня там спевка, к праздникам готовимся. — Заломив руки за голову, Галя громко пожаловалась: — С ума они сошли, что меня уволили!..

Мухтаров ждал нас у двухэтажных домов общежитий, окружавших фонтан — гордость местной администрации. Первое, на что начальник общежитий просил обратить внимание, это и был фонтан.

— Посмотрите только, какая прелесть, — сказал он. — Живи, работай, отдыхай, а они что? На простынях со второго этажа норовят.

Прежде чем отправиться в комнату к Сазоновой, он повел нас в красный уголок, в душевую, в кладовую спортинвентаря. При этом он не переставал восхищаться, будто все это было делом его собственных рук.

— Живи, работай, отдыхай, играй в мяч через сетку. Что еще надо?

Девушки жили на втором этаже. Соседки Сазоновой были дома. Одна в голубом платье, другая в розовом, они сидели за столом, торжественно сложив руки. Обе явно ждали нашего прихода и, увидев нас, пересели на свои кровати, уступив нам стулья.

Разговор повел начальник общежитий.

— Вот ты, Краснощекова, — обратился он к толстой, с напудренным лицом девушке. — Что ты можешь сказать о поведении Сазоновой?

— Какое поведение? — отозвалась Краснощекова. — Известно, плохое. Как ночь, так ей камни в окно бросают.

— Булыжники, — поправила ее Галя.

Начальник осадил ее:

— Помалкивай и не встречай, когда с тобой не говорят. Дальше, ты, Краснощекова. Говори все.

— Мы все скажем. Она к Тоськиной кровати простыни привязывала. Верно, Тоська?

Тося заговорила неожиданно быстро, точно ее прорвало:

— Да что говорить! Я думала, землетрясение, до того меня качнуло.

— А пришла когда? — ввернул вопрос начальник.

— Известно, когда: утром. А уж нам какой сон? Известно, сна никакого. Лежим плачем, а утром на работу.

— А чего плачете? — не выдержала Галя. — Завидуете?

Ответил начальник, остановив рукой Тосю:

— Нет, Сазонова. Не завидуют. А до слез обижаются за свою подругу. — Он повернулся ко мне. — Наше общежитие борется за коммунистический быт. Все, как один, должны быть в двенадцать дома, на то у нас вахтер ночной стоит, и мы ему жалованье платим. Так вот, расскажи, в каком виде Сазонова домой приходит?

— Известно, в каком, — сказала Тося. — Бледная, шатается. Мы на ночь дверь запираем, так она чуть не вышибла ее. А у нас самый сон. Покажи, Шурка, синяки. Она, как парень, дерется, а мы что можем?

В разговор вступил Мухтаров.

— Ты, верно, пьяная приходила, дверь выламывала? — спросил он Сазонову.

— Вранье. Рюмку портвейна могу выпить.

— На праздники и на день рождения можешь! — закричал начальник. Галя печально, с сожалением посмотрела на него.

— Сколько вам лет, если не секрет?

— А что? Тридцать пять. И меня еще никогда никто не видел пьяным.

— Хорошо сохранились, — сказала Галя. — Я думала, вам все сто тридцать пять.

Начальник даже взвизгнул и застучал костяшками пальцев по столу.

— А брючки зачем носишь? — продолжал он. — Ты же вся налицо.

— Удобно, потому и ношу.

— Нам никак с тобой жить нельзя, — сказала Краснощекова. — На нас тоже всякое могут подумать. Нам совсем неинтересно.

— Еще как интересно! — Галя усмехнулась. — Да никто не подумает.

Тося припомнила, как она и Краснощекова достали исключительной красоты ситец, чтобы сшить платья к ситцевому балу. Сазонова взялась шить и нарочно испортила.

— На ваши фигуры, — сказала Галя, — ни одно ателье не взялось бы шить.

Такого издевательства Краснощекова и Тося простить не могли. Но что еще сказать, когда, казалось, все прегрешения Сазоновой были перечислены?

— От тебя собственные родители отказались, — вспомнила Тося. — Письмеца и то не напишут.

— Вчера письмо получила.

— Ха! — сказала Краснощекова. — За целый год одно.

Начальник зашептал мне на ухо:

— Прошу обратить внимание, что у нее под кроватью.

Под кроватью у Гали лежали ласты.

— Видите, — шептал он. — Это тоже, знаете ли, мировоззренище. Брючки и эти самые... Для назидания очень подходящая особа.

Я поглядел на Мухтарова. Его усики прямо-таки можно было пересчитать — до того они ожесточились.

— Прошу прощения, — сказал начальник общежитий. — Спешу в мекбельный. Десять шифоньеров получаем. По-моему, вам все ясно. — Он раскланялся и, довольный, удалился.

Мухтаров тоже встал.

— Явитесь завтра на бюро! — приказал он Краснощековой и Тосе.

Несколько человек — девушки и парни — стояли в коридоре и смотрели на нас. Кто-то сказал:

— Когда над Сазоновой издеваться перестанут?

Другой предупредил:

— Мы это так не оставим!

Я задержался, а Мухтаров прошел вперед. Но его окликнули:

— Чего не отвечаешь, Мухтаров?

Мухтаров обернулся.

— Где вы раньше были? — огрызнулся он и, махнув рукой, ушел.

Я спросил, почему же никто не пришел в комитет, если считал несправедливым увольнение Сазоновой.

Кто-то сознался вслух:

— Дали промашку, что и говорить.

Хотя меня никто не уполномочивал приглашать их на завтрашнее бюро, я рискнул и пригласил.

— Придем, будьте уверены!

Второй квартал окрестили дачами. Здесь строились двухэтажные коттеджи по четыре квартиры в каждом. Еще они назывались дачами пото-

му, что тишина здесь стояла лесная. Против домов через улицу — обрыв, а у подножия обрыва — речушка. По склону обрыва, будто встав на колени, гнулись к воде деревья.

Я не раз приходил сюда. Отделочные работы шли полным ходом. Квартиры оклеивались обоями не по стандарту, а по желанию и выбору тех, кто будет в них жить.

Бригадир маляров. Наташа Попова, любила угадывать по этим обоям, какие будут хозяева, веселое будет новоселье или скучное. Вчера мы встретились с Наташей в трамвае, и первое, что она мне сказала, — новоселье отменяется.

Я не понял и переспросил, что за новоселье.

— На дачах.

Толком поговорить не удалось: Наташа протискивалась к выходу.

Недавняя десятиклассница, наперекор всяческим модам, она носила тяжелую светлую косу. На работе коса подворачивалась, упрягивалась под косынку, на улице же лежала поверх пальто. Сейчас в трамвайной толчее кто-то прихватил, зажал ее косу, и Наташа взмолилась:

— Отдайте косу!

Дорожники катками выравнивали улицу, выкладывали тротуар. Добрая половина домов стояла запертой — они были готовы. Будущие жильцы побывали в них уже, и не раз.

Бригада Наташи работала в последнем доме, на втором этаже. Мужскую половину бригады — татарина Рамиля и армянина Рубена — я знал по общежитию, в котором жил первые дни после приезда. Меня поместили в их комнате на свободную, третью койку. По утрам Рамиль и Рубен конфликтовали, не произнося при этом ни единого слова. Понял я это в первое же утро, проснувшись от того, что кто-то зверски хлопнул дверь. Я зажмурился, потом снова открыл глаза, решив, что мне приснилось что-то странное: перед моей кроватью стоял на руках человек. Это был Рубен. Потом он так же на руках бойко прошелся вокруг стола и наконец встал на ноги.

— Зарядку делаешь? — спросил я.

— А как же.

— Куда приятель пошел?

— Приятель злится. Терпеть не может мою зарядку, особенно когда на руках хожу. Слышали, как дверь хлопает.

Рамиль был неуклюж и грузен и акробатические упражнения Рубена воспринимал как личный выпад. Первый стакан чаю они пили молча, но после второго Рамиль смягчался, и на работу друзья шли вместе как ни в чем не бывало. И так каждый день.

Скоро в общежитие нахлынуло пополнение, и мне пришлось переехать в гостиницу.

...Еще на лестнице меня поразила тишина. Время рабочее, а наверху ни голосов, ни шагов. Дом казался пустым. С площадки второго этажа я громко спросил в открытую дверь:

— Есть кто?

— Есть.

Бригада Наташи расположилась на полу в одной из комнат. Девушки сидели, обхватив руками колени, Рамиль и Рубен растянулись во весь рост, заложив под голову руки. Длинные малярные кисти были прислонены в углу. Там же стояли ведра, банки с краской. Когда я вошел, парни сели, а один, как бы извиняясь за свою прежнюю позу, сказал:

— Отдыхаем.

— Да, я вижу.

Маруся — девушка с бойким лицом — ехидным голосом заметила:

— Пресса, она все видит.

Я спросил Наташу, что случилось, почему отменяется новоселье.

— Смотрите, что со стенами делается. Да и с потолком не лучше.

Только сейчас я заметил, что краска на потолке и стенах потрескалась, пол кое-где покособился. Наташа объяснила, что зима в этом году для здешних мест выдалась на редкость злая, а почва на этом участке заболоченная, так как он ближе всего к реке. Зимой почва подмерзла, чья-то нерадивая голова решила не укреплять ее. Теперь, весной, почва поехала.

— Какой смысл материал переводить? — говорила Наташа. — Жить-то все равно нельзя будет.

Рамиль сказал, что вся эта история плохо кончится: ведь за самовольный простой им никто не заплатит, так что деньки предстоят невеселые. На это Наташа ответила:

— А тебе за липу деньги получать весело?

Маруся съехидничала:

— На сто грамм меньше выпьешь. Даже полезно.

— Ты помалкивай, парижанка.

Марусю прозвали «парижанкой», потому что в прошлом году она была награждена поездкой вокруг Европы. Говорили, что во время поездки она заболела морской болезнью и чуть не отдала богу душу, приехала исхудавшая, злая и целую неделю бюллетенила. И до сих пор нет-нет, а кто-нибудь вспомнит ее бесславное путешествие.

— Правда, Маруся, чего там, во Франции? — спросил Рубен.

— По-французски говорят, — ответила Маруся.

Она сделала паузу, вздохнула и спросила:

— Вы лучше скажите, ребята, чего вы мне на рождение подарите.

Здесь было традицией каждому члену бригады делать подарок сообща.

— Ну и нахалка же ты, — сказала ей молчаливая Феня, давно выросшая из комсомольского возраста. — На какие шиши мы тебе будем подарок-то покупать?

По мрачному виду и голосу ясно было, что она, как и Рамиль, недовольна простоем. А Рамиль, почувствовав, что у него есть союзница, предложил не дожидаться скандала и начать работу.

— Какой может быть скандал? — возразила Наташа. — Скандал будет, если люди переедут, а им на голову штукатурка посыплется.

Но Рамиль не желал слушать.

— Я не хочу быть умнее всех, — заявил он.

Маруся не упустила случая подковырнуть его.

— Мы это давно знаем.

Пришел прораб Копылов. С ним я уже был знаком. Он протянул мне руку и, резанув другой рукой по воздуху, сказал:

— Кончай самодетельность!

Бригада притихла. Кто-то поднялся, кто-то продолжал сидеть. Наташа сообщила, что скоро придет главный инженер управления, она с ним лично разговаривала.

— Тебе за панику косу отрезать мало, — сказал Копылов. — Кто тебе разрешил в управление ходить? Еще молоко на губах не обсохло.

— Обсохло, Иван Кузьмич.

— А я говорю, не обсохло! Сейчас же приступить к работе. Со мною шутки плохи. В одну минуту в разнорабочие переведу.

Он объяснил мне, что положение не так уж катастрофично, есть много способов укрепить фундамент, а люди к майским праздникам во что бы то ни стало должны переехать. А наладить потом ремонт — дело заказчиков.

Я спросил: неужели заказчик примет дома в таком виде?

— А куда ему деваться?

От такой откровенности мне стало не по себе: ведь люди не каждый день получают квартиры. Об этом я и сказал Копылову. Но тот ответил, что люди и так на седьмом небе от радости, что получили ордера на квартиры.

— Ну, чего дожидаетесь? Не ясно еще? — набросился он на приунывшую бригаду.

— Ясно, — сказала Наташа, — но мы подождем главного.

— Кто это — мы?

— Моя бригада.

Копылов мрачно покачал головой и усмехнулся:

— Сегодня — твоя бригада, завтра — не твоя. — Он оглядел всех и указал на Рамиля. — Принимай бригаду. Потом оформим.

Рамиль молчал, уставившись в пол.

— Слышь-ка, что я тебе говорю.

— Не пойдет, Иван Кузьмич, — отозвался Рамиль.

— Чего не пойдет?

— Есть у нас бригадир.

— Капелла чертова, вон как спелись! — Копылов плюнул и вышел на лестницу.

Рубен снова растянулся на полу и тихо запел.

Я спросил Наташу, знает ли она, что завтра бюро, на котором будут обсуждать Сазонову.

Она ответила, что знает и что хотя в другой комсомольской организации, но все равно придет.

Мой номер был крошечный — одноместный, со стеклянной дверью на балкон. Ее не заклеивали и не замазывали на зиму, и по ночам из щелей смертельно дуло с моря. Оно метрах в двухстах от гостиницы. Я заготовил из газет множество длинных жгутов и на ночь затыкал ими дверь. Мне казалось, что только здесь я по-настоящему увидел, разглядел солнце. На рассвете, огненно-рыжее, оно так быстро выползло из моря, точно за ним гнались или оно опаздывало занять свое место.

В половине двенадцатого я завел часы на завтра, растянулся на койке слушать «Последние известия» из Москвы. Здесь жизнь идет на час вперед.

На улице под моим балконом разговаривала парочка:

— Ты не думай, я не такая...

— Я и не думаю.

И после долгой-долгой паузы — я решил, ушли уже — опять:

— Ты не думай...

— Не думаю, не думаю...

Кто-то постучал в дверь. Наверно, за чайником. Пришлось встать.

— Вас к телефону, — сказала дежурная по коридору.

Пока мы шли к ее столику, она оправдывалась:

— Я им сказала, что спите, а они настаивали разбудить.

Кто мог звонить мне и настаивать в такую позднюю пору?

Я не сразу разобрал, кто со мной говорит. Уловил только взволнованный азербайджанский акцент. И когда в третий раз переспросил, после короткой паузы ясно услышал:

— Мухтаров говорит. Обязательно прошу прийти.

— Куда прийти?

— Я сказал уже. В милицию.

— В какую милицию? Зачем?

— Я очень прошу извинить меня, но я обязательно прошу прийти.

Он хотел быть и вежливым и в то же время категоричным.

— Да что случилось? Вы, что ли, попали в милицию?

— Зачем я? Наташа, и еще Сазонова, и еще Маруся. Дежурный говорит, завтра разберутся. Зачем завтра? Надо сейчас. Меня не слушает.

— Ну а меня, думаете, послушает?

Опять короткая пауза.

— Я очень прошу прийти.

— Ладно, где вас искать? Какая милиция? На какой улице?

— Не надо искать, я встречу вас у горкома.

Я положил трубку, пошел в номер надеть плащ.

Горком комсомола и горком партии — в одном здании, в пяти минутах от гостиницы. Я приготовился замерзнуть, но ночь оказалась на редкость теплая, безветренная, а я-то в номере замуровал окно жгутами из газет.

Всю дорогу до горкома я не встретил ни одного человека. Ночь была безлунная, там, где море, — черный провал. Затем я увидел бегущего через площадь Мухтарова.

— Идти далеко? — спросил я, когда тот подбежал.

— Порядочно.

Я не стал спрашивать его, что случилось, он сам все рассказал. У кассы в кино к девушкам пристали какие-то хулиганы. Как на беду, не было рядом дружинников. По утверждению постового милиционера, девушки первые полезли в драку. Он и доставил их в отделение. Из хулиганов только одного удалось прихватить — того самого, кому больше всего досталось. К Мухтарову прибежал кто-то домой и обо всем рассказал. Самого начальника не было, дежурный решил задержать всех до утра, а утром, мол, проведут расследование. И еще дежурный пообещал, что наверняка всем по десять суток вкатят.

— Вы понимаете, что это значит? — негодовал Мухтаров. — Чтобы Наташе Поповой дали десять суток?! Голову даю на отсечение, что она не виновата!

— А Маруся? — спросил я. — По-вашему, она виновата?

— Я не сказал — виновата.

— А Галя Сазонова? — продолжал я.

— Я не сказал — виновата! — взмолился Мухтаров.

А я подумал про себя, что если бы не попала в беду Наташа Попова, спал бы он сейчас преспокойно. И я тоже.

— Что же должен я сделать? Как вы полагаете?

Но Мухтаров, видимо, все уже обдумал.

— Прежде всего вы — человек из Москвы. Вы приехали писать о лучших людях нашего города. И вот как раз вы пишете именно про Наташу Попову.

— И про Марусю, — подсказал я.

— Конечно, и про Марусю.

Мухтаров так расчувствовался и расщедрился, что даже упомянул и Галю Сазонову.

— Послушайте, — продолжал он, — не надо на каждом шагу упрекать меня в моей слабости. Потом вы мне все это скажете, а сейчас надо действовать. Нельзя терять ни одной минуты. Там же настоящие преступники! И вдруг такие люди попали. Вы видели портреты героев труда на площади Ленина?

Конечно, он имел в виду все ту же Наташу, но на этот раз не рискнул упомянуть ее.

Мы шли уже более пятнадцати минут, и только теперь я понял,

с какой прытью Мухтаров несся ко мне на свидание, если прибежал за каких-нибудь пять минут.

Неожиданно Мухтаров остановился. Остановился и я.

Где-то впереди женские голоса кричали частушки: «Подружка моя...»

— Это они,— упавшим голосом сказал Мухтаров.— Что делают! Все погубят! — Он почти бежал.— Скорей, пожалуйста!

Частушки рвались из милицейского двора. Наши узницы не только голосили, но и отплясывали. Шум стоял знатный. Мухтаров сунулся было в ворота, объявив, что девушки заперты в полуподвальной камере, окна которой выходят во двор. Но на железных воротах висел увесистый замок.

— Если у вас ничего не выйдет,— сказал он,— я сяду здесь и буду ждать утра. Я никуда отсюда не уйду. Пожалуйста, обязательно выньте блокнот, когда будете разговаривать с дежурным. Это сильно действует, я по себе знаю.

Дежурный сидел за барьером с мрачным лицом, и я подумал: плохи наши дела! Мухтарова он встретил со злорадством:

— Вот ваши замечательные девушки. Слышите, что выкомарируют? — И, увидав меня, спросил: — А вам что, папаша?

Мухтаров не дал мне раскрыть рта и пышно представил меня. Дежурный отреагировал, прямо сказать, кисло.

— Вам бы лучше завтра, когда начальник будет,— сказал он.

То ли оттого, что меня подняли ночью с кровати, то ли я не на шутку обиделся за «папашу», но я вдруг непоколебимо уверовал в абсурдность действий дежурного — задержать до утра девушек. На его совет прийти завтра я ответил почти угрожающе. Я сказал, что с начальником милиции я знаком — мы действительно познакомились с ним в Доме культуры на его лекции о правонарушителях — и что ему, дежурному, хочет он этого или нет, придется ответить на один, а может, и на несколько вопросов. При этом я достал блокнот и карандаш, прошел за барьер и сел напротив него.

— Так вот,— продолжал я, не сбавляя угрожающего тона,— на каком основании вы задержали девушек? Ведь им завтра утром на работу.

Дежурный ответил, что при них не было документов, а выяснять личности ночью он не мог. Ответ резонный, но тут вмешался Мухтаров:

— Но я же вам, дорогой товарищ, все объяснил. Мой документ вы видели?

— Что ж что видел,— проговорил дежурный.

Я попросил протокол о задержании. Дежурный вытащил из ящика папку, достал из нее листок исписанной бумаги и протянул мне.

— Они подписать отказались,— сказал он.— Сами там написали.

«17 февраля сего года,— докладывал постовой,— в 19 часов у кино «Радуга» три неизвестные гражданки нанесли телесное повреждение в виде пощечин неизвестному гражданину. Всех четверых доставил в отделение...» Ниже, со слова «протестуем», писали девушки: у кино «Радуга» к ним пристал хулиган, вот и получил по заслугам за нанесенное оскорбление.

— Вы думаете, мне охота была их задерживать,— обиженно оправдывался дежурный.— Дали они мне телефон их начальника, Копылова, я звоню, говорю: так и так, говорят, мол, из милиции, такие-то работают у вас, что можете сказать? Сами, говорит, разбирайтесь, у меня их, говорит, сотни, почему я знаю, какие они.

Так Копылов отомстил Наташе за непослушание.

— Я и решил,— продолжал дежурный,— утро вечера мудренее.

— Ничего мудреного здесь нет,— сказал я.— Девушек надо сейчас же освободить, им завтра на работу.

Дежурный что-то проворчал, вышел, потом вернулся и сказал:

— Сейчас освободим.

Мы вышли с Мухтаровым на улицу. Он не щадил себя и произнес целый самокритический монолог.

— Неподходящий я, наверно, человек. Плохой из меня секретарь, раз я не умею доказать свою правоту. Вы думаете, я не говорил с директором насчет Сазоновой? Поймал на заводском дворе. Как же, говорю, вы увольняете комсомолку без ведома комитета? Что, вы думаете, он мне отвечает? Не буди, говорит, во мне восток, Мухтаров. Можно подумать, что я не восток. Иногда присылает подписать какую-нибудь бумагу — смотрю, готовое решение, а я о нем ничего не знал. Пусть покажет мою подпись... Как это называется?..

— Факсимиле,— подсказал я.

— Именно. И нечего гонять секретаршу ко мне. Он забывает, что наш комитет на правах райкома.

Я хотел заметить, что он, секретарь, тоже забывает об этом, но пощадил его. Тем более, что он сам сокрушал себя по всем статьям.

— Иногда чувствую, что надо у человека отнять комсомольский билет. Недостоин он его. Взять хотя бы пижона, которого вы видели. А как вспомню, что мы последняя инстанция, страшновато делается. Шутка ли сказать — выгнать человека из комсомола... Между прочим, завтра еще один корреспондент приедет. Звонили. Интересуется нашим заводом. Завтра на бюро будет присутствовать.

Наконец появились наши узницы. Они в недоумении уставились на нас. Первая заговорила Галя Сазонова, ее слова относились ко мне.

— Еще раз здравствуйте. И не везет же вам со мной! Теперь и в милиции меня знают.

Сначала мы шли все в одну сторону. Галя и я впереди, остальные сзади.

— Это вы нас вызволили?

— Почему я? Мухтаров шум поднял.

— А кто вам сказал, что мы здесь?

— Он сказал. Позвонил в гостиницу.

— Если бы не Наташка, не позвонил бы.

Я возразил и сказал, что Мухтаров беспокоился обо всех.

— И обо мне?

— И о вас.

Я сказал ей, что приехал еще один корреспондент и что он завтра, наверно, придет на бюро, где будут разбирать ее дело.

— У меня нет никакого дела.

— Ну, ваш вопрос.

— И вопроса нет. Дураки его выдумали, мой вопрос.

Я не стал спорить и посоветовал только завтра поменьше обзывать людей дураками. Не так уж это вежливо.

Мы заметили, что оторвались от остальных, и, дойдя до конца улицы, остановились.

— Пусть попробуют сунуться в мою личную жизнь. Не обрадуются.

Время было за полночь, трамваи уже не ходили. Ближе всех жила Сазонова, а Наташа и Маруся — на другом конце города. Мухтарову и мне было по дороге с ними, но он сказал, что ему еще надо забежать на завод, как раз сегодня там действуют рейдовые бригады. Он предложил всем пойти на завод, а там он организует дежурную машину и развезет нас по домам. На том и порешили.

— Между прочим,— сказала Маруся,— в Париже есть район, где гуляют до утра.

Скоро нам повстречались несколько парней. Мухтаров узнал их и остановил, спросил, чего они так поздно разгуливают. Один из них объяснил, что они работали во второй смене, собрались уходить, но тут случилось небольшое ЧП — верно, его быстренько ликвидировали.

— Да ты толком говори! — потребовал Мухтаров.

Парень объяснил, что слесарь из ремонтного, по фамилии Гуляев, пришел на завод чуть подвыпивший, бросил в цехе не то горящий окурок, не то зажженную спичку, и загорелся пол. Гуляев своим же ватником задушил огонь, но малость руки обжег. Пока водили его на медпункт, акт составляли, вот и задержались.

— Эх, дурачок,— сказала Галя.— А ведь мой земляк.

— Немного у вас там умников,— сострил кто-то.

— Шум, конечно, был,— рассказывал парень.— А как не быть? Какой день газ травят. Тут не то что от спички, тут кашлянешь — и то, глядишь, загорится.

— Где сейчас Гуляев? — спросил Мухтаров.

— Да там еще.

Мы двинулись дальше и не сразу обнаружили, что пропала Маруся.

— С ребятами пошла,— сказала Наташа.— Они ее проводят.

Потом покинула нас и Галя. Мы вышли к морю. Оно не спало, как утром, а работало всюю. Волны так и налетали на гальку и, словно обжегшись, улепетывали в темноту. Ближе к заводу шум прибора вытеснился тяжелым, тугим гулом. Это гудела заводская печь, по-научному — пиролизная печь. Когда я впервые увидел ее беснующуюся рыжую пасть, то, честно говоря, озяб от страха. Казалось, еще мгновение — и огонь вырвется на волю. Но вокруг спокойно ходили люди, невдалеке монтировали газопровод для нового цеха. Пришла успокоительная мысль, что вот уже несколько лет пылает эта печь. Это она творит чудеса с газом, превращает его в спирт, а спирт — в каучук. Скоро я понял, что сам по себе завод с его сложнейшей аппаратурой не угрожает человеку, а вот человек вроде Гуляева угрожает заводу и собственной жизни. Об этом внушительно заявляли шиты с надписями: «Со спичками не входить!», «Не курить!». Не только надписи требовали строжайшей дисциплины. Красноречиво предупреждала об опасности «Скорая помощь», дежурившая у медпункта.

На ступеньках заводоуправления сидел парень с перебинтованными руками. Мухтаров пошел к коменданту за ключом от комитета, а мы с Наташей остались ждать его. Когда он вернулся, парень, что сидел на ступеньках, спросил его:

— Чего мне теперь будет?

— Уволят.

— Ясно.— Он покачал головой и обратился к самому себе: — Начи-най, Гуляев, жить сначала!

Видно, он все уже обдумал, подвел, так сказать, черту.

Мухтаров открыл нам дверь своего кабинета, а сам опять куда-то исчез. Наташа села на диван, подобрав под себя ноги.

— Не давайте в обиду Сазонову,— вдруг попросила она.— Так недолго человека до крайности довести. Мы вместе приехали сюда. Дивчина как дивчина. Мухтаров со своим комитетом тоже хороши. Защитить не сумели и нашли выход: задним числом воспитывать начали. Нечестно это.

Недобрым словом вспомнили и Копылова.

— Мне таких людей, как Копылов, жалко,— сказала Наташа.— Кончилось их время.

— Чего ж их жалеть тогда?

— Они-то этого не понимают. Поэтому и жалко. Он же неглупый человек. Ведь так ужасно неинтересно жить — знать, что обманываешь людей. А у него жена, сынишка. По воскресеньям всем семейством гуляют у моря. И одеты по-праздничному.

Вернулся Мухтаров, веселый, с какой-то книгой в руке.

— Целый месяц в библиотеке записан на эту книгу, — сказал он, — а сейчас отобрал у одной аппаратчицы. Вместо того чтобы за аппаратом следить, книгу читает. Моя теперь книга.

Я сказал, что это называется злоупотреблять служебным положением. Сказал в шутку, а Мухтаров обиделся:

— Совсем нет. Я отобрал бы любую книгу. — И как ни в чем не бывало преспокойно сообщил: — Между прочим, с дежурной машиной ничего не получилось. Одна в ремонте, другую брать нельзя. Я же не виноват, — оправдывался он. — Кто мог знать? Есть два выхода. Отправиться пешком или остаться здесь.

— До чего находчивый, — заметила Наташа.

Решили остаться в комитете. Наташе Мухтаров предоставил диван, мне стол, себе стулья.

Я убрал со стола чернильницу, стекло, под которым лежали какие-то записки. Одна из них бросилась в глаза. Написана она была красным карандашом: «Товарищ Мухтаров! Собрать комсомольское собрание киповского цеха не смог, так как большинство комсомольцев в декрете...»

Что и говорить, причина уважительная. Она рассмешила меня, и не такой уж страшной показалась перспектива спать на столе. Мухтаров мне и себе под голову положил по стопке книг. Но скоро я заменил книги пиджаком. Наконец потушили свет, пожелали друг другу спокойной ночи. Мне казалось, я тут же засну. Стало слышно гудение заводской печи. Ее всегда слышно, когда тихо. Только Мухтаров поскрипывал стульями, они разъезжались, и он сдвигал их. Потом я услышал тихий разговор и не сразу сообразил, что Мухтаров перебрался на диван к Наташе.

— Лежи на левом боку и не двигайся, — тихо и строго говорила Наташа.

— А на спине можно?

— Можно.

— А если я во сне лицом к тебе повернусь?

— Попробуй только.

Мухтаров глубоко вздохнул. Наташа спросила:

— Тебе нравится корреспондент?

— Не очень.

— Почему?

— Да так...

— А если он не спит? — спросила Наташа.

— Спит.

«Уснешь, когда о тебе говорят», — подумал я. Но больше они обо мне не говорили.

— Никогда не думала, что Копылов на такое способен, не выручить нас, — сказала Наташа.

— Я его убью.

— Правильно...

Я пожалел, что остался, сейчас бы, наверно, уже подходил к гостинице, а здесь все равно не выспишься. Наташа и Мухтаров скоро утихли. Он не сдержал слова и спал лицом к ней. Я встал и тихо вышел в коридор. Дверь на улицу была открыта, кто-то там разговаривал. Мне слышался голос Гали Сазоновой. Но как она могла оказаться здесь?

— Смотреть мне на тебя тошно, а еще земляк называется!

Да, это была Галя, она сидела на ступеньках рядом с Гуляевым.

— Нечего слюни распускать,— продолжала она выговаривать земляку,— мало ли что в жизни бывает.

Я подошел и спросил ее:

— Вы как попали сюда?

— А вы еще здесь?

— С машиной ничего не получилось.

— Пешком давно бы дома были.

Она рассказала мне, что в общежитие ее не пустили. Начальник распорядился убрать ее кровать. Наверно, узнал про милицию.

— Присаживайтесь. Или пойдете?

Я сел, а Галя сказала:

— Одно к одному. Представляете, как начальник обрадовался, что меня в милицию заграбастали... Теперь, глядишь, и из города попросят.

Я сказал, что это ему не сойдет с рук и он еще ответит за самоуправство.

— Ему все сойдет.

Гуляев сидел с потерянным, беспомощным лицом. Беспомощность его подчеркивали и перебинтованные руки, он держал их перед собой и, не сводя с них глаз, бубнил себе под нос, что теперь ни ему, ни Гале здесь делать нечего: Надо, мол, ехать домой, все равно уволят, а дома тоже работенка найдется.

Галя передразнила его:

— Работенка!.. С какими глазами приедешь-то?

— Иду на завод,— рассказывал Гуляев,— решил томатного выпить. Наливает мне, а я возьми да брякни: хорошо бы, говорю, сто грамм пропустить. Смотрю, ставит стаканчик. Думаешь, я один стерва слабохарактерная? Только и они хороши — водку продают. Прижать бы их, да ладно уж, пусть живут.

— Не смей ругаться! — прикрикнула на него Галя.— Корреспондент в фельетон вставит.

— Так мне и надо!

Галя усмехнулась и сказала:

— Утри нос, гуманист.— Она поглядела на свои часики и вздохнула.— Третья смена работает. Мне как раз в ней работать. Интересно, кого вместо меня поставили. Надо ж такое!..

Из ворот завода выехал грузовик с брезентовым верхом, за ним второй, третий. Гуляев поднялся, крикнул шоферу последнего, чтобы подвез. Тот остановился. Гуляев залез в кабину и укатил.

— Все к одному,— повторила Галя.— Что ему от меня надо, начальнику нашему?

Я сказал, что хорошо бы сейчас пойти к нему и поднять его с постели. Галя испугалась:

— Что вы! Лучше домой идите. Чего вы в самом деле из-за меня спать не будете.

Я шутил, конечно. Никто не пойдет будить начальника. Но, факт, хотелось. Вот он сейчас спит, похрапывает, черт бы его побрал, спит, как все люди, а утром проснется и начнет проворачивать еще какое-нибудь мероприятие, а ты сиди здесь и коротай ночь в назидание... Я не о себе говорю — о Гале Сазоновой.

Мальчишкой я, помню, нередко получал от старшего брата подзатыльники. Получал их незаслуженно, как он говорил, в назидание. Он знал уже и это слово. При этом он еще любил добавить: «Революция от этого не пострадает». За издевательство надо мной ему давали ремня, а

я смотрел, как его порют, и тихо приговаривал: «Нет, революция пострадает, пострадает, пострадает!..»

— Чего мы на холодном-то сидим, — сказала Галя. — Вон трамвайный павильон, там скамеечки. Пошли?

Трамвайный павильон, хоть его и продувало со всех сторон, был под крышей. Галя подняла воротник плаща, сунула руки в карманы. Вот когда пригодился ей свитер с высоким воротом.

— Увидят нас здесь вдвоем, ночью, что тогда? — сказала она.

— Пусть видят.

— Мне-то ничего.

— За меня тревожитесь?

— Хоть бы и за вас.

— Пропадать, так вместе.

Галя спросила, есть ли у меня закурить. Я ответил, что есть, но ведь она же не курит. Сама Мухтарову сказала.

— Кому охота в фельетон попадать? Честно говоря, балуюсь.

— Тогда не дам. Привыкнете.

— Ну не давайте. Рассказали бы что-нибудь. Вы на войне были?

— Был.

— А девушка у вас была там?

— Была. Вaley звали.

— Ну что вы все — был, была. Побольше расскажите... Она и сейчас ваша жена?

— Нет.

И я рассказал, как в сорок втором к нам пришел новый командир. Он не умел отличать любовь от шашней. Как-то он застал нас вместе и приказал Вале отправиться в полк, в санроту. С тех пор мы не виделись.

— Вы очень любили ее?

— Да.

— Наверно, это на всю вашу жизнь подействовало... — сказала Галя. — То-то вы со мной возитесь...

Кто знает, может, она и права, подумал я.

— Как вы думаете, империалисты развяжут новую войну или не рискнут?

— Не рискнут.

Галя поежилась, положила мне на плечо голову.

— Интересно, плохие люди знают, что они плохие?

— Нет, пожалуй.

— Я тоже так думаю. Как бы они целовались тогда? Стыдно было бы. — Она долго молчала, затем чуть слышно проговорила: — Собрала бы я всех людей и сказала им...

Она так и не договорила — уснула, дуреха...

В шесть утра первым трамваем я уехал в гостиницу. Галя пошла в общежитие строителей. Там, сказала она, девчата устроят ее, вздремнет часок-другой. В моем распоряжении тоже был часок-другой. В девять, как положено, начинался и мой рабочий день.

В девять я позвонил в горком комсомола секретарю Надежде Векиловой. Все называли ее просто Надя. Раза три в неделю я обязательно приходил к ней. И всякий раз она встречала меня неизменным приветствием: «Селям! Я знаю, что вы мне скажете сейчас: на заводе безбожно травят газ и там можно задохнуться или что на концерте-лекции о Чайковском в задних рядах «забивали козла». При этом она хитро щурила глаза, кивала пышными черными волосами. Она не ошибалась. Сначала меня удивляло, что секретарь горкома в курсе буквально всех

событий, больших и маленьких, важных и пустяковых, но потом я привык к ее «Селям. Я знаю...»

Сейчас по телефону она неожиданно сказала по-русски:

— Здравствуйте.

— Что случилось? — спросил я.

— У меня апатия.

— А у меня к вам дело.

— Приходите.

И все-таки, когда я вошел к ней, она с грустной улыбкой сказала:

— Селям. Я знаю, с чем вы пришли...

У нее была посетительница, и я сел в сторонке. В приемной две девушки в четыре руки стучали на машинках. Посетительница оказалась предшественницей Векиловой — бывшим секретарем горкома; теперь она ушла на учебу. Она инструктировала Надежду, как лучше вести дела, чтобы любая ревизия не застала ее врасплох, чтобы комар носу не подточил.

— Главное, дорогая, протоколы и документация, — наставляла она Надю. — Заведи для этого отдельные папки. Десять вопросов — десять папок. На каждой папочке ярлычок. Допустим, я прихожу к тебе и говорю: товарищ Векилова, как у вас с культурно-массовой обстоит? Ты на ярлычок — раз. И мне папочку — два!

Все это она рассказывала с таким канцелярским энтузиазмом и пафосом, что можно было не только впасть в апатию, как сказала Надя, но и заплакать. А пока что изнывали девушки, что печатали в приемной на машинке. Их засадили перепечатывать старые протоколы. Когда наконец бывший секретарь горкома ушла, Надя сказала:

— Я буду бюрократом. Я буду страшным бюрократом... Знаю, с чем вы сегодня пришли: на одиннадцатом квартале поехал фундамент, слесарь — как его фамилия? — слесарь Гуляев получил ожоги, Галя Сазонова уволена с завода. Я даже знаю, что ночью вы выручили ее и еще двух девушек из милиции...

Разговор наш прервал парень в полувоенной форме, точнее в военной, но без погон.

— Войти можно?

— Вы уже вошли.

— Я насчет работы. Демобилизован. Хотел на прежнее место. Не берут.

— А где вы работали?

— Да вместе с вами — в электромонтаже, когда монтировали силикатный. Вы начальником участка, а я бригадиром.

О том, что Надя — инженер-электрик, я знал, она не раз при мне мечтательно вспоминала о своей работе в монтажном управлении.

Надя подняла телефонную трубку, вызвала отдел кадров монтажного управления. Говорила то по-русски, то по-азербайджански; короче, атаковала, как могла, но тщетно.

— Терпеть не могу, когда маленький начальник корчит из себя большого начальника. На таких действует только подхалимаж. У нас говорю — надо сунуть арбуз под мышку.

Она позвонила начальнику покрупнее и стала атаковать его.

— Если вы действительно меня любите, — кокетничала она в трубку, — помогите устроить человека на работу. И не просто человека, а демобилизованного воина.

Видно, лед тронулся, и ее спросили, толковый ли парень.

— Замечательно толковый, золотой парень! Якши, якши! — Она положила трубку и облегченно вздохнула. — Покажи комсомольский билет.

Но билета у парня не оказалось: забыл дома.

Векилова откинулась на спинку стула, мрачно взглянула на оробевшего парня.

— Идешь в горком просить работу и забываешь комсомольский билет!

Парень молчал, а я подумал: не видать ему монтажного управления как своих ушей! Теперь уже ничто не поможет ему: ни то, что он демобилизованный воин, ни то, что вместе когда-то работали.

— Я близко живу,— залепетал он.— В один миг буду обратно.

Но Векилова зловеще молчала.

— Выходит, я наврала,— проговорила она.— Ты вовсе не замечательный.

— Да я вмиг сбегаю,— молил парень. Он рванулся к двери.

— Стой! — остановила его Надя.— Иди, совсем не замечательный, в управление. Начальник ждать будет.

Парень убежал, но через десять минут снова распахнул дверь кабинета Векиловой и положил ей на стол комсомольский билет.

— Ты что вернулся? Тебя же начальник ждет! — Но она все-таки быстро проглядела билет — в порядке ли он, уплачены ли членские взносы — и вернула его парню.

Тот запрятал билет в нагрудный карман и пулей вылетел из кабинета.

— Нет,— сказала она.— Очень страшным бюрократом я не буду.

Я согласился, что эта беда ей, кажется, не грозит.

— А вот у меня новость, которую вы не знаете,— продолжала Надя.

— Знаю. Пожаловал еще один корреспондент.

Надя уточнила:

— Специальный. Кстати, я ваш хлеб отбиваю. Вы газету нашу читали сегодня?

— Нет. А что там?

— Вот почитайте. На второй полосе крестиком отмечено.

В небольшой заметке, названной «Завод — это я!», критиковался директор завода. Критиковался он за пренебрежительное, барское отношение к мнению комитета комсомола. В конце заметки директору задавался такой вопрос: известно ли ему, что на заводе его зовут шахом?

— Ужасно обиделся,— сказала Векилова.— Особенно за то, что прозвали шахом. Говорят, даже звонил в редакцию.

Она рассказала, что бюро решено провести сегодня с обязательной явкой директора завода, начальника общежитий и возлюбленного Сазоновой с товарной.

— Короче,— заключила Векилова,— проведем бюро на высшем уровне. Дело ведь не в одной Сазоновой.

Я сказал, что именно с этим и шел к ней, а теперь ухожу, не буду мешать наклеивать.

— А я думала, вы мне поможете.

На товарной станции начальство отослало меня к заместителю парторга, диспетчеру Петуховой. Самого парторга на месте не было. Я спросил, где искать Петухову, и мне ответили: по голосу. Я не сразу сообразил, что голос Петуховой я уже слышал, когда подходил к товарной,— он гремел из репродуктора, установленного на стеклянной будке. Сама будка возвышалась на железных опорах высоко над станционными постройками, пульмановскими вагонами, пыхтящими маневровыми паровозами. Крутая деревянная лесенка вела в будку. На двери висело объявление: «Вход строго воспрещен». Выходит, даже не только посторонним, а всем. Я хотел было повернуть обратно, но из окошка высунулась голова в форменной фуражке.

— Вы ко мне?

— Товарищ Петухова?

— Да.

— Тогда к вам,— сказал я и представился.

— Посидите вон там,— указала Петухова на деревянный домишко,— через двадцать минут освобожусь.

Домик был пуст. Наверно, зимой станционные рабочие устраивали в нем перекур. Я сел на приступок, закурил. Тем временем Петухова продолжала вести свой громкий разговор с товарной.

— Сто седьмой бис готов в рейс? — задала она вопрос, и тут же ей ответил короткий гудок. И снова она: — Почему не готов? — Теперь ей отозвался рожок сцепщика.

А на подступах к товарной кто-то протяжно сигнализировал, просился вступить. Петухова и ему ответила:

— Слышу, сто второй. Потерпи маленько.

Но сто второму не терпелось, и он трижды дал сигнал, будто заспорил с диспетчером: мол, непорядок, я давно жду. Петухова осаждала его:

— Отставить разговорчики!

Невдалеке от меня дрогнули и тронулись вагоны. На одном из них мелом большими буквами было начертано: «Венгерским товарищам. Стройте на здоровье!» Вагоны ушли, и я увидел другой состав и другую надпись: «Хороша страна Болгария».

— Сто седьмой бис! — снова загудело радио.— Долго я буду ждать? Немедленно отправляйся.

Раздался протяжный гудок, и Петухова как бы про себя сказала:

— То-то...

Я прочитал на вагонах и другие надписи. Они относились к нашим советским городам: «Барнаул. Долго будем ждать оборудование?» «Балашиха. Есть у вас совесть? Где станки?»

— Товарищ корреспондент! — вдруг услышал я громовой радиоголос Петуховой и вздрогнул от неожиданности.— Вы бросили окурки, поднимите, пожалуйста. Урна рядом.

Пришлось встать, поднять окурки и бросить его в урну. И снова протяжные и короткие гудки, стук буферов, рожки сцепщиков, голос Петуховой. И надписи на вагонах мелом. Их множество — обращений, приветствий и суровых укоров. Я слушал нескончаемый, многоголосый шум товарной и думал о деле, с которым пришел сюда, о маленьком человеческом несчастье Гали Сазоновой.

Мои мысли прервала диспетчер Петухова. Она спустилась ко мне, села рядом на приступок, и когда я рассказал ей зачем пришел, она не удивилась и не воскликнула: «Эх, товарищ, с чем вы ко мне пришли?! Смотрите, какими делами мы заворачиваем!..» Нет, она горько сдвинула брови, сжала губы. Заговорила не сразу, сначала подумала.

— Этого допустить никак нельзя,— сказала она,— чтобы дивчину увольняли. Это мы с него спросим. Парель на вид серьезный.

Она посмотрела куда-то в сторону, и я спросил в шутку, не собирается ли она прямо сейчас, по радио, призвать его к ответу.

— Зачем по радио? Вопрос деликатный. Мы легонько. Если уж любит так, что дошел до точки,— это одно. Если гуляет, пока семья не приехала,— другое. Тогда нечего девке голову морочить. Так я вас поняла?

— Так.

Я спросил, смогу ли я с ним поговорить.

— Сейчас никак,— ответила Петухова.— Сегодня ответственный день, много экспорта отправляем.— Положив мне руку на плечо, она сказала: — Да вы не беспокойтесь, на бюро как миленький придет.

Из репродуктора раздался чей-то бас:

— Семнадцатый бис готов в рейс?

— Маша Каткова заступила.

— Я думал, мужчина.

— Нет, Маша. Это у нее такой голос.

Мы распрощались. Я вернулся в гостиницу. Бессонная ночь давала о себе знать. Чтобы не проспять бюро, я попросил дежурную разбудить меня в половине шестого. И вот уже стучат в дверь.

В коридоре началась беготня.

На улице, через дорогу, остановилось несколько грузовиков, набитых людьми с лопатами,— женщины в цветастых платьях, мужчины в пиджачных костюмах. Вдоль всего берега по решению городского Совета возделывался парк силами самих горожан. Женщины храбро прыгивали на землю. Они держали лопаты, вытянув руки, подальше от своих платьев.

Тут же, на набережной, я встретил ребят из бригады Наташи Поповой: Рамиля, Рубена и Марусю. Рубен шел посередке, как-то странно зажатым друзьями. У Рамиля и Маруси на руках были красные повязки дружинников, Рубен был без повязки. Я остановился, чтобы спросить, чем кончился разговор в управлении, что слышать на одиннадцатом квартале.

— Нас перебросили на двадцать первый,— сказал Рамиль,— а там в срочном порядке фундаментом занялись.

Только сейчас я заметил, что Рубен пошатывается.

— Когда это он успел? — спросил я.

Рубен поднял на меня страдальческие глаза, но промолчал. Сказал Рамиль:

— Родич к нему приехал, вот и отметили. Его бы надо в штаб да домой, на койку, а мы нянчимся — ведь опозорит бригаду.

— Мы хотели его в море окунуть. Упирается,— сказала Маруся.

— Да и простудится,— серьезно пояснил Рамиль.— Будем гулять, пока не отрезвеет. Вот бы заставить его сейчас на руках пройтись!

Рубен стоял с покорно и виновато опущенной головой.

В приемной заводууправления я познакомился с только что приехавшим спецкором Зайцевым — человеком средних лет, невысоким, полноватым, с добрым круглым лицом. С первой минуты мы перешли на ты — как-никак, свой брат, корреспондент.

Зайцев рассказал, что заскочил на денек, времени у него в обрез, переночует в этой республике, а завтра на самолет — и в соседнюю. Еще он рассказал, что в его газету поступили сигналы о плохой комсомольской работе на химзаводе, поэтому и прислали его, Зайцева. Он полдня провел на заводе, в комитете комсомола, и впечатление у него, как он выразился, неважное.

— Ты только не спеши с выводами,— посоветовал я.

— Спеши не спеши, а картина ясная,— сказал он.— На простынях со второго этажа сигают, в общежитиях дерутся, а комитет ограничивается устным внушением. Мухтаров вымаливает комсомольские взносы. В одном только киповском цехе целый месяц не было комсомольского собрания.

Я повторил, чтобы он не спешил с выводами. Зайцев подозрительно поглядел на меня и спросил:

— Ты сам-то на какой материалчик приехал? На негативный или позитивный?

Вторую неделю я жил здесь и не знал, на какой материал приехал. Я не приехал сюда с заранее обдуманном разносом или с желанием

поставить Мухтарову при жизни памятник. Об этом я и сказал Зайцеву. Но он не согласился.

— Я, брат, опираюсь на факты. Ты же не можешь их опровергнуть. Чего же либеральничать? Тарань.

Я ответил, что Мухтаров без году неделя как выбран секретарем комитета, его не ругать надо, а поддержать. Во-вторых, на таран идет тот, кто сам горит, и таранят врагов, а не своих.

— А ты, брат, с юмором,— сказал Зайцев.— Может, боишься, что я тебя обойду? Отделаться хочешь?

Я решил ему досадить и сказал, что пожарной хроникой не занимаюсь, так что он, мол, мне не конкурент. И в третий раз предупредил, чтоб не торопился с выводами, а то недолго и пальцем в небо попасть.

Зайцев не обиделся за пожарную хронику и даже сказал, что смешно нам ссориться, что дорожка не такая уж узкая, как-нибудь разойдемся. Под конец он похлопал меня по плечу и даже похвалил:

— А ты молодец, брат. Хитер. Узнаю хватку. Обратно как — самолетом или поездом?

Я так и не понял, почему я молодец и что у меня за хватка.

В приемную вошла Галя Сазонова. Я сказал Зайцеву, что это та самая девушка, которой он интересовался.

— Познакомь, пожалуйста.

Мы подошли к ней, и я познакомил их.

— Простите,— сказал он Гале,— я не расслышал вашу фамилию.

— Фамилия у меня простая,— сказала Галя,— Сазонова. Зовут Галиной, можно Михайловной.

Зайцев как-то странно хохотнул, откашлялся, пригласил Галю сесть на диван. Я оставил их и прошел в кабинет Мухтарова. Комитет был в сборе. Мухтаров сидел на своем председательском месте, остальные — за длинным столом.

— Не помешаю? — спросил я.

Мухтаров прямо-таки налетел на меня:

— Где вы целый день были? Я вам три раза звонил. Вас спецкор искал, сказал, что согласоваться вам надо с ним.

Я ответил, что мы уже познакомились, согласовались. Векилова, тряхнув своей шевелюрой, сказала:

— Кажется, нам здорово достанется от него. Мухтаров собирается уже заявление писать, чтобы освободили от занимаемой должности.

Мухтаров ответил, что, если надо будет, заявление он напишет, но сначала скажет кое-кому все, что думает.

На нем был праздничный синий костюм, из-под рукавов выглядывали ослепительно белые манжеты со сверкающими запонками. Торжественность подчеркивала тщательно подбрита полоска усов. Уже один этот вид говорил о том, что Мухтаров действительно решил кое-кому дать бой.

Комсорг киповского цеха, у которого половина комсомольцев была в декрете и который никак не мог поэтому провести цеховое собрание, сидел мрачный. Иногда он сам не приходил на комитет по семейным обстоятельствам, и тогда про него острили, что он тоже в декрете. Жена его месяца три назад родила дочь. Оба супруга были комсоргами цехов, и у них нередко совпадали то собрания, то лекции. Днем дочь была в яслях, а вечером ее не на кого было оставить, и трехмесячная Ляля в белоснежном конверте появлялась то на заседании комитета, то на семинаре по технике безопасности.

— Не горюй, Саша,— сказала ему Векилова.— Где же сегодня твоя Ляля? Лекцию в университете культуры слушает?..

— Здравия желаю! — приветствовал нас начальник общежитий.

Следом за ним явились Краснощекова и Тося. Все трое сели рядышком. Вошла Галя. Поискала глазами, где бы сесть, и села на отшибе, у стены. Ко мне подсел спецкор Зайцев.

— Ну и ну,— сказал он мне.— Я ей один вопрос, она мне два. Характерец!

Ждали директора. Векилова звонила ему, и он обещал прийти. Не явился еще и возлюбленный Гали с товарной. Все смотрели на дверь. Но вошел не директор, а молодой инженер, исключенный из комсомола. Наверно, и сегодня он собирался поднять свой вопрос. И снова меня удивило его спокойное, равнодушное лицо, припомнился его голос, такой же спокойный и равнодушный: «Я бы хотел, чтобы меня восстановили в комсомоле...»

Мухтаров неожиданно сорвался с места. В дверях стояла Наташа Попова.

— Ты зачем здесь?

— Соскучилась.

Но вот и директор. Он вошел, как к себе домой или в свой кабинет, на ходу сбросил пальто, и только потому, что он не сразу нашел, куда его повесить, можно было понять, что он здесь не частый гость.

Вешалка оказалась за дверью. Директор подтянул галстук и размашистым шагом направился к председательскому столу — видно, он привык заседать только в президиуме.

Зайцев шепнул мне:

— Лев. Попробуй-ка поговорить с таким дядей.

Один только раз я был у директора, говорил с ним. Вернее, говорил он, а я признательно молчал: и то хорошо, что хоть принял, нашел время. Он рассказывал о заводе, влюбленный не столько в его настоящее, сколько в будущее. Ворота завода он назвал воротами большой химии. Я развесил уши и слушал его. И только под конец решился заговорить о настоящем заводе. Нельзя ли, например, сделать так, чтобы в ремонтных мастерских наряды закрывались индивидуально? Заметил, кстати, что в безветренную погоду трудноато дышать на заводе — слишком уж травят газ.

На это директор сказал, что главная задача сегодня состоит в том, чтобы пустить бутановую группу, что до сих пор синтетический каучук они получают из синтетического спирта и что этот промежуточный процесс должен быть ликвидирован. Именно на это сейчас брошены все силы.

— Я надеюсь,— сказал он,— что бутановая группа вовремя вступит в строй.

Что же касается нарядов и нежелательной концентрации газа в воздухе — это, сказал он, конечно, важно, но не это решает исход борьбы за большую химию.

Я поблагодарил и ушел. А за что поблагодарил, сам не знаю. Ну только разве за то, что принял. Про наряды, о которых мне твердили в ремонтном цехе, и про газ, от которого у самого трещала голова, я так ничего и не выяснил.

...Директор уселся за стол и, даже не взглянув, кто с ним рядом, налил из графина стакан воды и залпом осушил его. Мухтаров рядом с ним как-то сразу превратился в мальчика-подростка. Я смотрел на него и думал, что написать заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности ему куда легче, чем сказать этому льву все, что он думает. Ведь он сам жаловался, что еще ни разу не смог пробиться в директорский кабинет, поговорить с глазу на глаз, а все ловил начальство на лестнице или на заводском дворе. Такой подходящий случай, как

сейчас, может, больше не подвернется. Мне хотелось сказать ему: «Слушай, Мухтаров, честное слово, небо не упадет — не бойся. Действуй, работай, черт бы тебя побрал!»

Директор тем временем налил второй стакан воды, и тут Мухтаров протянул ему руку и сказал:

— Здравствуйте. Мы еще сегодня не виделись.

Директор не успел отпить из второго стакана. Он поставил его на стол, удивленно вскинул на Мухтарова голову и быстро пожал ему руку. Потом снова взял стакан, но не выпил его залпом, а только чуть отхлебнул.

А я подумал: один ноль в пользу Мухтарова!

Вошла девушка с деловым лицом, извинилась и попросила Мухтарова вернуть ей книгу, отобранную у нее вчера ночью рейдовой бригадой.

— Это чужая книга,— говорила она.— Мне сегодня же надо ее вернуть.

Мухтаров достал из-под стола целую связку книг.

— И вообще,— продолжала девушка,— я не понимаю, зачем нужно было ее отбирать. Неужели книга не может лежать на столе?

— Как называется? — спросил Мухтаров.

— «Женщина в белом».

Мухтаров отыскал книгу, но, прежде чем вернуть ее, сказал:

— Так вот. Книга не просто лежала на столе. Вы ее читали, и я вам скажу, на какой странице. Здесь есть закладка. На сто двадцать седьмой. Работаете вы в центральной лаборатории, на ответственных пробах. Возьмите книгу, но в другой раз мы будем ставить вопрос резко.

Девушка взяла книгу и пошла к двери. Мухтаров остановил ее.

— Одну минуточку. Ваша фамилия Сергеева?

— Да.

— Насколько я помню, вы ни разу не явились на работу в городской парк.

Девушка ответила, что она учится в вечернем институте, нет времени.

— У нас в городе каждый второй учится,— ответил Мухтаров.— Сейчас идите, но мы еще поговорим.

Девушка ушла, а директор пододвинул себе стопку книг и, перебрав их, сказал:

— За этими книгами пусть придут ко мне.

Кто-то тихо подумал вслух:

— Прощай, книжечки!

Но Мухтаров сказал, что решил поговорить с товарищами сам. При этом он пододвинул к себе стопку книг и для верности сунул ее опять под стол. А я опять подумал: еще одно очко в пользу Мухтарова. Одно он забыл сделать: открыть заседание комитета, объявить повестку дня. Но никто не заметил этого, потому что повестка дня была объявлена сегодня городской газетой в короткой заметке о шахе.

— Играешь в казаки-разбойники,— усмехнулся директор.— Устраиваешь ночные засады, пугаешь людей. Замысел хороший — контроль нужен, а на деле получается увеселительное мероприятие. Вам только еще черные маски надеть да пистолеты за пояс — и настоящие пинкертоны.

Директор был не так уж не прав. Жалобы из цехов на рейдовые бригады действительно поступали. Кое-кто превышал полномочия и слишком усердно искал нарушителей трудовой дисциплины.

Но Мухтаров напомнил, что не так давно по распоряжению дирек-

тора был уволен человек за то, что задремал на работе, и что, по его мнению, спать или читать книги — одинаково плохо.

Затем директор с той же злой веселостью, с какой он отозвался о рейдовых бригадах, прозвав ребят пинкертонами, стал костить комитет за уход от главных задач, за неумение видеть жизнь в перспективе.

— Наш завод,— говорил он назидательным, но веселым голосом,— это ворота большой химии. Какова главная наша задача на сегодня? Пусковой объект. Бутановая группа. Какова вторая наша главная задача? Ликвидировать задолженность перед государством.

В дверях появились два парня. Я узнал их: оба из общежития Сазоновой.

— Можно? Нам сказали, что Сазонову обсуждать будут. Хотели бы поприсутствовать.

— Сегодня комитет,— сказала Векилова,— а не общее собрание. Впрочем, как члены комитета решат.

— У нас нет секретов,— сказал Мухтаров.— Как, товарищи?

— Пускай присутствуют...

— Мы ей не чужие. Вместе в эшелоне ехали.

Они не сели за общий длинный стол, а взяли стулья и пошли с ними туда, где сидела Галя.

Директор подождал тишины и снова повторил о задолженности завода, но его снова прервали. Вошли еще двое парней.

— Здесь Сазонову обсуждают?

— Здесь.

— Давай сюда, к нам,— позвали их с той стороны, где сидела Галя.

Директор продолжал. Он сказал, что не текучка решает исход борьбы за пусковой объект. Именно это должен понять комитет комсомола, а не оспаривать отдельные приказы дирекции.

— Ой, я опоздала? — спросил тоненький голосок у двери.— Мне говорили — в половине шестого, а сейчас только четверть. Еще не обсуждали Сазонову?

— Продолжаю,— сказал директор. Он явно не желал замечать того, что мешало ему видеть перспективу большой химии.

Векилова о чем-то спросила Мухтарова, тот пожал плечами. Скоро я получил от нее записку: «У вас неплохие организаторские способности!» Я ответил, что понятия не имею, о чем она говорит. А народ все прибывал и прибывал. И это уже была не моя вина, а вернее, не моя заслуга.

Не хватало стульев, их тащили из других комнат заводоуправления. Собкор Зайцев шепотом признался мне:

— Я начинаю кое-что соображать.

И я тоже шепотом похвалил его:

— Молодец.

А он опять мне:

— Смотри, как ее прикрыли.

Он имел в виду Галю. Она сидела в надежном окружении. Этого не могли не заметить и ее личный враг — начальник общежитий и Краснощекова с Тосей — свидетели обвинения...

Снова заговорил директор. Он сказал, что нарушителей дисциплины на заводе или в общежитии наказывать будут крепко. И тут Краснощекова вдруг разревелась.

— Это он,— указала она на начальника общежитий,— он заставил нас писать заявление. Даже диктовал нам.

Директор замолчал, откинулся на спинку стула, удивленно посмотрел на Мухтарова. Тот встал и извиняющимся голосом объяснил:

— Вы уволили с завода комсомолку Сазонову. Товарищи не согласны. Пришли высказать свое мнение о ней.

— Я, например,— встал комсорг киповского цеха.

Поднялась чья-то рука.

— Я тоже.

Кто поднимал руку, кто вставал.

— Задолженность перед государством — конечно, важная вещь,— сказал комсорг киповского цеха.— Ее с нас никто не спишет. Но и человека тоже списывать нельзя.

Начальник общежитий шумно возмутился:

— Сазонова — аморальная личность! Решила разбить семью!

Ему ответила Наташа Попова:

— Такое один человек решить не может.

Снова заголосила Краснощекова:

— Мы за другое на нее обиделись. Когда Сашка-сержант приходил ко мне в увольнительную, она с ним три вальса подряд танцевала. Мы и рассказали начальнику, что у нее ухажер женатый... что камушками ей в окно сигналит...

Но начальник ее прервал:

— Пусть расскажет, где она сегодня ночью ночевала?

— На лавочке в трамвайном павильоне,— огозвалась Галя.— Вы ж кровать мою убрали.

— Ты в милиции ночевала. Вот где.

Я попросил слова, встал и сказал:

— Сазонова говорит правду. Я тоже там был.

Собкор Зайцев испуганно поглядел на меня. Начальник общежитий не отказал себе в удовольствии съязвить:

— В милиции или на лавочке? — спросил он.

— И в милиции и на лавочке.

Мухтаров торжественно объявил:

— Мы вместе с товарищем корреспондентом выясняли в милиции, за что задержали девушек. Сазонова не одна там была. Милиция извинилась перед девушками за то, что неправильно задержала их.

Никто, конечно, не извинялся, но Мухтарову так хотелось. Он попросил разрешения сказать несколько слов. При этом он сердито поглядел на Наташу, она о чем-то перешептывалась с соседом Сазоновой по общежитию. Но надо было выбирать что-нибудь одно: ревновать или делать дело. И Мухтаров выбрал последнее. Теперь он уже открыто пошел в атаку на директора и с непривычки, от волнения употреблял хотя и солидные, но не очень-то точные слова. Он сказал, что в данный момент у комитета и дирекции отношения нерентабельные. Он заверил директора, что молодежь завода — а ее восемьдесят процентов! — гордится тем, что их завод — ворота большой химии, что они тревожатся о задолженности, мечтают о будущем комбината.

— Но вот однажды,— продолжал Мухтаров,— я стал свидетелем, как в эти самые ворота большой химии...— Он улыбнулся и пояснил: — Я говорю о наших заводских воротах, не пустили одну комсомолку. Я подошел и спросил, в чем дело. Помоги, говорит, комсорг. Не пускают, а у меня смена начинается. Даже сама она не знала, что ее уволили, уже не говоря о том, что ни я, ни комитет тоже не знали. Сейчас я говорю о Сазоновой. Но это не единственный случай, когда комсомольцев увольняют, а мы узнаем об этом последние. Я дважды обращался в дирекцию, просил: пожалуйста, разберитесь получше в деле Сазоновой. Она два года работала в цехе готовой продукции, год в киповском. А вы мне ответили: «Не буди во мне восток, Мухтаров».

Я видел, что какой-то парень прямо-таки разинул рот от удивления

и удовольствия, слушая Мухтарова. А ведь вчера еще к нему не хотели идти. Начальник общежитий заерзал на стуле, встал, потом снова сел и сказал:

— Сколько шуму, а из-за кого? Я, может, грубо скажу: из-за какой-то девки... Может, вы еще ее похвалите, что чужого мужа уводит?.. Отца семейства?

Мухтаров ответил, что комитет занимался уже этим вопросом и на сегодня вызвал самого отца семейства, но вот что-то его нет.

— Может, пришел? — спросил кто-то. — В коридоре сидит?

Несколько человек повскакали с мест, заглянули в коридор.

— Здесь! Здесь он.

Я смотрел на директора. Он как-то пообмяк. Не изменила ли ему его привычка не обращать внимания на мелочи? Может, понял он, что бутановая группа своим чередом, а жизнь и впрямь остановить нельзя, что вопрос о Сазоновой, как и множество других вопросов, вовсе не текучка, а имеет прямое касательство к будущему завода.

Появился человек, которого Зайцев не замедлил оценить.

— Все при нем, — шепнул он мне.

Верно, возлюбленный Гали хоть кого мог сразить своей статностью. Он вошел медленно и молча, а когда остановился, расставил ноги, отвел руки за спину. «А ну подойди, тронь» — казалось, говорил Нуриев всем своим видом. И я подумал: вряд ли кто отважится тронуть такого. На нем была черная кожаная куртка, а под курткой — белая рубашка с открытым воротом. Смуглая мускулистая шея надежно и прямо держала голову. Глаза смотрели вперед или, скорее, вдаль. Я подумал, что запрети Галю хоть на десятом этаже, она все равно найдет способ прийти на свидание к этому парню.

Мухтаров, должно быть, не знал, с чего начать, как подступиться к Нуриеву, и охотно уступил это дело Векиловой. Она спросила Нуриева, что он может сказать о своих отношениях с Сазоновой, ведь, насколько известно, у него есть семья.

— Конечно, есть.

— Ну а Галя?

— Какая Галя? Мало-мало знакомы...

Я никогда не слышал его голоса, и сейчас ни за что не хотелось поверить, что это говорит он. Он стоял, все так же расставив ноги, держа руки за спиной, устремив взгляд куда-то вдаль. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Не произошла ли ошибка? Может, пришел не тот, кто нужен? Казалось, сама тишина в недоумении. Потом недоумение сменил стыд, а стыд — обида.

— Мало-мало знакомы, — повторил он.

— Врешь! — крикнула ему Тося. — Врешь!

— Зачем так, — сказал Нуриев. Он вытащил из кармана куртки какую-то бумажку. — Вот квитанция. Заказное письмо писал. Скоро жена придет и мальчик... Какая Галя... Ничего не знаю.

Пожалуй, один только начальник общежитий радовался и даже был в восторге.

— Ясное дело, она к нему сама приставала, — торжествовал он и, поймав на себе тяжелый, злой взгляд директора, умолк.

Кто-то тихо говорил Сазоновой:

— Ну и тип твой машинист. Трус он, вот кто. А тебе из-за него еще неприятности переживать.

Собкор Зайцев тоже сокрушался, но мне на ухо:

— В каком свете девушку выставляет! Сказал бы — да, мол, было дело, а теперь иначе жить хочу. Ну и ну!..

Кто-то даже показал Нуриеву кулак.

— Сазонова,— позвал Галю директор.

Она встала. Мне она показалась иной, чем прежде. Нагловатая манера разговаривать, разухабистые словечки делали ее вроде выше ростом, полнее. На самом деле Галя была невысокого роста, худенькая, с большими руками.

— Так вот, Сазонова,— сказал директор.— На работу выйдешь сегодня же, в ночь. Сам проверю.— Он повернулся к Мухтарову.— Гони подлеца вон!.. Позорит республику!..

Комитет затянулся до позднего вечера. Да и потом народ еще долго не расходился. Я слышал, как директор сказал Векиловой:

— Конечно, шаху не к лицу признавать свои ошибки, но я не шах, товарищ Векилова.

Высоченный парень в тельняшке под пиджаком говорил девушке с тоненьким голосом:

— Если бы из-за меня кто со второго этажа сигал, я до гроба гордый ходил бы.

— Я бы таким, как Нуриев, паровозы не доверяла,— сказала девушка.

К Мухтарову подошел молодой инженер.

— Я бы хотел...

Мухтаров не дал ему договорить:

— Возвращайся на завод, тогда и хоти!

Я спросил Векилову, в какую из папочек она положит протокол сегодняшнего комитета.

Она ответила, не задумываясь:

— Новую заведу!

На улицу мы вышли вместе с Галей. Сначала шли молча. Потом она сказала:

— Ну вот все и уладилось.— Она улыбнулась, а в глазах были слезы.

— Он не очень-то любил вас. Вот в чем штука,— сказал я.

У трамвайной остановки мы расстались. Она торопилась на работу. Подошел собкор Зайцев.

— Будем прощаться. Совсем уезжаю. Не скучай смотри.

— Постараюсь.

— А есть все-таки в Сазоновой что-то отрицательное,— сказал он, а сам опасливо посмотрел на меня.

— Сам-то ты кто — положительный или отрицательный?

— Ладно тебе, я ведь серьезно.

— Нет, ты скажи: положительный ты или отрицательный?

Зайцев протянул мне руку.

— Бывай. Я все-таки тисну что-нибудь проблемное. Придется обойти тебя. Ты ведь надолго сюда? Небось на всю жизнь?

Он ушел, а я подумал, что скоро и мне прощаться с Мухтаровым, Галей и Наташей Поповой. Но потом я поеду в другие места, к другим строителям, а стало быть, командировка моя бессрочная, или, как сказал только что собкор Зайцев, на всю жизнь.



ПУБЛИЦИСТИКА

Академик П. Ф. ЮДИН

★

ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ

Наш век войдет в историю как век победы коммунистического строя над старым миром частной собственности и угнетения человека человеком. С нашего времени будут вести летосчисление новой эры, открывающей историю общества в собственном смысле слова, общества, основанного на планомерном братском сотрудничестве людей вместо прежней борьбы за личные интересы, господства одних над другими, социального неравенства и несправедливости.

Обреченность капитализма ни в чем не проявляется с такой яркостью, как в том, что его верные слуги не могут в настоящее время выдвинуть никакой идейной программы, кроме позорных оправданий власти немногих экономически более развитых наций над остальным человечеством, кроме защиты привилегий богатого меньшинства. Благополучие этого меньшинства, охрана его интересов от поднимающихся к свободной жизни широких народных масс являются в их глазах главной целью «западной цивилизации». Но даже для того, чтобы оправдать эту человеконенавистническую и реакционную программу, они вынуждены рядиться в чужие перья, объявляя себя социалистами нового типа или сторонниками «свободного мира». Массовые убийства, совершаемые во имя этой программы, подобные недавнему империалистическому погрому в Бизерте, лучше всего раскрывают внутреннюю лживость буржуазной пропаганды. Существует лишь одна цель, одна идея, способная вести современное человечество к миру, счастью и прогрессу,— это коммунизм.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза примет новую Программу — программу построения коммунистического общества. Немногим более полувека назад русские большевики впервые обнародовали свою программу. Она звала рабочий класс и всю трудовую Россию свергнуть самодержавие, установить демократическую республику, а затем уничтожить буржуазный строй и установить диктатуру пролетариата. Героическими усилиями партии и народов России эта программа была осуществлена.

Совершив это поистине гигантское дело, Коммунистическая партия выдвинула программу построения социалистического общества. Это была невиданная по смелости задача. Владеющая единственно научным мировоззрением, основанным на знании объективных законов исторического развития, наша партия исходила из того, что социалистическое общество в отличие от всех предшествующих формаций складывается не стихийно, а в результате сознательной деятельности людей. И партия вооружила этими знаниями народные массы нашей страны. Ленинский гений создал научно обоснованную программу построения социализма Советский народ, руководимый своим испытанным вождем — ленинской партией,— с честью выполнил и эту программу партии. Выполнил, несмотря на то, что ему пришлось идти непрогоренными путями, испытывать огромные лишения, преодолевать неимоверные трудности, отражать жестокие вражеские нашествия. Революционный подвиг нашего народа беспримерен!

«Социализм, неизбежность которого была научно предсказана Марксом и Энгельсом, социализм, план построения которого был начертан Лениным, стал в Советском Союзе реальной действительностью»,— говорится в проекте Программы КПСС.

Победа социализма в нашей стране проложила и для всех народов мира столбовую дорожку к социализму. По этой дорожке идет уже немалая часть человечества. Рано или поздно по ней пойдет все население нашей планеты.

Построив социалистическое общество, советский народ вступил в новую полосу исторического развития. Его великие завоевания позволили партии поставить новую историческую задачу — переход к высшей фазе коммунистического общества.

Партия, опираясь на законы развития и собственный опыт, исследует в новой Программе закономерности перерастания социализма в коммунизм и определяет задачи коммунистического строительства буквально во всех сферах жизни: в экономике и культурном строительстве, внешней политике и коммунистическом воспитании людей. Она указывает средства, устанавливает сроки осуществления этих задач, намечает точные даты движения советского общества к коммунизму и определяет его основные этапы.

Создавая конкретный план построения коммунизма в СССР, КПСС думает о судьбах всех населяющих землю людей. «Коммунизм,— говорится в Программе,— выполняет историческую миссию избавления всех людей от социального неравенства, от всех форм угнетения и эксплуатации, от ужасов войны и утверждает на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство и Счастье всех народов».

* * *

Социализм в СССР победил не только полностью, но и окончательно — к такому заключению пришел XXI съезд КПСС. Этот вывод огромной исторической важности основывается на анализе итогов социалистического строительства в нашей стране, успехов мировой социалистической системы и соотношения сил на международной арене.

Марксисты никогда не сомневались ни в полной, ни в окончательной победе социализма. Они лишь по-разному ставили и решали в определенные исторические периоды эту важнейшую проблему. Так возникали и решались вопросы о возможности победы социализма одновременно во всех странах, в большинстве стран, в отдельно взятой стране, вопрос о мирной и немирной победе социализма, вопрос о полной и окончательной победе социализма и т. д.

Возможность полной победы социализма с точки зрения марксизма определяется соотношением классовых сил в стране и достигается путем разрешения внутренних противоречий государства его собственными революционными силами. Окончательная же победа его определяется соотношением классовых сил на международной арене и может быть достигнута лишь при условии полной гарантии от империалистической интервенции и насильственной реставрации капиталистических порядков.

Именно такие условия, по определению XXI съезда КПСС, сложились в наше время. Правда, гарантия от реставрации капитализма не тождественна с гарантией от нападения извне. Опасность войны еще существует, поскольку существует империализм. Однако фатальной неизбежности войны уже нет. Напротив, именно теперь, когда мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человечества, когда империализм утратил свое преобладающее значение и не в силах уже оказывать решающего влияния на ход международных событий, есть вполне реальная возможность предотвратить новую войну. Но если в мире еще существуют силы, способные развязать новую войну, то сил, способных реставрировать капитализм в странах социалистического лагеря, уже нет, ибо этот лагерь сильнее лагеря империализма. На этом и основывается вывод XXI съезда КПСС о том, что социализм победил в СССР не только полностью, но и окончательно.

* * *

Итак, Советское государство вступило в новый период своего развития — период развернутого строительства коммунистического общества. Все особенности и характерные черты этого периода определяются соотношением между социализмом и коммунизмом, а ведь они отнюдь не различные общественно-экономические формации, а лишь две фазы одной и той же формации. В обеих фазах существует один и тот же способ

производства, господствует общественная собственность на средства производства, отсутствуют эксплуатация и антагонистические классы. Цель общественного производства обеих фаз — максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей трудящихся путем непрерывного расширения и совершенствования производства на базе передовой техники. Развитие народного хозяйства происходит планомерно и пропорционально, труд — всеобщая обязанность, а производственные отношения базируются на сотрудничестве и взаимопомощи.

Но, будучи двумя ступенями в развитии одной формации, социализм и коммунизм обладают и некоторыми отличительными чертами как в экономической, так и в политической области. Коммунизм отличается гораздо более высоким уровнем развития производительных сил и совершенством материально-технической базы. Коммунизм предполагает и более совершенные производственные отношения и переход к единой общенародной собственности. А это ведет к ликвидации существенных различий между городом и деревней и полному исчезновению классового деления общества. Коммунизм предполагает стирание граней между рабочим классом, крестьянством и интеллигенцией. А это неразрывно связано и с ликвидацией существенных различий между умственным и физическим трудом, с преодолением имеющихся ныне форм разделения труда. Коммунизм означает превращение труда в первую жизненную потребность всех членов общества и переход от социалистического принципа распределения по труду к коммунистическому принципу распределения по потребностям. А это ведет к уничтожению всяких остатков имущественного неравенства. Коммунизм предполагает всемерное развитие социалистической демократии и переход от государственности к коммунистическому общественному самоуправлению. Коммунизм, наконец, знаменует собой грандиозный, ни с чем не сравнимый прогресс во всех областях общественной жизни, науки, техники, культуры, воспитание всесторонне развитых людей, полный расцвет всех их способностей и талантов.

Но диалектика перерастания социализма в коммунизм такова, что построение коммунистического общества достигается не отменой, не ликвидацией основных принципов социализма, а их дальнейшим укреплением и всесторонним использованием, максимальным развитием основных начал, характерных для обеих фаз коммунистического общества.

Поэтому недопустимо пренебрегать преемственностью в развитии или перепрыгивать через его отдельные этапы. Отказ от принципов социализма и преждевременное введение коммунистических форм экономической и общественной жизни не только не ускорят перерастание социализма в коммунизм, но приведут к прямо противоположным результатам. Это, конечно, не означает, что мы должны поддерживать отсталое, себя изжившее. Отдельные устаревшие формы постоянно заменяются новыми, более прогрессивными формами.

«Переход от социалистической стадии развития к высшей фазе — это закономерный исторический процесс, который нельзя произвольно нарушить или обойти», — говорил на XXI съезде КПСС Н. С. Хрущев. И это есть первая особенность нынешнего периода развития нашего общества.

Вторая его особенность состоит в том, что этот закономерный переход от социалистической стадии развития к высшей фазе есть непрерывное и постепенное движение. Причем, опять-таки само «постепенное перерастание социализма в коммунизм — объективная закономерность»; оно, как подчеркивается в проекте Программы, «подготовлено всем предшествующим развитием советского социалистического общества».

Но постепенность перехода — и в этом заключается третья особенность нынешнего периода — недопустимо истолковывать как какое-то замедленное движение. Наоборот, подчеркивает Н. С. Хрущев, «это есть период быстрого развития современной индустрии, крупного механизированного сельского хозяйства, всей экономики и культуры при активном и сознательном участии миллионов и миллионов строителей коммунистического общества».

Только совпадение субъективных устремлений людей с объективным ходом общественного развития, совпадение, основанное на познании и использовании объективных закономерностей, может ускорить этот исторический процесс.

Вот почему наша партия, как указывается в проекте ее Программы, «как партия научного коммунизма, выдвигает и решает задачи коммунистического строительства в меру подготовки и созревания материальных и духовных предпосылок, руководствуясь тем, что нельзя перепрыгивать через необходимые ступени развития, равно как и задерживаться на достигнутом, сдерживать движение вперед».

Существует только одно средство ускорить строительство коммунизма, приблизить наступление высшей его фазы — это усиление экономического строительства, максимальное повышение уровня развития производительных сил, материальной основы коммунизма. Ибо осуществление основного принципа коммунизма возможно лишь при условии создания изобилия материальных и духовных благ, достигаемого на основе высокого развития материального производства. Следовательно, темпы нашего движения по пути к коммунизму, замедление его или ускорение, определяются темпами развития производительных сил — этой основы основ коммунизма. Вот важнейшая задача нашего времени.

В проекте Программы КПСС дано всестороннее исследование и научное обоснование практического решения этой задачи. Она названа главной экономической задачей партии и советского народа на ближайшие два десятилетия.

* * *

Материально-техническая база всякого общества характеризуется размерами и эффективностью производства.

Материально-техническая база коммунизма — самый совершенный в мире производственный аппарат, обеспечивающий изобилие материальных благ. Ее создание означает прежде всего дальнейшее развитие тяжелой индустрии, на основе чего будут технически перевооружены все другие отрасли народного хозяйства.

Но современная техника во всем ее многообразии основывается прежде всего на применении электрической энергии. Без электрификации всего народного хозяйства немислимы подлинный технический прогресс и повышение технической вооруженности труда. Это главное условие для создания материально-технической базы коммунизма.

Электрификация коренным образом изменит условия труда и увеличит его производительность. Она освободит человека от вредного для здоровья и тяжелого физического труда. Она обеспечит завершение комплексной механизации и автоматизации производства, создание всеобъемлющей системы автоматизированных высокопроизводительных машин и управление ими. Электрификация позволит осуществить и химизацию производства, открывающую способы получения новых видов сырья и материалов, она в огромной степени повысит скорости, сделает возможным превращение сельскохозяйственного труда в разнородность индустриального. Средствами электроники электрификация значительно повысит эффективность умственной деятельности и будет способствовать стиранию существенных различий между умственным и физическим трудом. Уже сейчас все сферы жизни испытывают на себе эффективное воздействие электрификации. Электрификация — это характерная черта материально-технической базы коммунизма, ибо она служит «стержнем строительства экономики коммунистического общества».

Механизация и автоматизация производства — важнейшее средство современного технического прогресса. Советская экономика уже достигла значительных успехов в этой области. От механизации отдельных процессов мы уже переходим к комплексной механизации и автоматизации производства. Партия наметила четкую программу завершения комплексной механизации всех производственных процессов и осуществление комплексной автоматизации в большинстве отраслей материального производства. Это — генеральная линия развития производительных сил на современном этапе.

Комплексная механизация и автоматизация производства чрезвычайно сложный процесс, требующий не только огромных капиталовложений, но и больших трудовых затрат. В нашей промышленности еще слабо механизированы вспомогательные процессы, особенно погрузочно-разгрузочные работы (в строительстве, на транспорте и в промышленных предприятиях). А между тем на этих работах занято свыше

четверти всех рабочих в стране. Более половины строительных рабочих также занято ручным трудом. Недостаточна еще степень механизации в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве.

Это, разумеется, не означает, что дела с механизацией и автоматизацией нашего народного хозяйства обстоят вообще плохо. Только за 1960 год в нашей стране было внедрено в производство свыше 2 800 автоматических, полуавтоматических и механизированных поточно-конвейерных линий. Однако завод-автомат — основной тип предприятий коммунистического общества — пока еще редкое явление в нашей промышленности. Комплексная механизация и автоматизация производства — это задача, практическое решение которой еще предстоит осуществить.

В первом десятилетии согласно проекту Программы осуществится комплексная механизация в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, погрузочно-разгрузочных работах, в коммунальном хозяйстве. В течение двадцатилетия осуществится в массовом масштабе комплексная автоматизация производства со все большим переходом к цехам и предприятиям-автоматам.

Комплексная механизация и автоматизация заменят ручной труд машинным не только в основных, но и на вспомогательных операциях. За человеком останутся лишь функции наблюдения и регулирования, которые на высшей ступени автоматизации также перейдут к машине.

Современная техника решает задачу не только замены физического труда человека машинным, но и повышения эффективности умственного труда путем передачи отдельных функций умственной деятельности быстродействующим машинам. Проект Программы подчеркивает необходимость широкого применения кибернетики, электронных счетно-решающих и управляющих устройств на производстве, в научно-исследовательских работах, проектно-конструкторской практике, плановых расчетах, в сфере учета статистики и управления.

Телемеханика и кибернетика уже вторгаются в самые различные области физического и умственного труда человека, в корне изменяя его условия, содержание и результаты. Дальнейшее развитие автоматизации приведет к созданию сложнейших систем высокопроизводительных автоматов, осуществляющих весь производственный процесс без вмешательства человека, на долю которого останутся функции командира производства, а также инженерная деятельность по дальнейшему совершенствованию автоматов.

Осуществление комплексной автоматизации в масштабе всей национальной экономики, как и достижение на этой основе самых эффективных результатов в экономической и социальной областях, возможно лишь в условиях социалистического общества.

Итак, комплексная механизация и автоматизация производства, служащие «материальной основой для постепенного перерастания социалистического труда в труд коммунистический», — характерная черта материально-технической базы коммунизма.

Если электрификация развивает в первую очередь энергетическую базу, а механизация и автоматизация изменяют все составные части современной системы машин, роль самого производителя и характер его труда, то есть революционизируют производительные силы в целом, то современный научно-технический прогресс охватывает также и предмет труда, распространяется и на средства производства. Революционизирование материалов — наиболее консервативного элемента технического прогресса — достигается главным образом путем химизации производства. Это еще одна важная черта материально-технической базы коммунизма.

Наша страна уже вышла на первое место в мире по темпам развития химической промышленности и на второе по объему ее продукции. За семилетие объем продукции химической промышленности возрастет почти в три раза, в результате чего эта отрасль экономики встанет в ряд ведущих отраслей нашего промышленного производства.

Химизация производства экономит сырье и материалы, время и энергию, экономит самый труд. Она вносит рационализацию в использование сырьевых ресурсов. С развитием ее появляются новые материалы, причем материалы с заранее заданными свойствами, превосходящие по своим техническим качествам природные. Благодаря химизации используются новые виды и источники сырья, в том числе такие простые, как

вода, воздух; комплексно используются сырьевые ресурсы и утилизируются отходы производства; прекращается расходование на технические нужды дорогостоящих и редких видов сырья и материалов

Химизация революционизирует всю технологию производства, методы и способы изготовления продукции, вытесняя трудоемкую механическую технологию и обработку, сокращая производственные циклы и ускоряя производственный процесс за счет непрерывности и высоких скоростей протекания химических процессов.

Химизация, наконец, вносит конструктивные изменения в производственную технику, способствуя ее ускоренному развитию, порождает новые отрасли промышленности. Современные механизмы и аппаратура, работающие на высоких параметрах, требуют материалов с особыми свойствами, которые могут быть получены исключительно химическим путем, к тому же значительно более экономичным, нежели другие методы производства. Атомная энергетика и ракетная техника, скоростные автоматы и турбореактивная авиация, а также многие другие достижения современного научно-технического прогресса были бы невозможны без химизации производства.

Значительно возрастает роль химии в сельском хозяйстве. Стимуляторы роста, минеральные удобрения, ядохимикаты, питательные вещества и прочее повышают плодородие почвы, способствуют росту урожайности и продуктивности животноводства.

Наконец, производство предметов культурно-бытового назначения, обуви, одежды, различного рода предметов широкого потребления немыслимо без современной химии. Нет буквально ни одной отрасли народного хозяйства, которую бы не затронула химизация, в огромной степени расширяющая возможности роста народного богатства. Она видоизменяет весь производственный процесс — и способы изготовления продукции и самую организацию труда.

Высокое развитие техники, обеспечиваемое электрификацией, автоматизацией и химизацией производства,— это важнейшее, но не единственное условие достижения такого уровня производительности труда, который необходим для создания изобилия материальных благ. Другое не менее важное условие его — утверждение наиболее совершенных форм организации общественного производства. В нашей экономике достигнут высокий уровень обобществления производства. В дальнейшем этот процесс будет развиваться путем концентрации, специализации и кооперирования производства и его комбинирования, иначе невозможно достижение высшей ступени автоматизации.

Наша страна уже вышла на первое место в мире по уровню концентрации в промышленности. Однако дальнейшее укрупнение промышленных предприятий остается важной и актуальной задачей экономического строительства. Концентрация производства обеспечивает наилучшее использование производственных мощностей, приносит экономию времени и средств в промышленном строительстве, увеличивает эффективность предприятий и удешевляет их продукцию.

Специализация и кооперирование, осуществляемые путем все большего разделения труда между отдельными отраслями и предприятиями и развития экономических связей между различными территориальными единицами, способствуют внедрению новейшей техники, наиболее эффективному использованию орудий производства и материалов, совершенствованию мастерства работников, ликвидации вспомогательных немеханизированных операций и вспомогательных служб, концентрации и экономии материальных и трудовых ресурсов.

Значительную роль в совершенствовании форм организации общественного производства играет комбинирование, дающее огромный экономический эффект. Наконец, совершенствование форм организации общественного производства неразрывно связано с улучшением территориального размещения производительных сил. Проект Программы КПСС предусматривает комплексное развитие и усиление специализации всех районов страны, упрочение и расширение их экономических связей, совершенствование структуры всего народного хозяйства СССР.

Но сочетание высшей техники с наиболее совершенными формами организации общественного производства также еще недостаточно для достижения производитель-

ности труда, обеспечивающей изобилие материальных благ. Высокая квалификация самих работников производства — третье необходимое условие.

Развитие производительных сил означает совершенствование не только орудий труда, механизмов и машин, но и главной производительной силы — самого производителя. «Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся», — учит Ленин¹. В условиях развернутого коммунистического строительства эта главная производительная сила получает неограниченный простор для своего развития. Уже само создание, внедрение и освоение современной техники требует высокого культурно-технического уровня всех работников производства, постоянного совершенствования их знаний, повышения квалификации.

«Партия будет всемерно содействовать дальнейшему усилению роли науки в строительстве коммунистического общества...» Наука, указывается в проекте Программы, станет в полной мере непосредственной производительной силой. Непрерывное повышение инженерной подготовки трудящихся, постоянный рост их культурно-технического уровня также представляет собой одну из характерных черт материально-технической базы коммунизма.

Итак, все рассмотренные выше особенности и характерные черты материально-технической базы коммунизма обеспечивают в конечном итоге достижение самого главного условия победы: повышения производительности труда. «Повышение производительности труда составляет одну из коренных задач, ибо без этого окончательный переход к коммунизму невозможен», — указывал Ленин². За годы советской власти производительность труда в нашей промышленности выросла в одиннадцать раз (с 1913 по 1960 год). Но мы пока еще отстаем от США: в промышленности производительность труда ниже американской в два — в два с половиной раза, а в сельском хозяйстве — примерно в три раза.

Повышение производительности труда в нашей стране — это поистине всенародное дело, и не случайно СССР занимает первое место в мире по темпам роста производительности труда.

Поскольку уровень производительности труда и темпы ее роста определяются особенностями материально-технической базы коммунизма и в свою очередь играют решающую роль в ее создании, партия наметила поднять за десятилетие производительность труда в промышленности более чем в два раза, а за двадцать лет — в четыре, четыре с половиной раза. Это позволит увеличить объем промышленной продукции в течение ближайших десяти лет примерно в два с половиной раза и превзойти современный уровень промышленного производства США, а в течение двадцати лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко позади нынешний объем промышленного производства США. Так обстоит дело с осуществлением этого важнейшего условия победы коммунистического строя.

Решение грандиозной задачи создания материально-технической базы коммунизма согласно проекту Программы предусматривается перспективным генеральным планом развития народного хозяйства СССР на 1961—1980 годы. Однако осуществление этого плана вовсе не будет означать завершения строительства коммунистического общества, ибо развитие этого общества не имеет пределов.

Созданием материально-технической базы коммунизма наш народ заложит лишь фундамент коммунистического общества, решит первую важнейшую задачу периода развернутого строительства коммунизма, которое будет осуществлено в два этапа:

1961—1970 годы — первый, когда СССР превзойдет наиболее мощную и богатую страну капитализма, США, по производству продукции на душу населения; когда всем гражданам будет обеспечен материальный достаток; когда исчезнет тяжелый физический труд и СССР станет страной самого короткого рабочего дня;

1971—1980 годы — второй, когда будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечено изобилие материальных и культурных благ для всего населения; когда советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распреде-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 334.

² В. И. Ленин. О производительности труда. Госполитгиздат. М. 1956, стр. 84.

ления по потребностям и произойдет постепенный переход к единой общенародной собственности.

Уже в результате выполнения семилетнего плана советская экономика вплотную приблизится к современному уровню экономического развития США. Огромную работу предстоит выполнить советским людям, чтобы наше народное хозяйство могло совершить такой гигантский шаг вперед. Ведь для достижения даже современного уровня американского производства продукции на душу населения нам предстоит увеличить производство стали почти в два раза, добычу нефти более чем в три раза, газа в десять раз, выработку электроэнергии почти в четыре раза, производство искусственного и синтетического волокна почти в шесть раз, выработку хлопчатобумажных тканей более чем вдвое, производство мяса более чем вдвое, яиц более чем втрое и так далее.

Особенно большую работу предстоит проделать по дальнейшему подъему сельскохозяйственного производства. Несмотря на значительные успехи в развитии сельского хозяйства за последние годы, достигнутый уровень и темпы роста производства сельскохозяйственных продуктов, особенно продуктов животноводства, как отметил январский (1961 г.) Пленум ЦК, недостаточны. Сельское хозяйство нашей страны развивается еще не такими высокими темпами, как промышленность, не поспевает за бурным ростом нашей индустрии и ростом спроса населения.

Сложные и ответственные задачи поставлены перед сельским хозяйством в проекте Программы партии. Здесь дан конкретный план мощного подъема сельскохозяйственного производства, всех его отраслей, определено главное направление развития и качественного преобразования сельскохозяйственного производства, превращения его в передовую отрасль социалистической экономики.

Главный путь мощного подъема сельского хозяйства — всесторонняя механизация и последовательная интенсификация сельскохозяйственного производства, достижение на основе науки и передового опыта во всех колхозах и совхозах высокой культуры земледелия и животноводства, удовлетворение общественных потребностей в сельскохозяйственных продуктах.

Мощный подъем производительных сил сельского хозяйства (а предполагается, что общий объем сельскохозяйственной продукции увеличится в первом десятилетии в два с половиной раза, а к концу второго десятилетия в три с половиной раза) обеспечит изобилие высококачественных продуктов питания для населения и сырья для промышленности. Так будет решена одна из двух основных задач, поставленных партией перед сельским хозяйством. Производство сельскохозяйственной продукции должно непременно опережать постоянно растущий спрос. Но это станет возможным только тогда, когда сельскохозяйственное производство освободится от вековой зависимости от стихийных сил природы, от ее капризов. Поэтому перед представителями самых различных сельскохозяйственных специальностей, перед всеми тружениками советской деревни и перед многими учеными самых различных областей знания встает необычайно сложная задача. Не только селекционеры и механизаторы, не только агрохимики и агробиологи, но и геологи и синоптики, авиаторы и мелиораторы и многие, многие другие ученые и специалисты должны вложить свой труд и талант в решение этой поистине величественной задачи.

Советское сельское хозяйство должно превратиться в передовую отрасль социалистической экономики, столь же независимую от природы, как и современное промышленное производство. Никакие природные силы и стихии не должны нарушать планомерный процесс сельскохозяйственного производства и оказывать роковое влияние на его результаты. Успешное решение этой задачи по ее трудности и значению будет равноценно подвигу советской научно-технической мысли в освоении космоса.

* * *

Всестороннее развитие советской экономики не самоцель. Оно осуществляется для человека и во имя человека.

Повышение материального благосостояния народа стоит в центре внимания партии. Новая Программа ставит задачу всемирно-исторической важности: обеспечить в СССР самый высокий в мире жизненный уровень населения. Проект Программы предусматри-

вает увеличение объема национального дохода СССР за десять лет почти в два с половиной раза, за двадцать лет — примерно в пять раз. Реальный доход на душу населения за этот период возрастет более чем в три с половиной раза. Уже в ближайшие десять лет исчезнут низкооплачиваемые категории рабочих и служащих. Все население получит возможность удовлетворять в достатке свои потребности в разнообразных продуктах питания и товарах широкого потребления. Во втором десятилетии будет достигнуто изобилие основных материальных и духовных благ для всего населения и созданы необходимые предпосылки для завершения перехода в последующий период к коммунистическому принципу распределения по потребностям.

Проект Программы предусматривает радикальное решение самой острой — жилищной проблемы. Во втором десятилетии каждая советская семья, включая молодоженов, получит в бесплатное пользование благоустроенную квартиру. Будет осуществлена широкая программа коммунального строительства, завершена электрификация и в необходимой степени газификация, отменена плата за пользование коммунальным транспортом, бесплатным станет и пользование коммунальными услугами.

Большое внимание партия уделяет сокращению рабочего дня трудящихся. Уже в течение первого десятилетия будет осуществлен переход на тридцатичетырех—тридцатипятичасовую неделю при двух выходных днях, а во втором десятилетии начнется переход к еще более сокращенной рабочей неделе. Для отдельных категорий трудящихся рабочий день будет сокращен в еще большей степени. Значительно увеличится продолжительность оплачиваемых отпусков для трудящихся. Наша страна станет страной самого короткого, но самого высокопроизводительного и высокооплачиваемого рабочего дня в мире.

Партия намечает широкую программу всемерного оздоровления и облегчения условий труда, программу борьбы за улучшение здоровья трудящихся и увеличение продолжительности жизни. Сколько поистине ленинской теплоты и заботы проявляет Коммунистическая партия к женщинам, детям и нетрудоспособным членам общества! Намеченные мероприятия создают все условия для сочетания счастливого материнства со все более активным и творческим участием женщины в общественной жизни и общественной деятельности, для радостного и счастливого детства, для спокойной и обеспеченной старости. «Обеспечить счастливое детство каждому ребенку — одна из наиболее важных и благородных задач строительства коммунистического общества», — заявляет КПСС.

Проект Программы предусматривает широкую систему мероприятий по улучшению бытовых условий советской семьи, развитие системы общественного питания и многое другое, обеспечивающее возможность практического осуществления коммунистического принципа бесплатного распределения материальных и духовных благ, действительно полного и всеобъемлющего удовлетворения всех потребностей каждого члена общества на основе высокого развития производительных сил.

Высокий уровень развития производительных сил обеспечивает изобилие материальных благ, но само по себе это изобилие благ не создает общества изобилия.

Уровень развития производительных сил ряда капиталистических стран, особенно США, вполне достаточен для полного удовлетворения потребностей всего населения этих стран. Но мы знаем, что США — страна, в которой наряду с богатством и обеспеченностью существуют нищета, городские трущобы, множество безработных, не получающих даже пособия.

Таким образом, высокий уровень развития производительных сил — это важнейшее, но не единственное условие возникновения общества изобилия. Необходимо, чтобы были созданы соответствующие социальные условия, позволяющие осуществить основной принцип коммунизма.

Быть может, в условиях нашей социалистической действительности осуществление этого принципа становится возможным в силу наличия самого изобилия материальных благ? Отнюдь нет. Осуществление основного принципа коммунизма становится возможным лишь на основе развития всех черт коммунистического общества, отличающих высшую фазу этой формации от социалистической фазы. Иными словами, построение коммунизма требует развития не только производительных сил общества, но и произ-

водственных отношений. Разумется, в наших условиях уже само создание невиданных по своему могуществу производительных сил, как указывается в проекте Программы, «послужит основой постепенного преобразования социалистических общественных отношений в коммунистические».

Итак, период развернутого строительства коммунистического общества включает в себя всемерное развитие и совершенствование не только производительных сил, но и производственных отношений социалистического общества. Это прежде всего коснется развития двух существующих ныне форм социалистической собственности и создания на их основе новой, коммунистической формы собственности на средства производства.

Существующие у нас сейчас государственная и колхозно-кооперативная собственность представляют собой разновидность одной и той же социалистической собственности. Различие заключается лишь в степени обобществления, и дальнейшая эволюция их будет идти в направлении стирания граней, сближения и в конечном итоге слияния обеих форм. При этом слияние колхозно-кооперативной и государственной форм собственности, как указывал XXI съезд КПСС, произойдет не в результате свертывания колхозно-кооперативной собственности, а путем повышения степени ее обобществления до общенародной. Социалистическое государство будет оказывать этому всемерную помощь и поддержку, ибо колхозная форма собственности, как подчеркивается в проекте новой Программы КПСС, «полностью отвечает уровню и потребностям развития современных производительных сил в деревне, позволяет эффективно применять новую технику и достижения науки, рационально использовать трудовые ресурсы».

На XXI съезде КПСС были указаны конкретные пути развития и совершенствования колхозно-кооперативной собственности: 1) неуклонное возрастание неделимых фондов колхозов, составляющих экономическую основу развития колхозного производства, и постепенное сближение колхозно-кооперативной собственности с общенародной; 2) все более полный охват общественным хозяйством колхозов всех отраслей сельского хозяйства и удовлетворение потребностей колхозников во всех видах сельскохозяйственных продуктов не из личных малопродуктивных подсобных хозяйств, а из продукции экономически выгодного общеколхозного производства; 3) дальнейшее развитие межколхозных производственных связей и различных форм сотрудничества между колхозами; 4) своеобразное слияние колхозных средств с государственными в связи с дальнейшим повышением технической вооруженности сельскохозяйственного производства и постепенным превращением сельскохозяйственного труда в разновидность индустриального.

Рост неделимых фондов — основной путь повышения уровня обобществления сельскохозяйственного производства и, следовательно, основное средство сближения колхозно-кооперативной и всенародной собственности. Повышение уровня обобществления достигается также укрупнением колхозов, в результате чего увеличивается удельный вес общественного хозяйства.

«На определенном этапе общественное хозяйство колхозов, — говорится в проекте Программы, — достигнет такого уровня развития, когда станет возможным за счет его ресурсов полностью удовлетворять потребности колхозников. На этой основе личное подсобное хозяйство постепенно себя изживет экономически».

Дальнейшее сближение кооперативной собственности с общенародной будет идти путем развития межколхозных производственных связей. Эти связи приобретут самые различные формы сотрудничества между кооперативами — объединение их средств и усилий для строительства различного рода производственных и культурно-бытовых учреждений, образование межколхозных неделимых фондов, создание межколхозных строительных организаций, ремонтных мастерских и других подсобных предприятий. Проект Программы указывает на необходимость поощрения межколхозного строительства и развития межколхозных производственных связей.

Если развитие межколхозной производственной деятельности поднимает колхозно-кооперативную собственность на новую ступень обобществления, то еще на более высокую ступень поднимается эта форма собственности путем соединения колхозных и госу-

дарственных средств, вкладываемых в строительство государственно-кооперативных предприятий, в электрификацию и комплексную механизацию сельского хозяйства.

Проект Программы КПСС предусматривает расширение строительства смешанных государственно-колхозных предприятий, увеличение роли колхозов в строительстве учреждений общенародного пользования, что, как указывается в проекте, постепенно будет придавать колхозно-кооперативной собственности общенародный характер.

Однако сближение граней между двумя существующими формами собственности предполагает эволюцию не только кооперативной собственности. В ходе коммунистического строительства постоянно развивается и общенародная собственность, составляющая основу экономического развития всего народного хозяйства страны. Происходит непрерывное увеличение общенародной собственности, сливающейся постепенно с кооперативной собственностью и превращающейся в единственно господствующую во второй фазе коммунистическую собственность.

На XXI съезде КПСС Н. С. Хрущев указывал, что «слияние колхозно-кооперативной собственности с государственной собственностью в одну общенародную собственность — это не простое организационно-хозяйственное мероприятие, а решение глубокой проблемы преодоления существенного различия между городом и деревней».

Конечно, различия между городом и деревней вытекают не только из существования двух форм собственности. Многие немаловажные различия остались нам в наследство от вековой противоположности между городом и деревней, технико-экономической и культурно-бытовой отсталости деревни. Существование этих различий в настоящее время вызвано соотношением уровней развития производительных сил города и деревни. Чтобы их ликвидировать, надо прежде всего устранить причины, их порождающие, довести до одного уровня производительные силы города и деревни. Организуя мощный подъем производительных сил сельского хозяйства, как указывалось выше, партии добивается решения двух основных взаимосвязанных задач. И вторая из этих задач и заключается в том, чтобы «обеспечить постепенный переход советской деревни к коммунистическим общественным отношениям и ликвидировать в основном различия между городом и деревней».

Важнейшим же условием, обеспечивающим подъем производительных сил деревни, является развитие социалистических производственных отношений на селе, и в первую очередь совершенствование кооперативной собственности. Поскольку колхозно-кооперативная собственность в своем развитии будет постоянно сближаться с общенародной, государственной собственностью, формы и методы организации сельскохозяйственного труда, система планирования и оплаты и т. д. приблизятся по своему характеру к формам, установившимся на государственных промышленных предприятиях. Производительные силы деревни поднимутся до уровня развитых производительных сил города, условия труда и быт деревни сближатся с городскими.

Завершение электрификации и комплексной механизации всех отраслей сельского хозяйства, широкое внедрение в сельскохозяйственное производство новейших достижений науки и передового опыта, переход в ближайшие годы на поточную технологию возделывания, уборки и послеуборочной обработки продукции важнейших сельскохозяйственных культур, широкое распространение комплексных механизированных бригад по обслуживанию животноводства и полеводства, внедрение автоматики в сельскохозяйственное производство и т. д. резко изменят условия сельскохозяйственного труда, повысят его производительность, коренным образом изменят самый характер крестьянского труда, превратив его в разновидность индустриального. Это, разумеется, не значит, что сельскохозяйственный труд со временем станет тождествен по своему характеру промышленному труду. Известные различия этих видов труда, обусловленные самой спецификой производства, сохранятся и в будущем. Но тяжелый физический труд будет ликвидирован и в сельском хозяйстве. Наблюдение за работой механизмов и машин, управление ими и регулирование их работы составит со временем основное содержание и сельскохозяйственного труда.

На основе органического и территориального сближения промышленного и сель-

скохозяйственного производства будет ликвидировано старое, ведущее к односторонности и местной ограниченности территориальное разделение труда, преодолен порожденный капитализмом разрыв между земледелием и промышленностью, произойдет соединение «промышленности с земледелием на почве сознательного приложения науки и комбинации коллективного труда...»¹.

«Постепенно сложатся в меру экономической целесообразности аграрно-промышленные объединения, в которых сельское хозяйство органически сочетается с промышленной переработкой его продукции, при рациональной специализации и кооперировании сельскохозяйственных и промышленных предприятий», — указывается в проекте Программы.

Изменится и самый облик села — появятся многоэтажные типовые дома со всеми бытовыми удобствами, современная планировка, асфальтированные и освещенные улицы, универсальные магазины, сельские театры, парикмахерские и т. п. «Постепенно колхозные деревни и села преобразуются в укрупненные населенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими учреждениями», — говорится в проекте Программы КПСС.

Уже внешнее описание такого населенного пункта дает ясное представление о том, какую большую работу предстоит проделать советским людям для достижения поставленной партией цели. В свете этих задач предстоит создать заново основную часть жилищного фонда села, благоустроить дороги, возвести сотни тысяч различных сооружений, заменить большинство современных сел и хуторов, расположенных без всякого плана, с хаотически нагроможденными в них строениями, строго спланированными и рационально расположенными населенными пунктами городского типа.

Но уничтожение культурно-бытовой отсталости деревни предполагает не только изменение внешнего облика села. Многие колхозы уже сейчас в состоянии построить театры городского типа. Но театр — это не только здание, это прежде всего талантливые люди, объединенные в творческие коллективы. Это художественная интеллигенция. Поэтому успех этого важного дела определяется не только темпами и масштабами экономического строительства, но и процессом духовного развития тружеников села. Речь должна идти о создании на селе собственной армии интеллигенции. Разумеется, сельская интеллигенция и сейчас уже представляет довольно большой отряд, но пока еще это главным образом техническая интеллигенция, производители материальных благ. Выращивание же творцов духовных благ — артистов и музыкантов, литераторов и ученых, деятелей самых различных областей культуры — будущее советского села.

Речь идет о создании новых центров культуры на селе, которые будут охватывать своей деятельностью группы сел или районов, что обеспечивается не строительством культурных учреждений в каждой деревне, а установлением удобной и регулярной связи между селами и районами. Развитие и совершенствование путей и средств сообщения увеличивает экономическую плотность населения, сближает населенные пункты, обеспечивает контакт между ними как в экономической области, так и в культурной.

Осуществление всех этих задач требует много труда и времени, но оно реально и посылно для строителей коммунизма. Если деревня в ходе коммунистического строительства приближается к городу, то и город, можно сказать, делает шаг навстречу деревне. Пропорциональное размещение городов на всей территории страны соответственно требованиям рационального размещения производительных сил, создание зеленой зоны в городах, сокращение численности населения в них — основные тенденции развития городов. Таким образом, произойдет предсказанное В. И. Лениным уничтожение «как деревенской заброшенности... так и противоестественного скопления гигантских масс в больших городах»².

Уничтожение противоположности между городом и деревней В. И. Ленин считал одной из коренных задач коммунистического строительства. С построением социалистического общества в нашей стране эта задача была решена. Противоположность между

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 21, стр. 55.

² Там же.

городом и деревней была ликвидирована, преодолена вековая отчужденность деревни, антагонистические отношения между городом и деревней заменены новыми, социалистическими отношениями.

В период развернутого строительства коммунистического общества будет решена новая задача — ликвидируются существенные различия между городом и деревней, и отношения между ними поднимутся на новую, высшую ступень. «Ликвидация социально-экономических и культурно-бытовых различий между городом и деревней явится одним из величайших результатов строительства коммунизма», — говорится в проекте Программы. Так будет создано одно из необходимых условий вступления в высшую фазу развития коммунистического общества.

В этот же период будет достигнуто еще одно необходимое условие построения коммунизма: будут преодолены существенные различия между умственным и физическим трудом. Научно-технический прогресс приведет к небывалому совершенствованию техники производства, с одной стороны, и потребует серьезного повышения инженерно-технической подготовки и общекультурного уровня самих производителей — с другой.

Трудовой процесс вообще включает в себя элементы и физической и умственной деятельности. В трудовых операциях участвуют и руки и мозг человека. Однако доля их участия не одинакова. Совершенствование техники производства резко изменяет соотношение в затрате мускульной силы и мыслительной энергии, значительно увеличивает объем и роль умственной деятельности в физическом труде. Это не значит, конечно, что физический труд совершенно подменяется или заменяется в конечном счете умственным трудом. Но столь же ошибочно и прямо противоположное представление о том, что успехи научно-технического прогресса должны свести в конечном счете производственную деятельность человека к бездумному нажиманию кнопок, к примитивнейшим механическим операциям по управлению или даже только включению и выключению «умнейших» машин, которые все будут делать сами.

Кстати говоря, в связи с успехами кибернетики у некоторой части технической интеллигенции появились неправильные представления о роли техники. Кибернетические машины, как отмечалось выше, оказывают существенное влияние на умственный труд человека, облегчая его, увеличивая его интенсификацию и т. д. Современные счетно-решающие машины выполняют математические операции неизмеримо быстрее человека и с гарантированной точностью. Но машина никогда не будет думать за человека в буквальном смысле этого слова. В лучшем случае она может лишь подменить человека в выполнении формально-логических операций, но заменить его она не в состоянии.

Машины в будущем действительно смогут самостоятельно осуществлять все операции, самонастраиваться, программировать свою работу, регулировать ее, устранять возникающие неполадки, изменять режимы работы и прочее, но это не освобождает человека ни от физической, ни от умственной деятельности. И ликвидация существенных различий между умственным и физическим трудом предполагает не отмену, но исчезновение того или иного вида труда, а их соединение, их органическое слияние.

Сближение физического и умственного труда — двусторонний процесс, происходящий на основе существенных изменений обеих разновидностей труда. Физический труд перестает быть синонимом тяжелого, изнурительного труда. Вместе с тем исчезают монотонные механические операции, совершаемые автоматически. По мере совершенствования техники производства физический труд все больше сосредоточивается на контроле и регулировании работы механизмов, то есть во все возрастающей мере сближается с инженерно-технической деятельностью, превращается в ее разновидность.

Претерпевает существенные изменения и умственный труд. В наши дни, когда происходит своего рода «индустриализация» науки, грани между наукой и техникой по существу стираются, научно-исследовательская, экспериментальная деятельность в большинстве наук неразрывно связана с производственной деятельностью. Кабинеты и лаборатории современных ученых — это производственные цехи и целые заводы. Исследователь в наши дни работает не только головой, но и руками, трудится у станков и агрегатов рядом и вместе с рабочими. Управление современными механизмами оказывается порой под силу только высокообразованному инженеру, который тем самым

выполняет непосредственно функции рабочего. Таким образом, происходит постоянно насыщение физического труда интеллектуальным содержанием и умственного труда — физическими операциями, оба вида деятельности взаимопроникают, сливаются друг с другом.

Технический прогресс в условиях коммунистического строительства «значительно повысит требования к культуре производства, к специальной и общеобразовательной подготовке всех трудящихся», — указывается в проекте Программы.

Уничтожение различий между умственным и физическим трудом неразрывно связано с изменением социальной структуры советского общества и, в частности, с преодолением различий между рабочим классом и крестьянством, с одной стороны, и интеллигенцией — с другой.

«С победой коммунизма произойдет органическое соединение умственного и физического труда в производственной деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым социальным слоем, поскольку работники физического труда по своему культурно-техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного труда».

Принадлежность к интеллигенции определяется родом занятий, степенью образованности и общекультурным уровнем индивидуума. С преодолением различий между умственным и физическим трудом всякий труд превращается в единство умственной и физической деятельности и люди перестают делиться на работников умственного и физического труда, представителей интеллектуальных и физических профессий.

Значит ли это, что профессии как таковые вообще исчезнут в будущем?

На этот счет существуют две прямо противоположные точки зрения: по мнению одних, технический прогресс приведет к ликвидации разделения труда и специализации; по мнению других, разделение труда будет бесконечно углубляться, а количество специальностей постоянно возрастать за счет возникновения все новых и новых. В действительности технический прогресс приведет к ликвидации существующего разделения труда и ряда современных профессий, но это не равнозначно ликвидации разделения труда и специализации вообще. Характер профессионального разделения труда несомненно изменится, он меняется уже в настоящее время, и основная тенденция этого процесса заключается в увеличении общности научно-технических основ различных профессий, в значительном сокращении числа профессий.

Трудящиеся коммунистического общества не превратятся в пассивных наблюдателей за работой машин и не только не перестанут быть специалистами различных областей, а, наоборот, будут специалистами высшего класса.

Ликвидация существенных различий между умственным и физическим трудом отнюдь не ликвидирует специализации. И при коммунизме будут ученые, писатели, деятели искусств — представители различных специальностей, именуемых ныне профессиями интеллигентного труда. Но сами люди перестанут делиться на представителей умственного и физического труда, ибо, будучи специалистами своего дела, они смогут сочетать и чередовать самые различные виды деятельности. Такое сочетание уже в настоящее время становится характерным для все большего числа советских людей. Рабочий-поэт, рабочий-композитор или изобретатель уже не редкая фигура в нашем обществе.

Итак, с ликвидацией существенных различий между умственным и физическим трудом исчезает первое условие существования особого слоя — интеллигенции. Что касается второго, то следует подчеркнуть, что всеобщность высшего образования — важное и непренное условие коммунизма. Коммунистическое общество будет обществом всеобщего высшего образования, и это не утопия, а практическая задача, осуществление которой уже широко начато в наши дни.

Вместе с повышением уровня образования повышается и выравнивается и общекультурный уровень всех тружеников общества, поднимающихся в своем развитии до уровня интеллигента. Все члены общества, таким образом, уравниваются по всем критериям, все превращаются в тружеников-интеллигентов. А это и приводит к исчезновению интеллигенции как особой социальной группы.

Но это не означает отмирания интеллигенции в период развернутого строительства коммунистического общества, не отрицает огромной и все возрастающей роли совет-

ской интеллигенции в деле коммунистического строительства. Интеллигенция как особая социальная прослойка сохранится «впредь до достижения самой высокой ступени развития коммунистического общества»¹. И только тогда, когда все члены общества поднимутся до уровня интеллигенции, отпадет необходимость в этой прослойке и она растворится в общей массе тружеников коммунистического общества, где каждый является высокообразованным и культурным человеком, где каждый трудится по способности и получает по потребностям.

Повышение культурно-технического уровня трудящихся — составная часть важнейшей и сложнейшей задачи коммунистического строительства: воспитания нового человека. Человек коммунистического общества! Это самый высокий человеческий идеал. Только коммунизм обеспечивает действительный расцвет всех человеческих сил и способностей, всех дарований и талантов народа. Создание условий, обеспечивающих всестороннее, гармоническое развитие человека, осуществляется уже в наши дни.

Повышение культурно-технического уровня трудящихся и значительное сокращение рабочего дня окончательно освобождает рабочего от былой пожизненной прикованности к одной и той же деятельности, обеспечивает полную свободу не только в выборе профессии (что доступно уже сейчас), но и в смене, чередовании и совмещении различных видов деятельности. Сокращение рабочего времени до трех-четырёх часов в день — а оно не за горами — обеспечит для каждого труженика нашей страны занятие любимым, посильным ему видом деятельности, приобретение знаний и развитие навыков для овладения любой избранной специальностью.

Человек получает оптимальное физическое, высокое интеллектуальное и богатейшее духовное развитие, превращается в гармонически развитое, совершенное существо.

Идеологи буржуазии неоднократно обвиняли марксистов в пренебрежении свободой, равенством, разумом, прогрессом и другими общечеловеческими ценностями. Эти и подобные им измышления давно опровергнуты и теоретиками марксизма и самой историей. Трудящиеся стран социализма обрели истинную свободу, высшим проявлением которой является свобода от всякой эксплуатации. Подлинный прогресс, подлинная свобода и царство разума начинаются только с эпохи социализма.

Коммунизм не только не означает какого-либо пренебрежения общечеловеческими ценностями, какого-либо нивелирования личности, уничтожения личности и прочее, в чем стремятся обвинить марксистов буржуазные идеологи, а впервые создает условия для действительного осуществления и безграничного развития этих общечеловеческих ценностей, умножает их число и, что особенно важно, впервые делает их достоянием всего общества и каждого из его членов. Марксизм принципиально отвергает противопоставление личности обществу. Человек не может быть счастлив в одиночку, счастье каждого составляет счастье всех. Свобода личности не равнозначна произволу, не исключает дисциплины и подчинения, соблюдения определенных норм и правил, но свобода общества достигается не подавлением личности, а эмансипацией ее. Коммунизм строится усилиями и волей миллионов, их сознательностью и творчеством. Понятие неограниченный простор для развития всех творческих способностей и дарований каждого члена общества, максимальное использование всех народных сил и талантов возможно только в условиях коммунизма. История еще не знала столь широкого всенародного творчества, которое осуществляется повседневно в нашей стране.

Идеалы человечества, действительная свобода личности и ее гармоничное всестороннее развитие, истинный прогресс человечества и человеческой личности осуществимы только в условиях коммунизма.

С изменениями техники производства и самих производителей, с изменением условий труда и его характера изменяется и роль труда в жизни общества, а также отношение людей к труду. Свободный труд на благо всего общества превращается в первую жизненную потребность, доставляющую творческую радость и высшее наслаждение членом коммунистического общества. При этом материальная заинтересованность в труде, вопреки мнению некоторых, не исчезает, ибо труд всегда был и остается главным

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 33, стр. 169.

условием существования человека. При коммунизме, когда мера вознаграждения не определяется мерой личного труда, когда интересы и потребности личности неотделимы от общественных, исчезает личная материальная заинтересованность в результатах труда, но материальная заинтересованность общества в целом сохраняется. Неизмеримо возрастает роль моральных стимулов к труду, изменяется соотношение между материальными и моральными стимулами. Сознание общественного долга, творческий энтузиазм, порожденный грандиозными перспективами коммунистического строительства, стремление быть в числе передовиков, не отстать от товарищей и прочие моральные стимулы играют все большую роль, порождая новое, коммунистическое отношение к труду.

Воспитание коммунистического отношения к труду — важная задача периода развернутого строительства коммунизма, составная часть проблемы воспитания нового человека.

Развернувшееся по всей стране массовое движение за звание коллективов коммунистического труда — яркое проявление коммунистического отношения к труду, свидетельство того, что труд превращается, говоря словами В. И. Ленина, в бесплатный труд на пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повинности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установленным и узаконенным нормам, в труд добровольный, труд вне нормы, труд, даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении, то есть что труд превращается в первую жизненную потребность. Когда коммунистическое отношение к труду охватывает всех членов общества, когда труд превращается в первую жизненную потребность каждого труженика, практически осуществляется первая часть формулы коммунизма: «от каждого — по способности». А это необходимое условие осуществления второй части формулы. «каждому — по потребностям».

Труд советских людей обеспечит удовлетворение всех потребностей каждого члена общества, но не потребностей вообще, а действительно разумных потребностей, точнее говоря, всех потребностей, но не прихотей и капризов. Впрочем, коммунистическое общество обеспечит такое изобилие материальных и духовных благ, что сможет удовлетворить измышления самой необузданной фантазии. И если все же в коммунистическом обществе обнаружатся отдельные уроды, способные предъявить обществу непомерные требования, то оно в состоянии будет выдать им двойную порцию того, что они затребовали.

Введение коммунистического принципа распределения будет осуществлено не вдруг, не сразу. Строительство коммунизма, как учил В. И. Ленин, должно опираться на принцип материальной заинтересованности, поэтому оплата по труду остается основным источником удовлетворения материальных и духовных потребностей трудящихся на ближайшее двадцатилетие, вплоть до того момента, когда этот принцип полностью исчерпает себя и станет возможным переход к коммунистическому принципу распределения. Но вместе с тем будет постоянно сокращаться разрыв между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками, уменьшаться количество неквалифицированных рабочих, все больше потребностей будет удовлетворяться за счет общественных фондов, рост которых превысит темпы увеличения индивидуальной оплаты по труду.

Уже в наше время значительная часть национального дохода СССР распределяется независимо от меры труда, бесплатно, то есть соответственно коммунистическому принципу распределения. Это еще не есть, конечно, осуществление самого основного принципа коммунизма, предполагающего распределение по потребности, но это уже вполне зримая черта коммунизма. И эти расходы государства и общества на бесплатное образование и медицинское обслуживание, на пенсионное обеспечение и пособия многодетным, на культурно-просветительные нужды и т. д. увеличиваются из года в год.

Согласно проекту Программы в итоге ближайшего двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения, что даст возможность осуществлять за счет общества (бесплатно): содержание детей в детских учреждениях, материальное обеспечение негрудоспособных, образование, медицинское обслуживание, пользование квартирами, коммунальным транспортом, а затем и коммунальными услугами, уменьшение платы

и частичное бесплатное пользование домами отдыха, все более широкое обеспечение населения пособиями, льготами, стипендиями, постепенный переход к бесплатному общественному питанию и так далее.

Успехи коммунистического строительства позволят в недалеком будущем перейти не только к бесплатному, но и абсолютному удовлетворению некоторых важнейших нужд населения, к удовлетворению их «по потребности». Сфера действия коммунистического принципа распределения будет постоянно расширяться, принцип этот со временем станет господствующим, а затем и единственным в нашем обществе. «Таким образом, перед лицом всего мира Советское государство явит пример действительно полного и всеобъемлющего удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей человека».

В период развернутого строительства коммунизма будет происходить бурное развитие не только производительных сил и производственных отношений социалистического общества, но и дальнейшее развитие и совершенствование его надстройки.

Основное направление этого процесса — дальнейшая демократизация государственного и общественного строя и, при наличии определенных условий, превращение государственности в коммунистическое общественное самоуправление.

Исследуя развитие советского общества и обобщая его успехи, анализируя эволюцию Советского государства в ходе социалистического строительства, Коммунистическая партия развивает марксистско-ленинское учение о государстве, обогащает его новыми положениями большой теоретической и практической важности. В проекте Программы последовательно рассматриваются все изменения, которые претерпело наше государство за всю историю своего существования, указывается на вступление его в новую фазу, характеризующуюся началом процесса перерастания государства во всенародную организацию тружеников социалистического общества, все большим превращением пролетарской демократии во всенародную социалистическую демократию. Подводя итоги качественным изменениям в характере и роли социалистического государства, партия приходит к выводу: «Обеспечив полную и окончательную победу социализма — первой фазы коммунизма — и переход общества к развернутому строительству коммунизма, диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось в общенародное государство, в орган выражения интересов и воли всего народа».

Обогащая марксистско-ленинское учение о государстве новым историческим опытом, развивая теорию марксизма на основе живой практики социалистического строительства, это положение будет иметь важное значение для всех государств социалистической системы, для мирового коммунистического движения.

Указанный вывод вовсе не отрицает руководящей роли рабочего класса, остающегося самой передовой и наиболее организованной силой советского общества и сохраняющего эту роль на весь период развернутого строительства коммунизма. Только с построением коммунизма, указывается в проекте Программы, когда исчезнут классы вообще, рабочий класс завершит выполнение своей функции руководителя общества.

Этот вывод не должен быть истолкован также и в смысле отмирания государства, ибо государство как общенародная организация сохранится до полной победы коммунизма. Оно остается главным инструментом построения коммунизма, то есть будет осуществлять хозяйственно-организаторскую, культурно-воспитательную и прочие функции социалистического государства, множить и охранять завоевания народа.

Диктатура пролетариата, следовательно, исчерпывает себя раньше, чем отмирает государство. Диктатура исчезает, государство остается в период развернутого строительства коммунизма и развивается в направлении всестороннего развертывания и совершенствования социалистической демократии, активного участия всех граждан в управлении государством, в руководстве хозяйственным и культурным строительством, в усилении народного контроля над деятельностью государственного аппарата.

Дальнейшее развитие социалистической демократии приводит к постепенному превращению органов государственной власти в органы общественного самоуправления.

Ленинский принцип демократического централизма, обеспечивающий правильное сочетание централизованного руководства с максимальным развитием инициативы местных органов и творческой активности широких масс приобретает еще большее развитие.

Проект Программы подчеркивает необходимость дальнейшего повышения роли Советов, совершенствования форм народного представительства и развития демократических принципов советской избирательной системы, определяя конкретные меры осуществления этих задач. В проекте Программы ставится задача улучшения деятельности государственного аппарата, повышения роли государственно-общественного контроля, всемерного развития демократии в управленческом аппарате (выборность и отчетность всех руководящих работников государственных организаций и культурных учреждений и т. д.); подчеркивается необходимость постоянного сокращения государственного аппарата, указываются пути совершенствования всех его звеньев. Особое значение в период строительства коммунизма приобретает всемерное развитие свободы личности и прав советских граждан, а в связи с этим укрепление социалистического правосудия, главное внимание которого должно быть направлено на предотвращение преступлений. В конечном итоге уголовные наказания будут заменены общественным воздействием, а права и свободы граждан постепенно сольются с обязанностями их в единые нормы коммунистического поведения. Соблюдение правил общежития станет естественной потребностью всех членов общества.

В ходе строительства коммунизма будет неуклонно повышаться роль профсоюзов и кооперации, научно-технических обществ и творческих объединений, спортивных, молодежных и всех прочих общественных организаций. Неизмеримо возрастет их роль в коммунистическом воспитании трудящихся, в организации трудового соревнования, культурно-просветительной работы и т. д., будут подготовлены все необходимые условия для слияния всех этих организаций трудящихся в будущем в коммунистическое общественное самоуправление, в которое в итоге своего развития преобразуется социалистическая государственность. Это и будет дальнейшим развитием демократии, обеспечивающим активное участие всех членов общества в управлении общественными делами. Подобно современным государственным функциям, общественные функции управления хозяйством и культурой сохраняются и при коммунизме, видоизменяясь и совершенствуясь соответственно развитию общества. Однако характер и способ их осуществления будет иным, нежели при социализме. Органы планирования и учета утратят политический характер, превратившись в органы общественного самоуправления.

Таким образом, неизбежным, естественным результатом исторического развития является отмирание государства, и построение коммунистического общества — необходимое внутреннее условие осуществления этого. Однако необходимо помнить и о внешнем условии — окончательном разрешении противоречий между коммунизмом и капитализмом на международной арене в пользу коммунизма. Осуществление внутреннего условия — построения коммунистического общества в СССР — несомненно приблизит и осуществление внешнего условия: победу коммунизма в мировом масштабе.

Существование стран империализма и их милитаристская внешняя политика, угроза новой мировой войны в значительной степени тормозят социалистическое строительство в странах Европы и Азии и коммунистическое строительство в нашей стране, вынуждая миролюбивые страны социалистического лагеря расходовать значительные средства и силы на обеспечение своей безопасности. Но никакие потуги империализма не отвратят неминуемого: будущее принадлежит коммунизму!

Под знаменем Маркса—Ленина, ведомый своим испытанным вождем — КПСС, — советский народ твердо и уверенно идет по пути к заветной цели. «А дорога наша—верная, ибо это—дорога, к которой рано или поздно неминуемо придут и остальные страны», — писал Ленин. История подтверждает вещие слова великого вождя. Коммунизм — наше близкое будущее!



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Н. ВЕРХОВСКИЙ

★

ВТОРАЯ ЦЕЛИНА

Семьдесят пять и шестнадцать — один из важных барьеров, которые предстоит взять на пути к коммунистическому изобилию. Получить семьдесят пять центнеров мяса в убойном весе на каждые сто гектаров пашни и шестнадцать центнеров на сто гектаров остальных сельскохозяйственных угодий — это как раз и значит догнать наиболее развитую в экономическом отношении страну капитализма Соединенные Штаты Америки по производству животноводческой продукции на душу населения. И здесь, как и в решении проблемы зерна, большую помощь нам окажет покоренная целина.

Совет в «Кантемировце»

Мне, сотруднику печати, посчастливилось быть на деловом и задушевном разговоре, который происходил 11 марта этого года между Н. С. Хрущевым и руководителями и рядовыми работниками совхоза «Кантемировец» Кокчетавской области Целинного края — механизаторами, животноводами, кукурузоводами, агрономами, строителями. Остановлюсь на отдельных штрихах незабываемой встречи, имеющих прямое отношение к теме заметок, — борьбе за «75 и 16», за освоение второй целины — животноводческой.

— Вы дали и будете давать стране много дешевого хлеба, — говорил покорителям целины Никита Сергеевич. — Народ вам сказал за это спасибо. Продолжайте и впредь наращивать производство зерна... Но теперь вы выросли, окрепли. Сегодня мало давать только хлеб, давайте и мясо, и молоко, и шерсть, разверните хорошенько свои мускулы... Мы раньше вас с мясом особенно не беспокоили, а теперь пришел и ваш черед... Возможности у вас огромные. Совхозы имеют по пятьдесят—шестьдесят тысяч и более гектаров земли. На этих землях можно производить такое количество кормов, которое позволит превратить Целинный край в край самого развитого животноводства...

В «Кантемировце» беседовал Никита Сергеевич и с отдельными людьми самоотверженного труда — новаторами-«маяками», разговаривал и с трибуны новенького, еще пахнущего свежими красками довольно-таки вместительного совхозного клуба. (И в клуб-то он пришел окруженный большой группой механизаторов и животноводов, оживленно беседуя с ними.) Этот разговор с трибуны не был ораторским выступлением, каким его принято представлять. Это было дружеское собеседование людей единой великой цели. Мудрый и опытный руководитель держал совет с энтузиастами, поехавшими по зову партии штурмовать вековые степи.

Доходчивые, подкрепленные убедительными расчетами, пересыпанные народными пословицами и поговорками, образными сравнениями слова руководителя партии и правительства будили мысль, вызвали новую энергию. Он не только учил, но и советовался и зажигал...

Прошло полгода. Идет новое наступление. Но с кем ни побеседуешь, разговор

в совхозах тепе́рь естественно начинается с исходного: с решения январского Пленума ЦК КПСС, с той творческой зарядки, которую получили хозяева новых земель от Н. С. Хрущева при его посещении Казахстана.

Что же больше всего запомнилось? И ветераны совхозного строительства — руководители хозяйств, и бывший воин-гвардеец, а ныне лучший шофер совхоза «Кантемировец» В. И. Бурьгин, преподнесивший Никите Сергеевичу хлеб-соль, и увлеченная своим делом коммунистка заведующая свинофермой совхоза «Толбухинский» Зина Приз, да, пожалуй, и все остальные, с кем довелось разговаривать по душам, — сходятся в одном:

— Больше всего запала в душу непоколебимая уверенность Никиты Сергеевича: раз это решила партия, раз это нужно для советского народа, то так и будет. Герои-целинники возьмут новые рубежи!

А заслуженный и уважаемый в районе и области главный зоотехник совхоза «Толбухинский» Н. С. Бондаренко выразил свое отношение к «зарядке» еще более определенно и непосредственно:

— Семьдесят пять и шестнадцать — это теперь цель моей жизни. Возможности вижу огромные. Пока не добьюсь такого выхода мяса по совхозу, на пенсию не пойду...

Очень горячо приняли энтузиасты-целинники новый призыв партии! Но и задачи грандиозные, замахиваемся на большое.

Чтобы решить задачу, поставленную Н. С. Хрущевым, некоторые старые хозяйства и даже целые районы — например, Келлеровский и Чкаловский районы Кокчетавской области — должны увеличить производство мяса примерно в три-четыре раза.

Но таких районов и хозяйств пока еще немного. Вот, к примеру, совхоз «Прогресс» Кокчетавской области. Чтобы достигнуть рубежа «75 и 16», он должен поднять производство мяса в десять раз; совхоз «Вишневский» Целиноградской области — более чем в пятнадцать раз... А немало еще и таких хозяйств, где, чтобы выйти на почетные рубежи, потребуются увеличить стадо в тридцать и более раз! Учтем, что и в нынешнем году в крае организовано сто тридцать новых совхозов, причем некоторые из них «на чистеньком месте», исключительно за счет дальнейшей распашки целины. Чтобы освоить «75 и 16», Целинный край в целом должен будет в сравнении с уровнем 1960 года производить мяса в четырнадцать раз больше. Тогда одна только Кустанайская область будет давать государству мяса столько же, сколько в прошлом году заготовил весь Казахстан с его пятнадцатью областями. Вот он, масштаб задач, размеры неиспользованных резервов! Вот где он, весомый вклад в коммунистическое изобилие животноводческих продуктов! Есть за что побороться! «А если мы догоним США и по мясу — по молоку уже догнали, — говорил Н. С. Хрущев у кантемировцев, — то какая это будет радость для советских людей! И вместе с тем мы буквально потрясем капитализм».

Конечно, намеченные рубежи не все хозяйства возьмут, скажем, за два-три года или к концу семилетки. И не все придут к ним одновременно — год в год и час в час. Сроки нужны кратчайшие, расчеты напряженные, но реальные, экономически грамотные: расчеты научные, построенные на передовом опыте, учитывающие местные особенности и условия, подкрепленные боевой политической и организаторской работой.

Важно, что люди загорелись. С весны в каждом хозяйстве шли большие и страстные разговоры о «75 и 16». И, как правило, когда прицелились, когда прощупали свои резервы в деталях, задача перестала смущать своей грандиозностью: сложно, но добиться можно. И раньше, чем могло вначале показаться...

Возможности для животноводства выросли. Сильно потревожили, правда, две последние декады июня, когда во всем Целинном крае зной стоял нестерпимый. Но дружные, сильные всходы нынешнего года выстояли, сказалось повышение культуры земледелия: нивы к концу лета были тучными и местами такими густыми, что, как говорится, мышь не проточится. Чтобы порадовать XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза успехами на самом сегодня жизненно важном фронте — дать стране мясо, — должна быть уже в нынешнем году создана основа для нового большого разбега. Из этого исходит целинники.

Смелый, хороший почин сделал коллектив молодого совхоза «Ижевский» Целиноградской области. В этом хозяйстве неплохо поставлено производство зерна: за шесть предыдущих лет сдано государству семь миллионов пудов. Зерновое хозяйство создало хорошие условия для развития животноводства. Удельный вес животноводческой продукции в общем производстве здесь в 1960 году составил уже тридцать восемь процентов.

Но и масштабы гигантские. «Наш совхоз,— характеризует его директор Е. А. Зайчукова,— имеет такую посевную площадь, как средний район Белоруссии или два района, допустим, в Латвии». До «75 и 16» путь немалый! Надо увеличить производство мяса в 16,3 раза.

И все же, хорошо используя природно-экономические условия своего хозяйства, ижевцы решили пройти этот путь ускоренными темпами до конца семилетки.

В этот поход включился и ряд других хозяйств края. В одной только Северо-Казахстанской области уже семнадцать крупных хозяйств борются сейчас за то, чтобы в 1965 году достичь в производстве мяса средних показателей Соединенных Штатов Америки.

Как это сделать? Вопросов уйма. Ведь для того чтобы, как говорит Н. С. Хрущев, «плечом попробовать, что значит решить задачу догнать Соединенные Штаты Америки», надо поднять культуру земледелия, подготовить стадо, кормовую базу, построить и обеспечить механизацию работ в животноводстве.

Край голубых озер

Когда заходит речь об использовании озерных пастбищ для птицы, об освоении «голубой целины», мне всегда припоминается казусный разговор, который происходил в совхозе «Салкынкульский» Кокчетавской области примерно пять лет назад. Впервые проезжая через это новое хозяйство, я еще дорогой залюбовался и многочисленными камышовыми озерами и полноводной, окаймленной тальниками и черемухой, речкой Акан-Бурлук, причудливо извивающейся по слегка всхолмленной равнине.

Вполне естествен был мой вопрос к бригадиру второй бригады И. Г. Афанасьеву:

— А сколько же в вашем хозяйстве уток?

Тот ответил, не задумываясь:

— Мильён.

Секунду-другую помедлив, добавил:

— А может, и больше: учет запущен.

Подвох в ответе был явственный. То ли не успев сообразить, то ли уж очень горясь принять желаемое за сущее, я, помнится, сразу же выпалил:

— Какой же породы? Пекинские?

— Нет, что вы! Чирок, кряква, широконоска. Водятся и лысуха, казарка...

Бригадир имел право на такую шутку. Добровольный инспектор общества охотников в совхозе, он хорошо знал, какое богатое царство диких пернатых на речке и озерах. Знал он и другое: на ферме самого совхоза имелось к тому времени «внушительное» гусиное стадо из... восьми голов.

С тех пор, конечно, многое изменилось. До крылатых миллионов, правда, дело пока еще не дошло, но уже сегодня встречаются хозяйства, которые считают птицу десятками и сотнями тысяч, а завтра обязательно будут оперировать миллионами. В той же Кокчетавской области, да еще на искусственных водоемах, построенных самими новоселами (запруды), совхоз «Биданкский» доводит нынче количество толстошеих пекинских уток до шестидесяти тысяч голов. В будущем году их будет четыреста тысяч. Десятками тысяч насчитываются здесь и хохлатки. Совхоз стал на путь выращивания цыплят-бройлеров: десять весенне-летних недель — и цыпленок выращен до одного-полутора килограммов весом. В разведении кур тоже интересное новшество: вместе с привычными белоснежными чубатыми леггорнами важно прохаживаются на прифермском участке крупные коричневые с серебряным отливом род-айленды. Хорошо здесь привилась эта прекрасная мясо-яичная порода, вес взрослой курицы достигает трех — трех с половиной килограммов.

К разведению птицы в совхозе подошли солидно, основательно. Чтобы не попасть в просак с кадрами, заблаговременно послали новосела В. Е. Иваненко пройти практическую школу в знаменитом на весь Союз птицеводческом совхозе «Арженка» Тамбовской области. Оттуда же, из «Арженки», был приглашен для заведования инкубатором молодой механик В. С. Гордеев, который переехал сюда с семьей и горячо взялся за дело. Кадры, обученные в передовом хозяйстве, — это ли не лучший способ передачи хорошего опыта!

Краем голубых озер заслуженно называют Северный Казахстан. В среднем на каждые десять квадратных километров площади здесь приходится одно озеро. В некоторых районах, например, в Щучинском, зеркала площадь составляет более семи процентов всей территории.

На самые скороспелые отрасли — птицеводство и свиноводство (при одновременном увеличении поголовья других видов животных) — и делают первоочередную ставку хозяйства — инициаторы соревнования. Развитие скороспелых отраслей позволит им сократить путь и выйти на заветные рубежи уже в 1965 году. Корова, конечно, полезнейшее и очень почтенное животное, но кому не известно, что она дает за год лишь по одному теленку. Через эту особенность не перескочишь.

Любопытно, что в большинстве хозяйств края гуся пока что забраковали. И не потому, конечно, что гусь — птица высокомерная, со строптивым характером. Просто потому, что в сравнении с уткой она «аристократически требовательна» к кормлению, к тому же гусыни дают лишь по пять—восемь яиц в год, и, следовательно, на большой приплод от них рассчитывать не приходится. На советах животноводов и птицеводов немало раздавалось шуточных, но верных замечаний: «Гусь — лодырь, норовит больше на готовенькое, много для него потребуется зерна, да и воду требует только проточную...» Зато утку характеризовали как труженицу: «Она каждое потерянное зернышко подберет, любую букашку из воды выловит». Утка дешевле и выгоднее: для уток озеро своего рода пастбище, где они добывают примерно одну треть необходимого им корма. Значит, пока что — утка! Ей меньше потребуется зерна, она быстрее размножается и растет. А там видно будет, наверняка дойдет черед и до гуся — даст целина в свое время советскому потребителю в изобилии и тяжелые вкусные гусиные тушки.

Расчеты, вызвавшие большой разговор

Первым в крае привел подробные расчеты и рассказал о том, как выполнит его хозяйство новую задачу, директор совхоза «Мамлютский» Северо-Казахстанской области Б. Н. Дворецкий. Это было еще на совещании в Целинограде.

— Когда, в какой срок вы рассчитываете сделать это? — спросил Н. С. Хрущев.

— В конце семилетки, в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году, — последовал ответ.

Старый совхоз «Мамлютский» уже и теперь стал значительной фабрикой производства дешевого мяса, особенно свинины. Он в нынешнем году даст государству шесть с половиной тысяч центнеров мяса — почти два государственных плана.

Однако вокруг расчетов хозяйства возникли и споры, имеющие значение не только для одного совхоза. Например, 23 мая газета «Целинный край» в передовой статье назвала наметки совхоза «Мамлютский» прямым извращением. Вот что было напечатано в пояснение столь сурового определения: «В совхозе «Мамлютский» решено резко увеличить производство мяса только за счет увеличения производства свинины. При этом игнорируется тот факт, что населению нужна не только свинина, ему нужны и другие виды мяса, как, например, говядина, баранина и птица. Сбрасывалось со счетов и то обстоятельство, что для откорма предусмотренного планом совхоза количества свиней потребуется скормить чуть ли не весь хлеб, производимый совхозом, тогда как другие виды скота могут откармливаться за счет других источников».

Аргументация сильная. Тут есть над чем задуматься.

Правильно, конечно, что не каждому советскому потребителю нравится именно свиное мясо. Но сразу же возникает и ответ: а разве не является законной некоторая специализация хозяйства в зависимости от их особенностей? Да, так и окажется на

практике: одни будут больше производить свинины, другие утятин, курятины, говядины, баранины или конины, а в целом при правильной координации ассортимент сбалансировается, и советский потребитель сможет получить то, что ему больше нравится. Правда, в первые год-два возможно (и допустимо) некоторое преобладание продуктов от скороспелых отраслей. Но это, видимо, не самая большая беда: важно быстрее ликвидировать общий недостаток мясных продуктов.

Другой вопрос — ориентация на зерно в животноводстве. Вот это дело для нас неподходящее, способ отсталый и недопустимый. Пшеничка — людям; зерновые отходы, различные фуражные культуры, кукурузный силос, сахарная свекла, выращенная на корм, — это свиньям и птице. Правильное сочетание земледелия и животноводства не только не снизит товарность зернового хозяйства, но обязательно ее повысит.

Но неужели же верно, что мамлютцы наметили скормить пшеницу свиньям и будут развивать животноводство только за счет свиней? Сразу возникает вопрос: так что же они, прирежут, что ли, и коров, и лошадей, и птицу, которые имеются в хозяйстве?

Лучше увидеть воочию...

«Тут дуга изобильные травую и разного рода цветами, тут видны леса, не только годные на дрова, но и строевые: есть много равнин, покрытых черноземом и удобных для хлебопашества, есть озера, наполненные рыбою, и реки чистой приятной воды», — рассказывал о Северном Казахстане еще в 1832 году один из русских исследователей, А. Левшин, в своем «Описании киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей».

Это верно и в отношении природы многих районов теплорешного, пробужденного революцией Целинного края, а в первую очередь в отношении его самой северной Северо-Казахстанской области. Вот уж действительно благодатнейшие, пестрые лесостепные места! То и дело мелькают обширные березовые рощи с разнотравными душистыми полянами, синеют озера, которых здесь не то что десятки, а, можно сказать, сотни, если не тысячи. И, конечно, всюду веселые, зеленые нивы. Надо добавить, что в последние дни июня, когда удалось выбраться в поездку, наконец-то прошли обильные дожди, окончательно определившие хорошую судьбу урожая. Что может быть радостнее для североказахстанцев! Уже три года подряд «гремит» эта область высокими средними урожаями по всему Целинному краю, недавно получили республиканское Красное знамя за успехи в животноводстве; а нынешний год вновь принесет внушительную победу. Пожалуй, именно североказахстанцы первыми в крае решат и задачу «75 и 16».

— Суммируя расчеты совхозов и колхозов, — рассказывал первый секретарь обкома партии Н. И. Журич, — мы пришли к выводу, что вся наша область выйдет на крутые рубежи по животноводству не позднее 1969 года. Впрочем, — оговорился он, — и это лишь в том случае, если будем дожидаться самого запоздавшего хозяйства. А в жизни так не будет. К примеру, небольшой совхоз «Озерный» получит семьдесят пять и шестнадцать уже в 1963 году. Но разве и эти показатели — потолок? Естественно, что хозяйства, достигшие средних показателей США, на этом не останавливаются, а пойдут дальше. Значит и в целом область выполнит задачу, поставленную партией, раньше 1969 года...

И вот — совхоз «Мамлютский».

Упреки по его адресу неосновательны: Больше того: опыт совхоза — хороший пример для других. В этом убедила меня поездка Совхоз «Мамлютский» — это специализированное хозяйство по разведению племенного крупного рогатого скота красной степной породы. Не случайно совхоз превращается сейчас в научно-исследовательский институт животноводства для всего Целинного края.

В племенном, элитном хозяйстве каждый теленок — драгоценность: растит совхоз большое дойное стадо, а бычками-производителями снабжает весь край.

Сильное впечатление оставляет знакомство со знатной телятницей Анной Григорьевной Кузнецовой. Подумать только! За двенадцать лет работы телятницей племенного стада она вырастила около двух с половиной тысяч бычков и телочек и ни разу не знала, что такое падеж. «Однажды, — припоминает, — на экскурсии, а они нас частенько посещают, какой-то председатель колхоза заметил, что один теленок поносит.

Ткнул пальцем и так это авторитетно заявляет мне: «Этот у вас сдохнет!..» А меня даже зло взяло. Ох уж и обрезала его! Это, говорю, ты, видно, батюшка мой, по своему хозяйству судишь. У вас, видно, телята дохнут, а у нас этого не бывает. Выходили, конечно!»

Вот наряду с такой заботой о крупном рогатом скоте и взят сейчас в этом совхозе курс на свинину: ее удельный вес в общей сдаче мяса государству достигает в совхозе семидесяти трех процентов. «У вас имеются большие возможности для производства свинины», — говорил Н. С. Хрушев в Целинограде. Упор на свиноводство — это сегодня правильный путь и для любого хозяйства Целинного края. Верный и тактически: обеспечивается ускоренное производство. Правильный и стратегически: если заготовки мяса будут производиться в первое время прежде всего за счет свинины и птицы, то возрастут возможности для резкого увеличения стада коров, овец, лошадей.

В совхозе «Мамлютский» в 1965 году намечено произвести 20,4 тысячи центнеров мяса, в том числе 14,3 тысячи центнеров свинины.

Но справедлив ли тот упрек, который делали руководителям совхоза по поводу зерна? Уж не помышляют ли они и в самом деле выращивать и откармливать животных за счет продовольственного фонда, за счет пшеницы?

В расчетах совхоза, конечно, этого нет, да и кто бы такое позволил! Площадь под пшеницей к концу 1965 года несколько даже возрастет, а сдачу зерна государству хозяйство увеличит на сто тысяч пудов. Кстати говоря, пшеница и не является лучшим кормом для свиней.

Из зерновых главная ставка сделана на ячмень. И это уже проверенная, доказавшая свою эффективность ставка. Правда, еще три года назад отдавалось предпочтение свсу, но посевы ячменя давали урожаи выше и оказались неизмеримо более выгодными. В 1959 году на площади 1533 гектара было собрано в среднем по 20 центнеров ячменя, в минувшем году урожайность еще выше: на площади 1832 гектара собрали по 24,9 центнера с гектара. Успешно практикуется и посев в смеси двух одновременно поспевающих культур — ячменя и гороха. Ячменная дробленка — первейший корм для свиней, она помогла и поможет резко двинуть вперед все производство свиного мяса.

Но есть и еще один важный резерв, который с успехом используют мамлюты. В этом случае их практика в известной мере смыкается и подтверждает большое значение опыта соседней омичей из совхоза «Победитель», где работает знаменитая Татьяна Яковлевна Перешивко.

Расходы ценных кормов можно сократить. Научное животноводство учитывает и с выгодой использует биологические особенности различных видов скота. Взять ту же свинью — она прямой потомок дикого кабана. А кабан, на которого еще и сейчас можно поохотиться во многих районах Сибири и Казахстана, ни зерна, ни картофеля, ни силоса не получает, но вырастает до полутора центнеров весом и обрастает жиром. Интересен такой случай из практики Т. Перешивко. При свободном-выгульном содержании животных в прошлом году у нее отбились от стада и ушли в сторону тайги две супоросные матки. Пропали и пропали. Но с наступлением осенних холодов, к великой радости свиноварки, обе они, целые и невредимые, крепкие и хорошо упитанные, вернулись к стаду. И привели с собой по выводку чумазых, но бодрых и вполне жизнеспособных поросят...

Сам по себе прием не новый — свиней пасли испокон веков. Знает такие примеры и Северный Казахстан: оседлые жители прибрежных селений Иртыша в прежние времена ежегодно на лето отправляли своих хрюшек на речные острова и оставляли их там без всякой подкормки. На сочных пойменных травах, среди ракитников, тальника и камыша, на свежем воздухе свиньи хорошо росли и крепились.

Но за последнее время во многих хозяйствах мы излишне намудрили: заточаем свиней на зиму в клетки, а летом, если уж и организуем выгул, то в дорогостоящих, скученных лагерях, всячески ограничивая животным свободу передвижения и самостоятельного кормодобывания. Свинья любит сама рылом поработать — такова ее законная и полезная биологическая особенность. Так пусть же она и берет сама себе из земли ми-

неральный корм, различные корни, личинки, выбирает травы по вкусу, сама копает картошку и добывает, что ей понадобится.

Татьяна Перешивко выращивает нынче двенадцать тысяч свиней. Надо только представить себе такое стадо!

Что положено в основу метода омского совхоза «Победитель»? Зимой — бесклеточное, бесстаночное содержание животных в свинарниках-откормочниках с одновременным содержанием по пяти тысяч голов в каждом, с выгульным двором. Приведу, кстати, такое характерное сопоставление. В совхозе «Победа» Красноармейского района Кокчетавской области не очень давно построен свинарник, который по устарелым животноводческим канонам считается хорошим. Все помещение перегороджено на клетки, а возможности механизации и совсем не предусмотрены. Полезная площадь откормочника около тысячи четырехсот квадратных метров, и содержится на ней до трехсот свиней. У Перешивко на такой же площади прекрасно откармливается около трех тысяч свиней — в десять раз больше! Сегодняшние же фермы в хозяйствах Целинного края вообще крайне мелки: свиней на откорме обычно содержится от двухсот до пятисот. Это карликовые размеры. Сколько же потребуются построить таких вот, с позволения сказать, ферм, если будет откармливаться, а к этому подходит, по пятнадцать—двадцать тысяч голов ежеднею! Большой счет предъявляют животноводы к проектировщикам. В совхозах только и слышно: «Нам требуются современные, прогрессивные проекты крупных, дешевых животноводческих зданий, а они подсовывают устарелые, давно забракованные жизнью. Вопиюще отставший участок!» Это обоснованные жалобы! Проектировщикам и строителям пора идти в ногу со временем.

Летнее содержание в совхозе «Победитель» — крупно-групповое, свободно-выгульное и даже без электрического пастуха. Для пастбы отводятся участки, поросшие лесом или хотя бы кустами, ракитником, непригодные или малоприспособные для полеводства, — одним словом, различная «сельскохозяйственная неудобь». Корма доставляются на автомашинах к тому же месту, где и водопой. Для ночевков разостлана солома, на которой животные отдыхают, а в холодные ночи зарываются в нее. По мере подрастания посеянные на участках выгула вика, картофель, корнеплоды и другие культуры поедаются скотом.

Но ведь разбредутся же! — сразу возникает вопрос. Оказывается, нет: где свинью один раз покормят, туда она и в другой раз придет. Животные быстро привыкают к определенным часам собираться на месте своего водопоя, кормления и ночевки.

Разумеется. Опыт Перешивко иному хозяйству подойдет в его «чистом» и полном виде; другому — с поправками на местные особенности и степень подготовленности материально-технической базы. В омском «Победителе» имеется такая база, какой пока нет еще ни в одном хозяйстве Целинного края. Там построены огромный кормоцех: все процессы приготовления и раздачи кормов, уборка навоза, подача воды механизированы. Корма готовятся и задаются скоту по различным, в зависимости от заказа, научно обоснованным рецептам. Сюда входят и зерновые отходы, и кукурузный силос с початками, зернобобовые, корнеплоды, сенная мука, которая приготавливается в кормоцехе же, биомицни и так далее.

Пока что гигант кормоцех используется не на полную свою мощь — загружен лишь на два-три часа в сутки. Сегодня еще и Татьяна Перешивко работает «с недогрузкой»: вместо того чтобы одной партией, выращивать восемнадцать тысяч, как запланировано в хозяйстве, она откармливает «только» двенадцать тысяч свиней — не хватает молодняка, с выращиванием которого хозяйство пока не справляется. Большая мощность кормоцеха, услугами которого частично пользуются и соседние хозяйства, наводит на мысль: а не выгоднее ли в таких случаях пойти по линии кооперирования — в смежных хозяйствах создавать лишь маточники, а выращивание отъемышей и откорм сосредоточивать в хозяйстве, где имеются недогруженный завод-кормоцех, отличные условия для кормодобывания и выгула? Казахстанцев этот вопрос интересует и с точки зрения перспективного планирования. Условия для свиноводства имеются в каждом зерновом хозяйстве Целинного края (хотя бы уже потому, что имеются зерновые отходы), но не везде одинаково благоприятны возможности для массового выгула. Не пойти ли в отдельных случаях по пути строительства таких же вот кустарных откорм-

мочников-гигантов? Давайте подумаем. Пусть, присмотревшись к опыту «Победителя», экономисты и зоотехники хорошенько подсчитают, насколько разумна и эффективна такая кооперация уже на нынешнем этапе освоения мясной целины.

В совхозе «Мамлютский» механизация трудоемких процессов пока еще в проектах. Но затраты труда уже сравнительно невысоки. В прошлом году на каждый центнер привеса по плану было намечено израсходовать 3,36 человеко-дня, а фактически было израсходовано 2,95 человеко-дня. Достигнуто это за счет правильной организации дела и максимального использования природных возможностей. Себестоимость килограмма свинины обошлась в 1960 году в переводе на новые деньги по 69,5 копейки, совхоз стремится снизить ее до полтинника. Важно, наконец, отметить, что выгульное содержание, которое организовано в хозяйстве отдельно по возрастным группам — супоросные, матки с приплодом, дорашивание отъемышей, откорм, — резко сокращает расходы концентратов. По подсчетам бухгалтерии и зоотехников, эти расходы в сравнении со стойловым содержанием сокращаются на сорок процентов при более дешевом обслуживании. Солнце, воздух и богатые витаминами корма справляют великую службу!

Культуры-новоселы

Так вот о кормах. Об этом главнейшем вопросе, пользуясь примерами совхоза «Мамлютский» и других, стоит поговорить поподробнее.

В совхозе «Мамлютский» порадовали глаз набирающие буйную силу нежно-зеленые делянки сахарной свеклы. Впрочем, и не только они. Все хорошо вырастает в «Мамлютском». В прошлом году собрали по 22,2 центнера пшеницы с гектара, превывсив на десять центнеров средний урожай по области.

Не случайно, значит, еще в дороге местный уроженец — райкомовский шофер — не переставал хвалить хозяйство и его руководителей.

— У Дворецкого, — приглашая меня полюбоваться гой или другой нивой, восхищенно комментировал водитель, — всегда все уродится. Ох, рукастый человек! У него в совхозе не идут в дело разве только цыплячий писк, коровье мычание да свиное хрюканье.

Подумав, добавил:

— И работягам неплохо: хорошо сделаешь — никогда не обидит. Ну, и копейки лишнего не даст тоже. По-ря-дочек!

Значительные опытные посевы сахарной свеклы на кормовые цели проводятся в крае впервые. Сейчас еще рано судить об итогах, но уже видно, что урожайность получится пестрая. В «Мамлютском», «Молодогвардейском» и ряде других совхозов — хорошая. А где посеяли поздно, где кое-как закатали в пересохшую землю незамоченные семена или поленились вовремя повоевать с земляной блохой, там явная неудача...

Считается, что в крае мало людей, знакомых с выращиванием этой культуры — целинного новосела. А это не совсем так. Большинство (вернее даже сказать, подавляющее большинство!) руководителей и специалистов новых хозяйств Целинного края по национальности — украинцы. При освоении новых земель братская Украина оказала республике особенно большую помощь и добровольцами механизаторами и руководящими кадрами, в том числе бывшими свекловодами. Добавим к этому, что и в числе дореволюционных переселенцев здесь явно преобладали выходцы из Полтавщины, Киевщины, Черниговщины и других северных областей Украины. Не случайно в некоторых районах (например, в Рузаевском Кокчетавской области) в многонациональном составе населения украинцев свыше тридцати процентов. Заговоришь иной раз о свекле, а тебе ответят украинской мовой: «Та хіба ж ми не знаємо, як цукрові буряки вирощувати, — дайте тільки машини...» Выяснится, что они уже пробовали выращивать привычную для себя культуру, убедились, что пойдут «цукрові буряки», но из-за отсутствия нужных машин дело широко не развивали. Или — чего уж дальше! — заехал я на Северо-Казахстанскую опытную станцию, разговорился там с директором белым как лунь Н. Г. Назарцевым, а он, оказывается, в прошлом — директор Всесоюзного института свеклы. Есть у кого поучиться, есть и кому поучить!

Свекла влаголюбива. По всему видно, что в таких лесостепных районах, как, например, Мамлютский, да у старательных хозяев она будет расти (и уже растет) очень хорошо. Но чтобы получать устойчиво высокие урожаи в открытых степных хозяйствах, поработать следует основательно, а не спустя рукава, как это случилось нынче в ряде районов. Можно и нужно вносить удобрения, а местами целесообразно (и не трудно!) организовать и орошение из многочисленных озер и запруд — по крайней мере в обычно засушливом здесь июне. По количеству кормовых единиц с единицы площади сахарная свекла занимает одно из первых мест среди кормовых растений всего мира. Культура благодарная, она стоит хлопот!

Насчет другого целинного новосела, кормовых бобов — не будем этого скрывать, — сначала немало высказывали, а еще больше держали при себе различные опасения.

— Побаивались мы этой культуры, — откровенно сказал и первый секретарь Мамлютского райкома партии Л. З. Пастухов. — Посудите сами, семена из Германской Демократической Республики, где влаги чуть ли не в три раза больше нашего... Получили их поздновато. И никакого опыта.

— А теперь?

— Бобы уже завоевали всеобщую симпатию. Сила! Прут — на изумление каждому...

И в совхозах «Мамлютский» и «Петропавловский», и на опытных станциях, и в совхозах «Толбухинский» и «Раздольный» — везде, где удалось побывать, можно было увидеть чудеснейшие темно-зеленые полоски бобов, посеянных нынче впервые на семена. Только и слышишь: «Наша культура. Как только раньше не догадались! Спасибо, надоумил Никита Сергеевич...»

Правда, и с весны и летом было много и недоуменных вопросов. бобы цветут, а когда их чеканить, как, чем? А как убирать, хранить зерно? Северо-казахстанская опытная станция командировала своего главного агронома за опытом в Алтайский край. «Чеканят они навесной жаткой или приспособленным силосным комбайном, — рассказывал тот по приезде, — убирают раздельным способом, а частично, в сухую осень, и напрямую... Самыми пока подходящими сортами для них оказались раннеспелые «фиолетовый бобик» и «немецкий». Из силосных хорош также высокорослый «польский»...»

Опыт накопится. Но одно уже можно сказать: великолепный белковый напарник кукурузы наверняка привьется на целине. Это большое подспорье для животноводства.

А если еще будет выполнена задача, о которой говорил Н. С. Хрущев на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном сорокалетию республики и Коммунистической партии Казахстана! «Хорошо, — сказал он, — если бы наши селекционеры поработали над тем, чтобы фасоль привить на кормовые бобы. Тогда эта культура стала бы продовольственной и кормовой, то есть можно было бы иметь один сорт продовольственных бобов, а другой — кормовых».

Вообще бобовые культуры, как и кукуруза, — самонужнейшие и выгодные на целине. Средний урожай гороха на Северо-Казахстанской опытной станции за последние три года составил 21,4 центнера с гектара. Это значительно выше, чем урожай пшеницы. Бобовые культуры и травы обладают еще и той, очень ценной для Целинного края особенностью, что они сравнительно солевыносливы. Горох, посеянный на солонцах (на землях пятой категории), давал на опытной станции по семь-восемь центнеров с гектара. Посевы донника буквально оживляют солонцы: скупые на урожай «злые земли» начинают после них плодородить...

Рассказали петропавловцы

От жителей Петропавловска случилось узнать любопытную деталь из быта областного центра. Когда осенью на рынок привозят для продажи молодых петушков, то домохозяйки прежде всего спрашивают: «Откуда автомашинка?» Узнав, что из пригородного совхоза «Петропавловский», немедленно встают в очередь. Зато, услышав другие адреса, частенько, махнув рукой, проходят мимо.

— Почему у населения так высока марка ваших бройлеров? — интересуюсь в беседе с директором хозяйства Иваном Никифоровичем Горбуновым.

Причин приводится много, но на одном из первых мест такая:

— Обязательно даем птице морковь. Резко возрастает яйценосность. Не бывает куриной слепоты. Прекращается падеж цыплят...

Оказалось, что в этом передовом многоотраслевом хозяйстве посеы моркови на корм скоту доведены до семидесяти гектаров! А как же у соседей мамлютцев?

— Морковь — жизненный эликсир для всех видов животных, особенно для молодняка, — говорит и главный зоотехник совхоза «Мамлютский», заслуженный зоотехник Казахской республики Андрей Иванович Константинов. — Сеем и будем сеять. Обязательно добавляем морковь в рацион телят и поросят: крепнут, резко сокращаются заболевания...

Одним словом, морковь — одна из совершенно обязательных культур для быстрого и образцового воспроизводства стада. К сожалению, хозяйства, которые, подобно совхозам «Петропавловский» и «Мамлютский», оценили морковь как кормовую и, если хотите, лечебную культуру, пока что в Целинном крае можно перечесть по пальцам. Морковь не новосел на целине, но она все еще рассматривается больше как грядочная культура, идущая исключительно на продовольственные цели. Случается сталкиваться и с другой крайностью. заговорив о моркови, сразу же начнут противопоставлять ее сахарной свекле — дескать, морковь у нас пойдет лучше, и давайте разводить ее вместо свеклы. Между тем сахарная свекла и морковь — это корнеплоды различного назначения; какое-либо противопоставление тут совершенно неуместно.

В моркови меньше кормовых единиц. Но общеизвестно, что она является носителем многочисленных витаминов и, в частности, содержит в себе каротин, способствующий росту и здоровью любого живого организма. Не случайно от морковки не отказываются ни стар, ни млад. Ботва же моркови очень богата хлорофиллом.

В Целинном крае хорошо плодоносят все сорта моркови — и продовольственные и кормовые.

Главный агроном Кокчетавского управления совхозов Александр Гурьянович Фомичев, работавший прежде директором Келлеровского опорного пункта Казахского научно-исследовательского института зернового хозяйства, говорит:

— Я горой за морковь. В наших условиях это очень нужная и высокоурожайная культура. На Келлеровском пункте мы собирали в иные годы до трехсот семидесяти центнеров с гектара...

— Великая, нетребовательная, засухоустойчивая культура, — характеризует ее и энтузиаст овощеводства молодой научный сотрудник Северо-Казахстанской опытной станции Сергей Федорович Коваль.

От него я узнал, что в прошлом году на лучших опытных вариантах станции урожайность моркови «шантане» достигала четырехсот центнеров с гектара.

Отличные посеы нынешнего года мы с ним смотрели в самый засушливый период лета, когда многие виды растений чувствовали себя очень угнетенно. Этого нельзя было сказать о моркови.

— Посмотрите, — говорил мне Сергей Федорович, сравнивая семигектарную изумрудную плантацию моркови с соседними делянками, отдающими снизу желтизной, — эти уже подгорают, а морковь идет в наступление. «Ура» кричит. У нее корни достигают метровой глубины...

Урожайность моркови там, где она высевается в Целинном крае, как правило, получается выше, нежели, скажем, картофеля, а производство обходится дешевле других корнеплодов. Даже при загущенных посевах для нее необязательно прореживание: растут корнеплоды и «впритык», как бы расталкивая один другого. Морковь совсем не поражается, а наоборот, отпугивает от себя страшный бич крестоцветных — земляную блоху. Свекла, посеянная вместе с морковью, лучше сохраняется от опасного вредителя. Наконец, очень хорошо поддается эта культура самой дешевой из химических прополок — опрыскиванию свежим керосином или, что еще дешевле, соляровым маслом. Фомичев рассказывает, что он не один год практиковал такую прополку: сорняки погибали, а морковь оставалась невредимой.

Морковь трудно хранить. Да, этот недостаток у нее есть. Но ее можно успешно силосовать. С. Ф. Коваль показывал мне траншеи, в которых он сохранил семенные корнеплоды нынешней зимой. Обычная продолговатая яма метра полтора-два глубиной, сверху семенники были прикрыты двадцатисантиметровым слоем земли, а над всей траншеей — большая копна соломы.

— За зиму, — говорит он, — не испортилась ни одна морковка...

Морковь — это деталь, но очень важная и для большого животноводства совершенно необходимая. Целинный край обязательно примет и ее на свое вооружение...

В молодом Целинном...

На совещании в «Кантемировце» присутствовали и гости. Были тут и соседи из старого совхоза «Киялинский», созданного еще в начале сороковых годов. Естественно, что по животноводству киялинцы ушли куда дальше молодого «Кантемировца». И когда директор совхоза «Киялинский» П. В. Внуковский рассказал о достижениях своих сравнительно крупных и прибыльных ферм, то Никита Сергеевич с подбадривающей улыбкой заметил кантемировцам: «Смотрите, старый-то совхоз подсыплет вам — молодому хозяйству — перцу, не сдавайтесь!..»

Старые и молодые целинные совхозы подчас по уровню животноводства выглядят как два полюса. Когда говорилось о решении совхозов «Мамлютский» и «Петропавловский» выйти на заветные рубежи в 1965 году, то речь шла о хозяйствах старых, где уже имеется значительная «исходная точка» — стадо. Так, в совхозе «Петропавловский» сейчас только крупного рогатого скота шесть тысяч пятьсот семь голов, из них тысяча восемьсот шестьдесят дойных коров. К концу семилетки они увеличат производство мяса в пять раз: в общей цифре говядина составит тридцать девять процентов, свинина — сорок восемь, птица — двенадцать и конина — один процент.

Но и молодые сдаваться не хотят. Вдруг слышу, толбухинцы замахнулись: «Тоже решим эту задачу и тоже в 1965 году».

Смелое, благородное намерение; но насколько производственно и экономически обоснованы сроки, не блеф ли это? Требуется ведь не просто давать целые горы мяса и реки молока. Нужно, чтобы это мясо и молоко были и самыми дешевыми. А это во многом зависит и от выбора наиболее целесообразной по условиям хозяйства структуры стада. Лучше сейчас на старте проявить побольше придирчивости и предусмотрительности, нежели наделать ошибок в пути и «булькнуть» на финише.

Сначала в двух словах о самом хозяйстве и истории вопроса. В Москве на Выставке достижений народного хозяйства СССР в новых экспозициях можно узнать следующее. За шесть лет совхоз «Толбухинский» произвел более одиннадцати миллионов пудов зерна, из которых восемь миллионов триста тысяч сдал государству. В 1960 году совхоз получил урожай зерновых культур по 14,2 центнера с гектара на площади 36,9 тысячи гектаров и сдал государству два миллиона двести тысяч пудов зерна с себестоимостью ниже плановой. По количеству заготовленного хлеба совхоз в прошлом году занял первое место в области.

Надо оговориться, что мне и раньше нередко доводилось бывать в этом передовом хозяйстве, знаю многих его зерновиков и животноводов — народ чудеснейший. И все же намерение увеличить производство мяса в 33,2 раза и всего только за четыре с половиной года ошеломляло своей дерзновенностью. Ну как не поинтересоваться их расчетами? Еду в «Толбухинский»...

Шли самые горячие дни посевной. Директор совхоза, медвежеватый гигант украинец Корней Мартынович Кийко, сунул мне расчеты, набросанные от руки на двух четвертушках бумаги, извинился — и был таков. На прощание сказал:

— Сами разбирайтесь. А у меня сегодня, верите, как у хлопотливой многосемейной хозяйки: надо «і хліб пікти, і по телята йти, і діти просять їсти». И все обязана успеть...

Разобраться помогал старый знакомый главный зоотехник Николай Степанович Бондаренко, много и напряженно поработавший в «Толбухинском» с первых же дней его основания.

Не скрою, первоначальные расчеты разочаровали: они не блистали своей убедительностью, что, впрочем, вскоре признал и сам Николай Степанович. Наметки были сделаны наспех, без должного обсуждения в массах.

— Край срочно запросил,— пояснил Бондаренко.— По существу это были не экономические, а лишь... биологические расчеты. Суть их в следующем: у нас сегодня мало коров, нет овец, но имеется свиное стадо в две тысячи голов. А выросло оно от семи полуторамесячных поросят, купленных несколько лет назад в соседнем омском колхозе. Вот какая плодовитость! Можно ли, имея двухтысячное стадо, так вести воспроизводство, чтобы в 1965 году откармливать для заготовок уже тридцать тысяч? Вполне можно. Притом, конечно, наращивать и ежегодную сдачу государству. А люди у нас очень хорошие,— добавляет к этому Бондаренко.

К свиноводству намечено добавить разведение уток на озерах Ащелыколь и Сарман. Казалось бы, все очень просто — передовой зерновой совхоз за счет собственного воспроизводства стада почти молниеносно станет и образцовым животноводческим.

— А корма свои или привозные? — ставлю вопрос в упор.

— Это забота главного агронома... — смущенно улыбается главный зоотехник.

В том-то и вопрос! Сделали ставку исключительно на два не всегда легко совместимых между собой направления: свиноводство и птицеводство — и то и другое требует много концентратов, а кормовую базу не рассчитали.

Правда, хозяйство уже имеет некоторые успехи в выращивании кукурузы, удались нынче опыты с возделыванием бобов. И зерновых отходов до сих пор не то что хватало — оставалось. Теперь их будет еще больше: совхоз превращается в опытно-показательный семеноводческий, и, стало быть, на сдачу пойдет лишь хорошо отработанное, очищенное, классное зерно...

Вообще по сегодняшнему стаду да по возможностям совхозов и колхозов только совершенно безрукий хозяин может ухитриться войти в зиму с недостатком кормов. (Находятся, правда, и такие.)

Но одно дело корма для малого стада, другое — для увеличенного в тридцать три раза! В планировании надо исходить из правильного сочетания различных ограслей, из наиболее выгодного использования своих возможностей.

Нецелесообразен, по крайней мере на сегодняшней стадии совхозного строительства, и самый принцип чрезмерно узкой специализации животноводства, который толбухинцы положили в основу. Ведь как у них получилось? С концентратами — острейший дефицит. Не завозить же их со стороны! А в хозяйстве, кроме пашни, тринадцать с половиной тысяч гектаров природных пастбищ, три тысячи семьсот гектаров сеносенокосов, два значительных пресноводных озера, семьсот восемьдесят четыре гектара лесов и пустошей. Не одни же свиньи и утки с наибольшей выгодой используют эти богатства, которые сами идут в руки!

Нельзя не упомянуть и еще об одном крупном резерве, который дает степное земледелие, но который пока почти не используется не только в «Толбухинском», но и в большинстве новых и старых хозяйств В Целинном крае в среднем теперь уже ежегодно производится до миллиарда пудов зерна, а соломы идет в дело от силы пять — семь процентов. Наибольшее ее количество остается на полях, задерживаясь в виде ячи или весеннюю вспашку. Едешь в апреле, мае по полям — и вездь дым столбом, на руки садятся мохнатые лепески саж. Это сжигается яровая солома, это горят костры бесхозяйственности. Кое-где в хозяйствах ее прессуют и складывают из тюков специальные помещения, так называемые катоны: открытые — для овец, закрытые арочные — для другого скота. Такое строительство в конечном счете тоже целесообразно. (Мышей только много разводится в катонах.) Но все это капля в море. А сколько остается нескошенных трав, теряется гуменных отходов!

Уже одно это показывает, что, например, разведение крупного рогатого скота выгодно и целесообразно буквально во всех хозяйствах Целинного края. Специализация нужна, особенно внутри хозяйств, по отделениям, но разумная, экономически обоснованная, сочетающая ведущее направление со всеми другими выгодными по условиям хозяйства ограслями.

Голбухинцы по-прежнему держат курс на быстрейшее освоение мясной целины, что делает им честь, но от первоначальных чисто биологических (скажем уж прямо — бюрократических) расчетов они отказались.

По новому, обоснованному плану, разработанному вместе с опытными экономистами, убыстренное развитие животноводства пойдет в совхозе по четырем направлениям. Количество крупного рогатого скота будет доведено до пятнадцати тысяч голов, из которых третью часть составят коровы. Расширится дешевое габунное коневодство, за которое особенно ратует казахское население совхозного отделения Муртук. На озерах уже появились первые десятки уток. Свиноводство будет развиваться с расчетом довести ежегодный откорм на последний год семилетки до восемнадцати тысяч голов.

Но это отнюдь не значит, что теперь все пойдет как по маслу. «Тут без арифметики не обойтись,— говорил, касаясь расчетов, Н. С. Хрушев на зональном совещании в Алма-Ате,— но не она в конечном счете решает дело, а люди». Коллективу молодого хозяйства трудности предстоит преодолеть огромнейшие. О некоторых барьерах, которые им придется брать, стоит поговорить особо.

Вдали золотится ковыль...

Ковыль опозитизирован. Особенно дореволюционными лириками. Особенно в унылых, безрадостных песнях каторжан. В литературе в одних случаях называют его «седой ковыль», в других говорят, что он «золотится» или, наоборот, «серебрится широкими медленными разливами», в третьих рассказывают об «изумрудном шелке ковыля» и так далее. А как же правильно? Все зависит от времени года. Во всех случаях ковыль — это синоним безбрежных, безмолвных равнин, глядя на которые, так и хочется сказать: «Тоска степная!..»

Животновод не только любит ландшафт, но прежде всего оценивает его практически.

Затрону один частный вопрос. Россия до революции занимала второе место в мире по экспорту масла, причем из пяти миллионов пудов, которые она вывозила за границу, больше половины составляло западносибирское. Ароматное, слегка подсоленное, оно наряду со сливочным вологодским пользовалось очень большим спросом и на внутреннем, и на лондонском, и других рынках.

Затеялся у меня однажды разговор с бывшим сибирским работником, а ныне директором целинного совхоза «Раздольный» в Кокчетавской области А. В. Карелиным.

— Чем,— спрашиваю его,— вы объясните высокую марку и славу сибирского масла?

— Там на лугах цветочков очень много! — несколько упрощенно, но, по-моему, в основном правильно объяснил директор.

Да, причина прежде всего в сложном сообществе трав, в богатом разнотравье. Тут, как и в пчеловодстве: возьмет пчелка мед с одной только липы — одно качество, возьмет его с богатых альпийских лугов — другое, гораздо выше.

Северный Казахстан — все та же зона сибирского климата; здесь очень много сходного с Западной Сибирью. Уже указывалось, что в Целинном крае немало районов богатого, обильно цветущего разнотравья, особенно в горно-сопочных и лесостепных зонах. Есть и у соседей сибиряков огромные степи с изреженным ковыльно-типчаковым растительным покровом.

Но чем дальше от северных границ, тем больше преобладали и преобладают сейчас в Северном Казахстане ковыльно-типчаковые или ковыльно-полянны луга и пастбища с очень скудным набором трав, не превышающим сейчас в переводе на сено полотора — трех центнеров с гектара. Да их никто и не тревожил: давно ли пришло сюда большое земледелие и только еще начинает стремительный свой подъем культурное, интенсивное животноводство.

Кочевое дореволюционное скотоводство Казахстана почти не знало сенокосения. Скот содержался за счет круглосуточного естественного питания. Горб у верблюда,

курдюк у овцы — вот жировые копилки на случай джута (гололедицы) или иных кормовых невзгод, от которых, кстати говоря, в иные годы погибало до половины всего стада.

Казахское слово «тбун» означает «копать». Отсюда русское «тебеневка» и понятие «тебеневочное животноводство». Зимой после сильных буранов и снегопадов на выпасы пускали сначала табуны мелких, косматых, но крайне выносливых казахских лошадок-кумысниц, которые своими сильными копытами разрыхляли снеговой покров и доставали себе корм из-под снега. Вслед за ними пускались тоже очень выносливые, маленькие, крепконогие казахские коровушки. Затем уже шли отары курдючных овец под обязательным предводительством бородатого барана — сами, без предводителя, вперед не пойдут, а обязательно будут сбиваться в кучу, жаться друг к другу.

Крупный рогатый скот до появления первых засельщиков из России и Украины вообще не был здесь широко распространен. В кочевом скотоводстве корова малоподобна. По сравнению с лошадью, овцой или козой она малоподвижна. В сборнике «Совет земля Казахстанская», изданном в Алма-Ате Казахским государственным издательством в 1957 году, приводится такой показательный пример: «В Тургайской области (основная часть ее входит теперь в Кустанайскую область Целинного края.— *Н. В.*) он (крупный рогатый скот.— *Н. В.*) в 1865 году составлял всего 1,7 процента стада». Причем в казахском животноводстве молоко отнюдь не носило характера тварной продукции.

Пастбищное пространство — «жайляу» (летовки), «кстау» (зимовки), «кузеу» (зсенние коченья), где раньше природные условия безраздельно господствовали над первобытным скотоводством, — в значительной своей части распаханно. Платация оказалась куда шедрее девственной ковыльной степи, край как бы заново родился. В корне изменились, неизмеримо возросли и условия кормодобывания.

Но все ли сделано? Можно ли оставлять без переделки и остальной ковыльно-степной фонд? Процент распаханности земель Целинного края очень разнообразен: в одних хозяйствах он достигает девяноста, в других не превышает двадцати пяти процентов. Даже в богатой наилучшими землями Северо-Казахстанской области, по данным ее опытной станции, под нетронутыми естественными сенокосами и пастбищами занято 1061 тысяча гектаров. Это больше, чем вся целина, освоенная в области в 1953—1959 годах!

Знаменитый казахстанский селекционер действительный член Казахской академии сельскохозяйственных наук Валентин Петрович Кузьмин, с которым мне довелось недавно беседовать, выдвигает соображение большого народнохозяйственного значения. Вот примерный ход его рассуждений, с которым нельзя не согласиться:

— У нас в Целинном крае имеются громадные запасы нераспаханных земель низших классов почвенного боитета — пятой и шестой категории. Площадь их гораздо больше, чем распаханых. Если брать в круглых цифрах, то получится примерно такое соотношение: распаханно семнадцать миллионов гектаров, примерно три миллиона будет еще поднято под основные посевы, а вся площадь края превышает сорок пять миллионов гектаров. Значит, примерно двадцать пять миллионов гектаров считаются непригодными для постоянного использования в земледелии. Жиденький ковыльный травостой, которым в большинстве случаев покрыты эти земли, конечно, нас удовлетворить не может. Подсевая травы, увеличим продуктивность пастбищ и сенокосов по меньшей мере в пять-шесть раз. Но я думаю, что на один-то год, при посевах по пласту целины, плодородия большинства этих почв вполне хватит и для получения приличного урожая зерновых. Ведь воды с неба и тепла от солнышка эти земли получают столько же, сколько и остальные. Один-то год уродятся, скажем, такие пластовые культуры, как ячмень и просо. Посеять ячмень можно и чистым, можно и сразу с подсевом донника, желтой люцерны, житняка, луговой чины или других, хорошо у нас вырастающих трав.

И в самом деле! Если каждый год будем улучшать таким способом в крае хотя бы пять процентов гигантской площади сенокосов и пастбищ, то получим дополнительные миллионы пудов фуражного ячменя и вместе с тем поломаем среду — создадим сложный разноразный перелог. Ведь никакое, даже самое продук-

тивное пастбище, не может дать столько кормов, сколько их даст пашня!

Еще больше неиспользованных возможностей для добывания кормов внутри самих полевых севооборотов. Считается агротехнической аксиомой целесообразность применения именно чистых, а не занятых паров на новых землях. А ведь это далеко не всегда так! Каждый год убеждает, например, в том, что именно паровые участки на легких землях больше всего страдают от ветровой эрозии. Ученые СибНИИСХОЗа от чистых паров на своих землях решительно отказались и отнюдь не раскаиваются. Поля, которым положено бы паровать, они занимают кукурузой или зернобобовыми культурами. Схема севооборота у них такова. кукуруза, два года зерновые, бобовые, снова зерновые. И кукуруза и бобовые — отличные предшественники пшеницы.

Когда толбухинцы от чисто биологических расчетов перешли к научно обоснованым, то они, пересмотрев севообороты, задумались и над использованием малопродуктивных земель. Процент распаханности в совхозе сравнительно высок, но еще почти двадцати тысяч гектаров не касались ни плуг, ни культиватор. Есть где разгуляться! Ведь это территория целого района, скажем, в Латвийской ССР. На солонцеватые почвы решили двинуть посевы белого донника, который, как известно, сразу «убивает двух зайцев»: укрепляет кормовую базу и окультуривает такие земли, делая их более пригодными для возделывания зерновых и других культур.

Таким образом, без «залезания в продовольственное зерно» «отыскались» (пока в планах) и дефицитный ячмень, и дополнительные сочные корма, и высокобелковая сенная мука!

Не каждый рекорд — школа

Когда заходит речь о конкретном передовом опыте, имея в виду его распространение, нужны, по-моему, предельная правдивость и точность. Особенно в описаниях самой технологии дела — агротехники, зоотехники, экономики. Передовой опыт — это наука, вырастающая снизу.

И опять же начну с «придинок» к толбухинцам: разбег замыслили замечательный, и хочется, чтобы справились с делом наверняка.

В Кокчетавской области, да и в самом совхозе можно встретить работников, которые считают, что уж кто-кто, а толбухинцы-то научились хорошо выращивать «королеву полей», которой бесспорно принадлежит решающее слово в борьбе за «75 и 16». А верно ли, что они уже нашли дорогу к гарантированным высоким урожаям?

В дождливую осень прошлого года во время жатвы дважды побывал я на кукурузной плантации в отделении Мортук. Зрелище было впечатляющим. На совершенно ровной, обычной для целинных совхозов четырехсотгектарной «клетке» стеной стояла широколиственная, темно-зеленая двухметровая кукуруза.

Особенно поражало количество автомашин, которое требовалось для перевозки зеленой массы после единственного работавшего на поле силосоуборочного комбайна: как две-три минуты — так и полнехонек кузов, подставляй под наклонный транспортер новую автомашину.

Нервничали: вот-вот нагрянут сильные заморозки, спешили убирать и, между нами говоря, порядочно-таки теряли... И все же было несомненно, да так и случилось, что хозяйева плантации, звеньевые Я. Л. Вебер и М. И. Антоневский, займут в области первые места по урожайности. Они и собрали по пятьсот центнеров зеленой массы с каждого гектара. Разумеется, и эти показатели не «потолок». Но сделай и такой урожай, как прошлогодний в «Толбухинском», массовым для всего края, славно бы двинулось вперед дело животноводства.

Значит — маяки? Значит — школа передовых кукурузоводов? Садись и пиши? Целый год шумели кокчетавцы — а по их отчетам и край — о школе Якова Вебера. Но в чем эта школа, стыдливо умалчивали. А школы-то и не было, рассказать было мало о чем, разве лишь о том, что кукуруза — культура неограниченных возможностей, и, поработай правильной, получишь бы куда больше.

Приглядываясь к расположению растений, нетрудно было заметить, что на всей плантации не было даже и намека на квадраты — обычный рядовой сев, а следова-

тельно, и механизированная обработка только в одном направлении. В гнездах — никакого порядка: в одних по десять стеблей, в других один или просто пропуск. Зелень буйная, но слишком молодая, единичные початки не достигли даже молочной спелости, они лишь завязывались. Значит и силос получится с малым количеством кормовых единиц: вода, а не силос. Посев производился привозными семенами — гибрид «Краснодарский 1/49».

Помнится, спросил я у Вебера:

— Яков Лукьянович, почему даже квадратов не получилось?

Он попросил подойти поближе к трактору, которым управлял, и доверительно шепнул на ухо:

— Ни черта не удавалось работать на кукурузе — все кузница да кузница...

Победителей, говорят, не судят. Тем более, что в прошлом колхозному, а ныне совхозному кузнецу Веберу, может быть, и в самом деле не хватало времени, чтобы основательнее заниматься плантацией. Можно и нужно по урожайности зеленой массы кукурузы равняться на итоги, достигнутые на участках Якова Вебера и Михаила Антоновского, но их опыт не глядит вперед: не применялся даже квадратно-гнездовой сев и фактически не было постоянства звеньев. Урожай получился не столько завоеванный правильной агротехникой, сколько стихийный, слепой. В том-то и дело, что не каждый рекорд — школа.

Почему маяки мерцают?

Чем же конкретно объяснялась высокая урожайность у двух звеньевых? К этому еще вернемся. А пока, да будет это позволено, сделаю несколько замечаний о самом подходе к распространению лучшего опыта — замечаний, навеянных непосредственными впечатлениями.

Дело это самонужнейшее. Оно не на год, не на два и не на десять лет. Но у него есть злейшие враги — формализм и пустая декларативность: «Все понимаем, со всем соглашаемся, но все в «общем и целом», а практически ничего не делаем».

Как иногда бывает с распространением передового опыта? Закончился хозяйственный год, и районный или областной руководитель требует представить ему списки передовиков. Красным карандашом подчеркиваются фамилии получивших наивысшую урожайность, причем делается это без учета того, в каких условиях получены рекорды, а зачастую даже без сверки отчетных данных с фактическим положением на местах, без углубленного изучения того, что же действительно внесено нового и ценного. Раз рекорд — значит и лучший опыт-школа. Подмена тщательного изучения, как и с чем достигнуты успехи, формальным подсчетом цифр голгою запутывает великое дело, уводит в сторону от действительного изучения и распространения подлинно передового опыта.

Мастера «шарлатанских фраз» еще не вывелись. Сколько раз приходилось сталкиваться с таким явлением. Спрашиваешь иного совхозного работника:

— А на передовой опыт вы ориентируетесь?

— Внедряем!..

— А что именно?..

— Да как же... маяки...— А взгляд неопределенный, отсутствующий.

Сидит такой «мастер конкретного руководства» и, видимо, размышляет: «Поведу рукой направо — вырастет море пшеницы, поведу своей дланью налево — потекут молочные реки...» Он закликает опытом, но до «сердцевины вопроса» даже и не пробовал добираться.

Очень понравился подход к делу в совхозе «Раздольный». Там у руководителей и прежде всего у директора А. В. Карелина, бывшего, кстати говоря, когда-то секретарем райкома партии, ум цепкий, хватка деловая.

В ответ на мой вопрос он показал план (именно конкретный план) организованного применения передового опыта. Причем план не бумажный — действенный. Например, широко, творчески применили опыт одесских механизаторов по переводу техники на скоростные методы и благодаря этому первыми в области отлич-

но справились с посевной, раньше других управляют с жатвой. В животноводстве взяли курс на черно-пеструю породу высокопродуктивных коров, телочек которой в свое время добыли для развода у омичей, и теперь успешно борются за первое место по надоям.

Средние показатели по урожайности зеленой массы кукурузы в крае нынче будут выше очень плохих прошлогодних, но они еще далеки от хороших. Что касается маяков, то их, во-первых, еще мало, а во-вторых, они мерцают: загорится, погаснет, потом опять засветится.

Ценный опыт-школу нужно, конечно, искать во всех совхозах и колхозах, где с любовью и знанием дела выращивают могучую культуру. Но прежде всего необходимо изучать и смело распространять опыт хозяйств и звеньев, из года в год получающих хорошую урожайность. А где есть школа и где ее пока еще нет — определять с обязательным участием специалистов. В Северо-Казахстанской области к передовым по кукурузе хозяйствам пока что относятся, в частности, совхозы «Чистовский» и «Приишимский», в Павлодарской — совхоз № 23, в Кокчетавской — «Привольный».

Звеньевые Алексей Брагин из совхоза «Приишимский» и Казыбек Жапаров из совхоза № 23, о достижениях которых тепло отозвался Н. С. Хрушев в речи на зональном совещании в Целинограде, получали: первый — два года подряд урожайность по шестьсот с лишним центнеров зеленой массы с гектара, второй — по шестьсот шестьдесят центнеров. Уже в течение четырех лет подряд завоевывает урожаи не ниже трехсот пятидесяти—четырёхсот центнеров с гектара, причем обязательно с початками молочно-восковой спелости, звеньевой совхоза «Привольный» Петр Мороз. «Профессором по кукурузе» называют Алексея Коваленко из совхоза «Чистовский». На отдельных участках он добивается урожайности по тысяче восьми центнеров с гектара.

Эти и многие другие звеньевые не только полюбили благодатную культуру, но и выработывают свою систему в работе, отыскивают закономерности, позволяющие получать устойчиво высокую урожайность. Так обстоит дело с изучением, поддержкой и распространением передового опыта во всех отраслях целинного сельского хозяйства.

О рекордах и прочем

...Несколько лет подряд областные рекорды по средним надоям молока от коровы неизменно принадлежали Ф. Г. Литау — старейшей доярке совхоза «Чаглинский» Кокчетавской области и района, депутату областного Совета депутатов трудящихся. В 1966 году по итогам работы за предыдущий год орденосцу Фриде Гавриловне на областном слете передовиков животноводства был вручен и такой заслуженный подарок — доха из отличной темной цигейки. Помнится, польщенная вниманием, одновременно и обрадованная и смущенная Фрида Гавриловна тут же на сцене при помощи председателя облисполкома примеряла обновку. Из зала неслись одобрительные возгласы: «В самый раз, Фрида! И к лицу!»

Не прошло и двух лет, как неизменная в прошлом победительница, хотя она и продолжала наращивать показатели, оказалась все же (это было настоящей сенсацией в области) лишь на четвертом месте в областном соревновании доярок. Жизнь, значит, не стоит на месте, и можно только радоваться, что появляются все новые и новые передовики. Но надо понять и положение чаглинцев и прежде всего самой Фриды Гавриловны. Свыше пятнадцати лет она, что говорится, «дневала и ночевала» на ферме, сама отбирала, выращивала, раздавала первотелок красной степной породы, и вдруг молодые доярки из соседнего совхоза «Раздольный», всего два года назад получившие еще более продуктивное стадо, уже... впереди нее. А тут еще кто-то «смугу пустил», поползли слухи — дескать, у новой-то знаменитости, Марии Ивановны Герлинской, не показатели, а липа, приписки.

Для проверки в «Раздольный» была послана авторитетная комиссия, в которую вошла и она — областной экс-чемпион по надоям Ф. Г. Литау. Пока специалисты «поднимали документальные данные», проворная и находчивая Фрида Гавриловна брала

«пробу в натуре»: вооружилась подои́ником, прихватила несколько круто посоленных кусочков хлеба, чтобы с лаской подойти к незнакомым животным.

Арифметика оказалась очень наглядной и убедительной: под первой же коровой, надоив одно ведро, пришлось протянуть руку за вторым. Так же и у следующей, черно-пестрой, с огромным налитым выменем...

Фрида Гавриловна — женщина решительная. Она наотрез заявила остальным членам комиссии:

— Бросьте бумажную волокиту. Тут и срамиться нечего — сплетня. Дали бы мне этих пестрянок, я бы их пешком прямо по берегу Чаглинки (оба совхоза на одной и той же реке) увела к себе на ферму.

Породистый скот лучше оплачивает корма. Славные труженицы совхоза «Раздольный» М. Герлинская, Е. Шефнер и Л. Штерн доводят средние надои от каждой коровы до пяти с половиной тысяч килограммов. Они заняли первые места среди доярок всего края. Правда, не всегда следует увлекаться рекордами: прибавки, которые достигаются усиленным подкармливанием концентратами и курортными условиями содержания, нередко оказываются золотыми по себестоимости. Заведующий отделом агропочвоведения Всесоюзного института зернового хозяйства (Шортанды) кандидат сельскохозяйственных наук А. А. Зайцева приводила мне недавно очень характерный пример из практики ученых-животноводов Карагандинской области (поселок Долинка), где она раньше работала.

— Придешь,—говорит,—бывало, на ферму рекордисток, а тебе еще у входа: «Тсс... Говорите шепотом — Морошка спит...»

Как научный эксперимент это, может быть, и интересно, но этой Морошке представлялись любые корма на выбор, в том числе и... молоко. Какое практическое значение имеет дорогостоящие рекорды от коровы-барыни!

К чести раздольненцев нужно сказать, что высоких надоев они достигают на хороших грубых кормах и силосе при незначительной добавке концентратов; себестоимость килограмма молока высокоудойной группы у них не превышает восьми копеек при одиннадцати плановых. В этом хозяйстве как раз и пошли по правильному пути коренного улучшения скудных естественных сенокосов и пастбищ. «Допахались,—говорят про них,— до самого крыльца конторы» — создали богатое разнотравье на семи тысячах гектаров «бросовых земель». Молодцы раздольненцы! Во многих вопросах они маяк для своих соседей!

Основными породами крупного рогатого скота, на которые взят курс в Целинном крае, являются хорошо проверенная и довольно-таки уже распространенная красная степная, симментальская, а также, конечно, казахская белоголовая. Но, как показывает опыт раздольненцев, хорошо здесь пойдет и черно-пестрая порода — акклиматизированные остфризы, особенно распространенные в наших прибалтийских республиках.

Освоение второй целины должно строиться на основе высочайшей производительности гурда, прогресса во всем — в строительстве и типах самих зданий, в содержании, выращивании, откорме животных и, конечно, в породистости самого скота. Создавая большое животноводство, нужно обеспечить прогресс и в самом животноводстве, для которого теперь имеются все возможности. Племенное дело — важный рычаг в подъеме животноводства. Возьмем и исконную казахскую отрасль — овцеводство.

В юрте, у очага, приветливые кочевники казахи расспрашивают гостя о петербургской жизни и, в частности, задают ему вопрос: «А есть ли в Петербурге бараны?» И когда узнают, что бараны есть, но не такие, как в степи, а без курдюков, с козлиными хвостиками, то раздражаются безудержным хохотом: «падают назад на спины, хватаясь за животы... приподнимутся, посмотрят на гостя, и опять лягут, и колышут своими животами халаты...» Не поверили кочевники: не может этого быть, чтобы овцы — и без курдюков!.. Такую сценку приводит замечательный мастер русской прозы М. М. Пришвин в очерке «Черный араб», написанном им в 1911 году по впечатлениям от поездки по казахстанским кочевьям.

У меня есть знакомый — живой кареглазый юноша, комсомолец и кандидат пар-

тии Монтай Алькибаев. Это представитель древней династии кочевников овцеводов. Его дед, слуга у бая, чабан Алькибай, да и ныне здравствующий отец, табунщик совхоза Сарсен, вполне могли быть участниками беседы с писателем Пришвиным в 1911 году. Монтай Алькибаев — знатный чабан совхоза «Чаглинский». Кстати говоря, зажиточно живут старательные чабаны — одних только премиальных за прошлый год Алькибаев получил около четырнадцати тысяч рублей (в старом исчислении). В нынешнем году от отары тонкорунных овец он настриг в среднем по 7,1 килограмма первоклассной шерсти, заняв первое место в области. Интересно: видел ли Монтай когда-либо овцу с курдюком?

— Ата (отец) рассказывал, а самому хоть бы одну показали... Очень любопытно посмотреть.

Пример показательный. Уже и сейчас большинство распаханых районов Северного Казахстана совершенно не знает типичной для прежнего кочевого хозяйства курдючной овцы с ее реденькой грубой «ордовой шерстью». Вместо курдючных — мериносы или метизированные. Содержание овцы обходится в среднем по десять — двенадцать рублей в год, а если она тонкорунная, то все расходы легко перекрываются только от продажи шерсти государству. В культурном хозяйстве, где, кроме пастбищ, имеются самые различные корма, в том числе и силос (овца ведь тоже его любит), прямой смысл разводить высокопродуктивных овец, которые дают и хорошее мясо и богатую шерсть.

К сожалению, средние настриги шерсти в Целинном крае еще очень низки. Они гораздо ниже, чем у ставропольских овцеводов. А между тем североказахстанские степи в общем-то богаче травами, нежели ставропольские выпасы на Черных землях. В чем же тогда дело? В отсутствии направленной по улучшению племени работы. В некоторых хозяйствах овец бессистемно и беспорядочно метизировали: от курдюков избавили, но и шерсти не прибавили. Посмотришь иной раз на такое животное, даже и по масти-то не черная, не белая, а пестрая. Сорока, а не овца...

Совхоз «Чаглинский», в котором работает Алькибаев, это как раз примерное хозяйство по меринсовому овцеводству. Овца — самое пастбищное животное. Но хотя многие «жайляу» теперь распаханы, для нее еще великий простор. Умело используя отходы от производства зерна, выпасы на не пригодном для земледелия мелкосопочнике, создание искусственных пастбищ и сенокосов, наконец, широко применяя пастьбу по убранным массивам зерновых (овца подберет каждый утерянный колосок), совхоз добился средних настригов по шесть килограммов и двести граммов шерсти от каждой овцы. А мастер овцеводства, заслуженный чабан Казахской республики Петр Рау, не только пасет свою маточную отару, но и ведет в хозяйстве большую работу: он добивается, чтобы, как и в лучших хозяйствах Ставрополя, его мериносы давали по десять—пятнадцать килограммов шерсти.

Однако в Целинном крае есть еще и такие районы, где вполне выгодно и целесообразно и широкое разведение самой неприхотливой мясо-сальной курдючной овцы, ее лучших отродий, вроде эдельбаевского. (Или — что еще лучше — разведение новых казахстанских пород, сочетающих приспособленность к условиям полупустынь с хорошей мясной и шерстной продуктивностью.) Это — наиболее тощие степные и полупустынные земли южных зон Кустанайской, Целиноградской и Павлодарской областей. По своей нетребовательности к качеству пастбищ овца — удивительное животное: она обладает биологическими особенностями, позволяющими ей использовать те корма, которые другие виды животных использовать не могут. Даже на самых тощих солончаках, поедавая различные виды красноватых солянок, овцы хорошо поправляются и даже откармливаются.

Возврат к экстенсивным формам древнего казахского скотоводства с его «кочевыми видами и породами» животных там, где созданы условия для культурных и интенсивных, был бы, конечно, абсурдом. Но и отказ от использования экстенсивных форм в условиях, где они хозяйственно выгодны и оправданы — например, от дешевого табунного коневодства или мясо-сального овцеводства, — тоже явился бы непростительной глупостью.

Вокруг пяти фамилий...

У каждого вопроса не одна, а много сторон. Количество индивидуальных — не то что районных или областных, а краевых — рекордов в Кокчетавском районе нынче опять возросло, а переходящее областное Красное знамя по животноводству «ушло» в соседний район, который рекордами не славится.

Как же так? Толкуем об этом с первым секретарем райкома партии А. В. Гуторовым. Он отнюдь не приукрашивает положения.

— Да, забрали себе чуть ли не все краевые индивидуальные рекорды по животноводству, а общие показатели по району пока не блестящие. Тычут этим в глаза,— говорит секретарь райкома,— это, дескать, у вас ширма, которой прикрываете недостатки... И возразить трудно...

Как и по всему краю, сильно тормозит дело отставание со строительством животноводческих помещений. Правда, создаются в Целинном крае сорок заводов по производству крупнопанельных блоков, но это для завтрашнего дня, продукции они еще не дают. Между тем количество скота уже нынче во многих хозяйствах увеличивается в полтора, а то и в два раза. Куда его разместить на зиму? Надо прямо сказать, что строительство коровников, свинарников, птичников и других дешевых и современных «квартир для животных» — это сегодня главная трудность, «проблема номер один», как говорят в совхозах. И дело, конечно, в людях, в их боевой самодеятельности и инициативе. Кто сумеет до дна использовать возможности местных кирпичных заводов, наладить массовое производство камышитовых и камышито-бетонных плит, пустить в ход неисчислимые запасы бутового камня и других местных строительных материалов, тот окажется на высоте задачи, тот уже нынче заложит прочную основу развернутого, планомерного освоения животноводческой целины...

Но нужно, видимо, также многое пересмотреть и в корне улучшить и в работе с самими животноводами. Дело-то люди решают!

Что получается в Кокчетавском районе (да и не только там!) вокруг вопросов соревнования?

— Крутимся,— признает Гуторов,— больше всего около пяти-шести фамилий. Только и знаем: Герлинская, Шефнер, Штерн, Рау да Алькибаев. Сегодня Герлинская всех обогнала, завтра Шефнер обогнала Герлинскую...

Было бы, конечно, совершенно неправильно чем-то умалить заслуги передовых доярок и тем более такого чабана, как Петр Рау, который сам создает племенное стадо,— это же замечательный маяк! Сводить все к тому, что от племенного стада легче получить высокие показатели, тоже нельзя. Племенной скот в хороших руках дает рекордные надои и привесы, в плохих — средние и ниже средних. (Точно так же и плохие коровы у старательных хозяев делаются хорошими.) Учтем и другое. Механическая дойка еще только переступает пороги целинных совхозов, и сколько же девушки из «Раздольного» затрачивают одного только физического труда! Нет! Поддерживать их и поддерживать, стараться выравнять по ним весь фронт да побыстрее внедрять механизированную дойку. Нет! Ставить и ставить совхоз «Раздольный» в пример другим хозяйствам, пусть все повышают породистость скота и так же заботятся о кормах, пусть в каждом хозяйстве ведется упорная, направленная племенная работа.

Но что получается иногда с сегодняшним, конкретным соревнованием? Среди доярок можно услышать и такие разговоры: «За раздольненскими не уgonишься, первые места все равно будут за ними, у них не коровы, а богатыри». Замечу, кстати, что живой вес пестрянок достигает семисот пятидесяти килограммов. По сравнению с типичной коровой местной казахской породы, каких еще не мало в Целинном крае и которые имеются и в Кокчетавском районе, это больше чем двойной вес — «двойная коро́ва».

Где же сопоставимость условий соревнования? Разве можно тут ограничиться лишь одним упрощенным подходом к делу — только тот победитель, у кого показатели выше?

Посмотришь списки передовиков животноводства, которые ежемесячно публикуются в районной газете,— каждый раз они начинаются с одних и тех же фамилий. А по

группам нельзя? В зависимости от задач, от выполнения, обязательств? Сложнее. Но самый простой путь далеко не всегда самый верный.

А в каком положении оказываются иной раз и сами победители? Кого послать на областное совещание? Герлинскую. На краевое, а затем в Алма-Ату? Тоже ее. На новогоднюю елку в Москву? Конечно же, Герлинскую. На ВДНХ? Герлинскую, кого же больше! Но может быть, хватит? Нет, говорят в райкоме комсомола, без нее на районной комсомольской конференции никак нельзя. Пусть даже и не будет выступать, но хотя бы посидит в президиуме. Значит, в качестве некоего живого портрета? Мария Ивановна всегда отличалась организованностью и исключительной аккуратностью в труде — в этом один из главных «секретов» ее успеха, — а теперь и она начала привыкать к новой роли. Недавно в «Раздольном» зашла речь о том, что нынче на ВДНХ пошлем Лизу Шимановскую — старейшую и лучшую доярку неплеменной группы (до перевода на обслуживание черно-пестрых Герлинская работала рядом с Шимановской и отставала от нее). Когда зашел этот разговор, то Мария Ивановна пришла с предложением:

— А почему не меня в Москву?

Популярность лучшей доярки обернулась против ее работы. Она в последнее время мало бывала на ферме, за нее управлялась младшая сестренка. Не мудрено, что подружки — тихая, скромная Шефнер и кипучая, шумливая Штерн недавно обогнали Герлинскую. Не получилось бы так, что теперь и они станут обязательными на всех совещаниях.

Сегодняшнее, конкретное соревнование нужно разнообразить и обязательно дифференцировать. Дело-то ведь не в самих по себе отдельных рекордах лучших животноводов, а в том, чтобы всех расшевелить, создать всеобщий трудовой накал, зажечь и организовать всю массу на борьбу за «75 и 16», привить каждому приемы передовой, высокопроизводительной работы. Мало в Кокчетавском районе работы с основной массой животноводов — и со стопроцентниками и с невыполняющими нормы, — плохое передается хороший опыт. В этом и заключается главная беда.

В конкретных условиях и задачи ведь разные. А всегда ли это учитывается? Попробуйте-ка опубликовать в местной печати, что такая-то доярка в нынешнем году довела надой от своей группы коров до полутора тысяч килограммов, и назвать это успехом. Вам скажут: «Да вы с ума сошли! Какой же это успех — показатель ниже областного обязательства!» А в условиях того или другого хозяйства и это может быть (и бывает) не только успехом, но подвигом. Надо только, отмечая таких героев, толково расшифровывать, какие у них были условия, задания и обязательства и почему их хвалим. Нельзя перед всеми ставить одинаковые задачи. В «год первой борозды» привели в новый совхоз «Бидаикский» местных коров мясного направления. (Любители поострить называют их «гончими коровами» за способность быстро передвигаться.) Животных никто и никогда не доил. Они не понимали ласки, не разрешили браться за вымя. Отдельные коровы за весь день давали по три стакана молока. Досталось в этот год девушкам-дойрякам! Однако новоселы — помнится, это были Поля Остапчук, Фрося Кукота, Оля Яровенко и Оля Косицина — сделали чудеса: раздоили, выровняли скот. За один год поднять надой от нуля до полутора тысяч килограммов — что бы там ни говорилось, а это не шутка! Надо было бы девушкам, которые блестяще выполнили свою задачу, фигурировать и на совхозной и на районной Доске почета. Но этого никто не отважился сделать: «Низки показатели». А так бы и указать: «Раздоили мясных коров».

Ольга Шемет вернется на ферму

Когда заходит речь о живом, творческом соревновании, хочется рассказать об одной, на мой взгляд, интересной страничке из жизни совхоза «Толбухинский».

Дело было ранней весной 1958 года. Накануне прошел теплый дождичек. Сквозь желтые космы прошлогодней травы проглядывал снизу веселый, зеленый подгон. Скот после долгой сибирской зимы впервые выгоняли на пастбище. Смотрел я на совхозных

коров, и они мне не очень нравились: неказистые, маленькие, разномастные, хотя и хорошо упитанные.

— А вы знаете, какой они породы? — прищурил глаза заведующий фермой.

Ответил, что не знает.

— Тасканской...

— Что же это еще за порода?

— Порода это вот такая: когда нам выделяли для развода скот из старых совхозов, то некоторые недобросовестные директора сплывили что похуже, в том числе и больных. Про таких коров и говорят, что они «тасканские». Сначала мы их за хвосты таскаем, а потом нас таскают за то, что не даем ни мяса, ни молока...

Услышать это было тем более интересно, что животноводы молодого хозяйства выходили тогда по надсям молока на первое место в области. В первый год от истощенных и захудалых коров они получили печальные надои — по четыреста килограммов на каждую. Во второй — продвинулись до тысячи. Зато на третий, когда по-настоящему развернули соревнование, получили уже по две тысячи семьдесят девять килограммов молока и вышли на первое место в районе. В 1958 году средние надои вплотную приблизились к трем тысячам килограммов. И это от беспородного, в прошлом «тасканского» скота!

Не будем греха таить, и до сих пор в различных хозяйствах по-разному организуется у нас соревнование. Бывает и так: заключают между собой в начале года животноводы договоры, подпишут бумажки — и считается, что они соревнуются. А дальше? Дальше дожидайся конца года: у кого «по бухгалтерии» вышло больше, тот и герой.

Но здесь я попал в обстановку живого, повседневного, приметного даже в бытовых мелочах соревнования, воочию увидел, как девушки «дерутся» за каждого теленка, за молоко... Не только за килограммы — за стакан, за полстакана, за граммы. И сразу после рабочей смены — к доске показателей: у кого больше, у кого меньше. Запомнилась хорошенькая смуглая украинка Вера Шувалова, которая с заплаканными глазами рассказывала мне про свое «большое несчастье». А «зробилось це бісове діло», как называла она свое горе, неожиданно-негаданно. Заканчивала вечернюю дойку. В последнюю очередь занялась любимой красной коровой Артисткой. Артистка стояла спокойно, охотно отдавала молоко заботливой хозяйке, как вдруг (а это «вдруг» все и решило!) шмыгнула под ногами у животного мышь, или, как говорила Вера, «мыша».

— Артистка, — продолжала доярка, — як вдарить ратицею по кромці, як лягне ногою по відру! Ось тобі й молочко!

Оказалось, что Вера с большим грудом выбралась на первое место в соревновании — дело шло к концу месяца, а подруги Варя Гембух, Надя Дуля. Ольга Шемет поджимают, и это ведро могло все решить, могла оказаться на втором месте.

— Из-за проклятой-то мыши! — рассказывала Вера, продолжая утирать глаза.

Многие, конечно, причины способствовали тому, что девушки так загорелись. Например, позаботились о быте, всем были даны квартиры, установили премии. Но особенно бросалась в глаза хорошо поставленная партийно-политическая работа. По решению партийного собрания для работы на фермах направили семь коммунистов. Да комсомольцы послали пятнадцать человек. Существенную помощь оказали дежурства партийного и комсомольского актива на фермах. Каждому дежурному было вменено в обязанность: пришел на дежурство — личным примером помощи животноводам. Председатель рабочкома Н. Г. Маерович (он теперь секретарь парткома в совхозе) во время буранов сам подвез к ферме шесть автомашин кормов. Помощник бригадира А. И. Бирюк, заметив скученность телят, помог выгородить для них дополнительный угол. Другие дежурные вывозили навоз, открывали ямы с силосом и так далее. И уж, конечно, проводили беседы на политические и экономические темы.

Кандидат партии П. Д. Нартова, жена секретаря парткома совхоза, как и другие, также с пяти часов утра выходила зимой на дежурство. Перекинет через плечо чистенькое полотенце, прихватит с собой блестящий никелированный подойник и спешит на ферму по широким улицам поселка...

Взволнованно живописала мне тогда настроение коллектива и свое собственное доярка Ольга Прокофьевна Шемет. Страстная, кипучая, непосредственная, она допояла свои слова выразительными жестами:

— У нас теперь все борются за скотину: и доярки, и возчики, и скотники, и секретарь парткома, и его жена. Ночью лежишь — и то думается: догоню завтра Веру с Анной или не догоню? Покормила и попила, кажется, славно. Должна бы догнать. А утром поглядишь — ты подтянулась, а они еще больше... Но в конце зимы пришлось задать хорошую баню начальникам. Где у них только головы были! — негодовала Ольга и сделала при этом пальцем кружок на виске (ума, дескать, у них не хватило). — Одну яму с силосом кончили, а другую не догадались открыть. Понимаете, сколько из-за этого молока теряем? Ждали мы, ждали — дожدهшься их! — а потом рассердились, остались после смены, взяли лопаты, пошли и откопали... Так вот теперь! Ох, и жаркая пошла нынче у нас работа, как на фронте!

Слова «как на фронте» у нее не были случайными. Ольга Шемет — из Донбасса, со станции Попасная, которая во время ожесточенных боев Великой Отечественной войны много раз переходила из рук в руки. Порассказывала она мне, как с детишками — «мои и сестрины» — пряталась в то время по подвалам от гитлеровцев: «Сидишь и в шелочку смотришь, выгнали окоянных или нет, а детишки, что они разумеют — плачут...»

...Мне, естественно, захотелось нынче повидать старых знакомых. Но не всегда их просто отыскать. Спрашиваешь Веру Шувалову, а она теперь Новикова, жена шофера, мать двоих детей. Спросишь Надю Дулю, а она хоть и продолжает работать на ферме, но уже не Дуля, а Касьяненко. «Драгоценной доярки» Вари Гембух, как в свое время называл ее зоотехник, и совсем нет в совхозе. В соседнем Келлеровском районе умерла ее сестра, мать огромной семьи, перед смертью просила мужа: «Уговори Варю к тебе в жены, она детей сохранит». Варя ушла, как говорят в совхозе, «на трудное дело» — на большую семью. Жизненный подвиг!

Появились и новые хорошие люди. Среди доярок больше всех славится маленькая смешливая комсомолка Маруся Виб, депутат райсовета. О ней отзываются: «Эта все успевает — и коровы у ней лучше всех обихожены, и частушку составит, и сама ее в клубе поет».

Готовит огромный разбег в свиноводстве зоотехнически грамотная, спорая в работе заведующая свинофермой Зина Приз. Дело это попало в надежные руки. Ее так характеризуют руководители совхоза: «Удивительный человек — что ни задумает, за что ни возьмется, всё у нее ладится. Как пришла на ферму, так и забыли, что значит болезни, падеж молодняка и другие неприятности...» Но недавно и у нее был вынужденный перерыв: лежала в родильном доме. Заместителем оставался муж Зины — фуражир фермы Николай Назарович. Но хотя Зина перед уходом сказала: «Считайте, что это, как я», — сам «врид» заведующего думал несколько иначе. «Измаялся, бедный, — выдают его секреты на ферме. — Все ходил да приговаривал: «Скоро Зина вернется. Опять будет весело. Опять все пойдет хорошо».

Все в хлопотах. Прибывает первое подкрепление на самый дефицитный в расчетах совхоза участок маточного поголовья коров. Лучшая телятница Мальвина Рунковская скоро примет двести племенных телочек, которых посылает братская Литва...

Обо всех можно бы много расспрашивать и рассказывать, но как не узнать об Ольге Шемет?

С ней, оказывается, не все благополучно. Со слезами, но ушла с любимой работы — рекомендовали врачи. Стали сильно болеть руки. Что тут больше сказалось — пережитые ли тяготы Отечественной войны или трудности ручной дойки, — судить трудно, но несомненно, что сказалось и то и другое. Посылали ее лечиться в Сочи, в санаторий «Радуга». Теперь заведует инструменталкой в механической мастерской, но помыслами своими по-прежнему в животноводстве.

Впрочем, и не только помыслами: она агитатор среди животноводов. Да еще и какой агитатор! Ей не нужно искать, как это принято иногда выражаться, «ключи к сердцу рядового труженика», они у нее всегда с собой.

Встретились мы с ней в инструменталке. Все такая же кипучая, проворная, обходительная с товарищами.

— Вот,— говорит,— немного обезручала. Нервное это у меня... Но скоро будет в совхозе механизированный доильный зал. Обязательно вернусь тогда...

* * *

Сложные новые задачи решают толбухинцы, ижевцы, кантемировцы, новоселы других совхозов, весь Целинный край.

А когда видишь этих новых людей, когда знаешь, что во главе борьбы и поисков стоят коммунисты, веришь: обязательно сделают. И скоро сделают!

Еще рано подводить итоги года. Но хорошие всходы видны уже и сейчас. Из «Кантемировца» сообщают, что после выполнения обязательств перед государством там нынче будет вдвое больше скота против прошлогодного. В «Толбухинском» будет зимовать утроенное количество свиноматок, почти удваивается количество коров. В «Бидакском» в десять раз больше прошлогодного останется на январь 1962 года уток, в двадцать с лишним раз больше кур-несушек.

В первых успехах ферм — мощный резерв для еще более крутого подъема. Освоение новых земель создаст и уже начинает создавать большое животноводство.

Иначе и не может быть! Потому что, как говорит Н. С. Хрущев, увеличение производства мяса, молока, шерсти — это конкретная борьба за построение коммунизма.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ

★

НОВОЕ В ЖИЗНИ И В ЛИТЕРАТУРЕ

1

Партийный съезд — всегда значительная веха в истории советского общества. С особым правом это можно сказать о XXII съезде КПСС. На нем будут приняты новые Устав и Программа партии — будет утвержден великий план строительства коммунизма. Впервые в Программу партии включен специальный раздел о литературе и искусстве. В этом — признание больших заслуг нашей литературы перед народом, уверенность в том, что советские литераторы и впредь будут верными помощниками партии в благороднейшем деле воспитания человека коммунистического общества.

С чем же подходит литература к съезду, к новому историческому рубежу? Нельзя ли — пусть в предварительной форме — наметить характерные черты нынешнего этапа развития литературы, проследить, насколько проникло в ее плоть и кровь то новое, что вошло в нашу жизнь за последние годы.

В свое время в статье о русской советской прозе 1954 года¹ мне приходилось высказывать мнение, что послевоенный период развития литературы следует делить на разные этапы. Уже в те годы наметились в литературе новые тенденции. С тех пор прошло более пяти лет, и ныне уже очень и очень многое свидетельствует о том, что литература находится на новом этапе своего развития. Ряд интересных соображений по этому поводу можно найти в различных

статьях, появившихся в последнее время в наших газетах и журналах.

Современная советская литература безусловно верна основополагающим принципам социалистического реализма. Ее цель — служение делу партии, делу строительства нового мира. Святой долг советских литераторов — отстаивать высокие идейные основы советской литературы. Однако справедливо и то, что на каждом новом этапе истории советского общества перед литературой встают и новые задачи, что в ней самой происходят сдвиги, ибо литература социалистического реализма есть живой организм, растущий и обновляющийся.

Новое, что вошло в нашу жизнь... Давайте же вспомним это новое, вспомним хотя бы самые памятные события и даты.

Сентябрь 1953 года, Пленум ЦК... Его решения всколыхнули деревню, да и не только деревню. Партия начинала великую перестройку, охватившую все стороны нашей жизни, перестройку, которая касалась и всех нас вместе и каждого в отдельности. С ленинской прямоотой и принципиальностью партия подвергла критике все отжившее, ложное, не соответствующее требованиям жизни в руководстве сельским хозяйством. Советуясь с народом, прислушиваясь к голосу рядовых тружеников, Коммунистическая партия развернула программу коренных изменений в сельском хозяйстве. И каждый убедился, с какой последовательностью, подкрепляя каждое свое решение делом, партия проводила эту линию. Резко снизились налоги, изменился порядок закупок сельскохозяйственных продуктов, колхозник сразу ощутил деловую

¹ Русская советская литература 1954—1955 гг. Издательство Академии наук СССР. М. 1953.

заботу о повышении его благосостояния. Десятки тысяч новых умелых работников пришли в деревню из города, были переданы машины из МТС в колхозы, в корне изменился сам стиль руководства сельским хозяйством. Началось героическое и славное освоение целины... Да, воистину неузнаваемо изменилась деревня со времен всем памятного сентябрьского Пленума, переменились мы все, ибо новое непрерывным потоком вторгалось во все области нашего бытия.

Достаточно произнести два слова: Двадцатый съезд — и у любого из нас ответно отзовется сердце. Решения, принятые там, сделали нас более зрелыми, более мудрыми. Огромное мужество проявила партия, выступив с критикой культа личности, решительно взявшись за ликвидацию его последствий. А как горячо в народной душе отозвались славные дела партии — восстановление ленинских норм во всех областях жизни, дальнейшее упрочение советской и партийной демократии, забота о социалистической законности и охране прав граждан! Напрасно бесновались враги нашего строя, рассчитывая, что критика вызовет замешательство в наших рядах, — партия повела решительную борьбу с ревизионизмом, с идейными шатаниями, с наветами вражеской идеологии, борьбу, которая закалила наших людей идейно. Мы стали еще крепче, еще закаленнее.

«Мы не только раскритиковали недостатки прошлого, — говорит Н. С. Хрущев, — но и провели такую перестройку, какую без преувеличения можно назвать революционной в деле управления и руководства всеми областями хозяйственного и культурного строительства».

Благотворное воздействие этой революционной перестройки ощущалось буквально везде. Вслед за сельским хозяйством разительные перемены происходят в промышленности, создаются совнархозы, открывается исключительный простор для инициативы на местах. И инициатива народа начинает бить ключом. Одно из ярчайших проявлений творчества народа — рождение бригад коммунистического труда, где на коммунистический лад перестраивается не только труд, но и быт и мораль, словом все стороны жизни трудового человека.

А поток нового все ширится и ширится. Вот он уже захватил школу, повернул ее

лицом к требованиям жизни, практики коммунистического строительства. Реальные результаты политики партии, весомые плоды успехов коммунистического строительства ощущает на себе каждый гражданин страны. Он видит это и в новом законе о пенсиях, и в сокращении рабочего дня, в постепенном снижении налогов, в увеличении заработной платы низкооплачиваемым категориям рабочих, в том бурном развертывании жилищного строительства, которое положит конец лачугам и хибарам. «Все для советского человека» — сегодня этот великий принцип социализма особенно нагляден, весом, зрим, убедителен!

Еще никогда не было так авторитетно, так уважаемо, так значимо слово нашей Родины на мировой арене, как ныне. Наступила великая эра крушения колониализма, рвет цепи черная Африка, пришли в движение сотни миллионов людей. В своем благородном влечении к свободе они всегда находят руку братской помощи нашей Родины. Настало то время, когда человечество в силах покончить с войнами, оно в силах, ибо борьбу за мир возглавляет наша страна!

Начиная великое наступление социализма по всему фронту, мы дерзко бросили капитализму вызов: «Догоним!» В Европе уже нет капиталистической страны, которая могла бы соперничать с нами по выпуску продукции, по успехам в науке и технике. И вот настало время, когда мы стали «доставать», казалось бы, недосыгаемую Америку... Кто из нас забудет октябрьское утро 1957 года, когда из космоса раздался сигнал удивительнейшего из творений человеческого гения и человеческих рук. Новую жизнь обрело слово «спутник», оно вдруг сравнилось с такими словами, как эпоха, эра. А он, этот первый спутник, был наш, советский! А так пошло! Уже среди безмолвных цирков Луны блестит под солнечными лучами вымпел страны коммунизма, уже учат в школах и университетах географию невидимой стороны Луны, открытую советскими Магелланами и Колумбами... А вот уже один за другим поднялись в космическую высь Гагарин и Титов — пионеры нового века Великих Открытий... И кто знает, пока печатаются эти строки, пока дойдут они до читателей, не будет ли вновь потрясен мир новыми советскими дерзаниями, новым ослепительным успехом союза науки, труда и мужества?!

Наконец, сейчас перед нами проект новой Программы партии — подлинный Коммунистический Манифест XX века.

На исторических XX и затем XXI съездах партии сокровищница марксизма пополнилась новыми принципиальными положениями, обогащающими современный опыт общественного развития: о возможности мирного перехода власти в руки пролетариата; о превращении нашего государства во всенародное; о соотношении национального и интернационального в культуре современных социалистических наций и многим другим.

Проект новой Программы партии включает в себя последнее слово мировой революционной теоретической мысли.

Томас Мор и Томмазо Кампанелла, Николай Чернышевский и Уильям Моррис — все они по-разному представляли себе грядущее, будущий самый справедливый строй.

А вот сейчас мы стоим перед тем, что можно с полным правом назвать глубоко реалистической картиной коммунизма, того коммунизма, до которого мы, сегодняшние его строители, обязательно доживем. И эта реалистическая картина будущего называется Программой Коммунистической партии. Она уже претворяется в жизнь, и все мы глубоко убеждены, знаем как самые трезвые практики, что и все остальное в ней станет явью. Тут уже все размечено, как на строительной площадке, как на хорошем строительстве, уже есть график, твердые сроки, ибо великая, наисмелейшая мечта уже встала на землю, оделась в бетон и железо, в ней струятся потоки энергии, она воплощается в жизнь волей и творчеством миллионов деловых строителей.

Мы назвали далеко не все из того потока нового, что вторгается в нашу жизнь. Но даже из названного видно, как далеко мы шагнули, как много сделали, изменяя мир и самих себя. И это сказалось на всем, на всех сторонах жизнедеятельности наших людей.

В этом перечне славных и очень важных изменений в жизни нашего общества видны успехи политики нашей партии, политики, строящейся на реальных основах, теснейшим, непосредственным образом связанной с жизнью народа. Как известно, одним из наиболее отрицательных явлений культуры личности И. В. Сталина явился разрыв между теорией и практикой. В «Истории

Коммунистической партии Советского Союза» говорится: «В деятельности И. В. Сталина появился разрыв между словом и делом, между теорией и практикой. В работах И. В. Сталина содержались правильные, марксистские положения о народе как творце истории, о роли партии и ее Центрального Комитета как коллективного руководителя, о внимании к кадрам, о разворачивании внутрипартийной демократии и т. д. Но когда дело касалось практики, И. В. Сталин отходил от этих марксистско-ленинских положений»¹.

Сегодняшние разительные успехи политики партии, ее Центрального Комитета, возглавляемого Н. С. Хрущевым, — результат тесной связи творческой передовой теории с глубоким проникновением во всю реальную сложность практических вопросов строительства коммунизма. И эта огромная, поистине титаническая работа нашей партии оказала самое благотворное воздействие на жизнь нашего общества в целом, на каждого человека в отдельности. Она не могла не сказаться самым решительным образом и на облике нашей литературы.

В приветствии ЦК КПСС Второму Всесоюзному съезду писателей отмечались большие успехи нашей литературы, намечены были вдохновляющие перспективы ее дальнейшего развития. В то же время там было сказано и о недостатках нашей литературы. «Наша литература во многом еще отстает от бурно развивающейся жизни, от запросов читателя, выросшего политически и культурно». И несколько далее: «На развитие нашей литературы отрицательно повлияли проявившиеся в ряде произведений тенденции к некоторому приукрашиванию действительности, к замалчиванию противоречий развития и трудностей роста. В литературе не находит должного отражения борьба с пережитками капитализма в сознании людей. С другой стороны, некоторые литераторы, оторванные от жизни, в поисках надуманных конфликтов, писали халтурные произведения, допускали искаженное, а иногда и клеветническое изображение советского общества, огульно охаивали советских людей»².

Это был серьезный упрек — в отрыве от

¹ История Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат. М. 1960, стр. 483.

² Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. «Советский писатель». М. 1956, стр. 8—9.

жизни, от практики коммунистического строительства, в умозрительном конструировании конфликтов. Конечно, было бы грубейшей ошибкой относить его ко всей литературе, речь шла лишь о некоторой тенденции. И это не могло самым глубочайшим образом не волновать писателей, особо близко принимавших к сердцу состояние литературы. Вспоминая о литературе времен Отечественной войны, о ее глубокой связи с жизнью народа, В. Овечкин спрашивал: «А дальше? В последующие годы был ли у всех писателей такой же плотный контакт с жизнью? Нет, тут что-то нарушилось».

А как резко критиковали на съезде А. Корнейчука за то, что он «уехал в милую его сердцу «Калиновую рощу»! «Почему, спрашивали его, не тронули сердце ваше «...другие важнейшие стороны жизни, которые вы наблюдали и которые наша великая партия, ее Центральный Комитет с такой предельной прямотой раскрыли на Сентябрьском и последующих пленумах ЦК?»

Кто же был автор этих горьких слов? Да сам Александр Корнейчук — это взято из его же доклада на съезде. Шутка шуткой, но за ней сама правда...

И крупнейший наш писатель Михаил Шолохов на том же Втором Всесоюзном съезде писателей, а двумя годами позднее, на XX съезде партии, очень резко ставил вопрос об упрочении связи писателей с жизнью народа. Выступая перед делегатами партийного съезда, он говорил: «Я обязан сейчас, с глазу на глаз со всей родной партией, говорить о литературе пусть горькую, но правду». И со всей прямотой и резкостью говорил Шолохов об отрыве части писателей от жизни, о незнании ими жизни рабочих и крестьян.

Что лежало в основе подобной тревоги? Прежде всего то, что многие существенные и важнейшие для жизни народа события оставались вне внимания литературы. То, что выходило в свет немало произведений иллюстративных, описательных, где вместо страстного, смелого исследования новых явлений жизни царилась схема, шаблон, ремесленное «отображательство», книг, где не ощущалось ответственности художника перед народом.

Недостаточной связью с жизнью и, конечно, отсутствием настоящей коммунистической закалки объяснялись и те печальные явления в литературе 1956—1957 годов, ког-

да появились отдельные произведения, проникнутые паническими настроениями. Иные из литераторов в тот момент, когда партия подвергла критике культ личности и его последствия, потеряли чувство политической ориентировки, стали носителями ревизионистских взглядов. Партия оказала неоценимую поддержку нашей литературе, вовремя вмешавшись в процесс ее развития, раскритиковав ошибочные тенденции, показав всю опасность ревизионистских шатаний, и помогла писателям преодолеть растерянность и панику. И когда Н. С. Хрущев в своем историческом документе «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» указал на необходимость для писателей быть в гуще общенародной борьбы за коммунизм, то он определил тем самым главную жизнетворную основу, ведущую тенденцию нашей литературы. «Кто хочет быть с народом,— говорил Н. С. Хрущев,— тот всегда будет с партией. Кто прочно стоит на позициях партии, тот всегда будет с народом». Именно те писатели, которые были теснейшим образом связаны с жизнью, с народом, оказались стойкими ко всякого рода бациллам ревизионизма.

Что же изменилось сегодня по сравнению со временем Второго съезда писателей? Многое. Литература стала гораздо ближе к народной жизни, позиция большинства писателей характеризуется возросшей активностью, гворческим дерзанием. Чувство ответственности перед народом, страстное утверждение нового, передового, дух исканий, гражданская и художественная смелость в постановке больших общественных проблем, самостоятельность в исследовании всей сложности жизни, бьющая ключом писательская инициатива — все это явственно бросается в глаза. Могут сказать, что так бывало не раз в предшествующие периоды — в годы пятилеток, в суровое время войны. Конечно! И в этом сказывается живая преемственность лучших традиций советской литературы. Но преемственность не есть повторение. Она — развитие и обогащение.

Утверждение нашего коммунистического идеала, любовное внимание ко всему новому, стремление дойти до корня в исследовании процессов, происходящих в нашей жизни, желание разобраться в сложных явлениях, деловой, с глубоким знанием — подчас профессионально глубоким знанием —

предмета подход к решению проблемы, острая публицистичность, причем не только в очерке, но и в других жанрах — эпической поэме, романе, повести, драме,— все это важные характерные черты современной литературы. И тот благороднейший нравственный кодекс, который провозгласила партия в проекте своей новой Программы, имеет прямое отношение к нашей литературе. В авторскую позицию существенными свойствами входят и «преданность делу коммунизма», и «непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов», и «непримиримость к несправедливости, гунядству, нечестности, карьеризму», и «дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни» и другие высокие, кровью овященные нравственные принципы строителя коммунизма. Писатель сегодня активнее, чем когда бы то ни было, выступает художником-бойцом за новую, коммунистическую мораль.

Не будем приводить в качестве доказательства «перечислительные» списки произведений и авторов. Возьмем два факта, что называется, «из гуши» литературного процесса. К разным этапам истории литературы относятся два романа из колхозной жизни одного и того же автора, Е. Мальцева,— «От всего сердца» и «Войди в каждый дом». Нельзя ни на минуту усомниться в благородных намерениях автора, когда он писал «От всего сердца». Но трудно отделаться от ощущения, что в этой книге желаемое преобладало над действительным, что автор не столько исследовал реальную жизнь, сколько конструировал ее согласно некоему умозрительному идеалу, что он не столько стремился вмешаться в сложный ход жизни, сколько показать готовый «умственный» результат. Открыв же новый роман «Войди в каждый дом», видишь, что эта книга возникла после серьезного изучения современной деревни. Е. Мальцев не спешит навязать нам готовые решения, он ведет нас в жизнь, не уклоняясь от противоречий действительности. Далеко не все тут удалось художественно, но автор одержал победу в очень важном — в укреплении своей писательской позиции.

Или сопоставьте «Марью» Г. Медынского с его же новым романом «Честь». Ведь недаром же читатели так горячо спорят о последнем произведении, недаром так инте-

ресно бывает на читательских конференциях! Пусть и далекая от совершенства, эта книга захватывает читателя своим гражданским пафосом, остротой постановки общественных проблем, наконец, тем, что автор поднимает неизученные пласты жизни, поднимает не ради сенсации, а движимый благородным стимулом победить зло.

Те, кто был на пленуме Московской организации писателей весной нынешнего года, запомнили искренний, взволнованный рассказ Е. Мальцева о том, как он создавал свой последний роман «Войди в каждый дом». В сокращенном виде его выступление опубликовано в газете «Московский литератор», и стоит привести из него несколько строк, ибо рассказ этот представляется нам характерным.

«Поворотным моментом в моем отношении к явлениям действительности,— пишет Е. Мальцев,— была для меня памятная поездка в Кировскую область весной 1953 года. До этого я часто бывал в деревнях, но посещал, в основном, только передовые колхозы, считая, что именно там я сумею найти ростки новых явлений, а в остальные заезжал изредка, полагая, что там я вряд ли найду что-нибудь поучительное.

В эту поездку я решил не делать никаких исключений, смотреть и вникать во все. Поэтому я должен какую-то часть года жить в деревне, если хочу ее знать органически и проследить за всеми процессами, которые происходят в ней день за днем».

Признание очень важное. Ведь смешно было бы говорить, будто в прежней своей деятельности писатель не шел от жизни. Конечно же, шел, но теперь изменился, так сказать, угол зрения, более широким, более внимательным стал его подход к действительности. Теперь он прожил в деревне даже не «какую-то часть года», а просто несколько лет.

«В первый год, мне кажется, я видел лишь то, что лежало на поверхности и что само собой бросалось в глаза. После XX съезда деревня забурлила, общественная жизнь в ней пошла на подъем. Многие для меня открылось заново. Наряду с мрачным я видел и светлое и, главное, видел настоящих людей, которые пытались бороться с недостатками в колхозе, с искривлениями линии партии».

Знаменателен и вывод, к которому приходит Е. Мальцев: «Мне думается, что прой-

дя за эти годы сложный период в своем развитии, наша литература подошла к какому-то иному качественному состоянию. Мы с полным значением можем говорить правду о жизни. К этому нас зовет партия... Неправдивое произведение сегодня проявится на лакмусовой бумажке времени со всей отчетливостью. И тем из литераторов, кто думает жить по старинке, не затрагивая в своих произведениях то главное, чем живет народ, партия,— будет трудно. Читатель наш так же искушен во всем, как и писатель, и он легко отличит правду от фальши».

Активность писателя выражается сегодня в стремлении глубоко проникнуть в процессы, происходящие в действительности, не полагаясь на готовые формулы и схемы, самому исследовать и изучать реальное развитие событий. Или иначе — не допускать никакого разрыва между теорией и практикой, поверять каждое слово своей жизнью. В этом — лозунг времени.

Дух творческого марксизма, пронизывающий сейчас всю деятельность нашей партии, составляющий как бы атмосферу нынешнего этапа истории нашего общества, самым благотворным образом сказался на развитии нашей литературы. Поэтому сегодня все решительнее выступают литераторы против иллюстративности, описательности, следования готовым формулам и схемам.

Думается, что появление ряда произведений, в которых мы видим резко усилившееся лирическое начало, тоже связано с активизацией писателя гельской позиции.

Лирическая проза существует давно, и дело отнюдь не в формальных признаках. Дело в новых качествах литературы социалистического реализма. «Капля росы» и «Дневные звезды», «За далью — даль» и «Ледовая книга» — это произведения, где, как очень верно сказано у О. Берггольц, «как правило, «свое», «глубоко личное» есть в то же время всеобщее, а общее, народное становится глубоко личным, воистину человеческим. История вдруг говорит живым, протестным человеческим голосом».

Этот новый синтез лирического и эпического, личной авторской судьбы и судьбы народа выражает новые закономерности социалистического общества, где «человек человеку друг и брат». Этот синтез впервые в искусстве начали воплощать Горький и Маяковский, Макаренко и Островский...

А сегодня, на пороге коммунистического общества, возможности для проникновения лиризма в «исконно» эпические и драматургические формы необычайно расширились. Okрепло единство общества и личности художника, если этот художник действительно стоит «с веком наравне», свободно и многосторонне выражает и себя, и голос народа, и движение времени, и торжество человеческого разума. Сегодня сквозь индивидуальное явственнее и закономернее, чем когда-либо, просвечивает Большая История¹. Думается, что прав был Я. Эльсберг, когда в своей статье «Литература и личность советского человека» («Знамя», № 12, 1960) писал: «И дело не только в увеличении удельного веса лирического «я». Важно, что это «я» гораздо свободнее сейчас в «управлении» миром, в сопоставлении различных сторон и черт его, различных времен и различных чувств и мыслей, рожденных ими». Поэтому-то стихотворный путевой дневник превращается в лирическую летопись десятилетия, повесть о детстве в родном селе — в лирическую историю советской деревни за тридцать лет и т. д. и т. п.

¹ В этой связи следует сказать несколько слов о статье А. Кривицкого «Старые истины и «новые» мысли» («Литературная газета» от 25 июля 1961 года), в которой он полемизирует с моей статьей «Спор решит жизнь» («Новый мир», № 9, 1960). А. Кривицкий решительно отказывается видеть что-либо новое в таких произведениях, как «Дневные звезды», «Капля росы» и другие. Однако в статье А. Кривицкого нет спора по существу вопроса, в ряде же случаев он ставит себя в смешное положение.

Так, любой читатель моей статьи легко установит, что в ней идет речь о разных, вполне равноправных формах художественной типизации и в частности, о лирической эпике как об «одной из интересных и многообещающих форм». Таким образом, его утверждение, будто я провозглашаю «монополью лирической эпопеи», объявляю ее «генеральным направлением» литературы и т. п., мягко говоря, не соответствует действительности.

Трудно спорить с аргументами А. Кривицкого — их просто нет. Вместо них — разного рода экивоки и намеки, не идущие к делу. Что же в итоге, по мнению А. Кривицкого, можно сказать о таких своеобразных произведениях, как «Дневные звезды», «Ледовая книга» и т. д.? Ответ сводится буквально к двум (!) словам — «ярко, талантливо». Это, конечно, истина. Хотя не новая, зато краткая. Право же, наша литература заслуживает более серьезного к себе отношения:

Думается, что эта нынешняя «волна лиризма» отражает многие характерные особенности современного литературного процесса, в частности борьбу с описательностью, с ремесленным отображением, равнодушной иллюстративностью. Но — не только! В еще большей степени она отражает возросшее чувство ответственности писателя перед народом. Здесь сказалась внутренняя потребность художника выйти с самым сокровенным на народ, «потребность связать свою жизнь воедино, потребность вспомнить, сравнить, переосмыслить все, что в ней было, начиная с ее истоков, собрать самого себя как нечто единое, рассеянное сначала войной, затем событиями 1953—1957 годов...» (О. Берггольц).

Схоласты отнюдь не исключительная принадлежность средневековья. Увы! Еще не так давно немало пороку было потрачено ими для доказательства, что нашей литературе доступна или только исповедь, или только проповедь. Между тем спор не стоил выведенного яйца. И что такое «Дневные звезды» — исповедь или проповедь? А «Хорошо!» Маяковского? Сегодня остро ощущается потребность в книге, в которой, как пишет О. Берггольц, читатель увидит «не только внешнее движение событий, не только внешнее деяние, а прежде всего самый глубокий, тайный, интимный, самый достоверный мир своей души». И тут вовсе нет противопоставления «внутреннего» «внешнему» — тут страстный и искренний призыв к изображению современника во всем действительном богатстве его связей с миром, его дел, мыслей и чувств.

Когда-то Маяковский издал безымянной свою поэму «150 000 000». Это было результатом трогательных, но наивных представлений, будто в коммунистическом искусстве личность автора «растворяется». Наше время — это время расцвета личности советского человека. Об этом хорошо сказал Н. С. Хрущев: «Мы стоим на позициях всемерного развития индивидуальности каждого человека... И чем дальше мы будем продвигаться к коммунизму, тем больше будут открываться возможности для проявления своей индивидуальности каждому труженнику коммунистического общества».

Переживаемый нами период является в какой-то степени периодом нового самосознания советского общества, когда мы оглядываемся пристальнее, чем когда бы то ни было, назад, трезво оцениваем сделанное, глу-

боко анализируем настоящее и, наконец, начинаем особую полосу развития — вступление в коммунизм. На этом историческом перевале возникают новые связи, новое качество единства личного и общенародного. Отражением этих процессов и является внутренняя потребность художников дать рассказ «о времени и о себе».

А самое главное, что отмечает сегодня писательские поиски, — это обращенность к Ленину. «В большом и малом быть, как Ленин» — мысль эта проходит через самые разные, самые несхожие произведения. Вспоминается один разговор, услышанный в 1956 году, году исторического XX съезда: «Кто самый читаемый автор сейчас?» И ответ: «Ленин!» Да, мы всегда были ленинцами, всегда могли сказать в самую трудную минуту: «Ленин с нами». Но в эти последние годы Ленин стал нам еще ближе, еще роднее, он как бы пришел к нам в бурное, кипучее сегодня, и мы многократно поверяем свои сегодняшние наметки, мысли, планы светлой ленинской мыслью.

И сказывается это в искусстве большей частью не декларативно, а глубоко, в самой сердцевине художественных творений. В глубоко личных эпизодах «Дневных звезд» самое патетическое, самое лиричное — это воспоминание о Ленине, клятва девочки-пионерки на верность Ленину. И в дальнейшем в этой книге Ленин — мерило всего самого чистого, самого лучшего для героического поколения. Ленинский призыв исследовать во всем богатстве фактов реальный ход борьбы нового со старым вдохновляет «деловую» прозу В. Овечкина. А в «Деревенском дневнике» Е. Дороша автор прямо обращается к Ленину в решении сложных современных вопросов. Образ Ленина выведен в повести Э. Казакевича «Синяя тетрадь»; Ленин учит всегда и во всем говорить народу только правду, воспитывать массы правдой. Ударники коммунистического труда в пьесе Н. Погодина все свои сомнения несут Ленину... Да и не в перечислении тут дело — дух дерзания, активности, творческой смелости, словом, все то, что характерно для сегодняшней нашей литературы, глубинным источником своим имеет верность заветам великого Ленина.

Сегодня писатель, как никогда ранее, остро чувствует ответственность за свое художественное слово в борьбе за коммунизм. И это — разительная черта нового этапа развития литературы.

В общей активизации литературы, более тесно ее сближении с жизнью за последние годы видное и почетное место занял очерк. Многие, пожалуй, и началось с него. Во всяком случае, очерк сыграл и продолжает играть на современном этапе развития литературы огромную роль.

Нет, мы не собираемся умалять заслуг ни одного рода литературных войск, и то, что по силам лирическому стихотворению или, наоборот, роману, то часто вне возможностей очерка. Но что было, то было.

В истории нашей литературы бывали периоды, когда очерк приобретал исключительное значение и начинал оказывать воздействие на другие жанры. Но, пожалуй, на нынешнем этапе роль и значение очерка велики, как никогда.

Особенность нынешнего этапа прежде всего в том, что очерк выступил не только как художественный репортаж (что тоже немаловажно), а как очерк-исследование, очерк-атака, очерк — острейшая сегодняшняя проблема. Таковы очерки В. Овечкина, С. Залыгина, В. Тендрякова, А. Калинина, В. Солухина, Г. Тропольского, Е. Дороша, И. Зыкова, А. Злобина и ряда других писателей.

Началось с очерков на деревенскую тему. Партия, ликвидируя разрыв между теорией и практикой, характерный для эпохи культа личности И. В. Сталина, первым делом взялась за решительный подъем сельского хозяйства. Очерки порой не только шли «вслед» событиям, но бывало и так, что очеркисты сами поднимали новые проблемы. В этом нет никакого авангардизма и преувеличения роли литературы. Так и должно быть, если понимать лозунг «Писатели — верные помощники партии!» творчески, а не декларативно.

Право же, бесполезно вспомнить сегодня страницы этих очерков, означавших перелом в литературе. Вспомнить и оценить по заслугам, что в них действительно было полезно и долговечно, а что нет... Необходимость в этом, помимо всего прочего, возникает еще и потому, что не так давно раздавались голоса, призывавшие к ответу за ущерб, якобы нанесенный литературе и читателю очерками В. Овечкина и В. Тендрякова: «Следовало бы подвергнуть серьезному, глубокому анализу и то направление нашей литературы, представителями которого являются В. Овечкин, В. Тендряков, чтобы показать наряду с бесспорными успеха-

ми и завоеваниями и протори, и убытки, которые вовсе не обязательны в этом жанре, но которые, к сожалению, вовсе не малы». (М. Гус. «Новая литература и ее герой» — «Литературная газета» от 25 февраля 1958 года).

Что же более всего смущало М. Гуса? Критическое начало, если говорить по существу.

Критическое начало действительно было выражено весьма резко. Рассуждать о нем под сурдинку было бы по меньшей мере глупо. Поистине, как писал в свое время Белинский, «уничтожение всего фальшивого, ложного, неестественного» было одной из задач этого, по словам М. Гуса, «направления» литературы.

И надо прямо сказать, что острие критики названных очерков направлено было не против тех или иных частных недостатков в области руководства сельским хозяйством, а против недостатков коренных. Стиль Борзова — это тот самый разрыв теории с практикой, который был осужден партией. Борзов требует выполнить план хлебосдачи «любой ценой», причем практически той самой вреднейшей «ценой», когда, как говорит один из председателей колхозов, режут курницу, несущую золотые яйца, то есть когда подрывается экономика всего района в целом. Стиль Борзова — преобладание видимости над реальностью, бумажного благополучия над действительным положением дел.

«Борзовщина» — это стало даже на время термином, означавшим негодные методы руководства. В очерках других писателей поднимались иные острые проблемы жизни деревни. И опять-таки беспощадной критике подвергалось то, что тормозило новое.

Так что же принесли эти очерки — пользу или вред, «доходы» или «протори»?

Памятуя заветы Ленина, надо всегда точно и ясно определить, ради чего ведется критика, какую цель она преследует, кому от этого польза. Но разве не очевидно, что пафос «Районных будней», «Ненастья», «Трудной весны», «Деревенского дневника», «Владимирских проселков» и других очерков в утверждении истинно коммунистических начал, что в них расшишался путь действительно передовому, а обличалось действительно негодное. Поэтому-то критика выступила тут как признак здоровья, могучей жизненной энергии нашей литературы. Она не имела ничего

общего с ревизионистским злопыхательством.

Советское общество непрерывно обновляется, и критика и самокритика недаром считаются движущей его основой. Вспомним, какие образцы остро принципиальной критики дают нам многочисленные выступления Владимира Ильича! Вспомним прямую, нелицеприятную критику недостатков на последних пленумах и съездах партии, деловую конкретную критику в выступлениях Н. С. Хрущева. Вот он, истинный стиль современной жизни! И как симптоматично, что в проекте нового Устава партии сказано, что член партии обязан «развивать критику и самокритику, смело вскрывать недостатки и добиваться их устранения, бороться против парадности, зазнайства, самоуспокоенности, местничества, давать решительный отпор всяким попыткам зажима критики, выступать против любых действий, наносящих ущерб партии и государству, и сообщать о них в партийные органы, вплоть до ЦК КПСС».

Вот почему наша литература, которая по самому существу своему является литературой героической, утверждающей красоту новой, социалистической действительности, в то же время никогда не отказывалась и не отказывается от критического начала — будь то в очерках, пьесах или романах.

Вот почему сегодня, когда мы ушли далеко от того, что было в 1952—1953 годах, и многие из тех отрицательных явлений, о которых писали Овечкин, Тендряков, Троепольский, Калинин, уже в прошлом — и сегодня передовой очерк во имя утверждения нового резко выступает против того, что мешает нашему развитию.

Читатель, наверно, запомнил Семена Семеновича — второго секретаря райкома в новом очерке Е. Дороша «Сухое лето. 1960». Семен Семенович как будто бы и не бюрократ, не формалист, он уже далеко не Борзов, ему не свойственны ни грубость, ни зажим критики и т. п. Он говорит очень правильные слова о том, что «обязательства надо выполнять». Одно у него плохо — он болен болезнью, которую А. Довженко когда-то метко назвал «благополучизмом». Семен Семенович преисполнен благородного рвения отдать все силы для того, чтобы хозяйство в районе было «в ажуре». Но беда в том, что Семен Семенович стремится к «благополучизму», не добиваясь истинного благополучия. Се-

мен Семенович видит, что молоко обходится колхозам дорого, что непродуманные обязательства по сдаче молока, навязанные колхозникам, фактически подрывают экономику района, но... «обязательства надо выполнять». Семен Семенович видит, что сдача лошадей на мясо не лучший выход, что лошадей можно было бы продать в те районы страны или за рубеж, где они нужны, но... «обязательства надо выполнять». Он видит, как гонят на бойню отощавших, падающих от бескормицы коров, понимает, что эта ненужная спешка со сдачей мяса — прямой убыток государству и колхозам, что подрывается основа хозяйствования в будущем, но... все твердит свое. Е. Дорош выступает здесь против таких работников, которых резко критиковали на январском Пленуме ЦК КПСС. Это оказывается очень к месту, очень своевременно и актуально.

В том-то и существо вопроса, что отнюдь не только критика наших недостатков и даже не столько критика, сколько поддержка нового, подлинно передового составляла и составляет пафос нашей литературы и тех произведений, о которых идет речь.

Ведь не засиле борзовых как некой непробиваемой мрачной стены (а ведь такие картины были в произведениях, авторы которых подпали под влияние ревизионизма), а победоносную борьбу со всем негодным и ложным в нашей жизни, непрерывное наступление Мартынова, Долгушина, Опенкина и множества других людей коммунистического дела изображает В. Овечкин. И в том же очерке Е. Дороша сила не на стороне Семена Семеновича, а на стороне умного и энергичного председателя колхоза Ивана Федосеевича и его друзей. Такая же картина в очерках других авторов — и здесь в центре внимания ростки нового, ростки подлинно коммунистического.

Этим очеркам органически чужда риторика, ходульность, ложноромантическое «приподнимание действительности» и т. д. Наоборот, для них характерны конкретность, деловитость, желание и умение разобраться во всем досконально, любовь к людям дела, смело смотрящим в глаза трудностям и знающим, как с ними справиться. Это образцы очерка художественного и познавательного одновременно. Знаниям и суждениям, высказанным в них, по-

ниманию конкретного вопроса иной раз могли бы позавидовать и специалисты. Видимо, не случайно и то, что авторами многих из подобных очерков являются «представители жизни», как определял такой тип писателя Макаренко. В их творчестве сочетаются и талант художника и глубокое профессиональное знание дела.

Невольно вспоминается, как страстно подерживал В. И. Ленин конкретность и деловитость в работе лигероватов. Еще в первые годы советского строя Ленин неоднократно весьма критически отзывался о всякого рода риторических сочинениях и декларациях, о любителях порассуждать «вообще» при полном отрыве от жизни. И наоборот, появление произведения, рассказывающего о практических делах строителей коммунизма, о ростках нового, вызывало самую горячую, самую решительную поддержку Ильича. Так, в своей гениальной работе «Великий почин» он широко цитирует рядовые газетные корреспонденции о первых коммунистических субботниках и делает из них выводы огромного социального значения. Когда появилась небольшая книжечка А. Тодорского «Год—с винтовкой и плугом», то Ленин тут же горячо отозвался о ней:

«Описание хода революции в захолустном уезде вышло у автора такое простое и вместе с тем такое живое, что пересказывать его значило бы только ослаблять впечатление. Надо пошире распространить эту книгу и выразить пожелание, чтобы как можно большее число работников, действовавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой жизни, занялись описанием своего опыта. Издание нескольких сотен или хотя бы нескольких десятков лучших, наиболее правдивых, наиболее бесхитростных, наиболее богатых ценным фактическим содержанием из таких описаний было бы бесконечно более полезно для дела социализма, чем многие из газетных, журнальных и книжных работ записных литераторов, сплошь да рядом за бумагой не видящих жизни»¹.

Наша очерковая «новая волна» радовала как раз своим исключительно богатым «ценным фактическим содержанием», возрастанием исследовательского пафоса в изучении жизненных процессов, а главное — пристальным вниманием к росткам нового. В очерках впервые предстали перед нами

и новые типы партийного руководителя, и умного современного председателя колхоза, и приход новых людей в деревню, и огромный рост народной инициативы, проявившейся в самых разных областях жизни, и укрепление норм коммунистической морали, и многое другое.

Очеркисты стремились передать поэзию нашей действительности, поэзию людей дела, которые совсем не боги, но выше богов, ибо творят великое простыми человеческими руками. На трудном историческом подъеме литература оказалась помощником партии и народа, ибо ее произведения отзывались на самые животрепещущие проблемы жизни.

Коль скоро мы заговорили о поэзии, то нельзя не видеть, что вслед за умными, деловыми, несколько суховато-практичными очерками В. Овечкина, С. Залыгина и других, начали появляться очерки типа «Владимирских проселков» В. Солоухина и «Деревенского дневника» Е. Дороша, где тоже ставятся серьезные социальные проблемы. Но одновременно большую роль играют и лирическое начало, и великолепные описания среднерусской природы, и задушевная и поэтичная интонация.

«Протори и убытки»... Да, можно говорить о художественной слабости тех или иных очерков, недостаточной глубине обобщений и т. п. Но не ясно ли сегодня, в свете торжества именно тех начал, за которые рука об руку с партией ратовали наши передовые писатели, что «направление», о котором говорил М. Гус, есть здоровое и очень важное в нашей литературе? Для него характерны борьба за все новое, подлинно передовое, глубокое проникновение в сложные жизненные процессы, ясная и четкая концепция действительности, решительное осуждение косности, мертвечины, конкретная программа преодоления недостатков, думающий энергичный герой и т. п. К этому «направлению» принадлежат вовсе не два писателя, как насчитал М. Гус, а много, много больше...

Надо отметить и другое — тот дух исследования, который свойствен нашим очеркистам, пронизывает собой и лучшие произведения прозы, поэзии, драматургии. Очерково-публицистическое начало сейчас как никогда ранее проникает и в драму, и в эпическую поэму, и в роман — не только, скажем, в такой специфический роман,

¹ В. И. Ленин. Сочинения. т. 28, стр. 363.

роман-очерк, как «Золотое кольцо» М. Жестева, но и в другие, совсем несхожие между собой произведения, как «После свадьбы» Д. Гранина и «Битва в пути» Г. Николаевой, «Живые и мертвые» К. Симонова и «За бегущим днем» В. Тендрякова и т. д. И та самая лирическая проза, о которой мы столько говорим и пишем в последнее время — «Капля росы» или «Дневные звезды» (не говоря уже о «Ледовой книге»), — тоже насквозь очерково-публицистична. Ведь очень трудно отнести произведения В. Солоухина и О. Берггольца к «чистой» повести, ибо очерковое начало проявляется в них самым непосредственным образом. И это, повторяю, характерная черта времени, ибо пафос исследования, присущий нашему очерку, пафос «доверия к действительности» — они общи для всех жанров.

Наконец, последнее — очерк, который открывал собой новый этап в литературе, сделал немало и в создании нового героя, а это, как известно, самое существенное для литературного процесса.

2

Новая литература начинается с нового героя — эти слова Бехера сейчас встретишь во многих статьях, настолько они кажутся к месту в нынешних условиях.

Хотя давайте поразмыслим. Как надо понимать «новый»? Совершенно другой, чем раньше, или как-то иначе?

В литературе нынешних лет видное место занимает вторая книга «Поднятой целины», но разве Давыдов второй книги отличается принципиально от Давыдова первой книги? Предположение вздорное, хотя в одной журнальной критической статье мы в свое время с удивлением прочли, что первая часть книги Шолохова — роман о современности, а вторая — исторический роман. Впрочем, это уже скорее из области курьезов критической мысли. Давыдов, конечно, один, но, завоевав сердца читателей тридцать лет назад, он в то же время подлинный герой и современной литературы, хотя действует в иной исторической обстановке. Образ этого коммуниста, активного жизнестроителя, близок сегодняшнему читателю своей глубочайшей правдивостью и достоверностью. Образ Давыдова — пожалуй, наиболее наглядный пример того, как сегодня продолжается одна из важнейших традиций нашей литературы — традиция создания образа ге-

роя-коммуниста, воплощающего в себе лучшие человеческие качества.

Появились вместе с тем в облике Давыдова новые черты, в которых нельзя не видеть отражения современности. Само «второе рождение» Давыдова весьма показательно и по-своему выражает новые сдвиги в литературе.

Чтоб эта мысль была яснее, мы позволим себе напомнить старую дискуссию: приснопамятный разговор об «идеальном герое» накануне Второго съезда писателей. Мы не собираемся воскрешать перипетии былого спора. Но взглянем с сегодняшних позиций на существо разногласий, ибо речь шла о принципиальном: чем и как должна воспитывать литература? Странники идеального героя, побуждаемые самыми благородными намерениями, считали, что читателя надо воспитывать не столько правдой жизни, сколько ее идеальным, желаемым воплощением. А этот идеал представлялся как нечто подстриженное, побритое, как некая улучшенная действительность, откуда аккуратно выполоты все противоречия, неожиданности, угловатости, неизбежные, когда есть жизнь и ее движение. За фразами о большом, крупном характере и тому подобном у сторонников «идеального героя» стояло недоверие к реальной жизни, рождающей подлинных, невыдуманных героев. Они явно предпочитали цветы искусственные цветам живым.

«Идеальные герои», «идеальные» романы и поэмы нередко встречались тогда в литературе. И опровергать их нужно было не только статьями, а настоящими, полнокровными образами героев нашей действительности.

Вряд ли сыщешь среди героев современных наших писателей более популярных, нежели шолоховские герои. Между тем Шолохов никогда не создавал идеальных героев. Более того, его творчество всей, так сказать, своей художественной плотью направлено против умозрительного, одностороннего, оторванного от живой практики подхода к человеку. Разве мы полюбили Давыдова за то, что он ходячий список благодеяний и добродетелей? Да нет же, совсем за иное — за глубочайшую правду его характера, за то, что он подлинная «трудовая косточка», за то, что он живой, а не придуманный носитель истинно коммунистического в нашей жизни.

Характер Давыдова покоряет читательские сердца своей глубочайшей жизненностью, естественностью каждого движения, поступка, каждой мысли, каждого душевного движения. С другой стороны, те его качества, что делают Давыдова образом-примером, те свойства его характера, где проявляется настоящий коммунист, умеющий вести за собой людей, могут быть сведены (при всем их многообразии и богатстве) к такой ленинской формуле: воспитывать правдой. Давыдов с самого начала, еще тридцать лет назад, предстал перед читателями как такой коммунист, который подходит к жизни пытливо, исследовательски, открывая в самой действительности новое, умея поставить его на службу социализму. В нем совершенно нет того холодного и в сущности пустого всезнания, что встречалось нам в образах иных дежурных партаргов и секретарей райкомов, мелькавших на страницах некоторых романов, поэм и пьес, того поверхностного всезнания, за которым в сущности стояло небрежение создателей этих образов самой действительностью, сложным ходом ее развития. Давыдов — всегда в пути, всегда в движении! Жизнь все время ставит его то перед одной загадкой, то перед другой. Не всегда ему удается разгадать их, не всегда его действия и ответы правильны, но пафос познания, пафос настоящей, а не мнимой борьбы составляет главное обаяние этого характера.

И он усилился, этот пафос познания, в характере Давыдова во второй книге «Поднятой целины». Потому-то так много во второй книге стало бесед Давыдова с колхозниками, его глубоких размышлений.

Одна только сцена столкновения Давыдова с колхозниками на покосе говорит о многом. Ну как же в самом деле не гневаться председателю колхоза, когда в самый разгар сенокоса брошена работа, колхозники режутся в карты, а один из них, Устин Рыкалин, увидев председателя, явно издевательски и демагогически заводит речь о выходных. Давыдов срывается, и уже только гнев ведет его... Все по-человечески понятно, эпизод очень достоверен. И в нем, в этом маленьком эпизоде, вдруг встает одна из проблем нашего общества: а каким должен быть коммунист-руководитель, которому «дана власть» и которому «ничто человеческое не чуждо» — ни гнев,

ни вспыльчивость, ни злость? И мысленные круги от этого эпизода идут далеко за пределы колхоза в Гремячем Лого... Позднее, переломив себя, подавив прорвавшуюся было гневливую «начальственность», восстановив утраченный контакт с колхозниками, Давыдов вынужден выслушать от того же Устина Рыкалина горькие, но справедливые слова: «Он, народ-то, при советской власти свою гордость из сундуков достал и не уважает, когда на него кидаются с криком. Одним словом, он никакой шекотки не любит, председатель!» Урок Давыдову? Да, конечно. Но и нечто большее.

И еще деталь все в том же эпизоде: Устин Рыкалин и трудней мало имеет, и демагог, и речи его подчас явно на руку кулакам, а вот занес его было Давыдов в разряд врагов — и вновь ошибся. И, может, еще ближе, еще дороже современному читателю стал Давыдов после таких его размышлений: «И вот, что ни день, то они мне все новые кроссворды устраивают... Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться! Понадобится, так не то что пуд — целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь, факт!»

Да, Давыдов стал дороже нам за то, что не бежит от «кроссвордов», они не страшат его, не заставляют уклоняться в сторону, а, наоборот, активизируют его энергию и творческие силы. В той суровой и прекрасной поэзии коммунистического дела, что воплощена в Давыдове, нас прежде всего покоряет страсть борца и практика, познающего и переделывающего жизнь.

В свое время и к автору, и в редакции, и издательства приходило немало писем, в которых практики колхозного движения горячо благодарили писателя за создание образа Давыдова и рассказывали, как пример председателя колхоза в Гремячем Лого помогал им в их хозяйственной деятельности. Но Давыдов оказывает огромное и все возрастающее воспитательное воздействие, так сказать, человеческой сущностью своего характера. Шолохов всегда был против одностороннего, схематичного изображения человека. В новом своем произведении он поражает читателя многогранностью, широтой, сложностью, противоречивостью, жизненной полнотой изображаемых им людей. Во второй книге «Поднятой це-

лины» мы открываем все новые и новые черты в полюбившемся нам характере Давыдова. Да, не просто все складывается в его жизни. Он и сам отлично понимает, что Лушка ему не пара, а поди ж ты, не вырвешь так, по приказу, ее из сердца. И как трогательно любит его Варюха-горюха, а все же у Давыдова к ней скорее отцовское чувство, чем какое-либо другое. Есть в нем — человеке простом, из самых народных глубин, — какое-то внутреннее изящество натуры. Оно, это изящество, проявится то в уважительном разговоре с толстой стряпухой на полевом стане, то в целомудренно-чистом отношении к Варе, то в том, как он мучится, заметив, что молоденькая учительница в его присутствии густо заливается краской, и ему душевно неловко от смущения другого человека. Наконец, оно и в том, как серьезно, без сюсюканья, ведет он свои «дела» с маленьким школьником Федоткой.

Мы бы сказали, что Давыдов — это тот замечательный пример, когда созданный художником характер самым убедительным образом ратует за глубокую правду в искусстве, за многогранность облика героя. И право же, не только шутка, а и большая, глубокая мысль заключена в словах Ивана Аржанова о чудинке: «Вот растет вишневое деревцо, на нем много разных веток. Я пришел и срезал одну ветку, чтобы сделать кнутовище, — из вишненника кнутовище надежнее, — росла она, милая, тоже с чудинкой — в сучках, в листьях, в своей красе, а обстругал я ее, эту ветку, и вот она... — Аржанов достал из-под сиденья кнут, показал Давыдову коричневое, с засохшей, покоробленной корой вишневое кнутовище. — И вот она! Поглядеть не на что! Так и человек: он без чудинки голый и жалкий, вроде этого кнутовища».

Н. С. Хрущев, выступая на митинге в станице Вёшенской, отметил в творчестве М. Шолохова то, что писатель с большой силой передал сложный и богатый духовный мир простого человека.

Очень показательно, что лучшими, наиболее полно выражающими советский характер героями последних фильмов о войне стали рядовые солдаты Андрей Соколов и Алеша Скворцов. Вспомним также героев повестей, романов, очерков В. Тендрякова, писателя весьма характерного для нынешнего этапа развития литературы своим пафосом исследования актуальнейших про-

блем строительства коммунизма. Его герои — тракторист, шофер, лесоруб, медсестра, сельский учитель. Вспомним молодых рабочих из последних произведений В. Пановой, печников А. Твардовского, лесорубов В. Липатова, бетонщиков А. Кузнецова, солдат и младших офицеров Ю. Бондарева и Г. Бакланова, чудесные лирические портреты рядовых колхозников у В. Солоухина, неутомного рыбака Данилыча у П. Сажина. Какое богатство индивидуальностей предстает перед нами из этой галереи образов рядовых строителей коммунизма, какой удивительно яркий многообразный душевный мир открывается нам! И это очень верный, необычайно плодотворный путь для литературы — все глубже и глубже проникать в жизнь народа, в его дела и мысли, в его полную поэзии жизнь строителей коммунизма.

Наша литература на нынешнем этапе своего развития, создавая образ коммуниста, то есть образ-пример, в который художник вкладывает свои самые глубокие, выношенные представления о ведущем характере эпохи, утверждает в нем, в этом характере, те черты, которые необходимы нам сегодня. Это относится к тем героям, которые действуют в наши дни, и к тем, кто изображен на иных, более ранних ступенях развития нашего общества.

Приведем пример из кинодраматургии. (Кстати, это тоже показательно для переживаемого момента: кино сделало некий рывок вперед, и его опыт ценен для всех родов искусства.)

В фильме «Коммунист», поставленном Ю. Райзманом по сценарию Е. Габриловича, дана глубокая и своеобразная трактовка коммунистического характера. Вспомним один из наиболее сильных и ярких эпизодов картины. На стройке — голод, эшелон с продовольствием застрял где-то в пути. Герой картины добирается наконец до него, а поездная бригада сокрушенно разводит руками — нет угля, нет дров, не на чем везти. Вокруг полотна высится лес, но машинист, кочегар и кондукторы выбились из сил. Как убедить этих людей сделать невозможное — преодолеть усталость, взяться за топоры и пилы?

Глубоко в духе времени то, что герой картины, истинный коммунист, воздействует не принуждением, а убеждением. Убеждением делом. Он не произносит громких слов, не стыдит и не ругает железнодорож-

ников. Он берет топор и пилу и в одиночку начинает валить лес. В этой сцене, великолепно поставленной и снятой и отлично сыгранной артистом Урбанским, важно не внешнее правдоподобие, а большой внутренний смысл. Ленинское понимание характера коммуниста раскрывается тут весомо, зримо, наглядно: взять на свои плечи наибольшую тяжесть, учить других тем, что ты лично сделаешь самое трудное, сделаешь бескорыстно, самоотверженно, всего себя отдавая общему делу.

Высокие и одновременно очень человеческие критерии предъявляют писатели к своему герою. В фильме «Коммунист», так же как в «Поднятой целине», перед героем возникают жизненные «кроссворды», один потруднее другого. Идет испытание героя: а как у тебя с честностью, с кристальной честностью коммуниста? А нет ли в тебе ханжества? А способен ли ты на большую, ничего не боящуюся любовь, хотя бы на пути у нее стояли труднейшие препятствия? Умеешь ли ты завоевать делом, примером всей жизни — и личной и общественной — уважение народа? И наконец, если придется встретиться в смертный час с врагами, не струсишь ли, не согнешься ли?

Ведя своего героя сквозь суровые испытания, авторы фильма «Коммунист» устраивают ему еще один важный экзамен — на человечность, на щедрость души и сердца. И он его выдерживает. В сегодняшней нашей литературе человечность — одно из первых и важнейших качеств положительного героя.

Мы бы сказали так: для современной нашей литературы руководящим началом в создании образа героя является ленинское понимание характера коммуниста, передового борца за дело трудящихся. Право же, когда мы читаем исторические решения партии о восстановлении ленинских норм во всех областях нашей жизни, то мы не можем не соотносить это с литературой. Рисуя образ героя современности, писатели многое черпают в сокровищнице ленинизма, в мыслях и самом облике Ильича, оказавшего исключительное воздействие на формирование большевистского характера.

Писатели стремятся и непосредственно в своих произведениях запечатлеть образ Ленина, ставя его в центр повествования. Хотя, к сожалению, не всегда писатели добиваются в этом больших художественных

удач, но важно, что поиски идут в русле той плодотворной традиции, которая начата Горьким и Маяковским. В «Синей тетради» Э. Казакевича не только талантливо воскрешен эпизод ленинской биографии, но сам Ильич предстает в обаянии смелой, творческой, бесстрашной марксистской мысли, предстает как образец человека и революционера. Неотразимая ленинская логика слышится в отпоре Зиновьеву, иезуитски требующему иметь две правды — одну для масс, другую для руководящих работников. «Не дай бог дожить нашей партии до того, — гневно бросает Ленин, — чтобы ее политика делалась втайне, где-то наверху, келейно, — мы-де умные, мы знаем всю правду, а массам будем говорить полправды, четверть, осьмушку правды...» И как страстно, как принципиально критикует Ленин все то, что коммунистично лишь по видимости, а по существу представляет извращение марксизма.

Писатель старался показать Ленина разносторонне, в раздумьях: и в момент высшего вдохновения, когда пишется историческая работа о государстве, и в иной момент, когда Ленин размышляет «о недостатках своих нынешних товарищей: о властолюбии одного, тяжелом характере другого, нерешительности третьего, легкомыслии четвертого — и думал о том, что после взятия власти эти черты способны развиться до уродливых размеров». Очень важно и существенно, что Казакевич (хотя это ему и не удается в полной мере) пытается открыть перед нами внутренний мир Ильича, ввести нас в кипение мыслей гения революции. Писатель не хочет быть только иллюстратором, он стремится творчески воссоздать движение ленинской мысли. Ленин размышляет: «Нет, нет, власть не должна, не может развратить людей, помнящих, для чего она взята, знающих твердо, что движение само по себе ничто, если оно не имеет великой и ясной цели. Нет, нет, в лице большевиков появился, употребляя выражение Герцена, «новый краж людей», который способен на великое самопожертвование, на растворение своей личности в воле и чаяниях рабочего класса. А со всем мелким, личным, корыстным надо бороться общими силами, и каждый из нас должен с этим бороться в себе самом».

Вот это очищение души от всего мелкого, личного, корыстного, очищение, которое стало одним из важнейших процессов формирования личности на пороге коммунизма,

изображают сегодня писатели. «Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше» — эти слова поэта как бы произносят герои самых разных произведений современности. Ленинской меркой, как эталоном, измеряется герой наших дней.

Юный правдоискатель, молодой коммунист Венька Малышев из повести П. Нилина «Жестокость» — тоже глубоко симптоматичный для нынешнего времени герой. Удивительно четкий и одновременно пластичный, образ этот не тускнеет на протяжении уже ряда лет. И что помнится нам больше всего в этом бесстрашном воителе за справедливость? Прежде всего две черты: ненависть ко всему враждебному, фальшивому и самый высокий, самый принципиальный гуманизм. Венька храбр, мужествен и беспощаден в боях с врагами советской власти, но он же глубочайшим образом убежден, что ежели к бандитам попали такие, как Лазарь Баукин, труженники, которым попы и белоохраны задурили голову, то советская власть должна испробовать все, чтобы вернуть этих людей в трудовую семью. Венька Малышев, рядовой сотрудник провинциального угрозыска в Сибири начала двадцатых годов, — настоящий ленинец, и, конечно же, правда на его стороне, а не на стороне мерзких, примазавшихся к революции личностей — Узелкова и начальника угрозыска. П. Нилин в образе юного борца Веньки Малышева убедительно показал, что можно и гибелью героя утвердить победу нового, коммунистического в нашей жизни.

Право же, можно увидеть родственные черты в образах Давыдова, Веньки Малышева, капитана Новикова из «Последних залпов» Ю. Бондарева с героями наших дней — Мартыновым, Долгушиным, Данилычем из «Трамонтаны» Сажина, Светланой Панышко из повести А. Рекемчука «Время летних отпусков», лирическим героем «Дневных звезд», «Капли росы», героями пьес Розова, Арбузова. Ни Мартынову, ни Бахиреву, ни юному Олегу из «Неравного боя» не приходится уже стрелять в «императора всея тайги», как Веньке Малышеву, или сражаться с Половцевым и Лятевским, как Давыдову с Нагульновым, или воевать с фашистскими танками, как капитану Новикову. Но и сейчас накал борьбы высок, и требуются настоящие, ленинские качества борца, чтобы быть «с веком наравне» — наравне с веком коммунизма.

Мартынов из «Районных будней» — в сущ-

ности первый в ряду тех героев нынешнего дня, партийных и беспартийных, которых выдвинула за последние годы наша литература, пристально изучавшая процессы действительности. Что характерно для Мартынова? Прежде всего исключительно трезвый, лишенный всякой предвзятости взгляд на жизнь. Он из той великолепной когорты коммунистов-практиков, что несут на себе главную тяжесть сегодняшней борьбы за коммунизм. Главная привлекательная черта его характера — поэзия дела, умение мужественно смотреть прямо в глаза самым серьезным жизненным трудностям, умение, наконец, найти пути, чтобы преодолеть эти трудности. Он весь — в кипении мысли, острой, требовательной, ищущей, пылливой. Нельзя сказать, что Овечкину удалось создать характер пластически объемный, многогранный. Но Мартынов привлекает прежде всего творческим, живым умом, прямотаки исследовательским пафосом в изучении всего того, что мешает развитию нашей деревни, честностью, простотой и бескорыстием, удивительной, какой-то врожденной демократичностью натуры. Это герой, с которым читатель ведет умную, непринужденную беседу по самым злободневным вопросам сельского хозяйства.

А ведь вопросы жизни нашей деревни — это общенародные вопросы. И поэтому, говоря словами Чернышевского, характер Мартынова «общинттересен».

Герой проявляет лучшие свои качества в борьбе со злом. То социальное зло, с которым сражается наш современник, выступает в различных видах: то перед нами ревизионистские шатания; то буржуазная идеология; то мещанство, которое, как вода, принимает форму того сосуда, в который налита: то пережитки прошлого — паразитизм, тунеядство, индивидуализм и эгоизм, собственническая идеология; то остатки суеверий, религиозных предрассудков; то люди вчерашнего дня, не умеющие работать по-новому, тянущие нас назад; то казенщина, косность, равнодушие; то черствость души, бедность и примитивность чувств, узость взглядов, вкусов, ограниченность кругозора... В борьбе со всем этим, что должно быть оставлено за порогом коммунизма, растет герой современной литературы.

Создание писателями таких социальных типов, как Борзов («Районные будни»), Чекмень («В родном городе»), Валь-

ган («Битва в пути»), Потапенко («Искатели»), Чупров («Падение Ивана Чупрова»), Мансуров («Тугой узел»), Парусов («Сильнее атома»), имеет большое значение. Это все сегодняшние антиподы истинных героев современности. Слово «враг» как-то к ним «не ложится», но зато «противник» мы произносим довольно уверенно. Они многообразны, отнюдь не шаблонны, эти нынешние противники истинно коммунистического.

Скажем, Потапенко — коммунист, превратившийся в мелкого обывателя. А вот Иван Чупров, человек сильный, сохранивший даже в падении кое-что от своей природы. Его падение — это, если хотите, трагедия, горестный рассказ о том, как мы потеряли отличного человека. А вот к Вальгану критик В. Дорофеев метко приложил слова Салтыкова-Щедрина: «Мерзавец на правильной сгезе». Но уже про Борзова так не скажешь — там сложнее, перед нами некое слияние порочного стиля руководства с природной мелочностью природы. Из них из всех, пожалуй, наиболее сложная фигура — Павел Мансуров из повести В. Тендрякова «Тугой узел». Мансуров — человек иного типа, чем Борзов. Он выдвинут на руководящий пост в последние годы, он смел и напорист, искренне и дельно критиковал стиль старого руководства райкома партии, в нем много энергии, инициативы. Что же привело его к краху?

Мансуров совершает ошибку. Но ведь она поправима — стоит честно и правдиво сказать о ней народу, партии. Однако Мансуров закономерно терпит полный крах и как руководитель и как личность, ибо в нем самом нет должного противодействия фальши, показухе, обману, он человек невысоких нравственных норм. В моральном кодексе строителя коммунизма, в частности, говорится о нравственной чистоте. При ряде бесспорных достоинств Мансурову как раз и не хватает этой нравственной чистоты. Причем, раз не хватает, то «чуть-чуть»...

Недостает «чуть-чуть» доверия к колхозникам, «чуть-чуть» правдивости в разговоре с секретарем обкома, «чуть-чуть» любви к Кате... А вот уже в последнем разговоре с Афанасием Мургиным, разговоре, после которого старого председателя колхоза нашли повесившимся, — тут у него совсем исчезла человечность. Ведь началось с малого, а оказался человек и очковтирателем,

и обманщиком, и интриганом, и трусом, и невольным убийцей, наконец...

Время предъявляет высокие нравственные критерии к строителю коммунизма. К руководителю — в несколько раз большие. Мансуров проваливается как политический и хозяйственный руководитель, но окончательный нравственный крах он терпит перед судом коммунистической совести.

В положительном герое, в особенности в образе коммуниста, писатели прежде всего стремятся показать высокие нравственные качества, щедрость сердца, доброту, отзывчивость, демократизм. В этом отношении фигура Балужева из одноименной повести В. Кожевникова мне представляется весьма симптоматичной.

Балуев — хозяин особого рода. Он не только талантливый практик, виртуоз стройки, артистически владеющий новой техникой, — он хочет быть добрым и душевным человеком. «Касаться чужой души надо благоговейно», — советует он бригадир Босонову. — И не оттого, что начальник видит, а потому, что твоя собственная совесть этого требует. Она в этом деле нам всем главный начальник». Балуйев открыто декларирует свое кредо: надо искать «у каждого человека в первую голову его лучшее, а не худшее. Нашел — наваливайся, эксплуатируй в государственную пользу». И он действительно «наваливается» и эксплуатирует это как начальник стройки. Движимый благородными побуждениями, он порой бестактен, навязчив и грубо расчетлив. Автор, влюбленный в своего героя, подчас не поднимается над ним. И если видеть в Балуйеве некий образец современного руководителя, то он не выдержит таких претензий. Ведь в известной степени справедлив упрек, брошенный ему одной из героинь повести, — он хозяин, который понял, что теперь выгодно быть «добрым». Понял это Балуйев несколько утилитарно. И обидно, что душевная щедрость Балужева подчас диктуется не сущностью его природы коммуниста, а интересами производства. Но он таков, каков есть. И «при всем том» Балуйев — явление новое и примечательное. Он в движении, и вокруг него все в движении, а это очень важно, это обещает многое в будущем.

Литература ищет своего героя среди людей дела, среди тех, кто сегодня творчески, смело, ломая рутину, утверждает в жизни победу истинно коммунистического. Она

стремится создать героя во всей его многогранности и широте человеческого характера, воинственно разоблачая примитивное, схематичное представление о нашем современнике. В пьесе В. Пановой «Проводы белых ночей» одна решительная и недалекая девица так формулирует свой идеал героя: «Человек должен быть как гвоздик прямой и бодрый». Эту реплику зрительный зал встречает дружным смехом — настолько нелепо для современника такое понимание героя.

Герой наших дней — это человек действия и это же человек напряженнейшей внутренней жизни. Потому-то так и созвучны современному читателю и «Дневные звезды», и «Ледовая книга», и «Капля росы», что тут настоящий интеллектуальный герой, наделенный напряженной, интенсивной духовной жизнью. Мысль его смело идет вперед, его душа отзывчива ко всему богатству мира.

Традиция героя-деятеля, активного строителя, продолжена и развита литературой в новых условиях. Ему, этому герою, в высшей степени присуще, как это сказано в новой Программе партии, «высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов». Он решительный борец с буржуазной идеологией, пережитками капитализма. В герое наших дней мы видим хозяйскую заинтересованность во всем — и в борьбе за новые успехи в коммунистическом строительстве и в утверждении новых взаимоотношений между людьми. Нынешний герой нашей литературы — человек высокого гражданского самосознания, страстный воитель против любой несправедливости, против любой попытки задеть или унижить достоинство советского человека, подлинный хозяин нового мира.

В этой статье мы хотели показать, что замечательные животворные изменения в нашей жизни сказались в литературе — и прежде всего на характере героя. Мы оставили без должного внимания ряд характерных особенностей и существенных проблем литературного процесса последних лет.

Принимаем этот упрек, но все же Бехер был прав — новое в литературе начинается с ее героя...

Наши писатели немало сделали, чтобы показать новые изменения в нашей жизни, показать нового героя. Но жизнь советских людей неизмеримо богаче, чем она предстает в книгах поэтов и прозаиков, романтиков и драматургов.

Как тут не вспомнить слова Н. С. Хрущева: «Какие замечательные люди выросли и сформировались в условиях советского общества под руководством Коммунистической партии в ходе исторической борьбы за дело коммунизма! Встречаясь и беседуя с этими людьми, испытываешь чувство горечи и сожаления о том, что так редко удается писателям и художникам достойно воплотить в произведениях литературы и искусства образы наших людей, показать, что это новые люди, рожденные и воспитанные эпохой социализма. Эти новые люди являются борцами за свободу и счастье человечества, воплощают в себе высокие душевные качества и черты коммунистической морали».

Эти слова не следует забывать, так как нельзя останавливаться на достигнутом. Самоуспокоение не в традициях нашего народа.

...Считанные дни отделяют нас от начала исторического XXII съезда партий. Самые широчайшие народные круги всколыхнули опубликованные документы — проекты новой Программы и Устава КПСС. Перед нашим народом в ясных и конкретных деталях, продуманный до мелочей, возвышается реальный план осуществления коммунизма. И самой важной, самой почетной задачей его является воспитание человека будущего, гармонически развитой личности коммунизма. Наша литература призвана всеми силами помочь этому благородному делу, она призвана «служить источником радости и вдохновения для миллионов людей, выражать их волю, чувства и мысли, служить средством их идейного обогащения и нравственного воспитания».



А. ЕЛИСТРАТОВА

★

ТРАГЕДИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

(Молодежь в американском романе)

Грустно было смотреть, как его высокая фигура скрывалась в темноте, когда мы поехали дальше,— точно так же как другие фигуры в Нью-Йорке и в Нью-Орлеане: они стоят, неуверенные, под небьютными небесами, и, кажется, тонут в тумане. Куда идти? Что делать? Зачем?..»

Этот образ в своем роде символичен. Бесперспективность существования американской молодежи — лейтмотив многих современных американских романов и повестей, посвященных жизни молодого поколения Соединенных Штатов.

Вот несколько выдержек из книг разных, во многом отличных друг от друга авторов. Собеседники, чьи реплики мы приводим ниже, различны, несхоже и место действия, но одно и то же настроение сквозит в их невнятных суждениях о собственной жизни.

«Чего вы хотите от жизни? — спросил я... — Я не знаю, — сказала она, — просто обслуживать столики и стараться жить по-маленьку, — она зевнула». Это — из беседы Сальваторе Парадайза, героя романа Джека Керуака «На дороге», с Ритой Беттенкорт, официанткой из ресторана в Денвере.

А вот и другой эпизод из того же романа. В автобусе рассказчик завязывает разговор с попутчицей, молодой девушкой из захолустного поселка. «Ей было скучно. Она говорила о вечерах в деревне, когда они с матерью поджаривают кукурузные

зерна, сидя на крыльце... — А что еще вы делаете, чтобы развлечься?.. Ее большие темные глаза глянули на меня; в них была пустота... — Чего вы хотите от жизни? — Мне хотелось выжать из нее ответ. Она не имела ни малейшего представления о том, чего она хочет... — Что нам всем больше всего хотелось бы делать? Что нам нужно? — Она не знала. Она зевнула. Ей хотелось спать. Это было слишком. Никто не мог на это ответить. Никто никогда этого не скажет...»

В романе писателя Мотли «Постучись в любую дверь» Эмма Шульц знакомится со своим будущим мужем, двадцатилетним парнем Ником Романо. «Чем ты интересуешься, Ники?» — спрашивает она его. — «Ничем, наверное», — отвечает он. — «Я просто шатаюсь с места на место. Я даже не работаю». А потом, возвращаясь мысленно к этому разговору, он снова и снова задает себе тот же вопрос. «Чего я хочу? — с горечью спрашивал он самого себя. — Побольше денег. Легких денег. Развлечений. Да, это так. Побольше денег и побольше развлечений». «Фрэнсис, ты ведь очень умен, правда? Когда-нибудь ты добьешься большого успеха. Что ты будешь делать?» — допытывается подружка Фрэнсиса Мартина в «Городке и городе» Керуака. «Не знаю, но я знаю, что сделаю кучу денег», — самодовольно отвечает он.

Читатели романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» помнят одну из ключевых его сцен, где Холден Колфилд, шестнадцатилетний подросток, которого исключили уже из нескольких школ, смущенно выслушивает упреки своей десятилетней сестренки. Она в горестном недоумении твердит: «Ничего тебе не нравится. Все

Настоящий обзор представляет собой извлечение из доклада, прочитанного на сессии, организованной Институтом мировой литературы имени Горького АН СССР в июле этого года. Доклад печатается полностью в сборнике материалов сессии, выпускаемом Издательством АН СССР.

школы не нравятся, все на свете тебе не нравится... Назови хоть что-нибудь одно, что ты любишь!..— Не можешь ничего назвать — ничего!» А он, растерянный, долго ищет ответа, который удовлетворил бы его самого.

Настойчивость, с какою повторяются подобные эпизоды в произведениях современной американской литературы, рассказывающих о положении американской молодежи, чрезвычайно показательна.

Буржуазная печать Соединенных Штатов охотно объявляет эту страну классической страной молодежи. Американские социологи, изучающие общественную жизнь США последних десятилетий, пишут даже об особом «культе молодости» в современной Америке. Но сам этот культ молодости включает в себе своего рода червоточину.

«Культ молодости в Америке представляет собой одну из величайших в истории маний...» — пишет американский публицист Л. Гурко в книге «Кризис американского духа». «...Прославляется не столько дух молодости, сколько связанные с ней физическая энергия и внешняя привлекательность. Средний возраст становится пугалом, который вселяет страх в миллионы людей, заставляя их скрывать роковые приметы старости, как только они начинают появляться... Проблемы ума стоят на втором плане в смысле внимания и интереса к ним со стороны американцев».

Многочисленные факты и документы свидетельствуют о том, как противоречит провозглашаемый в США «культ молодости» действительному положению американской молодежи, которая, едва вступая в жизнь, сталкивается и с безработицей, и с расовым угнетением, и с развращающей погоней за долларом, и с пропагандой войны во имя мирового господства США.

Глубокой тревогой за будущее подрастающего поколения американцев проникнуто открытое письмо Джона Стейнбека Эдлау Стивенсону. «Мы не можем надеяться сделать наших детей хорошими и честными людьми, когда город, штат, правительство и корпорации — все сулят большую награду за интриги и обман, чем за честность и правду», — заявляет автор «Гроздьев гнева» в этом письме.

О бесперспективном положении молодежи США пишут американские социологи Элен и Скотт Ниринги в книге «США сегодня»: «Для вышедшего из детского возраста мо-

лодого американца, которому предстоит стать самостоятельным, будущее покрыто мраком. Руководители правительства тратят две трети федерального бюджета на подготовку к разрушениям и убийству. Крикливая пропаганда и плакаты во всех публичных местах убеждают молодежь, что ее истинное призвание — вступать в вооруженные силы. Хотя детей с колыбели учат делиться с братьями и не обижать сестру, юношей в восемнадцать лет передают в руки сержантов-руководителей, чтобы те превратили их в «умелых убийц». От колыбели до ранней могилы у них мало шансов на нормальную и простую, созидательную, творческую жизнь».

Э. и С. Ниринги усматривают причину трагического положения американской молодежи в самой природе капиталистического строя Соединенных Штатов.

Духовный кризис, переживаемый молодежью сегодняшней Америки, представляет собою, по их мнению, возрастающую социальную опасность: дело не только в том, что подростки и юноши, выбитые из колеи, превращаются в малолетних преступников «так же неотвратимо, как лесопилка превращает бревна в доски», но и в том, что они поставляют кадры искателей приключений, готовых поддержать любую военную провокацию или агрессию.

«Трагическая цепь взаимосвязанных явлений уничтожает надежды США на будущее, на молодежь», — утверждают Ниринги. — «Если молодежь — наше будущее, то перспективы для США действительно мрачны».

Термин «трагедия» прочно вошел в американскую литературу, посвященную проблеме молодого поколения. Когда-то Теодор Драйзер первым придал этому термину значение крылатого слова. «Американская трагедия» — так озаглавил он свой потрясающий роман о судьбе Клайда Гриффитса, одного из сотен тысяч американцев, сызмальства развращаемых соблазнами капиталистического строя. Многие критики пытались впоследствии «отменить» этот приговор Драйзера, уверяя, что его суждения о трагическом положении молодых американцев, вступающих в жизнь деморализованными, разоруженными самим общественным строем США, успели якобы «устареть» и уже не имеют отношения к современности. Эти попытки наглядно опровергаются и фактами американской жизни и

их отражением в современной литературе США.

Тема «американской трагедии» — трагедии молодого поколения Соединенных Штатов — повсюду в целом ряде романов, вышедших в США за последние послевоенные десятилетия. Эта тема трактуется по-разному: и в драйзеровском, критико-реалистическом, социально-обличительном плане, и в плане нарочито «индифферентного», объективистского изображения распада нравственных устоев американской молодежи; иногда в освещении этой темы проявляется даже своего рода любование циничным хищническим индивидуализмом. Совершаются попытки представить нравы гангстеров и проституток как проявление завидной, достойной подражания «жесткости» (toughness), — как, например, в романе Олгрена «Прогулка на воле». Возникает образ своего рода нового «человека из подполья», который мстит обществу за его безразличие или враждебность, провозглашая свое право жить, подобно дикому зверю, в своей «норе» (как, например, в «Невидимом человеке» — романе Эллисона).

Примером произведений, продолжающих традицию американского критического реализма в изображении судеб молодежи, может служить роман Уилларда Мотли «Постучись в любую дверь» (1948).

Преемственная связь этой книги с «Американской трагедией» Драйзера совершенно очевидна. Герой книги, Ник Романо, сын разорившегося мелкого лавочника-иммигранта, предстает перед читателями в начале романа как живой, любознательный и добрый мальчик. Радостно, полный надежд, вступает он в жизнь; но она встречает его, как мачеха. Тяжкая нужда подтачивает устои семьи, идущей на дно. Первое преступление Ника состоит в том, что он «выручил» приятеля, который дал ему спрятать украденный велосипед. За это Ник расплачивается заключением в исправительной колонии. Здесь начинается тот процесс духовного искалечения, который в двадцать один год приводит Ника — «Красавчика Романо» (как будут называть его сенсационные заголовки газет) — на электрический стул. Нику хотелось бы трудиться; его привлекает работа пекаря; но начальство исправительной колонии отказывается учить его этому делу, как и любой другой профессии. Система истязаний и оскорблений, на которой строится здесь все «воспитание»

малолетних преступников, превращает подростка в озлобленного хищника. Он презирает труд и думает только о том, чтобы обеспечить себе легкую жизнь воровством, грабежом, если надо — убийством. А ведь судьба его могла бы сложиться иначе. Этот лейтмотив проходит через весь роман Мотли, показывающий Ника Романо как типичный пример множества молодых людей из «низов» американского общества, развращенных и погубленных социальной несправедливостью. В этом и смысл названия книги — «Постучись в любую дверь». Ник Романо закончил свой жизненный путь; но точно такие же трагедии уже разыгрываются или подготавливаются за каждой дверью в трущобах Чикаго, как и других городов-спутников Америки.

«Мы можем сказать, что Ник виновен, — говорит на суде его защитник, адвокат Мортон. — Он виновен в том, что вырос в отчаянной бедности, в трущобах большого города. Он виновен в том, что его окружали дурная среда и дурные товарищи... Он виновен в том, что составил свое представление о действиях полиции на основании того, что полицейские ловили и избивали его каждый раз, когда им этого хотелось. Он виновен в том, что его истязали в исправительном заведении...»

Роман Мотли проникнут искренней тревогой за будущее американских юношей, судьба которых может повторить судьбу Ника Романо. Как и в «Американской трагедии» Драйзера, итог книги Мотли не сводится к смерти героя на электрическом стуле: читатели понимают, что Клайды Гриффитсы и Ники Романо не исключения, не единицы, что те же соблазны и те же обиды ждут их младших сверстников, жизнь которых будет так же искалечена обществом.

Той же наболевшей теме — ответственности общества за устрашающий рост преступности среди американской молодежи посвящен роман Ивена Хантера «Дело совести» (1959). Убийство слепого мальчика-пуэрториканца, в котором обвиняются трое подростков, членов хулиганской шайки, предстает в изображении писателя как свидетельство катастрофического крушения нравственных устоев американской молодежи. Готовя обвинительное заключение по делу об убийстве Рафаэля Морреса, прокурор Белл постепенно приходит к выводу, что вопрос о том, кто виноват в случившемся

ся, выходит далеко за пределы материалов следствия. Если эти несовершеннолетние гангстеры — дикие звери, то кто же довел их до такого одичания? Кто создал для них те джунгли, в которых они живут? — спрашивает он самого себя. «Если осуждать этих мальчиков, то я должен осуждать также и их родителей, и город, и полицию — и где же конец? На чем мне остановиться?» Беллу приходится многое узнать, пережить и передумать, прежде чем он решается в конфиденциальном разговоре с судьей Эйбом Самальсоном высказать убеждение, к которому он наконец пришел и за которое ему, вероятно, придется расплатиться своей профессией и карьерой. Каждый из ребят, причастных к этому убийству, «сам является жертвой». «— Но закон ясно...» — начинает было судья. «— Закон тут ни при чем. Черт с ним, с законом! Эйб, я юрист, и всю жизнь отдал закону. Ты это знаешь. Но как я могу осудить этих ребят, если я не знаю, кто на самом деле убил Рафаэля Морреса? А раз я это узнал, закон теряет смысл». «— Разве ты не знаешь, кто убил этого мальчика?» «— Да, Эйб, знаю. Мы все его убили... Мы все его убили, Эйб, потому что мы ничего не делаем. Мы сидим и рассуждаем, назначаем комиссии и выслушиваем разные точки зрения, а между тем сами знаем, в чем беда; факты у нас в руках, но мы не делаем из них выводов».

Финал романа, где Белл, долгое время внушавший самому себе, что он «не крестноносец», слушается наконец голоса совести, принимает на себя во время судебного разбирательства вместо привычной роли прокурора функции защитника и доказывает невиновность младшего из трех обвиняемых, выглядит несколько условным. Но роман Хантера заслуживает внимания как свидетельство той тревоги, которую вызывает в честных людях Америки одичание молодежи, растущей в трущобах капиталистических городов, отданной во власть хищнических инстинктов, одурманенной расовыми предубеждениями, страхом и злобой.

Если романы Мотли и Хантера исполнены духом протеста против мира, уродующего молодежь, то в книге другого известного американского писателя, Нельсона Олгрена «Прогулка на воле» (1956), аналогичный социальный материал истолкован совсем по-другому. Сцены преступлений, совершаемых молодежью, скитающейся по стране в поисках сытой жизни, картины насилий и истязаний,

грубого разврата — все это трактуется Олгреном не без известного любования. Автор провозглашает, что его книга призвана повествовать о «природной жесткости женщин и мужчин». Эта «жесткость» — жесткость проституток и вышибал, аферистов, бандитов и сутенеров — призвана, очевидно, по мысли Олгрена, служить воплощением подлинной человеческой сущности. Он заставляет своего молодого героя, Дова Линкхорна¹, сына разорившегося фермера, окунуться с головой в отталкивающую, кровавую и грязную жизнь нью-орлеанских трущоб. На последних страницах романа Дов, жестоко изувеченный в драке в нью-орлеанском притоне, где ему выбили оба глаза, возвращается к себе на родину. Но сам этот финал Олгрена трактует как своего рода моральную победу героя: он-де не сдался, он сохранил свою «жесткость», он знает, куда идти: ошупью, отказываясь от помощи прохожих, он плетется в придорожный трактир к мексиканке Терасине, в доме которой начал свой жизненный путь насилиника и вора. Читая роман Олгрена, чувствуешь, что автор порой упивается живописанием отвратительных подробностей «подпольной», темной жизни подонков Нью-Орлеана. Затрагивая социальную трагедию молодых американцев, автор не выясняет ее причин, видя в судьбах своих героев лишь проявление «природной» жесткости, грубости и разобщенности людей.

Нашумевший в свое время роман Ральфа Эллисона «Невидимый человек» (1947) может также служить примером реакционной трактовки той же темы трагического положения молодых американцев, вступающих в жизнь в капиталистической Америке.

В данном случае судьба молодого героя романа, от лица которого идет повествование, осложнена еще одним важным фактором: он негр, внук рабов, с ранней юности испытывающий на себе весь груз расовой ненависти, которая уготована ему от рождения самим цветом его кожи.

В книге Эллисона чрезвычайно выразительно и сильно показаны те издевательства, какими встречает буржуазная Америка даже тех представителей негритянской молодежи, которым она готова оказать «покровительство». Казалось бы, — поначалу жизнь улыбается безымянному рассказчи-

¹ Характерен иронический подтекст этого имени: «Дов» — по-английски «голубь».

ку — герою романа. Блестяще окончив среднюю школу и ни разу не проявив ни малейшей «непочтительности» к белым господам, он удосгоен стипендии, позволяющей учиться в негритянском колледже. Но прежде чем вручить ему этот приз, белые боссы устраивают себе потеху. Собравшись на увеселительный вечер в городском клубе, они заставляют десяток негритянских юношей (в том числе и героя романа) драться друг с другом до потери сознания, вырывать друг у друга, корчась от боли, жетоны, имитирующие доллары и центы, сквозь которые пропущен электрический ток, и наслаждаются звериным азартом, до которого доводят своих доморощенных «гладиаторов». Вся эта сцена издевательства клубных тузов над молодыми неграми иронически завершается законопослушной речью о достойном месте, отведенном неграм в обществе, руководимом белыми «старшими братьями». Эту заранее приготовленную речь, задыхаясь от обиды, усталости и страха, произносит избитый, истерзанный негритянский мальчик под хохот и насмешки своих «благодетелей».

С такой же сатирической иронией трактуются и дальнейшие мытарства героя. Гневной горечи исполнены, в частности, страницы, рассказывающие о том, как, доверчиво полагаясь на обещания невзлюбившего его директора, герой разносит нью-йоркским бизнесменам адресованные им из колледжа «рекомендательные» письма, наивно удивляясь, почему те не спешат принять его на работу, пока не узнает случайно, что в каждый из запечатанных конвертов вложен своего рода «волчий билет»; его объявили непокорным выскочкой, которого надо проучить и хорошенько помучить напрасными надеждами на работу и заработок.

Поначалу, таким образом, в романе с достаточной объективностью раскрыты обстоятельства, которыми определяется судьба героя. Все усилия юноши «законными» способами занять свое место в качестве полезного винтика в общественном механизме обречены на неудачу. Всюду его встречают враждебно, и подлинно человеческое отношение к себе он находит только «на дне», в нью-йоркских трущобах, у таких же немущих несчастливцев, как он сам.

Но одновременно с этим идея социальной солидарности людей труда всячески компрометируется автором романа. Настойчиво,

предвзято он заставляет своего героя снова и снова терпеть катастрофу при каждой попытке найти свое место среди сознательных тружеников, среди борцов за права народа. Характерен, например, символический эпизод злключения героя на заводе, где собственные товарищи с позором изгоняют его с профсоюзного собрания как чужака, а потом обдуманно провоцируют на аварию. Таков и другой, также символический эпизод — история участия героя в деятельности некоего «Братства» (в изображении которого можно угадать грубую карикатуру на Коммунистическую партию США).

В конце концов, во всем изверившись и порывая все узы, связывающие его с людьми, «Невидимый человек», как именует себя рассказчик, находит выход в том, что откачивается даже от собственной личности, превращается в своего искусственно сконструированного двойника и в истерическом самоупоении исповедует вслед за бесчисленными реакционными эпигонами Достоевского свою религию — культ подполья, «норы», «дыры», в которую он прячется от мира, только в этом зверином зломном одиночестве чувствуя себя самым собой. Для других он «невидим», ибо как гражданин, товарищ, друг он и не существует — так раскрывается смысл заглавия романа.

Книга Эллисона производит тягостное впечатление. Выпавший на ее долю успех «бестселлера» по-своему очень показателен, свидетельствуя о том, что эта книга соответствует настроениям довольно значительных читательских кругов. Злобное отчаяние, иступленно-бредовой индивидуализм, циничское отрицание каких-либо гражданских связующих начал в человеческой жизни — все эти характерные черты книги отражают тот духовный кризис, который переживает американская молодежь.

Осознается ли этот кризис самой американской молодежью и теми писателями, которые говорят от ее имени?

Ответ на этот вопрос дают, в частности, романы одного из самых известных романистов, вступивших в литературу США за последнее десятилетие, — Джека Керуака.

В своем первом романе «Городок и город» (1950) Керуак показывал в реалистическом плане метания американской молодежи, не находящей себе места в жизни. Тепло и сочувственно изобразив патриархальную трудовую семью печатника Джорджа Мартина, он рассказал о крушении

этой, казалось бы, дружной семьи, устоявшей не выдержали испытаний, связанных с кризисом, второй мировой войной и ее последствиями. По мере того как один за другим вступают в жизнь молодые Мартины, ломаются их характеры, утрачивается та цельность и ясность взгляда на мир, которую старались внушить им родители. Озлобленной истеричкой, замкнувшейся в своем отчаянии и пессимизме, стала порывистая мечтательница оригиналка Лиз. Жалким хлюпиком, эгоистом, моральным дезертиром вырос, несмотря на свои бесспорные способности, Фрэнсис. Скитается по большим дорогам Америки, хватаясь то за одно, то за другое дело, старший сын Мартина, шофер Джо. Бессмысленно погиб во время войны один из самых младших сыновей, едва достигший призывного возраста, Чарли. На распутье остается наиболее близкий автору, во многом, по-видимому, автобиографический герой, Питер. Все это люди без корней, бесконечно одинокие. Керуак создает даже характерный образ — «кокон одиночества», — говоря о том обособлении от коллектива, от общества, которое отличает его молодых героев, душевно куда более старых, чем их старики родители.

В этой книге отношение к труду еще служило для автора существенным мерилом в определении нравственной ценности личности. Распад семьи, превращение человека в обособленного от всех общественных и личных связей индивидуалиста, не имеющего за душой никаких моральных идеалов, изображены в «Городке и городе» как процесс трагический, вызывающий тревогу автора. Но вместе с тем уже и здесь появляется характерный для Керуака (как, впрочем, и для большинства американских буржуазных писателей, повествующих о судьбах современной молодежи США) фаталистический мотив. Одиночество, роковое и безысходное, предстает как неизбежно уготованный человеку в силу самой его природы удел.

В этом отношении роман «Городок и город» до некоторой степени подготовлял позднейшие романы Керуака, где господствует именно эта сторона в изображении и осмыслении жизни.

В романе «На дороге» (1955) и последовавших за ним книгах «Бродяги, ищущие дхармы» (1958) и «Подземные» (1958) Керуак отступает от реализма по сравнению

с «Городком и городом», где он еще продолжал традиции американского социально-бытового романа. Для этих романов Керуака характерна все возрастающая субъективистская разорванность композиции, своего рода нарочитая импрессионистичность рисунка, произвольность авторского отбора и оценок изображаемого. Во всех этих романах повествование идет от лица рассказчика, во все большей степени щеголяющего субъективной, подчеркнуто бессвязной и хаотической манерой изложения своих воспоминаний. В романе «На дороге» это молодой дилетант-писатель Сальваторе Парадайз, в «Бродягах, ищущих дхармы» — Смит, в «Подземных» — опять-таки писатель, Лео Перспье.

В романе «На дороге» автор начинает с того, к чему он подвел читателей и героев своего «Городка и города», — с изображения людей, выбившихся из гражданской жизни, порывающих общественные связи и гордящихся своей анархической бродяжьей «свободой» от каких-либо социальных обязательств.

Рассказчик с увлечением живописует похождения своего приятеля, Дина Морайэрти, человека, который не имеет понятия о том, что значит слово «долг», который нигде не работает и убежден в том, что имеет полное право скитаться по неоглядным просторам Америки, от Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно, повсюду меняя «жен» и приживая от них детей. Наркотики, пьянство и «секс» в его естественных и извращенных формах — вот главное содержание божемной, паразитической жизни героев романа «На дороге», как и позднейших, призывающих к нему книг Керуака.

В романе есть эпизод, которому сам автор, по-видимому, склонен придавать своего рода символическое значение. В ссоре с одной из своих жен Дин ударил ее по лицу, притом так «неудачно», что искалечил себе палец. Палец этот трижды безуспешно вправляют, он начинает гноиться, изувеченная рука выходит из строя, что, впрочем, не очень тревожит самого «страдальца». Не работавший раньше, он не работает и теперь, гордо неся перед собой, как знамя, «символ конечного развития Дина» — свой обезображенный, обернутый грязными полуразмотанными бинтами палец. Как сообщает с претензией на многозначительность его друг Парадайз, это своего рода эмбле-

ма того, что «Дин уже ничего не принимал близко к сердцу (как раньше), все для него было теперь в принципе одинаково, то есть, иными словами, все было ему безразлично».

Керуак ничего не противопоставляет духовному банкротству своих героев; он по-своему восхищается их бездеятельностью, вызывающим эгоцентризмом.

В романе, правда, есть эпизоды, где наглый анархический аморализм Дина и его соратников сталкивается с другой точкой зрения на жизнь. Парадайз рассказывает, в частности, как нью-йоркские знакомые укоряли Дина Морайэрти за его легкомыслие и безответственность. Но при этом симпатии рассказчика (и как видно, и самого романиста) не на стороне этих критиков. «Все они сидели, разглядывая Дина ненавидящими глазами, исподлобья, а он стоял посередине на ковре и хихикал — он попросту хихикал. Он приплясывал. Его повязка становилась все грязнее и грязнее; она начала соскальзывать и разматываться. Внезапно я понял, что Дин, благодаря своей огромной массе грехов, становился Идиотом, Дураком, Святым всей этой компании.

— У тебя нет абсолютно никакого уважения ни к кому, кроме тебя самого и твоих проклятых фокусов. Ты только и думаешь о том, что висит у тебя между ног, и о том, сколько денег или удовольствия ты можешь получить от других, а после этого ты попросту отбрасываешь их в сторону. И дело не только в этом, а в том, как глупо ты поступаешь. Тебе никогда не приходит в голову, что жизнь — серьезна и что есть люди, которые стараются прожить ее с толком, вместо того чтобы все время валять дурака.— Да. Дин действительно таким и был — с в я т ы м Дураком.

...Мне хотелось подойти, обнять Дина и сказать:— Эй вы все, вспомните хотя бы об одном: у этого парня тоже есть свои неприятности, а ведь он никогда не жалуется и дьявольски потешал всех вас попросту тем, что был самим собой...»

Роман, таким образом, строится как своего рода апология безответственности, доведенной до предела. На пьедестал возводится торжествующий, безответственный, циничный индивидуализм.

В этой позиции, на которой Керуак осмысливается и в своих позднейших книгах об американской молодежи — в «Бродягах, ищущих дхармы» и в «Подземных», — есть черты известного критицизма по отношению к

официальной буржуазной морали и политике Соединенных Штатов. По всей вероятности, эта сторона творчества Керуака сыграла важную роль в определении той популярности, какой он пользовался одно время в среде американского студенчества. Но критицизм этот в лучшем случае ограничен рамками анархического протеста, он или вырождается в проповедь полнейшего нигилизма (как в романе «На дороге»), или подает повод к столь же наивным, сколь и патетическим призывам к мистическому «опрощению», обращению к Будде, к «революции рюкзаков», о которой мечтают, в частности, герои романа Керуака «Бродяги, ищущие дхармы».

Рассказчик, от лица которого идет здесь повествование, с упоением рассказывает читателям о своем приятеле Джефи, ревностном буддисте, который в конце романа на деньги преуспевающего бизнесмена-отца уезжает в Японию, чтобы пройти искусство и обучение в японском буддистском монастыре.

Между Смитом (рассказчиком) и Джефи есть и некоторые разногласия. «Я,— вспоминает о себе Смит,— не хотел иметь ничего общего ни со взглядами Джефи на общество (мне казалось, что было бы лучше попросту вовсе избежать его, обойти его стороной), ни со взглядами Альвы насчет того, что надо вырвать у жизни все, что ты можешь, потому что она так сладостно-печальна и потому что когда-нибудь тебе придется умереть».

Отметим этот тезис — «обойти общество стороной». Это своего рода девиз, который характеризует отнюдь не только самого Смита, но и стоящего за ним Керуака, а вместе с тем и многих читателей последнего.

Что касается Джефи, то на протяжении романа он неоднократно выдвигает проблему социальных противоречий, но решает ее в наивно-моралистическом, утопичном плане. Во время высокогорной экскурсии в Калифорнии Джефи провозглашает, что он счастливее любого миллионера, которому подагра помешала бы, конечно, взобраться на эти скалы. Это не просто шутка, как можно было бы подумать. Цитируя строки Уитмена: «Возрадуйтесь, рабы, и пусть трепещут чужеземные деспоты», — он развивает фантастическую картину предстоящей «революции рюкзаков», которую призваны осуществить его единомышленники, «бродяги, ищущие дхармы». Согласно буддистской

терминологии слово «дхарма», как поясняет автор, означает высшую истину.

Все дело, оказывается, «попросту» в том, чтобы вырваться из-под власти существующей системы производства и потребления. Джефи призывает всех следовать его примеру, ограничив свои потребности заплечным мешком, целлофановыми пакетиками с пищевыми концентратами да доброй парой башмаков. А затем достаточно удалиться в горы, дышать свежим воздухом, наслаждаться свободой и таким образом отрешиться и от условностей и от общественного неравенства. Ему рисуется «мир, полный бродяг с рюкзаками, бродяг, взыскующих дхармы, отвечающих отказом на общераспространенное требование, гласящее, что они потребляют продукты производства, а потому должны работать ради привилегии потреблять все то дерьмо, которое им на самом деле вовсе не нужно, как, например, холодильники, телевизоры, машины или по крайней мере новые фешенебельные машины, помада для волос или дезинфицирующие средства и всякое прочее барахло, которое в конце концов все равно окажется неделей позже на помойке, а все они, таким образом, заключены, как в тюрьму, в систему: работай, производи, потребляй, работай, производи, потребляй...» Ему мерещится «видение великой революции рюкзаков: тысячи или даже миллионы американцев странствуют с рюкзаками за спиной, поднимаются в горы, чтобы молиться, заставляют смеяться детей и радуют стариков, делают счастливыми молодых девушек, а старух — еще счастливее, и все они — лунатики зенбуддизма, они скитаются, сочиняют стихи, которые совсем беспричинно приходят им в голову, они добры, и странными, неожиданными поступками они приобщают всех к видениям вечной свободы...»

Это пустое фантазерство преподносится в романе с большой серьезностью, хотя, конечно, ни Джефи со Смитом, ни сам Керуак не пытаются придать ему сколько-нибудь действенный социальный смысл. Пафос этого призыва к «революции рюкзаков» остается пафосом чисто словесным.

Выспренняя фразеология «искателей дхармы» по видимости может напомнить некоторые пассажи из «Листьев травы» Уитмена, на которого, так же как и на Мельвилля и Торо (о чем еще будет идти речь ниже), довольно часто ссылается Джек Керуак.

Но то, что было романтического, иногда даже прекраснородушного, в лирическом пафосе Уитмена или его предшественников и современников, в их пору было оправданно жизнью; их иллюзии и надежды отражали чаяния широких масс американского трудового народа. Утопии, развиваемые героями Керуака, напротив, подчеркнуто чужды жизни трудовых масс. Характерно, что труд ни в какой форме не входит в утопическую программу «искателей дхармы». Если некоторые из них вынуждены работать, то, как и другие герои последних романов Керуака, они делают это скрепя сердце, урывками, с отвращением. Их идеалы свободной, «красивой» жизни исключают как представление о планомерной трудовой, созидательной, творческой деятельности, так и мысль о социальной солидарности людей. Недаром в своих рассуждениях Джефи так легко растворяет человека в природе. «Чистый гранит Сьерра-Невады с одинокими высокими хвойными деревьями, пережившими последний ледниковый период, и озерами, которые мы только что видели, — это одно из величайших в мире проявлений того, какой истине великой и мудрой станет Америка, когда вся эта энергия, изобилие и пространство воплотятся в едином фокусе дхармы», — так разглагольствует Джефи.

В романе «Подземные» кругозор героев и автора суживается еще более. Эта книга написана как своего рода исповедь молодого писателя Перспье, рассказывающего об исходе своей любви к полунегритянке-полуиндианке Марду Фокс. Любовь, с самого начала отравленная расовым предубеждением, бездельем, пустой многословной болтовней, вычурными сексуальными «теориями» и «экспериментами», заканчивается неизбежным разрывом. Книга эта бедна объективным содержанием; по манере изложения она еще более хаотична и «нечленораздельна», чем предшествующие романы Керуака. Но она представляет собою любопытное знамение времени как выражение настроений известного круга американской молодежи, тех, кто демонстративно принял название «разбитое поколение», или «битники», как стали фамильярно называть их в быту и прессе. Интересно в этой связи и предисловие, предпосланное роману Керуака и принадлежащее перу небезызвестного американского писателя Генри Миллера. Без меры превознося автора «Подзем-

ных», сопоставляя его с Рабле, с Апулеем и т. д., Миллер высказывает, однако, одну важную мысль, указывая, что если герои «Подземных» и разбиты, то они «не едут на атомной колеснице Джаггернаута». Можно усомниться в справедливости безапелляционного вывода Миллера, заканчивающего свое предисловие предсказанием, согласно которому «за Керуаками останется, по всей вероятности, последнее слово». Хотелось бы надеяться, что среди молодежи США найдутся иные, более действенные силы сопротивления «атомной колеснице Джаггернаута». Но то, что в нигилистическом индивидуализме «подземных» людей Керуака есть действительно элемент неприятия политики американского империализма, элемент протеста против политики войн, — бесспорно, и это заставляет со вниманием отнестись к романам Керуака как к документам, отражающим подспудные процессы, происходящие в сознании американской молодежи.

Эти процессы можно было бы определить как брожение: нарастание смутного недовольства существующим положением вещей еще не выкристаллизовалось в определенную форму, оно выражается то в эксцентрических выходках, то в беспредметном бунтарстве. Характерен самый термин «подземные», который применяют к себе герои одноименного романа Керуака. Здесь, как и в мечтах Смита о том, чтобы «обойти общество стороной», или в призыве «уйти в горы», с которым выступает Джефи, проявляется подчеркнута анархическая тенденция. И как всякий анархизм, это крикливое и шумное бунтарство для многих персонажей Керуака окажется преходящей болезнью, «выздоровление» от которой может стать равносильным возвращению к той самой системе капиталистических отношений, против которой они ополчаются на словах.

Впереди — переход от стихийного брожения к размежеванию и действительно самоопределению, которое может совершиться не «в обход общества», а только на почве реальной общественной борьбы. Этот процесс осложняется тем, что реакционные силы в США сделали все возможное, чтобы отнять у подрастающего поколения принадлежащее ему по праву духовное наследство. Опыт идейной и политической борьбы американских трудящихся или неизвестен молодежи, или воспринимается ею в кривом зеркале буржуазной пропаганды. «Я не за-

вирую нынешней молодежи. Я знаю, кто враг. А они еще должны искать», — говорит героиня недавно вышедшего романа Филиппа Боноски «Волшебный папоротник», работница-коммунистка Рут Жемайтис, сопоставляя настроения американцев, вступающих в жизнь в середине пятидесятых годов, с боевым духом, унаследованным ею от тридцатых годов.

В условиях того нездорового «духовного климата», который создан в США усилиями реакции, молодежи приходится многому учиться заново, двигаясь, ошупью и сбиваясь с дороги. «Подземные» бунтари Керуака и ему подобных авторов ведут себя так, как будто Америка Дебса и Рида — страна, находящаяся в другом историческом измерении, им недоступном и неизвестном.

Знаменательно, впрочем, что шумный успех романов Керуака оказался недолговечным. Они уже не вызывают прежнего интереса американских читателей. Не потому ли, что в них слишком много позерства, бьющего на внешний эффект?

Глубже и искреннее выразилось стихийное отращивание к фальши американской капиталистической цивилизации в известном романе Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (1951). Советские читатели обратили внимание на привлекательные черты, присущие образу Холдена Колфилда — нескладного, неумело бравирующего своей «мужской» грубоватостью и вместе с тем легко душевно ранимого, чуткого и доброго подростка, чья разболтанность, неуживчивость и равнодушие к школьной премудрости неразрывно связаны с его глубоким недоверием к миру взрослых. За свои шестнадцать лет — и даже за те два-три дня, что проводит в его обществе читатель, — Холден получает от жизни немало предметных уроков, убеждающих его в том, сколько грязи, жестокости и обмана скрывается за показным блеском и шумом американского преуспеяния. Он презирает культ доллара и культ машины, ему отвратительны и военщина, и Голливуд, и фарисейские разглагольствования самодовольных бизнесменов.

Но Холден-Колфилд не герой; и видеть в нем черты будущего сознательного и мужественного борца за новую Америку значило бы совершать известное насилие над этим образом.

Беседа Холдена с сестрой, где он, переиначивая слова песенки Бернса, говорит о

своем заветном желании спасти детей, играющих «над пропастью во ржи», от падения в бездну, свидетельствует о том, что в душе этого подростка живет одновременно с отвращением к окружающему его миру и стремление быть с людьми, помогать им. В этом смысле образ Холдена Колфилда внушает читателям больше надежд на американскую молодежь и больше сочувствия, чем звероподобные «подземные», «урбанистические Торо» Керуака. В нем теплится чувство человеческой солидарности. Но протест героя Сэлинджера выливается в предельно наивные формы. Как новый Торо, он мечтает скрыться в лесах, жить в хижине одиноким отшельником — может быть, даже притвориться глухонемым и промолчать всю жизнь, лишь бы не подличать и не лгать...

Но если во времена Генри Дэвида Торо (1817—1862) его уолденский эксперимент¹, так же как и его кампания «гражданского неповиновения», был хотя и утопичным, но смелым вызовом существующему строю, то в наше время планы Холдена Колфилда более похожи на бегство с поля боя.

Идеализация стихийной, наивной «детскости» в современных условиях не менее бесперспективна, чем идеализация цинической «жесткости», когда речь идет о насущнейших, наболзших вопросах будущего американской молодежи.

Роман Сэлинджера был воспринят в американской литературе как своего рода знамение времени, вызвал много откликов и подражаний. В их числе выделяется роман «Слишком много солнца» (1960), которым дебютировал молодой калифорнийский писатель Ли Олдс, — издательство «Вангард пресс», выпустившее книгу Олдса, рекламирует его как писателя, который вывел на сцену новое поколение американской молодежи — «поколение, начинающее с того, на чем остановился Холден Колфилд Сэлинджера». Для героя Олдса, Барри Дагласа, как и для Холдена Колфилда, бунт против роди-

телей и школы подразумевает нечто большее. Этот парнишка, порвавший с обеспеченной семьей и бежавший из Калифорнии на Аляску, где он работает лесорубом на золотых приисках, охотно выставляет напоказ свое пренебрежение ко всем авторитетам, начиная с «больших компаний» и «тех жуликов, что сидят у нас в Белом доме», и кончая мастером и официантами приисковой столовой. Но что за хаос царит в его сознании!

Размышляя о тех переменах, которые внесло коммерческое преуспевание в жизнь его отца, разбогатевшего на торговле недвижимостью, Барри обнаруживает верное чутье, противопоставляя показное и фальшивое времяпрепровождение своих родителей будничному существованию их прежних знакомых и соседей, людей труда. Эти последние, оказывается, «гораздо интереснее». «Вся суть в том, что они заняты настоящими заботами, а не выдумывают для себя дурацкие развлечения, как теперешние друзья моей матери. Терпеть не могу субъектов, которые родились с золотой ложкой во рту», — рассуждает он. Как каждый здоровый подросток, он полон нерастратченных сил, и романтика подвига и борьбы еще сохраняет для него свою привлекательность. Но «все границы уже открыты». Впереди призыв в армию, от которого и Барри и его друг Джим намерены уклониться любыми способами. А работа на золотопромышленную компанию успела так озлобить его, что похвала мастера воспринимается им как самое тяжкое оскорбление. О чем же мечтать? К чему стремиться? Оказывается, что ближайшим, непосредственно доступным суррогатом «подвига» могут стать гангстерские аферы околачивающегося на приисках Леона (грабителя, хвастающего, что он был сподвижником «самого» Аль Капоне). А суррогатом любви оказываются случайные связи с девицами, которые обивают пороги тракторов в поисках клиентов.

«Я — бунтарь», — провозглашает Барри Даглас, однако сам же честно оговаривается, «но не принимайте меня чересчур всерьез, ведь я не совсем додумал мои теории». И он то хватается за книги Сартра, у которого понял только то, что «люди всегда лгут самим себе», то предается наивно-эротическим фантазиям насчет того, как хорошо было бы оказаться единственным мужчиной в мире, населенном только жен-

¹ В книге «Уолден, или Жизнь в лесах» Торо описал свой опыт «ухода» от коммерческой буржуазной цивилизации. Он провел два года в уединении, на берегу лесного озера, в собственноручно построенной хижине, живя исключительно плодами собственного труда, аскетически ограничивая свои потребности, чтобы доказать возможность полной «независимости» от горгашеского духа Новой Англии.

щинами; то попросту тупо и упрямо накачивается спиртным, благо денег хватает и есть даже доллары в банке.

В его бессвязном дневнике (роман написан от первого лица) не раз возникает вопрос о будущем. Барри Даглас знает об опасности новой войны, но она кажется ему фатально-неотвратимой: «Атомной бомбе не помешаешь упасть, разве только переменишь историю, но история уже прошла, вот в чем вся беда». Он слышал и о коммунистах и знает, что за ними стоит народ, но его представления о коммунизме, заимствованные у буржуазной пропаганды, так сбивчивы и темны, что он подозревает, будто «когда они разбогатеют так, как мы», коммунисты «вероятно, просто начнут завести капитализм».

В своем бунтарстве Барри Даглас поэтому сбивается то на идею эмиграции, то на нигилистическую готовность стать под любое знамя, лишь бы выйти из своего одиночества. «Я думаю, я бы не возражал даже против того, чтобы идти за Гитлером,— уверяет он.— Ведь, понимаете, если бы он завоевал весь мир, он бы все равно долго не продержался, потому что кто-нибудь бы восстал, но главная штука тут в том, что по крайней мере ты мог бы надеяться завоевать весь мир и тем временем был бы счастлив...»

Так, еще на распутье, но не защищенным ни от каких моральных и политических грехопадений остается «бунтарь» Олдса, заканчивающий дневник нескольких недель своей жизни на Аляске умиленными воспоминаниями о пьяной драке в трактире, к которым примешивается лишь одно сожаление: «Жаль только, что все это распрюклятое место не сгорело дотла».

Американская литература, изображающая духовный кризис американской молодежи — поучительное свидетельство слож-

ных процессов, происходящих в среде подрастающего поколения Соединенных Штатов.

Стремление молодых американцев выйти из этого кризиса, преодолеть одиночество, растерянность и разобщенность, восстановить чувство социальной солидарности отражается в судьбах героев таких уже известных советскому читателю произведений, как «Молодая кровь» О. Килленса, «Крупная игра» Д. Дайса, как вскоре выходящий в русском переводе роман Ф. Боноски «Волшебный папоротник» и другие. Это стремление не всегда принимает здесь определенные социальные или политические формы; но глубокая неудовлетворенность «коммерческими» идеалами капитализма, тоска по простым, естественным и чистым человеческим отношениям, характерные для многих действующих лиц этих книг, показывают, что годы «маккаргизма» не смогли подавить живых духовных запросов и потребностей американской молодежи. Летопись событий, происходящих в США за последние годы, заключает в себе признаки того, что молодежь Америки не намерена довольствоваться ни «подземным» существованием героев Эллисона или Керуака, ни ребяческим «бунтом» героев Сэлинджера или Олдса. Об этом свидетельствует, например, общественная активизация студенчества США, участие американской молодежи в движении сторонников мира, совместная борьба молодых белых и черных американцев, участников «рейсов свободы» против расовой дискриминации, продолжающаяся несмотря на бешеное сопротивление реакции. Эти важные явления в жизни молодежи еще не нашли широкого отражения в литературе США, но они говорят сами за себя, подавая надежду на то, что здоровые силы подрастающего поколения американского народа сумеют выйти из духовного кризиса, переживаемого молодежью Америки.



ГЕНРИХ МАНН И БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ

О неопубликованных статьях Г. Манна

Великое назначение национальных литератур нередко с особенной силой является в периоды общественных кризисов, переживаемых страной и народом. В мрачные годы фашизма, оказавшись в изгнании, немецкая литература была воодушевлена духом борьбы и гуманизма.

Среди многих писателей, кто в это время представлял перед всем миром совесть Германии, Генрих Манн был — и по литературному опыту и по возрасту — одним из старейших.

Политическая активность, характеризующая весь писательский облик автора «Верноподанного», способствовала тому, что он не поддавался растерянности, охватившей некоторых его собратьев по профессии, особенно в первое время после установления фашизма. В одном из эмигрантских органов немецких писателей Лион Фейхтвангер писал: «Генрих Манн раньше и острее, чем мы все, предвидел германские события, он изобразил их еще в зародыше, задолго до того, как они стали действительностью. Когда впоследствии нагрянул великий ужас и все так изменилось... многие из нас пришли в замешательство и впали в панику... Генрих Манн не поддавался заблуждению...»

Первые годы эмиграции — около восьми лет, после того как он в феврале 1933 года вырвался за границу от преследовавших его штурмовиков, — протекли во Франции.

Общественная и литературная деятельность Г. Манна этих лет — одна из самых ярких страниц его жизни

Оценивая роль Генриха Манна в консолидации сил прогрессивной немецкой литературы, Иоганнес Бехер писал в 1937 году: «В разрешении той огромной задачи, которая стоит перед немецкими антифашистскими писателями в эмиграции, Генрих Манн по своим заслугам занимает первое место...

Он представляет в борьбе с озверелым гитлеровским фашизмом совесть всех честных немцев, является мощным рупором всех тех, кто искренно и честно привержен делу мира».

Оккупация Франции застала Г. Манна на юге страны. Спасаясь от одетых в коричневые рубашки соотечественников и от вишистов, шестидесятидвятилетний писатель пешком отправился через Пиренеи. На греческом судне, отчалившем в осенние дни 1940 года от Лиссабона, он переплыл океан... Ему больше не суждено было вернуться к родным берегам. Последнее десятилетие своей жизни Г. Манн провел в США, где умер в марте 1950 года.

В сороковых годах резко углубляется разрыв писателя с буржуазным демократизмом. Падение Французской республики из-за гнилости и продажности ее правящей верхушки послужило последним толчком. В свете давних связей Г. Манна с Францией знаменательны его слова из краткой автобиографии 1943 года: «Я люблю ее (Францию.— Н. С.) как историческое явление до ее предпоследних дней. Советский Союз я люблю в его современности. Он близок мне, а я ему». В этом коротком высказывании запечатлен сдвиг в развитии писателя.

С самого захвата власти нацистами Г. Манн был убежден в их неминуемом крахе. В сороковых годах, однако, перед писателем по-новому встал вопрос о том, какая же сила способна извратить и уверечь в дальнейшем родину и Европу от фашистской нечисти, от новой войны. Было ясно, что дни гитлеризма окончательно сочтены. Но каким должно стать устройство Германии и каковы те животворные идеи, которыми народы будут воодушевлены после войны? Раздумья о будущем стано-

вятся лейтмотивом чуть ли не всех публицистических выступлений писателя.

Еще в тридцатых годах, надеясь на революционное противодействие немецкого народа гитлеризму, Г. Манн задумывался над будущим государственным устройством Германии и ставил в зависимость от этого судьбы мира в Европе — и не только в Европе. Учитывая неудачи германской революции 1918 года и горький опыт Веймарской республики, писатель уже в то время противопоставлял буржуазному демократизму новый тип народного государства. В статье «Мы хотим спасти мир во всем мире» (1937) он писал: «Великая цель, объединяющая всех сторонников мира и свободы в Германии,— это образование демократической народной республики. В этой демократической народной республике народ сам определит свою судьбу. Он с корнем вырвет фашизм. Он не допустит, чтобы повторились роковые ошибки и слабости 1918 года, он создаст сильную народную власть, способную сломить сопротивление врагов народной свободы...». «Надо сохранять неусыпную бдительность и действовать решительно,— пророчески предостерегал Г. Манн немецкий народ.— Тот, кто сидит сложа руки, напрасно надеется на сохранение мира — войны не миновать. Война не заставит себя ждать, если против нее не примут никаких мер. То, что ее пока нет, ничего не доказывает. Как только у власти становится бесчеловечное нацистское правительство, война — неминуема. Мы хотим спасти мир во всем мире!».

Во время войны, находясь в США, писатель еще больше укреплялся во мнении, что на смену капитализму должен прийти новый социальный строй.

В статье «Слово к Берлину» (1945) — открытом письме к берлинским рабочим, интеллигенции и молодежи — Г. Манн доказывал необходимость проведения глубоких революционных преобразований в экономическом и политическом строе Германии, чтобы предотвратить всякую возможность нового возрождения милитаризма. Писатель страстно призывал берлинцев встать за устранением Гитлера устранить тех, чьим ставленником он в действительности был: не только распустить генеральный штаб, не только покончить с юнкерством, но разгромить главных вдохновителей фашизма — промышленников и финансистов. «Не успокаивайтесь, пока все жизненно важные

предприятия не перейдут из частных рук в общественную собственность!» — обращается он к рабочим. «Родина — социалистическое понятие. Тресты не знают родины». «Новый гуманизм,— писал он,— будет социалистическим».

Известно, с каким вниманием и сочувствием Г. Манн относился к тем изменениям, которые после войны происходили в Восточной Германии. Это видно, в частности, и по его письму к Вильгельму Пику от 30 марта 1949 года: «Каждый прогрессивный писатель пишет так, как действуете Вы: для будущего... На Вашей стороне — сама жизнь. А я, пока жив, стою за победу жизни и рад, что наши с Вами стремления едины». В октябре 1949 года он с надеждой приветствовал образование Германской Демократической Республики. «Позвольте выразить Вам и канцлеру Отто Гротеволу наши самые сердечные пожелания. Нет нужды заверять Вас, с каким глубоким участием мы относимся к судьбе руководимой вами молодой Республики», — телеграфировал он из Калифорнии президенту Вильгельму Пику (на русском языке публикуется впервые).

Какую из двух частей Германии считать своей родиной? Этот вопрос волновал тогда каждого немецкого эмигранта антифашиста, и для многих из них решение этой задачи, поставленной самой жизнью, конечно, не было легким.

Но еще в 1946 году Томас Манн в статье «О моем брате» писал, что было совершенно ясно, в какую часть Германии возвратится Генрих Манн. Он уже получил приглашение, «конечно, из русской зоны... ему написал Бехер и сообщил, что все его там ожидают». Вскоре после смерти брата, в открытом письме, посвященном его памяти Томас Манн говорил, что он поддерживал желание брата «последовать настоятельному приглашению народно-демократического немецкого правительства о переезде в Берлин... Я знал,— продолжает Томас Манн,— что там в свои преклонные годы он был бы окружен полным почетом и вниманием». Только болезнь не позволила Генриху Манну осуществить давнее решение о переезде в ГДР. 2 февраля 1950 года в письме Арнольду Цвейгу (на русском языке письмо публикуется впервые) писатель сообщал:

«Уважаемый, дорогой Арнольд Цвейг, Меня обрадовало Ваше письмо от 21 ян-

варя с содержащимися в нем добрыми пожеланиями. Позвольте и мне пожелать того же Вашей супруге и Вам.

Вы спрашиваете, когда же я буду там. Не колеблясь, я говорю: в мае, поскольку Вы называете мне этот срок, связанный с торжествами и с моим назначением¹. Я сделаю все, что возможно, чтобы быть пунктуальным².

Но должен добавить, что в прошлую осень отсрочка с моим приездом, даже в том случае, если бы я хорошо себя чувствовал, была бы неминуемой. Не было моего паспорта, он долго не приходил, только теперь, наконец, он у меня. При дальнейших приготовлениях могут встретиться и другие трудности.

За Ваши сообщения о моем доме³ примите искреннюю благодарность Вашего

Преданного Вам
Генриха Манна».

Именно в годы американской эмиграции наступают у Г. Манна особенно резкие разочарования в западной демократии, а прежнее доброжелательное отношение к Советскому Союзу перерастает в дружественную симпатию, растет вера в социализм.

Нельзя не заметить того, что все эти перемены сопровождалась нарастающим конфликтом с окружающей американской действительностью. На гнетущую атмосферу, окружавшую Г. Манна «в западном мире», на «злонамеренное» непризнание и изоляцию, в которой он оказался, переселившись в Америку, неоднократно указывали Томас Манн, Лион Фейхтвангер и другие немецкие писатели, разделявшие с ним американскую эмиграцию. Взаимно холодные отношения, существовавшие у Г. Манна с официальной Америкой, повлекли за собой самые различные осложнения, в том

числе материальную нужду¹. Но и это не заставило его пойти на сделки с собственной совестью.

Несмотря на тяжелые переживания и нездоровье, престарелый писатель много работал. В годы американской эмиграции вышло в свет несколько его романов — «Лидице», «Прием в свет», «Дыхание», книга воспоминаний «Обзор века». Однако часть из созданных в это время вещей, в том числе публицистические статьи, оказалась затерянной на страницах немецких эмигрантских и иных изданий, выходящих в разных странах в годы войны и в первое время после нее. Другая часть вообще не увидела света и только теперь становится достоянием читателей. Так, в 1958—1960 годах в ГДР были опубликованы отрывки из неоконченного романа в сценах «Фридрих Великий». Произведение было задумано, по-видимому, как большое историческое полотно, по-новому раскрывающее важный период в истории Германии. Образ «ложного кумира» — Фридриха Великого Г. Манн хотел сделать «поучительным» для будущего.

Архив Г. Манна при Академии искусств в Берлине получил за последние два-три года из Калифорнии многочисленные материалы личного архива писателя.

Впервые на русском языке мы публикуем по копиям из берлинского архива Генриха Манна две статьи, относящиеся ко времени американской эмиграции.

Обе статьи печатались в органе немецких антифашистов «The German American», издававшемся в Америке; статья «Культурный народ» в № 2 за 1942 год и вторая статья «Немецкий писатель» в № 11 за 1944 год. Последняя носит автобиографический характер. Это — адрес, с которым

¹ Речь идет о торжествах, связанных с возобновлением — по решению правительства ГДР — деятельности немецкой Академии искусств. Генриху Манну был предоставлен пост первого президента академии.

² Двадцать восьмого февраля 1950 года, то есть менее чем за две недели до смерти. Г. Манн сообщал, что он приобрел билет на польский пароход «Ваторий», который должен был доставить его в порт Гдыня 28 апреля 1950 года.

³ На одной из улиц демократического сектора Берлина для писателя был отведен дом, который он должен был занять после своего возвращения. Ныне эта улица носит имя Генриха Манна.

¹ Е. Липс и ее муж, профессор Юлиус Липс, также находившиеся в Америке в эмиграции, близко знали условия жизни Г. Манна в то время. В своих воспоминаниях Е. Липс приводит выдержки из личных писем писателя, свидетельствующие о крайне тяжелых материальных условиях, в которых он жил. Например, жена семидесятилетнего писателя, чтобы иметь какой-нибудь заработок, в 1944 году вынуждена была мыть полы и исполнять всякую другую черную работу в одном из госпиталей Лос-Анжелоса. «Это надрувает ее силы, — писал Г. Манн в письме от декабря 1944 года. — Мне стыдно. Что делать...» В том же месяце его жена умерла, и он тяжело пережил эту утрату.

Г. Манн обратился из Лос-Анжелоса к группе немецких писателей и к представителям американской прогрессивной общности, собравшимся в Нью-Йорке в марте 1944 года, чтобы торжественно отметить семидесятилетие со дня его рождения.

Характерны в публикуемых статьях, как и вообще в публицистических выступлениях писателя сороковых годов, раздумья о

будущем Германии и Европы, которые всегда тесно связаны у него с критической оценкой истории. Проницательность многих суждений Г. Манна, в том числе его предупреждения о живучести германского милитаризма, в наши дни выступает особенно наглядно. Как и многие работы Г. Манна, они не только принадлежат прошлому, но и вполне современны.

Н. Серебров.



ГЕНРИХ МАНН

Культурный народ

(1942 год)

Немецкий народ не может стать иным, чем он есть. Если бы он даже теперь, при всем прочем, не был и культурным народом, то и надеяться было бы не на что. Действительно: человечность, цивилизация у немцев издавна вызвали противодействие — утвердиться им удавалось с трудом, вопреки нападкам и сомнениям. Варварство угрожало всегда: не будем здесь касаться вопроса — только ли немцам. Во всяком случае, немцы в большей степени подвержены искушениям. Вероятно, эти искушения немцев — следствие несчастливо сложившейся национальной истории, отклонявшейся часто от нормального развития и всегда запаздывавшей. Когда, наконец, с большим трудом было создано национальное государство, тотчас же было заявлено: сила важнее, чем право. Не от Бисмарка могли исходить эти слова. Он только что создал национальное государство, и он знал, сколь ненадежна сила. Немцы, не добившиеся ничего в течение столетий и все еще ничего не усвоившие, совершенно ложно поняли единственного немецкого государственного деятеля и его государство, призванное нормализовать положение Германии, превратить ее в страну с твердо установленными границами, как любая другая.

В течение всего времени от Бисмарка до Гитлера велась работа по разрушению германского государства. Гитлер — лишь случайный носитель завершившегося исторического процесса. Приспешники неограниченного пангерманизма с его моралью господ и отрицанием человечности — люди, корыстно в том заинтересованные и просто одержимые, — должны были в конце концов взять верх, ибо всего можно добиться при достаточной настойчивости, — и роковых поворотов легче всего. Они даже дважды брали верх за эти короткие двадцать пять лет и, после провала второй попытки поработить мир, непременно предприняли бы третью. Навлеченное ими на себя возмездие само по себе неспособно уничтожить безумие; международный контроль над Германией вряд ли что изменил бы в духовной жизни немцев, но именно ее надлежит врачевать. Пришло время настоятельно напомнить немцам о том, что они культурный народ. Большинство немцев еще помнит об этом; хорошо ли помнит — это прежде всего зависит от их возраста. Представители младшего поколения исключаются, но и в их среде вряд ли находятся одни лишь слепые приверженцы Гитлера, под властью которого они выросли.

В специальных нацистских заведениях Третьей империи, которая уже перестала быть империей, будто бы выращивают молодых тигров. Говорят, они подвергаются, например, таким испытаниям, как убийство собственной матери из-за того, что она зналась с евреями. Никто этому молодому тигру до сих пор не внушил, что мать не убивают, что о ней можно и позаботиться. С таким же успехом, как он наизусть затвердил несколько простейших заповедей вроде «Фюрер всегда прав», «Людей вообще — нет, есть только немцы», точно так же можно научить его не только ежечасно повторять про себя катехизис и нагорную проповедь, но также и верить в них. Вот все, что следует сказать о гитлеровской молодежи и о подходе к ней.

Еще серьезнее, пожалуй, чем имп, надо заниматься представителями предшествующего поколения. Их тоже придется учить мыслить; хорошо, если они не по своей воле подавляли в себе самостоятельное мышление, пока право думать принадлежало исключительно фюреру, не имевшему для этого никаких данных. В переосмыслении нуждаются прежде всего проблемы Германии и Европы; главным объектом переосмысления является история, а значит — жизнь. Наука и искусство надолго после этой войны будут призваны показывать то, за что дорого было заплачено: опыт подтверждающий, что не ненависть и не насилие приносят в мире успех. Вера в человека — вот что нас возвышает. Вместо бахвальства собственной славой каждая нация должна развивать стремление к взаимному пониманию. Германия явно нуждается в хорошем уроке больше, чем все другие. Немцы должны признать историю других европейских народов, никогда ее впредь не втаптывать в грязь, как издавна у них повелось.

Тот, кто потрудился бы составить себе верное представление об истории английского народа, тот никогда не дошел бы до мысли его уничтожить. Одно лишь это намерение говорит о пренебрежении длинным рядом столетий, полным удивительных усилий, триумфов и жертв. Гнусная зависть к Англии свидетельствует о недооценке не одной только Англии, но и Европы. Облик европейца возвысился через британские деяния, он бы безнадежно умалился, если бы Великобритания пала.

Обходиться с Францией — страной великих исторических свершений — так, как в настоящее время имеет наглость обходиться с ней случайный завоеватель, изобличает во всех отношениях его собственное позорное падение. Забыта история, не воспринята ничего, кроме пустых предрассудков, но даже их разрушает нечистая совесть.

В каком дикарском неведении о Советском Союзе должны были пребывать германские военачальники, чтобы совершить на него нападение, и немецкие солдаты, чтобы им повиноваться! Такое неведение царило не только в Германии — если это может сколько-нибудь служить извинением. Немногие провидели, какую роль будет играть Советский Союз в преодолении кризиса эпохи, в этой грандиозной борьбе за человеческое достоинство, в борьбе за победу человеческого разума. Советский Союз осуждали суеверно и бездоказательно. Но понять действительность, предвосхитить логику событий невозможно без строжайшей верности правде, без мужества. Никогда и никто не вызывал такого восхищения всего мира, как Советский Союз в эти дни с его внутренней непоколебимой устойчивостью и очевидной силой.

Германию должны прежде всего понять по-новому сами немцы. Надо устранить ложные кумиры. Фридрих Великий, которого прославляли все прусские историки вплоть до тех пор, пока ему стал слепо подражать Гитлер, — самый ложный из кумиров. Бисмарк смотрел на него, как на жаждущего славы актера, и милостиво оставил в стороне то, что знаменитый король был жалким неудачником. Всю жизнь он трудился над разрушением Германской империи. Это нам знакомо; он же еще и пруссаков объявил римлянами, призванными к мировому господству. Его заблуждения создали школу и вызывают ныне те же самые бедствия, только в несонзимых масштабах. Нужно же наконец извлечь урок и понять, что Германия больше, чем любая другая страна, нуждается в свободе и благополучии народов Европы; что их разорение, их угнетение неминуемо наносит удар по Германии; что развитие духа и воспитание чувств не есть излишество; что нация, включая экономику и государственное устройство, держится только познанием человека, заботой о нем, глубокой, неистребимой симпатией: не смертью — жизнью.

Немецкий писатель

(1944 год)

Уважаемые слушатели!

Вы услышите кое-что об авторе и о книгах, созданных им в ранние, зрелые и преклонные годы. Все это когда-то имело успех. Но не пришлось по нраву. Если бы мои книги не расходились с немецким восприятием жизни или с тем, что называется у них

мировоззрением, если бы типичные немцы с их миропониманием признали правоту этих книг, то почему бы тогда книги преследовались и почему я сам оказался в изгнании?

Можно было бы возразить, что эти книги — плод авторского воображения. Что автор должен был отвечать не за них, а скорее за открытое выражение своих взглядов. Я делаю это с удовольствием, если так позволено будет сказать. Но автор привлекает внимание, а в известных условиях навлекает на себя осуждение в первую очередь не своими взглядами, а своим творчеством. Конечно, в моих книгах я изображал — большей частью, если не всегда — свою собственную жизнь, подчиняя ее событиям эпохи и общественным условиям. Художник рассматривает себя сторонником или противником того, что происходит в окружающем мире, — так возникают социальные романы.

Занятие это в высшей степени деликатное при условии, если некое общество, даже нация отказывается слышать о себе правду. Она предпочитает пребывать в плену ложных представлений о самой себе и о мире. Процессы внутренней жизни в стране остаются неизвестными, и книги, которые их показывают, преследуются. Отношение немцев к внешнему миру строится поэтому на ложной основе, но никто не хочет этого понимать. К чему это приводит, Германия уже испытала, хотя, быть может, не поняла.

Первые пятнадцать лет моей литературной деятельности широкая публика не уделяла мне внимания. Любили и ненавидели меня втихомолку, и это способствовало естественности моего развития, укрепляло меня. Никогда не следует жалеть о том, что право на творческую радость испытывается столь долго. Я жалею только о том, что это время давно прошло.

Когда митые предвоенные времена остались позади (они тоже не были слишком милыми, они только сегодня кажутся такими), когда первая из наших столь славных войн подходила к концу, тогда поднялись из пепла столетия, словно феникс, мои произведения. Если это звучит так, будто я переоцениваю свои сочинения, то прошу верить, что я далек от этого. Феникс ведь тоже может быть скромным.

Так или иначе, но мои романы, не находившие в прошлом читателей, вдруг стали читать миллионы. Выяснилось, что они понятны, а ведь до той поры их считали недоступными для большинства. Обнаружилось, что они говорят правду. А при господствовавших до военной катастрофы представлениях мое мировосприятие предвзато и без обиняков объявлялось гнусным. Проигранная война послужила наглядным уроком, она кое-что временно изменила: государственное устройство, вкусы читателей¹.

Надолго, как вам известно, ничто не изменилось.

Немцы пошли на это с неохотой, с самого начала они ворчали. Вся [Веймарская]² республика была строптиво настроена против сложившегося положения, против мира, каков он есть. По неразумению или сознательно она с первых шагов взяла курс на вторую мировую войну — поэтому ее преуспевающим трибуном стал Гитлер. Всем, чем он стал, он обязан республике: ее терпимости, ее соучастию, и ныне он также побит и всем предан, как когда-то она.

За четырнадцатилетний промежуток [при Веймарской республике] все вернулось в свою прежнюю колею, в том числе вкусы читателей. Меня еще продолжали читать, я даже представлял литературу официально. Республика еще сохраняла видимость, она соизволила предоставить мне пост председателя отделения литературы в Академии искусств. На другой, враждебной, стороне — теперь миллионы читали питомцев Гитлера.

Были среди последних и старые и молодые. Первые всегда были такими, они пригнулись, когда это диктовалось обстоятельствами, и, как только стало дозволено, вновь

¹ Острая критика кайзеровской империи, антибуржуазный характер произведений Г. Манна, а также антивоенная позиция, которую писатель занял в самом начале первой мировой войны, — все это вызывало ненависть и нему реакционной немецкой критики. В числе прочих доводов против него эта критика старалась внушить мысль о «недоступности» его сочинений для широкого круга читателей. Лживость этих утверждений обнаруживалась по мере того, как кайзеровская империя в ходе войны неминуемо приближалась к своему краху и рухнула. Читатели увидели в произведениях Г. Манна горькую правду, о чем он сам здесь и пишет.

² Слова, заключенные в квадратные скобки, принадлежат переводчику.

выпрямились. Подростающее поколение точно так же прекрасно вживалось в грядущее тысячелетие Третьей империи, которая на двенадцатом году своего существования находится накануне краха.

Попытаются ли немцы еще раз изменить свои читательские вкусы? Должен сказать, что после всего происшедшего — это для меня последняя из забот. Они должны сначала коренным образом в самом основном быть перевоспитанными и перейти к новому, что, конечно, может быть совершенно самими же немцами.

Если они после этого захотят читать то, что для своего времени было верным и поэтому верным могло бы остаться, — хорошо, вот мои книги. Если они захотят прочесть что-нибудь веселое — все мои книги веселые. Самая печальная по своей теме — «Верноподданный» по духу самая веселая.

Не захотят они читать меня вообще — тоже хорошо. Книги, которые придают мужество подавленным, пробуждают к мысли бездумных, заставляют улыбнуться усталых — такие книги всегда будут появляться. Подобно Максу Рейнгардту, который верил в бессмертие театра, я знаю: литература бессмертна.

Публикация и перевод Н. Сереброва.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ПОЛИТИКА И НАУКА

Валерия Герасимова. Воспитание правдой.— **А. Писарев.** Зеркало наших побед.— **Ю. Кормнов,** кандидат экономических наук. Победная поступь социализма — **Л. Ерихонов.** Подвиг Димитрова.— **С. Петриковский.** Славный сын рабочего класса.— **А. Галкин,** кандидат исторических наук. Гитлер ушел — генералы остались.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Сурвилло. Вместе с народом.— **З. Паперный.** О лирике Ярослава Смелякова.— **В. Сонолов.** Вторая книга.— **А. Марьямов.** Прочная фамилия.— **Игорь Поступальский.** Поэзия Тудора Аргези.— **А. Назаров,** кандидат экономических наук. Таковы ли истинные взгляды Добролюбова?

Политика и наука

ВОСПИТАНИЕ ПРАВДОЙ

В. И. Ленин. О коммунистической нравственности. Составитель сборника **Н. К. Ковынев.** Госполитиздат. М. 1961. 296 стр.

«**В**оспитание правдой» — вот те слова, которые первыми приходят в голову, когда пытаешься определить, чем же больше всего волнуют тебя эти ленинские строки.

Бесстрашная ленинская мысль, словно скальпелем, вскрывает любые маски, добирается до самой сути, за какой бы пышной фразеологией она ни пряталась.

Не перечислишь всех участников общественно-политического маскарада, кого ленинская ненависть и презрение навеки пригвоздили к позорному столбу. Ненависть ко всему, что мешает движению человечества вперед, равна лишь любви Владимира Ильича к трудовому народу, и в первую очередь к рабочему классу, возглавляющему народные массы.

Исчерпывающе точно звучат слова Горького о самой главной определяющей черте его великого друга: «Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа».

Думается, что эти строки были бы хорошим эпиграфом и к сборнику «Ленин. О коммунистической нравственности».

В знаменитой своей речи на III съезде комсомола Владимир Ильич указывает:

«...Очень часто буржуазия обвиняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это — способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам».

«Но существует ли коммунистическая мораль? Существует ли коммунистическая нравственность?» — продолжает Ленин. И отвечает: «Конечно, да».

«...Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата», — говорит Ленин. И эту краткую формулировку он насыщает большим содержанием. Ведь пролетариат ведет за собой к освобождению всех угнетенных, а в большом историческом смысле и все человечество. Великий восходящий класс, выполняя свою историческую миссию, создает подлинно моральный бесклассовый общественный строй.

Исследуя капиталистическое общество, Ленин исходит из строго научных положений марксизма. Но так же, как Маркс, глупину, объективность научного исследования Владимир Ильич сочетает со страстным

субъективным отношением к «мерзостям» собственного человеческого мира.

Классовая оценка для Ленина сливается с моральной: могучий голос его звучит с яркой, горячей эмоциональностью. Поразительна в этом отношении статья «Памяти графа Гейдена» с подзаголовком «Чему учат народ наши беспартийные «демократы?»».

«Гейден был человек образованный, культурный, гуманный, терпимый,— захлебываются либеральные и демократические слюнтяи, воображая себя возвысившимися над всякой «партийностью» до «общечеловеческой» точки зрения. Ошибаетесь, почтеннейшие. Эта точка зрения не общечеловеческая, а обшехолопская. Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни... есть холоп, хам. Вот вы именно такие хамы, господа из «Товарища»... вместо того, чтобы превращать раба в революционера, вы превращаете рабов в холопов».

Вспомним также ленинские термины, когда характеризует он «дикого зверя» — империализм. «Старая буржуазная и империалистическая Европа, которая привыкла себя считать пупом земли, загнила и лопнула в первой империалистической войне, как вонючий нарыв». И тут же бичует хнычущих по этому поводу Шпенглера и всех способных восторгаться им образованных мещан.

Что может сравниться с силой такого обличения. В его социально-моральной слитности, в его смысловом и эмоциональном единстве?

Напротив, истинной любовью — не подберешь иного слова — согреты ленинские слова, когда говорит он о борцах за дело коммунизма.

Политически, социально, морально противопоставляет «дикому зверю» капитализма борцы за всенародное, а в конечном счете и всечеловеческое дело.

Характерен в этом отношении некролог, посвященный Лениным памяти Ивана Васильевича Бабушкина.

Рабочий вожак, большевик-искровец, И. В. Бабушкин был расстрелян карательной экспедицией Ренненкампа. Товарищи по партии далеко не сразу узнали о его

гибели. Вот как пишет Ильич по этому поводу: «Мы живем в проклятых условиях, когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что случилось с ним: мается ли он где на каторге, погуб ли в какой тюрьме или умер геройской смертью в схватке с врагом».

Далее идет характеристика: «Имя Ивана Васильевича близко и дорого не одному социал-демократу. Все, знавшие его, любили и уважали его за его энергию, отсутствие фразы, глубокую выдержанную революционность и горячую преданность делу».

Высокие качества, так ярко выраженные в индивидуальности Бабушкина, Владимир Ильич видит в том классе, который его породил,— в великом трудовом народе. Как бы тяжело ни складывалась обстановка в стране, какие бы трудности ни возникали в борьбе, непоколебима ленинская вера в стойкость, мужество, героизм трудящихся. Организованный, сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный — такими словами характеризует Владимир Ильич рабочий класс. «Главная же причина того, что нам сейчас дало победу, главный источник — это героизм, самопожертвование, неслыханная выдержка в борьбе, проявленная красноармейцами, которые умирали на фронте, проявленная рабочими и крестьянами...», — говорил Ленин на торжественном заседании, посвященном третьей годовщине Октябрьской революции.

А характеризуя таких великих коммунистов, как Маркс и Энгельс, Ленин в одном из писем применяет неожиданное слово «влюблен». «Я все еще «влюблен» в Маркса и Энгельса, и никакой хулы на них выносить не могу спокойно. Нет, это — настоящие люди! У них надо учиться...»

«...Ум, честь и совесть нашей эпохи», — писал Владимир Ильич о большевистской партии. Разве это не моральная оценка?

Но глубоко и эмоционально насыщено раскрывая общественно-моральную суть классов, партий и характерных для этих классов и партий деятелей, Ленин и к каждой отдельной личности предъявлял большие серьезные требования.

Эта требовательность была свободна от малейшего привкуса ханжества, мелочного педантизма, скучной назидательности.

«Воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности»,— говорил Ленин на том же III съезде комсомола.

Ленинская мысль, как всегда, «стрелкой компаса» обращена в сторону интересов трудового народа.

Считая разрыв между теорией и практикой отвратительной чертой буржуазного общества, Ленин призывает молодежь на деле доказать свое право называться коммунистами.

Он говорит: надо, «чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда...» Призывая молодежь учиться, Владимир Ильич предостерегает ее от верхнего взгляда, от не подкрепленного собственной мыслью начетничества: «Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален».

Пожелание, с которым Владимир Ильич обращается к молодежи, таково: «...Чтобы коммунизм не был бы у вас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самим продумано...»

Несколько раз и в разных контекстах говорит Владимир Ильич о человеке нового общества, человеке высокой дисциплинированности, моральной стойкости, пылливой, творческой мысли, неустанный трудового созидания.

То, что проект новой Программы партии включает в себя моральный кодекс, опреде-

ляющий поведение строителей коммунизма как передовых строителей нового общества, есть продолжение бессмертных ленинских заветов. Включив в себя общечеловеческие моральные нормы, утвердив идеалы коммунистической — самой высокой в истории человечества — нравственности, Программа остается руководством к действию. Всем своим острием направлена она против эксплуатации человека человеком, братоубийственных империалистических войн и, наконец, против всего того, что мешает нам в нашем неуклонном движении вперед. Под прицелом партии старые, но порой перекрасившиеся, порой лишь притавившиеся враги — карьеристы, туеядцы, различные носители собственнической, «рваческой» психологии.

Нет сомнения, что советский народ во главе с Коммунистической партией на новом этапе жизни с честью осуществит воплощенные в новой Программе партии заветы Ленина.

Невольно вспоминаются вещи слова Владимира Ильича: «Наша программа будет сильнейшим материалом для пропаганды и агитации, будет тем документом, на основании которого рабочие скажут: «Здесь наши товарищи, наши братья, здесь делается наше общее дело».

Возвращаясь же к сборнику, можно уверенно сказать: несмотря на некоторую его неполноту (непонятно, например, почему не была использована известная беседа Владимира Ильича с Кларой Цеткин в той ее части, где говорится о нравственности и морали), читатель закроет последнюю страницу с чувством внутренней обогащенности, углубленного раздумья и хорошей бодрости.

Валерия ГЕРАСИМОВА.

★

ЗЕРКАЛО НАШИХ ПОБЕД

Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический ежегодник. Госстатиздат ЦСУ СССР. М. 1961. 944 стр.

Статистический ежегодник «Народное хозяйство СССР в 1960 году» выходит далеко за рамки интересов узкого круга специалистов. приобретает широкое общественное звучание. Советские люди внимательно, глубоко анализируют развернутый отчет о развитии народного хозяйства в прошлом году. «Экономка,— говорил Н. С. Хрущев,— главное поле, на котором развертывается мирное соревнование с ка-

питализмом, и мы заинтересованы в том, чтобы в исторически короткий срок выиграть это соревнование».

Цифры ежегодника отражают напряженный и вдохновенный труд народа. Давно оставлена позади Европа. Посмотрите таблицу в ежегоднике, показывающую место, которое занимает в Европе промышленность СССР в 1960 году. В последней колонке всюду единички — первые места в це-

лом по промышленности, по машиностроению и химии, по электроэнергии и шерстяным тканям, по цементу и сахарному песку и так далее. А в мире? Еще в 1953 году мы не находили в аналогичных таблицах единичек, а теперь у нас уже несколько первых мест — это уголь, железная руда, тракторы, сахар, шерстяные ткани... Однако пока что по ряду отраслей СССР занимает вторые места. Мы отнюдь не склонны недооценивать уровень экономики США по производству газа и электроэнергии, по нефти и хлопчатке. Но по ряду основных видов продукции — чугуна, стали, цементу — мы подошли почти вплотную к США. Например, в 1953 году против их 45 миллионов тонн цемента наших было только 16, а теперь у нас уже 45,5 против 53,3. Пройдет несколько лет, и в этих строках таблицы будет стоять: СССР — первое место в мире.

Не так давно министр труда США Артур Гольдберг заявил, что на него произвело потрясающее впечатление то, что Советский Союз за последний квартал 1960 года, вероятно, достиг или превзошел Соединенные Штаты по производству стали. «Было бы глупо, — пишет «Нью-Йорк геральд трибюн», — если бы остальной мир отрицал материальный прогресс, достигнутый Советским Союзом с 1919 года, когда Ленин разработал программу партии. Было бы в равной мере глупо преуменьшать экономические потенциальные возможности советского общества, когда оно создало такую колоссальную производственную базу».

По сравнению с 1913 годом в 1960 году основные производственные фонды народного хозяйства СССР выросли в 9,4 раза, его национальный доход — почти в 27 раз, товарная продукция сельского хозяйства — в три раза, валовая продукция всей промышленности — в 45 раз, крупной промышленности — в 65 раз, а машиностроения и металлообработки — более чем в триста раз!

Скорости взяты высокие! Среднегодовые темпы прироста промышленной продукции у нас за последние семь лет более чем в четыре раза превосходят американские, а сельскохозяйственной продукции — почти в три раза. Нашим 11,1 процента прироста продукции США могут противопоставить только 2,5 процента — и те лишь при условии беспрецедентной в мирное время гонки вооружения, балансируя на грани катастрофы.

По уровню производства на душу насе-

ления по ряду важнейших продуктов мы уже обходим ведущие капиталистические страны — США, например, по животному маслу, железной руде, шерстяным тканям, сахарному песку, пшенице. А вот по кукурузе мы еще отстаем, и намного. В США — 615 килограммов на душу населения, из них 558 килограммов сухого зерна полной спелости, а у нас соответственно — 87 и 46 килограммов. Эти цифры заставляют еще глубже оценить значение той борьбы, которая ведется за утверждение кукурузы на колхозных и совхозных полях. В прошлом году по сравнению с 1953 годом ее производство возросло почти в четыре с половиной раза, а на зерно — более чем удвоилось. Эти резервы изобилия — и мяса, и молока, и яиц — можно и нужно использовать полнее.

Наши цифры — это не только килограммы, штуки, метры; это уверенность в будущем, это сокращение рабочего дня, обеспеченная старость, образование для всех и многое, многое другое. Вот в чем коренное, прочное различие между абсолютными цифрами и процентами у нас и у них. Законы, тенденции развития нашего народного хозяйства, о которых рассказывают цифры статистического отчета о годе 1960-м, — надежная гарантия в том, что та существующая еще разница между цифрами, характеризующими два мира, — дело временное.

С каждым днем, год от года становится наша жизнь богаче и краше. Но и здесь лишь с помощью цифр возможно постичь масштабы происходящих в стране изменений. Это 52 миллиона учащихся в сравнении с 10,6 миллиона в 1914/15 учебном году; это 22 миллиона пенсионеров на обеспечении государства и колхозов; это 24,5 миллиарда рублей выплат и льгот, полученных населением СССР из общественных фондов. Так, в частности, реализовался в 1960 году лозунг партии: «Все для человека, все на благо человека».

В 1960 году розничный товароборот вырос по сравнению с 1958 годом на 19 процентов. Населению было продано больше, чем в 1940 году, одежды почти в четыре раза, часов — в девять раз, радиоприемников — в двадцать семь раз, а всех товаров — продовольственных и непродовольственных — более чем в три раза. Советские люди в последние годы стали значительно лучше одеваться, лучше питаться, потреблять только качественные продукты. Например, только

за последние пять лет производство цельномолочной продукции выросло в три раза, производство кондитерских изделий увеличилось на 25 процентов. И как следствие сократилось потребление хлеба, картофеля, водки и водочных изделий. Значительно расширился ассортимент тканей, бытовых приборов и проч.

В проекте Программы КПСС придается большое значение развитию общественного питания. За последние пять лет открылось почти тридцать тысяч новых предприятий общественного питания. В 1960 году было отпущено на пять с лишним миллиардов блюд больше по сравнению с 1955 годом. Однако мы еще не можем быть удовлетворены темпами развития этой службы социалистического быта, ее качественными показателями. В прошлом году на десять тысяч жителей приходилось только семь предприятий общественного питания, и число это растет медленно. Велики еще издержки обращения в этой отрасли.

Особое внимание у нас уделяется охране здоровья народа. Число врачей (без зубных) в СССР в прошлом году составило 401,6 тысячи человек. Это больше, чем в США, Англии, Франции, Италии, Турции, Пакистане, вместе взятых. Улучшение медицинского обслуживания наряду с общим повышением уровня жизни в нашей стране позволило добиться только за последние двадцать лет снижения детской смертности более чем в пять раз, а в целом по всему населению — в два с половиной раза. Средняя продолжительность жизни в СССР составила 69 лет, а среди женщин — 72 года. Это в два раза выше, чем в дореволюционной России.

В ежегоднике приводятся интересные данные выборочного обследования физического развития детей. Они показывают, что средний рост, вес, окружность грудной клетки у наших детей неуклонно увеличиваются. В Москве, например, у юношей-рабочих в 1960 году средний вес был на восемь—десять процентов больше, чем в 1940 году.

Небывалое развитие получила в нашей стране наука. Это убедительно продемонстрировано перед всем миром в области освоения космоса и во многих других областях. До революции в стране было немногим более десяти тысяч ученых, а в 1960 году число только докторов наук превысило эту цифру. В 1940 году ученых насчитыва-

лось 98,3 тысячи, а в 1960 году столько же было лишь кандидатов наук, а всего ученых — 354,2 тысячи.

Мы остановились на главных показателях развития народного хозяйства СССР в 1960 году. Некоторые из них читатель уже мог найти в двух кратких статистических сборниках, выпущенных ЦСУ СССР в течение этого года. Настоящий ежегодник наиболее полный. В нем приведен богатый статистический материал о развитии промышленности и ее отраслей, сельского хозяйства, транспорта и связи, капитального строительства, советской торговли, здравоохранения, науки и культуры, финансов и кредита. В книге имеются подробные сведения о населении СССР, о численности работающих, о подготовке квалифицированных кадров. В статистическом ежегоднике каждый найдет немало по-настоящему волнующих страниц. Это и рост новых городов, и увеличение количества специалистов с высшим образованием, чему не перестает удивляться мир, это и цифры, сложные подвигами в освоении целинных земель.

А вот вызывающая множество мыслей таблица «Число квартир, построенных в СССР и в капиталистических странах». Из таблицы видно, что в СССР строится больше жилищ, чем в Соединенных Штатах Америки, Англии, Франции, Федеративной Республике Германии, Швеции, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии, вместе взятых. В прошлом году в СССР построено 2912 тысяч квартир, или 13,6 квартиры на тысячу человек населения, — показатель самый высокий в мире. Это гарантия осуществления поставленной нашей партией задачи: «Каждой семье — квартиру». Переверните несколько страниц и вы увидите, чем объясняются эти цифры и что им сопутствует. Производительность труда в строительстве за шесть последних лет возросла в полтора раза, за двадцатилетие численность экскаваторщиков в строительстве возросла в четырнадцать раз, машинистов и мотористов строительных и дорожных машин — в семьдесят раз, тогда как количество землекопов снизилось почти вдвое. За это же время число занятых в строительстве работников с высшим и средним образованием увеличилось более чем в десять с половиной раз. Так рука об руку идет рост производительности труда, рост культуры рабочего, его благосостояния.

Советская статистика не может иметь

других целей, помимо правдивого, объективного отражения развития социалистического общества и его народного хозяйства. Советская статистика дает народу точный объективный отчет о проделанной им работе. Она помогает ему проанализировать пройденный путь, наметить перспективы. Достоверность нашей статистики коренится в самой ее природе. Обман, фальсификация не могут быть у нас расценены иначе, как тяжкое преступление. Понятно поэтому, что попытки отдельных карьеристов подтасовать цифры «достижений» вызвали беспощадное осуждение, вплоть до уголовного наказания. Статистика должна учесть эти уроки и еще зорче стоять на страже абсолютной достоверности наших данных.

Другое дело — буржуазная статистика. Это кривое зеркало, искажающее действительность. Буржуазия стремится скрыть язвы капиталистического общества: нищету, безработицу, эксплуатацию.

Советская статистика постоянно совершенствует систему своих показателей, методологию их расчета. В книге более полно по сравнению с предыдущими ежегодниками представлены материалы по формированию и распределению общественного продукта и национального дохода.

Заслуживает внимания обширный материал по межотраслевому балансу народного хозяйства СССР, разработанный с помощью электронной вычислительной техники. Проведенные впервые расчеты открывают возможности более широкого использования современных математических методов планирования и экономического анализа.

К сожалению, статистический ежегодник дает мало сведений об управлении народным хозяйством, не раскрывает в цифрах участия широчайших народных масс в этом деле. Полезными были бы сведения о составе и численности местных органов советской власти, составе постоянных комиссий Советов, непосредственно участвующих в хозяйственном и культурном строительстве, о числе и составе профсоюзов, производственных комиссий, о росте самостоятельных организаций населения. Ведь такие данные имеются, они публикуются на страницах газет и журналов.

Обращает на себя внимание одна таблица, которая выглядит как историческая справка: «Удельный вес социалистического хозяйства». Разве вопрос о полной победе социализма не решен давно и бесповоротно? Уже много лет сотые и тысячные доли процента «частного сектора» имеют чисто символическое значение. Мы не против исторических справок: они говорят о многом и позволяют сделать поучительные сопоставления.

Именно поэтому хотелось бы видеть на страницах ежегодника, который должен идти в ногу с жизнью и рассказывать о том новом, что произошло в нашей стране за данный год, статистическое отображение того, как все ярче разгораются маяки коммунизма. Конечно, большинство цифр сборника характеризует наше движение к коммунизму, например освоение новых типов машин и оборудования, рост числа учащихся школ-интернатов и многое другое. Статистикам следовало подумать, как выделить в этом непреодолимом движении самое главное, самое характерное. Это было бы особенно важно именно в данном сборнике, выходящем накануне XXII съезда партии, съезда, который даст народу конкретную программу строительства коммунистического общества.

Цифры ежегодников — не сухая, скучная вещь. Если вдуматься в них, «то за ними, — как говорит Н. С. Хрущев, — люди, судьбы и труд миллионов советских людей, создателей нашего общенационального богатства. Эти цифры не абстрактные, в них выражен глубокий экономический и политический смысл».

Особенность интересующей нас книги в том, что она писалась двумястами восемнадцатью миллионами советских людей — всем советским народом, хорошо потрудившимся в минувший год. Сборник, тщательно и с любовью подготовленный советскими статистиками, относится к тем книгам, в которых рассказ не окончен. Продолжение его явится увлекательной повестью о дальнейших успехах нашего народа во всех областях жизни.

А. ПИСАРЕВ.

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ СОЦИАЛИЗМА

США проигрывают экономическое соревнование. Редактор
Д. Н. Николаев. Экономиздат. М. 1961. 296 стр.

«Мировая социалистическая система,— говорится в проекте Программы КПСС,— уверенно идет к решающей победе в экономическом соревновании с капитализмом». Советский Союз, возглавляющий братское содружество социалистических стран, выступает на переднем крае этой мирной титанической борьбы, соревнуясь с самой богатой страной капиталистического мира — Соединенными Штатами Америки.

Когда-то цель догнать наиболее развитые капиталистические страны в экономическом отношении казалась весьма отдаленной. Теперь это — очередная плановая задача. И она непременно будет выполнена так же, как выполнялись другие наши экономические планы, наши пятилетки.

В течение предстоящих десяти лет СССР в соответствии с проектом Программы КПСС увеличит объем промышленной продукции в два с половиной раза, а за двадцать лет — не менее чем в шесть раз и намного превзойдет нынешний объем промышленного производства США. К этому времени наш народ решит главную экономическую задачу — построит материально-техническую базу коммунизма, займет первое место в мире по производству продукции на душу населения и достигнет самого высокого жизненного уровня по сравнению с любой страной капитализма.

Не только наши друзья, но и наиболее проникательные из наших недругов не сомневаются в том, что так оно и будет. Враги социализма тоже «планируют», прикидывают время, когда СССР минует разезд под названием «уровень производства в США» и на всех парах устремится к завершению строительства коммунистического общества.

Их выводы неутешительны для капитализма. Некоторые буржуазные экономисты, не утратившие чувства реальности, вынуждены, хотя и со многими оговорками, признать неизбежность поражения США в экономическом соревновании. Но не они задают тон в многоголосом хоре фальсификаторов и лжепророков. Скромные и трезвые голоса разума перекрывает зычный бас трубадуров «холодной войны» и их лжеученых прислужников, обрушивающих на простого американца поток лжи и дезинфор-

мации о жизни советского народа и его мирных устремлениях.

Вызов на мирное соревнование они называют не иначе как пропагандой или даже ультиматумом. В защиту этой клеветы пишутся объемистые труды вроде недавно вышедшей в США книги Р. Л. Аллена «Советская экономическая война». Автор умудряется любое событие во внутренней жизни нашей страны, любой ее мирный шаг, любой акт дружеской помощи странам, ограбленным и разоренным колонизаторами и вступившим теперь на путь самостоятельного развития, истолковать как... угрозу Соединенным Штатам Америки.

Одну из групп ученых лакеев капитализма возглавляет подвизающийся ныне в Виргинском университете Дж. Уоррен Наттер. Это о нем пишет в переведенной на русский язык книге «Экономическое соревнование СССР и США» прогрессивный американский экономист Виктор Перло: «Академический мир произвел на свет профессора, который смог превзойти даллесовских статистиков, заставив советский вызов исчезнуть на глазах публики при помощи умопомрачительных фокусов». К сожалению, в США наттеров много. Среди них, свидетельствует Виктор Перло, следует упомянуть и Колина Кларка из Оксфордского университета, пользующегося даже большей известностью, чем Наттер, но являющегося его соратником по беспардонному искажению тенденций экономического развития СССР».

Не из любви к искусству, не из озорства манипулируют цифрами подобные «профессора». Они в поте лица своего корпят над тем, чтобы выполнить социальный заказ монополистов — преуменьшить покоряющее умы и сердца величие дел и планов Советского государства, посеять ядовитые семена неприязни к народам СССР, приукрасить разваливающееся здание империализма, прикрыв его гниющие язвы рекламным щитом благополучия.

Но паутина лжи и обмана разлетелась в прах от порыва ветра, донесшегося в США со стартовой площадки, где был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Вихрь космических полетов Юрия Гагарина и Германа Титова разрушил карточ-

ный домик мнимого американского превосходства в области науки и техники. А в сиянии величественной картины, развернутой Программой КПСС, поблекли и лубочные картинки «благоденствия», которое обещает американский образ жизни.

Высокий долг советских экономистов — быть активными пропагандистами правды коммунизма. Наши экономисты обязаны в своих выступлениях еще энергичнее, еще полнее отражать экономическое соревнование двух систем — социализма и капитализма.

За последнее время можно отметить несколько выпущенных московскими издательствами книг и брошюр, посвященных рассмотрению этой важнейшей проблемы («Две мировые системы хозяйства»; «СССР — США»; «Решающий этап экономического соревнования двух систем»).

Содержательна монография, подготовленная большим авторским коллективом (руководитель Ю. Н. Покатаев) сотрудников НИЭИ Госэкономсовета СССР под названием «США проигрывают экономическое соревнование». Это вторая за последние два года работа института (первая — «Экономическое соревнование между СССР и США» — вышла в свет в 1959 году).

Книга представляет собой ответ советских экономистов американским на их домыслы и суждения относительно хода и перспектив экономического соревнования.

Множество цифр и фактов, приведенных в книге, убедительно и обоснованно доказывают, что США проигрывают экономическое соревнование. Правда, СССР еще не перегнал и даже не догнал США в экономическом отношении. Но он уже начал теснить США, заняв первое место в мире по добыче угля и железной руды, по производству металлорежущих станков, локомотивов и грузовых вагонов, зерновых комбайнов и пиломатериалов, шерстяных тканей и сахара.

Значение книги — в критике наших критиков, в ее наступательном духе, фундаментальности. Советские экономисты подробно анализируют сборник докладов экспертов Объединенной экономической комиссии конгресса США под общим названием «Сравнительный анализ экономики Соединенных Штатов и Советского Союза», показывают вздорность и тенденциозность утверждений авторов доклада, противопо-

ставляют им свои строго обоснованные расчеты, оценки, выводы.

Проблема экономического соревнования рассмотрена в книге с самых различных сторон. При характеристике факторов неминуемой победы социализма правильно выдвигаются на первый план высокие темпы роста советской экономики, в основе которых лежит быстрое и неуклонное, не доступное никакой капиталистической стране повышение производительности труда в Советском Союзе. Вот некоторые факты.

По сравнению с 1913 годом производительность труда в СССР возросла в 1960 году более чем в одиннадцать раз, а в США менее чем втрое. Промышленное производство увеличивалось в нашей стране за последние годы в три-четыре раза быстрее, чем в США. Уже в 1958 году общий объем промышленной продукции в СССР составил около шестидесяти процентов американского, в 1965 году он сравняется с уровнем США, достигнутым в 1958 году.

Надо отдать должное авторам книги — они умело обращают высказывания наших критиков против самих же критиков, цитируя их вынужденные признания. Внимание привлекает, например, следующее заявление известного политического обозревателя США Уолтера Липпмана: «Роковая слабость нашего (американского.— Ю. К.) общества состоит в том, что наш народ не имеет сейчас перед собой великих целей... Сила советского режима состоит в том, что это прежде всего целеустремленное общество, в котором вся главная энергия народа направлена к достижению его целей и посвящена этому. Чувство направленности к цели объясняет потрясающий успех этого режима в области науки и техники как гражданской, так и военной...»

Действительно, советский народ объединяет великая цель — построение коммунистического общества, а великая цель вдохновляет и на великие трудовые подвиги.

Проблемы соревнования за достижение более высокого уровня жизни занимают в рецензируемой книге немалое место.

Авторы правильно предупреждают читателя о том, что в условиях огромной поляризации нищеты и богатства в США довольно высокие в среднем цифры уровня жизни мало о чем говорят. Американского безработного мало радуют статистические выкладки, по которым сумма доходов его и Рокфеллера, деленная пополам, состав-

ляет сотни миллионов долларов. Ведь безработный фактически не может рассчитывать больше чем на благотворительную похлебку. Президент США Кеннеди не так давно вынужден был признать, что семнадцать миллионов американцев ложатся спать голодными, пятнадцать миллионов семейств живут в плохих домах, семь миллионов семейств борются за существование при годовом доходе меньше чем две тысячи долларов, что в США более четырех миллионов безработных, что темпы развития американской экономики упали. Невеселая картина для страны с «самым высоким в среднем» уровне жизни!

Полный контраст представляет положение в нашей стране. Да, мы еще не так богаты, как США, мы пока еще не можем обеспечить всем трудящимся такой уровень жизни, который имеет высококвалифицированный специалист США. Но ведь в этой стране не каждый имеет работу. У нас же нет безработицы, во много раз быстрее, чем в США, улучшаются условия жизни населения. За последние семь лет, например, в СССР производство тканей, обуви, зерна, мяса, молока, сахара и растительного масла увеличилось более чем за двадцать семь лет — с 1913 по 1940 год. Среднегодовой темп роста продукции легкой и пищевой промышленности в СССР за 1950—1959 годы составил примерно десять процентов, а в США немногим более полутора процентов. Уже к 1965 году СССР в основном ликвидирует отставание по важнейшим продовольственным и промышленным товарам. Достигнув американского уровня производства, советский народ — при отсутствии паразитического потребления буржуазии — добьется значительно лучших условий жизни, чем имеют трудящиеся США.

Уровень жизни — это не только объем потребления. Он включает в себя все льготы и доплаты населению за счет постоянно растущих общегосударственных фондов удовлетворения потребностей членов общества в образовании, здравоохранении, пенсионном обеспечении и т. д. В этом отношении нам догонять США не приходится — они давно и безнадежно отстали от СССР. На одина-

ковое количество населения в Советском Союзе приходится больше, чем в США, студентов, учителей и врачей. На каждую тысячу работников у нас больше дипломированных инженеров. Естественный прирост населения в нашей стране почти на двадцать процентов выше, а пенсионный возраст на пять—семь лет ниже. Наконец, говорится в книге, мы строим в 1,7 раза больше квартир, чем в США. Только за годы семилетки пятьдесят миллионов трудящихся, или половина всего городского населения, получают новые квартиры.

В проекте Программы КПСС начертаны еще более величественные перспективы. Уже в 1970 году в стране не будет низкооплачиваемых категорий рабочих и служащих. Реальные доходы населения за двадцать лет возрастут более чем в три с половиной раза. Каждая семья, включая семьи молодых, будет иметь отдельную благоустроенную квартиру. Пользование жилищем, транспортом, коммунальными услугами, обеды на производстве, содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах — все это станет бесплатным.

Таково замечательное будущее коммунистического строительства, в ходе которого найдут решение и важные задачи соревнования двух мировых систем.

Советский читатель получил интересную книгу. Но справедливости ради надо заметить, что в ней имеются некоторые недочеты. Название книги — «США проигрывает экономическое соревнование», — казалось бы, обязывало авторов прежде всего сосредоточить внимание как на нынешнем этапе, так и на перспективах, близких и более отдаленных. Однако авторы ограничились своими расчетами и оценками лишь 1965 годом. В книге имеются некоторые повторения и недостаточно четкие формулировки.

В целом авторский коллектив сумел выполнить важную задачу — показать победную поступь социализма, одолевающего в мирном экономическом соревновании отживающий свой век капиталистический строй.

Ю. КОРМНОВ.

кандидат экономических наук.

ПОДВИГ ДИМИТРОВА

Г. Димитров. Лейпцигский процесс. Речи, письма и документы. Под редакцией и с предисловием профессора Б. Н. Пономарева. Госполитиздат. М. 1961. 532 стр.

В девять часов вечера 27 февраля 1933 года в центре Берлина вспыхнул пожар. Горел рейхстаг. Здесь же был схвачен один из поджигателей — молодой голландец Ван дер Люббе. Затем были арестованы председатель коммунистической фракции рейхстага Торглер и трое болгарских коммунистов-эмигрантов — Димитров, Танев и Попов. Их обвинили в поджоге германского парламента.

Чудовищная провокация понадобилась нацистам, чтобы установить режим террора, запугав немецкого обывателя и всю буржуазную Европу «мировым большевистским заговором». Уже через два часа после начала пожара в Германии началась дикая охота на коммунистов. Тысячи их были брошены в тюрьмы. Наступила пора полного произвола дорвавшейся до власти коричневой нечисти.

Пытаясь обмануть мировое общественное мнение и создать видимость виновности арестованных коммунистов в поджоге, фашистские правители Германии организовали Лейпцигский судебный процесс. Он должен был стать прологом последующего большого процесса против коммунистической партии и показать нацистов как спасителей Европы от «коммунистической опасности».

Выбалтывая цели предстоящего суда, Гитлер в интервью американскому корреспонденту говорил: «Будущие судебные процессы откроют всему миру глаза на сенсационные события той ночи, о чем говорят найденные материалы, которые до сих пор, пока ведется следствие, еще не могли стать всеобщим достоянием. Имеющиеся доказательства гарантируют раскрытие большевистского мирового заговора».

Затевая процесс, фашисты имели слабое представление об одном из «подсудимых», болгарском революционере Георгии Димитрове, закаленном в суровой школе труда, нужды и революционной борьбы. В течение многих лет Г. Димитров являлся одним из выдающихся деятелей болгарского рабочего движения. Он подвергался преследованиям и неоднократным арестам в старой Болгарии. После подавления сентябрьского восстания 1923 года, руководимого Димитровым, он во главе тысячного отряда от-

ступил на территорию Югославии и был заочно приговорен к смертной казни.

Идейное формирование Димитрова происходило под влиянием трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Большую роль в становлении его характера сыграла русская литература, произведения Белинского, Герцена, Чернышевского, особенно роман «Что делать?» — Рахметова он, по собственным, его словам, брал для себя образцом. Борьба за коммунизм составляла смысл жизни Димитрова. И если голландец Ван дер Люббе был на суде жалким орудием нацистов, Торглер проявил себя как капитулянт, товарищи Танев и Попов ограничивались личной защитой, то мужественное поведение Димитрова, блестящего оратора и публициста, помогло сорвать все планы фашистских заговорщиков.

О том, как произошло единоборство коммуниста Димитрова с фашистским государством, как была одержана первая, пока что моральная, победа над нацистами, рассказывается в рецензируемой книге. В ней собраны документы процесса, речи Г. Димитрова, тюремные дневники и письма, многочисленные материалы, опубликованные в его защиту во многих странах.

Фашисты стремились сломить Г. Димитрова морально и физически. Его изолировали от внешнего мира, лишили газет, ему не передавали корреспонденции, избранных им защитников не допустили к участию в судебном процессе, назначив казенного адвоката, который облегчал дело прокурору. Пять месяцев Димитрова держали закованным в кандалы. Но все это не помогло. Из переписки и дневника, приведенных в книге, видно, что Димитров во время длительного пребывания в тюрьме усиленно готовился к процессу, совершенствовался в знании немецкого языка, изучал историю и законодательство Германии.

На процессе, длившемся три месяца, Димитров смело разоблачал махинации фашистских палачей. Благодаря присутствию в зале суда иностранных корреспондентов каждое слово смелого революционера становилось достоянием миллионов людей, следивших с волнением и восхищением за его неравной битвой с гитлеровской кликой.

Невзирая на то, что суд десятки раз за-

прешал Дмитрову задавать вопросы свидетелям, но удовлетворял его просьбу о представлении доказательств и о вызове в суд различных названных им лиц и даже отказался выслушать до конца его заключительное слово. Дмитров сумел скамью подсудимых превратить в трибуну обвинителя. «Я здесь не должник, а кредитор», — заявил Дмитров суду.

Видя, что германский имперский суд не справляется со своей задачей, ему на помощь поспешили Геринг и Геббельс, выступившие в качестве свидетелей. Мастерски построенными вопросами Дмитров заставил их выйти из себя и обнаружить свою волчью сущность. Разъяренный Геринг кричал Дмитрову: «Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда!»

Стоит вспомнить, как рассказывала об этом эпизоде дочь американского посла в Берлине Марта Додд в своей книге «Мои годы, проведенные в Германии»: «Дмитров, говоривший гордо и страстно, но спокойно, указал на намеренные умолчания и чреватые опасными последствиями абсурдные противоречия в показаниях Геринга. Он так умело воспользовался ими и с таким убийственным сарказмом начал разоблачать такие вещи, что Геринг закричал на него, приказывая замолчать. Геринг визжал, хрипел, лицо его побагровело; казалось, кровь вот-вот брызнет из него; задыхаясь, он пытался заглушить обличающий, ясный, убеждающий голос противника... Дмитров дал ему высказаться и затем сделал несколько колких замечаний, после чего Геринг приказал вывести его из зала суда».

В рассматриваемой книге помещены примечательные отзывы мировой прессы, в том числе буржуазной, о допросе Геринга: «Г-н Геринг... являл в этот момент довольно-таки жалкое зрелище... Он не сумел ни выдвинуть хоть один аргумент против обвиняемых, ни очистить национал-социалистов от подозрения» («Обсервер»). «Процесс дал непоправимую трещину» («Дейли телеграф»). «Угрозы, которые Геринг... изрыгал по адресу Дмитрова, сразу обесценили все судебное разбирательство» («Ней цюрнхер цейтунг»).

При допросе Геббельса Дмитров доказал, что свой путь к власти нацисты прокладывают посредством убийства и других преступлений.

Великолепной была заключительная речь Дмитрова перед судом. Он закончил ее замечательными словами:

«Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать: «И все-таки она вертится!» Колесо истории вертится, движется вперед, в сторону советской Европы, в сторону Всемирного союза советских республик. И это колесо, подталкиваемое пролетариатом под руководством Коммунистического Интернационала, не удастся остановить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до окончательной победы коммунизма!»

«Правда» об этой речи писала: «Со своего места в зале суда Дмитров высоко поднял знамя Коммунистического Интернационала над всей Германней, над всей Европой, над всем миром...»

Дмитров не только разоблачил варварство и преступность нацистов, не только показал пример поведения пролетарского революционера перед буржуазным судом, но и обосновал непобедимость идей коммунизма, указывая всем антифашистским силам путь борьбы с коричневой чумой.

Имперский суд вынужден был оправдать Дмитрова. Еще до процесса в странах Европы, Америки и Азии началась борьба за освобождение Дмитрова, в которую включились миллионы честных людей. Была выпущена «Коричневая книга», изобличавшая действительных поджигателей рейхстага — гитлеровскую банду. В Лондоне с участием виднейших деятелей многих стран был проведен контрпроцесс, где разоблачали фашистских провокаторов. В дни лейпцигского судилища проходил целый ряд митингов и демонстраций. Движение народных масс в защиту Дмитрова возглавили коммунистические партии. Документы международной антифашистской солидарности составляют содержание одного из разделов книги. Среди многих важных и интересных материалов здесь находятся обращения коммунистических партий, доклад международной следственной комиссии, статьи Ромена Роллана и Фучика.

То, что и после оправдательного приговора гитлеровская клика стремилась физически уничтожить Дмитрова, удостоверяют секретные документы из германских архивов. Сразу же после суда Дмитров был брошен в сырой подвал гестаповской тюрь-

мы в Берлине. 4 января 1934 года на заседании в германском министерстве внутренних дел начальник гестапо от имени Геринга потребовал заключить Димитрова в концлагерь. «Немыслимо,— заявил он,— чтобы такой человек, как Димитров, который в результате Лейпцигского процесса известен всему миру и который ни в малейшей степени не поставил под сомнение свои чисто большевистские убеждения, покинул без каких-либо препятствий Германию и отправился, так сказать, в победоносный поход по всему миру».

Вопрос о расправе с Димитровым был внесен на обсуждение кабинета министров фашистского рейха. Однако германское правительство было вынуждено выпустить из своих лап мужественного борца, считаясь с общественным мнением во многих странах. Особенное значение имело решение правительства СССР о принятии Димитрова, Попова и Ганева в советское подданство и требование об освобождении их из тюрьмы. 27 февраля 1934 года Димитров, Попов и Ганев были доставлены на берлинский аэродром и отправлены самолетом в Москву.

Вырвавшись из гестапо, Димитров включился в борьбу против фашистских сил, против войны, которую готовили гитлеровцы. Димитров призывал к сплочению народных масс всех стран вокруг СССР. «Для каждого искреннего рабочего Москва,— говорил он,— это своя Москва, Советский Союз — это свое государство».

Книгу Димитрова предваряет предисловие профессора Б. Н. Пономарева. Он справедливо подчеркивает, что материалы, приведенные в книге, представляют не только громадный исторический интерес, но имеют и актуальное политическое значение. Ведь и сейчас время от времени затеваются процессы, по своим методам и целям сходные с Лейпцигским. Тон в этом отношении задают суды над коммунистами в США и в ФРГ, в Испании и в Греции. И сейчас пример Димитрова, его мужественное поведение на суде, играет свою роль в защите мира, в сплочении широчайших масс против угрозы войны.

Выход в свет книги Г. Димитрова исключительно своевременен. Она наносит еще

один удар по попыткам реабилитации гитлеровцев, предпринятым в Западной Германии. Так, в конце 1959 года — начале 1960 года гамбургский еженедельник «Шпигель» опубликовал с этой целью серию статей Фрица Гобнаса, в которых тот тщился доказать, будто нацистские главари не имеют отношения к поджогу рейхстага.

Фальсификация журнала сразу же была разоблачена Л. Кайт («Международная жизнь», № 2. 1960) и Э. Кальбе («Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», № 5. 1960, Berlin). В статье «Роль поджога рейхстага в консолидации фашистской диктатуры в Германии», привлекая материалы из архива, Э. Кальбе привел обстоятельные доказательства преступления нацистов.

Хотелось бы, чтобы эта книга была дополнена некоторыми справками и пояснениями. Например, в допросе Геринга на Нюрнбергском процессе американский обвинитель Джексон приводил заявление начальника штурмовых отрядов в Берлине Карла Эрнста о том, что он вместе с другими руководителями штурмовиков, Хелльдорфом и Хейнсом, подожгли рейхстаг по заданию Геринга и Геббельса. Джексон также сослался на показание начальника штаба сухопутных войск генерала Гальдера, по словам которого на завтраке в ставке в 1942 году он «слышал собственными ушами, как Геринг крикнул: «Едиственный человек, который действительно знает рейхстаг — это я, потому что я поджег его!» О поджоге рейхстага Герингом указывается и в воспоминаниях Анны Раушнинг, опубликованных в США в 1942 году. Сведения об этом помещены в книге Женевиевы Табуи. В книге писателя и политического деятеля Австрии Эрнста Фишера «Сигнал» (в русском переводе вышла в 1960 году) воспроизведена запись из дневника американского посла в Берлине Додда о приказе Геринга расправиться с Димитровым после его оправдания.

Страстным и гневным словом правды, могучей силой веры в неизбежную победу коммунизма звучат и дышат страницы книги пламенного трибуна Георгия Димитрова.

Л. ЕРИХОНОВ.



СЛАВНЫЙ СЫН РАБОЧЕГО КЛАССА

Григорій Іванович Петровський. Авторський колектив: В. Більшай, В. Лапіна, М. Левнович, О. Снегов, А. Харькова. Редактор Ф. Горовський. Державне видавництво політичної літератури УРСР. Київ. 1961. 392 стр.

Около тридцати лет назад по инициативе А. М. Горького в Советском Союзе началось издание серии «Жизнь замечательных людей». Тематика этой серии еще далеко не исчерпана: людям, оставившим глубокий след в истории науки и культуры, поистине несть числа. Нужно сказать, что несть числа и читателям таких книг, издающихся «Молодой гвардией», — они обогащают знаниями в самых различных областях человеческой деятельности.

О плодотворности горьковской идеи говорит и то, что с большим вниманием встречены читателями книги новой серии Госполитиздата «Герои и подвиги», в которых (правда, в слишком уж сжатой форме) рассказывается о подвигах ученых-большевиков, сочетавших творческую научную работу с революционной деятельностью.

Большой похвалы заслуживает и начин украинского издательства политической литературы, выпустившего книгу о замечательном сыне рабочего класса Григории Ивановиче Петровском. Будем надеяться, что эта книга положит начало вновь создаваемой серии, что подобные серии начнут выходить в других советских республиках. Ведь сыновья различных народов нашего многонационального государства внесли вклад в победу Октябрьской революции. Советские люди должны подробно познакомиться с их жизнью и деятельностью.

Даже в героической плеяде старшего поколения большевиков-ленинцев не много найдется людей, чья биография так полно отразила бы историю рабочего движения своей страны, как биография Григория Ивановича Петровского, прошедшего путь от участника первых революционных подпольных кружков до главы Украинской Советской Республики.

Книга начинается с рассказа о судьбе юности в гнетущих условиях старой России. На пути Григория Петровского, выросшего в бедной рабочей семье и стремившегося к самостоятельному заработку, стояло множество преград. Лишь после пятилетнего безденежного ученичества шестнадцатилетнему юноше удалось попасть на завод. Вот тут-то нашли применение его поистине зо-

лотые руки. Высокое мастерство молодого слесаря стало открывать перед ним двери тех заводов и фабрик, которые пытались плотно закрыть для всех революционеров полиция и жандармерия.

В книге приведена интересная подробность. Директор Брянского завода, немец по национальности, уехал к себе на родину и стал директором крупнейшего завода в Саарбрюкене. Вскоре он пригласил к себе на работу русских сталеваров, потому что не обнаружил у себя на родине ни одного такого умельца, каких он видел в России. По указанию подпольного большевистского комитета два сталевара и слесарь Петровский без заграничных паспортов, без денег, пешком добрались до границы и сумели переправиться через нее. В Саарбрюкене русские рабочие блестяще сдали пробу и поступили на металлургический завод.

За короткий срок пребывания в Германии Григорий Иванович убедился в том, что немецкие капиталисты не лучше отечественных, что реформистская социал-демократическая организация действует с невыносимой медлительностью и осторожностью и что жить без революционной работы ему не под силу. К этому времени Григорий Иванович был уже стойким революционером, обладал огромным опытом партийной работы в массах и прошел боевое крещение в забастовках, демонстрациях, вооруженных столкновениях с жандармами и войсками.

Революционная борьба сводит Петровского с замечательным человеком, одним из первых организаторов революционных рабочих кружков, Иваном Васильевичем Бабушкиным, высланным в то время из Питера в Екатеринослав. В 1897 году Г. И. Петровский вступил в социал-демократический кружок, организованный Бабушкиным, а год спустя был избран членом первого в Екатеринославе городского комитета РСДРП.

Вскоре Петровский встречается еще с одним из крупнейших революционных деятелей русского рабочего движения, Василием Андреевичем Шелгуновым, также высланным в Екатеринослав. Далее, уже во

время работы Петровского на одном из рудников Донбасса, происходит встреча его с одним из руководителей знаменитой Морозовской стачки в 1885 году — П. Моисеенко. На руднике появляется газета «Искра»; до сознания Петровского доходят ленинские идеи, он сразу и на всю жизнь становится на позиции большевиков.

Во время январских событий 1905 года Г. И. Петровский стоял уже во главе революционных рабочих как один из организаторов подготовки вооруженного восстания. Его выступление на тысячном митинге с политической речью против царизма, активная партийная работа вскоре делают Петровского весьма популярным в рабочих массах на юге России.

Рабочие Мариуполя, Екатеринослава, соседних промышленных центров в 1912 году избирают Петровского депутатом 4-й Государственной думы. Он становится руководителем большевистской фракции. В книге хорошо очерчен образ рабочего Петровского, громящего в своих страстных и в то же время деловых речах устои царизма, умело использующего легальную трибуну, формы апелляции к рабочим массам и многие другие приемы парламентской борьбы. Авторы раскрывают принципы взаимоотношений между руководящим органом партии и ее парламентской фракцией в той форме, как они осуществлялись под непосредственным руководством В. И. Ленина, являясь отличительной чертой большевистской тактики.

В книге весьма полно собраны думские выступления Г. И. Петровского. Это речи, которые произносил от имени своей партии депутат-большевик по различным текущим вопросам. Особое место занимают выступления, подготовленные с помощью В. И. Ленина. Неутомимая борьба, которую доводилось вести Петровскому-парламентарю, рисует яркую фигуру выдающегося государственного деятеля, возвращенного рабочим классом, воспитанного Коммунистической партией. Такой образ Петровского навсегда запечатлелся и в моей памяти. В это время мне довелось помогать Григорию Ивановичу в его думской деятельности.

Очень интересно, со многими деталями, до сего времени не известными широкому читателю, в книге рассказано об аресте депутатов-большевиков после их решительного выступления в Думе против войны, про-

тив военных кредитов. С волнением читаются страницы, повествующие о готовившейся расправе с народными избранниками, о высоко принципиальном, мужественном поведении Г. И. Петровского и всей думской фракции большевиков на суде. Вот как закончил Григорий Иванович последнее слово подсудимого: «Нас судят за стойкую защиту прав народа. Мы глубоко верим в наш народ и надеемся, что он нас освободит».

Так оно и случилось.

Между февралем и октябрём 1917 года Г. И. Петровский ведет кипучую партийную работу на Украине, в Екатеринославе, в Кривом Роге, в Донбассе, в Харькове, а после победы Октябрьской революции, по личному представлению В. И. Ленина, Григорий Иванович Петровский становится первым народным комиссаром внутренних дел РСФСР.

В разгар гражданской войны в 1919 году Г. И. Петровский был направлен на Украину. В книге приведены многие факты, свидетельствующие о том, что Григорию Ивановичу приходилось отрывать от дел большой государственной важности и принимать непосредственное участие в подавлении кулацкого восстания. Затем он возвращался к важнейшим вопросам советского строительства, участвовал в создании проекта Конституции СССР.

На Украине Григорий Иванович практически разрабатывал формы осуществления союза рабочего класса и крестьянства на различных этапах становления Советского государства. Мы видим Г. И. Петровского во главе Всеукраинского комитета неземных селян, этой специфической для Украины организации, с помощью которой предстояло осуществить союз рабочего класса с бедняцким и середняцким крестьянством; мы видим его в селах и деревнях. Он выступает на митингах, собраниях и совещаниях, появляется там, где наиболее сильны враждебные советской власти элементы.

Всеукраинский староста завоевал необычайную популярность среди трудящихся. В его приемной всегда толпился народ. За три года там побывало свыше восьмидесяти тысяч ходоков из разных деревень, и со многими из них Григорий Иванович беседовал лично.

В рецензируемой книге с большой теплотой, какую могли проявить только люди, близко знавшие Григория Ивановича, рас-

сказано о том, как Г. И. Петровский приехал в Черкасский округ, чтобы помочь крестьянам, делавшим первые шаги по пути сплошной коллективизации. С какой чуткостью, с каким знанием души и жизни украинского крестьянина подходил к решению этого важнейшего вопроса всеукраинский староста!

Из его рук получили «путевку в жизнь» первые новаторы сельского хозяйства: Анна Кошева, Мария Демченко, Мария Гнатенко, Прасковья Ангелина.

С таким же неослабным вниманием, с таким же глубоким знанием экономики республики, перспектив ее развития руководил Григорий Иванович на посту председателя ЦИК Украины быстро растущей промышленности.

Жизнь этого замечательного человека вместила в себя большие радости и большое горе.

У него была хорошая, крепкая семья. Не многим, может быть, известно, что Доминика Федоровна Петровская, проработавшая много лет в петербургских рабочих больничных кассах, была единственной женщиной в большевистском списке членов Учредительного собрания по Петербургу. Ярко запечатлен в книге ее образ. Вот она берет пачку большевистской нелегальной литературы и, спрятав ее под пеленки грудного сына, говорит: «Кто нас заподозрит?..»

Григорий Иванович испытал истинную отцовскую гордость за своих сыновей — Петра, видного партийного работника, и Леонида, прославленного командира, талантливого военачальника. Но отцу суждено было пережить своих безвременно погибших сыновей.

В 1938 году Григорий Иванович Петровский был отозван с Украины. Однако и на другой, весьма скромной работе — в Музее революции СССР — Григорий Иванович сумел с пользой для партии и Советского государства сделать очень и очень многое. В этом еще одна замечательная черта партийца-ленинца.

Г. И. Петровский всегда привлекал к себе сердца людей. Его хотели видеть, слышать, позвать ему руку.

В книге о Г. И. Петровском нет литературных эффектов. Сила ее в другом. Она написана с большой душевной правдой непосредственными участниками событий.

Очень жаль, что авторы поспешили на детали. И большого человека порой лучше всего могут характеризовать неприметные, на первый взгляд, присущие только ему черточки. Еще большего сожаления достойно то, что издательство исключило из рукописи немало таких деталей из числа приведенных авторами. Конечно, в биографии крупного политического деятеля нужна строгая документальность. Но не все можно найти в документах. Кто, как не современники, может вспомнить и запечатлеть ряд подробностей, без которых нельзя дорисовать портрет выдающегося человека. Именно свидетельства современников — подчас единственный, неповторимый источник, дополняющий наши знания о жизненном пути людей замечательнейшей плеяды — творцов первой в мире пролетарской революции, открывшей человечеству путь к коммунизму.

Книга вышла на украинском языке. Это закономерно. Григорий Иванович был сыном украинского народа, отдал ему всю силу своего большого ума, весь пламень своего сердца. Но так же закономерно и то, что Г. И. Петровский, украинец по национальности, в своей широкой партийной и общественной деятельности далеко перешагнул границы Украины. Он был одним из основоположников нашей партии, активным строителем социалистического общества в нашей стране. Его жизнь и деятельность — достояние всего советского многонационального народа.

Будем ждать выхода книги о Г. И. Петровском на языках других народов СССР, и прежде всего на русском.

С. ПЕТРИКОВСКИЙ.

★

ГИТЛЕР УШЕЛ — ГЕНЕРАЛЫ ОСТАЛИСЬ

Л. Безыменский. Германские генералы — с Гитлером и без него.

Редактор Л. Истягин. Соцэргиз. М. 1961. 368 стр.

В начале 1961 года западногерманский журнал «Веркунде», орган бундесвера, выдвинул весьма примечательный лозунг. Автор одной из статей энергично призвал

отбросить ложную скромность и дать настоящую политическую оценку роли бундесвера в западногерманском государстве. Раньше мы откровенно говорили, настоя-

чиво подчеркивал автор, что вермахт — это школа нации, дающая ей истинную политическую закалку. Почему мы не говорим это о бундесвере? «Я готов принять на себя град обвинений, но выдвигаю и буду выдвигать лозунг — бундесвер тоже должен стать и становится школой для нашего народа».

На фоне бурных событий этого года, связанных с активизацией западногерманского милитаризма, статья в «Веркунде» осталась незамеченной. И это естественно: что значит одна статья в каком-то, пусть даже официальном, журнале, когда милитаризм стал неотъемлемой частью всей политики современного боннского государства?

Однако стоит отметить, что впервые после 1945 года германские генералы, командующие ныне бундесвером, решились в столь открытой форме заявить претензии на решающее слово не только в военных, но и в политических вопросах. Тем самым был сделан еще один шаг к окончательной реставрации влияния милитаристской клики на политическую жизнь западногерманского государства.

Тот, кто хочет действительно понять содержание и характер угрозы, которая нависла ныне над Европой в связи с возрождением западногерманского милитаризма, должен прежде всего ознакомиться с его ролью в истории Германии и всего европейского континента. В послевоенные годы появилась обширная литература, посвященная этому вопросу. Недавно она пополнилась еще одной нужной и интересной книгой, написанной советским германистом Л. Безыменским.

История германского империалистического государства рассматривается в этой книге не только в общем плане, но главным образом с точки зрения влияния на его политику конкретных выразителей идеологии и политики милитаризма. Еще более важно то, что анализ этого влияния дается в острой полемике с конкретными защитниками западногерманского милитаризма, заполнившими своими писаниями... книжные рынки чуть ли не всего мира. Наконец, в отличие от некоторых авторов, пребывающих в наивной уверенности, что о серьезных вещах надо писать скучно, Л. Безыменский пишет весьма увлекательно и живо. Автор сумел найти нужную литературную форму и напомнил тем самым, что история

если не родная, то во всяком случае двоюродная сестра художественной литературы.

Каждый, кто наблюдает сегодня шабаш ведьм, учиненный на боннском Брокене западногерманскими реваншистами, невольно задастся вопросом: каковы истоки особой агрессивности германского империализма, почему вот уже третий раз в нашем веке появление очага войны в Европе связано с германской проблемой? Очевидно, что немалую роль в этом играет специфическое переплетение двух взаимопроникающих явлений: появившегося исторически позже, а поэтому особо жадного и агрессивного германского империализма и того традиционного прусского милитаризма, который после объединения Германии «железом и кровью» стал уже не только прусским, но и германским.

Вопрос о роли прусско-милитаристских традиций — это вопрос о специфике германского милитаризма. Мирабо, умевший при всех своих слабостях и недостатках глубоко проникать в суть явлений, дал современной ему Пруссии следующую уничтожающую оценку: «Пруссия не является государством, которое владеет армией, она скорее является армией, которая завладевает нацией». Если не знать, что эти слова произнесены в XVIII веке, то эту фразу, без всяких оговорок, можно было бы отнести и к Германии конца XIX века, и к Германии тридцатых — сороковых годов XX века, и к Западной Германии шестидесятых годов.

Вопрос о традиционном влиянии милитаризма на особую агрессивность германского и, в частности, современного западногерманского империализма освещен в рецензируемой книге, к сожалению, весьма бегло. Несколько выразительных цитат из Гегеля, Трейчке, Мольтке, Клаузевица. Вальдерзее. Людендорфа не меняют дела. Ведь главное не в поджигательских афоризмах тех или иных философов, историков и генералов. Важнее отметить, что на протяжении столетий в истории Германии господствовал примат военного над гражданским, наложивший глубокий отпечаток на психику и политическую философию правящих классов. Правители Германии в прошлом всегда предпочитали насильственное, военное решение вопроса. В том, что их взгляды не изменились, нетрудно убедиться, обратившись к внешней политике

современного Бонна, где у власти сохранились старые правящие классы.

Разумеется, не следует и преувеличивать эту сторону дела. Традиции сами по себе бессильны и отмирают, если для них нет благоприятной почвы. В ГДР — первом в истории демократическом и миролюбивом германском государстве — традиции милитаризма исчезли бесследно, несмотря на то, что и здесь они имели оставшиеся по наследству цепкие корни. Империализм, экспансионистская политика германских монополий — вот главное содержание современного западногерманского милитаризма, несмотря на всю его традиционную форму. И это в книге Л. Безыменского показано выпукло и всесторонне.

Армия, навязывающая стране свою волю, имела, с точки зрения монополистической буржуазии, немало преимуществ по сравнению с обычным инструментом — системой политических партий. Она была более дисциплинирована и мобильна. Ее было легче использовать для проведения непопулярных мероприятий: в отличие от лидеров буржуазных политических партий генералам не приходилось считаться с настроениями тех, кого время от времени призывали к избирательным урнам. Наконец, с помощью армии было проще установить неприкрытую диктатуру, осуществить на практике режим откровенного террора.

Эта склонность монополистической верхушки использовать армию — через ее генералов — в качестве политической силы проявлялась наиболее ярко в те моменты, когда наступал политический кризис. В революционную эпоху 1918—1923 годов на помощь монополистам пришли германские генералы и преданные им воинские части; при этом для политического маскарада были использованы правые социал-демократы. В тридцатые годы, когда власть монополистов вновь оказалась под угрозой, армия, именовавшаяся в те годы рейхсвером, а затем вермахтом, вновь выступила в роли политической силы. На этот раз, в соответствии с изменившейся обстановкой, ее политическими союзниками были не социал-демократы, а национал-социалисты. Сегодня союзниками генералов в западногерманской вотчине монополистов являются христианские демократы. А политические амбиции генералов, демонстрируемые ими ныне, позволяют сделать вывод, что и со-

временное западногерманское войско превращается в политическую силу.

В новейшей истории Германии известно немало так называемых «политических» генералов, видевших свою задачу в том, чтобы, опираясь на вооруженные силы, навязать стране порядки, отражающие волю монополий. В начале двадцатых годов это был Гренер, потопивший в крови немецкую революцию 1918 года. Потом наступила эпоха генерала Секта, который в тиши своего кабинета свергал и назначал канцлеров и военных министров. Затем на переднем плане оказался генерал-политик Шлейхер, решивший сам занять канцлерское кресло. Он и его преемники фон Бломберг, Фрич и другие помогли безвестному ефрейтору пробраться к власти и удержаться на многие годы.

Трудно сказать, кто из генералов бундесвера готовится к исполнению подобной же роли. Быть может, это Хойзингер, заправляющий ныне в НАТО, или Ферч, на совести которого жизни сотен тысяч ленинградцев, или генерал-разведчик Шпейдель, имя которого особенно памятно французам. Ответить на этот вопрос сегодня еще трудно. Скорее всего — все вместе. Во всяком случае очевидно, что путь, на который они толкают свое государство, ведет в бездну.

Л. Безыменский убедительно разоблачает мифы, созданные в ФРГ в послевоенные годы и призванные доказать, что германские генералы якобы не несут вины за агрессию и, соответственно, за поражение гитлеровского режима, который привел Германию к национальной катастрофе. Фюрер Адольф Гитлер — вот та фигура, которую они наперебой обвиняют во всевозможных «просчетах» и «ошибках». Политический смысл подобного трюка очевиден. Если во всем виноват Гитлер, то политическая и профессиональная репутация генералов свободна от грязных пятен. Если во всем виноват только Гитлер, то сама проблема вины становится неактуальной: судить покойников неинтересно. Наконец, если виноват один Гитлер — а теперь его нет, — то можно повторить все, что он делал, и на этот раз добиться успеха.

То, что Гитлер и его клика — величайшие преступники, — вопрос не дискуссионный. То, что именно фашизм низверг Германию в бездну, очевидно всему миру. Но вместе с фашистскими заповедями — плечом к плечу — над этим потрудились и генералы.

А как же быть с пресловутым «сопротивлением» генералов Гитлеру и его режиму? В этом вопросе не может быть никаких сомнений. Ни о каком сопротивлении генералитета в целом фашистскому руководству не может идти и речи — его не было ни на одном из этапов. В кризисные моменты среди верхушки гитлеровского рейха вспыхивали разногласия по различным более или менее серьезным проблемам. Но, во-первых, эти разногласия носили преимущественно тактический характер. Во-вторых, чаще всего они возникали в рядах самого генералитета. Л. Безыменский прав, когда отмечает, что в конечном итоге «брожение» среди генералов сводилось к столкновению между одной и другой генеральской кликой. В конечном итоге даже так называемый генеральский путч 20 июля 1944 года был подавлен при активном участии германского генералитета, а такие ведущие его представители, как Кейтель, Йодль, Кессельринг, Шернер и многие другие, оставались с Гитлером до последней минуты.

То, что сегодня во главе ФРГ не стоит человек по фамилии Гитлер, не делает милитаристскую угрозу менее опасной. Как бы ни звался политик, стоящий сегодня у кормила власти, за его спиной находятся те же силы, которые определяли политику Германии и раньше, в том числе и генералы с их патологической жадностью агрессии и реванша.

Все мы с тревогой и болью наблюдали, как в послевоенные годы шаг за шагом, набирая силу, двигался к своей черной цели западногерманский милитаризм — тот самый милитаризм, который, как казалось, был уже похоронен однажды под развалинами «третьего рейха».

Как же получилось, что он сумел возродиться? Кто виновен в этом? Книга дает ясный ответ и на эти вопросы. Нет, здесь не было чуда. Германский милитаризм не птица Феникс, которая сама возрождается из пепла. Там, где германский милитаризм действительно был уничтожен, там он не возродился и не возродится. А там, где он все же возродился, он попросту не был уничтожен. Его смерть, о которой много говорили в западных странах в первые послевоенные годы, оказалась мнимой. А затем его начали пестовать и холить империалисты США и их союзники по военным блокам, мечтая вырастить антисоветскую, антисоциалистическую силу. Результаты этих действий сегодня видны всем, кто может и хочет видеть.

Шаг за шагом движутся вперед к своей цели германские милитаристы. А «мир знает эти шаги, шаги кованных сапог вермахта», — пишет Л. Безыменский. И мир не может, не вправе быть безучастным. Уроки второй мировой войны научили народы слишком многому, чтобы они позволили повториться новому Мюнхену и новому плану «Барбаросса».

Об одном из недостатков книги говорилось выше. Можно также добавить, что ее отдельным частям не хватает обобщений.

Впрочем, по поводу любой, даже самой удачной книги можно высказать замечания. Недочеты, которые есть в работе Л. Безыменского, не определяют общую картину. И у рецензента есть все основания с чистой совестью посоветовать читателю: прочтите эту книгу!

А. ГАЛКИН.

кандидат исторических наук.

★

Литература и искусство

ВМЕСТЕ С НАРОДОМ

Э. Казакевич. Синяя тетрадь. Повесть. «Октябрь», № 4, 1961.

Есть в повести Эм. Казакевича «Синяя тетрадь» черты, которые особенно живо воспринимаются сейчас, в дни обсуждения проекта Программы партии. В созданном им образе Ленина наша выражение такая черта души Ильича, которая стала душой великой Программы.

Повесть рассказывает о трудных для партии днях. В проекте Программы есть строчки: «Пройден гигантский путь, политый кровью борцов за народное счастье, путь славных побед и временных поражений...» В повести идет речь о днях после поражения — июльских днях 1917 года

Большевики подвергались тогда преследованиям и бешеной травле. Сознание масс буржуазия пыталась отравить гнуснейшей клеветой на Ленина. За Лениным охотились. Был отдан приказ о расстреле его при поимке на месте. Партия укрыла Ленина в подполье.

Там, на берегу Разлнва, он был так мало по внешности похож на того, каким сохранился в народной памяти, что нужно усилие, чтобы представить его тогдашний облик. Вот его портрет в те дни: «Без бороды и усов лицо Ленина очень изменилось, стало суровее и проще: борода и усы обычно скрадывали волевое, твердое очертание губ, теперь же большой, решительный рот обнажился. Только когда Ленин улыбался, он становился прежним: кожа натягивалась на скулах, суживала глаза, собиралась под глазами и на висках в хитрые и добрые морщинки».

Чему же улыбался Ленин в эти дни смертельной опасности, угрожавшей ему каждое мгновение?

В сердцах людей хранится память о нежном, трогательном, бережном, ласковом отношении Ленина к детям. В созданных автором маленьких эпизодах, рисующих дружбу Ленина с тринадцатилетним Колей, сыном Емельяновых, которым партия поручила укрыть Ленина, проступает добрая усмешка Ильича.

Ленин, сидя на пеньке перед чурбаком, пишет статью (знаменитую статью «К лозунгам», определившую новый этап в развитии революции). К шалашу прибегает Коля: он следит, не появились ли в окрестностях чужие. Сообщает, что все спокойно. Отец, кивая на Ленина, велит не мешать. Но мальчик не может удержаться, чтобы не сообщить отцу вполголоса: «Ежиху с ежатами видел!»

«— Как она? Верная ежиха? Не выдаст? — деловито спросил издали Ленин, по-прежнему ни на кого не глядя и продолжая быстро писать. Казалось, он посмотрел на Колю только своим виском, где на мгновение собрались смешливые морщинки». «— Своя!» — смеется мальчик.

В газетах в те дни появилось сообщение, что по следу Ленина пушена знаменитая собака-ищейка Треф. Это Ленину запомнилось. Однажды ночью в сильный ливень он стоял снаружи шалаша, втиснувшись в стог. Из шалаша высунулся Коля. Ленин про-

шептал: «— Коля». Мальчик встрепенулся: «— Кто там? — Треф.— Кто там? — Собака Треф». Мальчик весело засмеялся.

Еще портрет Ленина тех дней:

«Ленин стоял среди зарослей ивняка, широко расставив ноги, словно врос в эту пустынную болотистую землю. В предвечернем свете, придающем очертаниям предметов резкую определенность, он казался отлитым из темного металла».

Ленин, кажущийся отлитым из металла, Ленин, пишущий на пеньке статью, определяющую судьбы революции, Ленин, смеющийся в играх с очарованным им мальчиком...

Еще портрет.

Свердлов и Дзержинский, взволнованные встречей с Лениным, с которым они только что расстались, плывут обратно на лодке по озеру. На руле Кондратий — другой сын Емельяновых.

«— Сломить его нельзя», — сказал Дзержинский.

«—...Он скромн и совершенно лишен честолюбия. Это большая редкость для вождя, — сказал Свердлов.

— Он горит, как факел, чистым светом, — сказал Дзержинский.

— Он человечен и добр, — сказал Свердлов.

— Он суров к врагам, но только к врагам, — сказал Дзержинский».

Строки, завершающие главу:

«Кондратий сидел за рулем молча, и ему казалось, что корни его волос холодеют от восторга и любви к этим людям».

Строки, начинающие следующую:

«Проводив взглядом их лодку, Ленин сказал: — Какие люди! Их не сломишь».

Из всех черт Ленина, какие в приведенных отрывках выражены или названы, особенно подчеркнута несгибаемость, стойкость. Эта ли именно черта имелась в виду как привлекающая наибольшее внимание? Нет, не эта.

Уяснению другой, чрезвычайно важной для нас ленинской черты способствует образ человека надломленного, растерянного, отчаявшегося. Это образ Зиновьева. Зиновьев жадно ловит малейший признак скорби и горечи на лице Ленина — ему это нужно для оправдания собственных настроений. И Зиновьеву кажется, что болроств Ленина не более как бравада, маскировка, а на самом деле Ленин, дескать,

знает, что революция обречена, что большевики на краю пропасти. Уверенности Ленина в победе он не понимает.

Что же произошло с ним? Он не любил Ленина? «Он питал к Ленину любовь почти женскую, полную ревности, безотчетную и расчетливую в одно и то же время». Он плохо знал марксизм? «Зиновьев был образован, необыкновенно усидчив, обладал прекрасной памятью и глубоким знанием марксистской литературы». Он был трус? «Дело тут не в личной трусости».

Так в чем же дело?

В том все дело, что он не верит в народ, плохо знает его. Потаенно он считает большевиков кучкой интеллигентов, затерянной в бескрайней стране с жадными кулаками, корыстолюбивыми лавочниками, пьяными масгеровыми и юродивыми богомольцами. «Массы же необразованны, анархичны, как они доказали третьего и четвертого июля, на них трудно полагаться. Получив видимость свободы, они готовы все ломать и кромсать, как бурсаки у Помяловского. Неудача приводит их в уныние». Свое уныние он приписывает массам и вместе с тем, спохватываясь, притворяется бодрчком, пряча свое смятение. Как-то раз у него вырвалось:

«— Как быстро массы склоняются перед силой!»

Ленин на лету перехватывает отравленное оружие:

«— Это пока они сами не стали силой!.. Массы — народ практический, они не станут понапрасну лезть в петлю. Они не одиночки-интеллигенты. Эффектный жест и громкая фраза не по их части... Массы поймут, что провалились потому, что действовали неорганизованно. Они это учтут в следующий раз».

Ленин уверен в неизбежности пролетарской революции, так как ни одно из требований масс не удовлетворено. Ленин уверен в победе партии, так как партия выражает коренные интересы масс.

Когда Зиновьев, ознакомившись с рукописью статьи «К лозунгам», в которой Ленин предложил снять временно лозунг «Вся власть Советам!» им, Лениным, выдвинутый и разработанный, ошеломленный Зиновьев воскликнул: «Непостижимо! Невероятно!» Он попытался оперировать доводом от масс: массы привыкли к этому лозунгу, снимать его невыгодно. Ленин категорически отверг этот довод. Продолжать выдвигать лозунг

«Вся власть Советам!» теперь, когда Советы стали эсеро-меньшевистскими, значило обманывать массы, а массам всегда нужно говорить правду, массы должны знать всю правду.

Глубокое уважение к массам, всегда и во всем прежде всего мысль о них, об их интересах, о росте их сознательности и организованности, горячая любовь, тяготение к ним: «А мне грешному хочется в Питер, в гущу событий, в кипение масс», «окунуться в эту кашу, быть среди товарищей», «наша стихия — массы», забвение этого — «верная гибель», — вот эта ленинская черта, бесконечно дорогая народу, и составляет сердцевину созданного писателем образа.

Но в приведенных отрывках дана лишь одна ее сторона, она еще не вся здесь, выражена не полностью.

Зиновьеву в повести дважды поведение и поступки Ленина кажутся особенно удивительными. Впервые это происходит тогда, когда Зиновьев, погруженный в размышления о бездне, на краю которой он себя чувствует, слышит, как Ленин расспрашивает Емельянова, может ли рабочая семья прожить с огорода, какая рыба водится в Разливе, и замечает, что уха без ерша или хотя бы без окуня — пустое дело.

Эти расспросы напоминают читателю черту, зарисованную М. Горьким, — заботу Ленина с том, как питаются делегаты Лондонского съезда, каковы простыни в лондонской гостинице; вспоминаются при этом и слова рабочих о Ленине: «Прост, как правда», «Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — вождь и товарищ наш». Кстати сказать, об этом сопоставлении Плеханова с Лениным вспоминает и автор — он сделал такое же, но несколько в ином плане.

В другой раз безмерное удивление испытывает Зиновьев, когда слышит просьбу Ленина доставить в Разлив синюю тетрадь с выписками из Маркса и Энгельса и своими выводами по вопросу о государстве. Случай не похож на первый: там удивляет интерес быговой, здесь — теоретический, но их сближение подчеркнуто; просьба Ленина «удивила Зиновьева ничуть не меньше, чем разговоры Ленина с Емельяновым о ценах на капусту и качествах ухи с окунями и без окуней».

Это сближение участвует в решении центральной задачи повести, задача эта определена в вышеупомянутом сопоставлении Ле-

нина и Плеханова, сделанном автором по своему. Вот это сопоставление:

«Ленин питал к рабочим людям особого рода слабость — не только к рабочему классу в целом, а к каждому сознательному и еще несознательному рабочему в отдельности. Он терпеть не мог тех социалистов, которые, наподобие Плеханова, обожали «пролетариат», клялись «пролетариатом», но не больно жаловали Ваню, Федю, Митю, Ивана Ивановича и Пелагею Петровну, не верили в их разум, не ставили их ни в грош. «Пролетариат» постепенно превратился для таких социалистов в нечто расплывчатое, неопределенное, беспочвенное, стал формулой, сухой, как скелет, пустопорожней, как бот».

Задаче художественного анализа вот этой черты ленинского гения в повести служат и картины дружбы Ленина с мальчиком — и сцены, в которых Ленин комментирует газетные материалы; споры с Зиновьевым — и восхищение Ленина ладной работой Емельянова, работой, вызывавшей у самого Ленина страсть к физическому труду, желание копать, строгать, носить землю, косить; облик Ленина в рыжем пальтишке с чужого плеча, в старом емельяновском картузе — и его раздумья о Марксе и Энгельсе, раздумья, в которых ему и Маркс и Энгельс казались и близкими знакомыми, словно бы родственниками, и в то же время всезнающими, проницательными гигантами, хохочущими над малютками мещанами; тревога за товарищей, за Надежду Константиновну, за сестер — и нахлынувшее на него чувство счастья при виде синей тетради, которую наконец-то доставили ему. Синяя тетрадь! «Это будет полезная штука... Ясная программа действий на ближайшее время после захвата власти, да и не только на ближайшее. Речь здесь пойдет... о стиле жизни пролетарского государства». Синяя тетрадь! «Теперь эти выписки и выводы из них имели то же значение, что хлеб, и соль, и спички, и ситец для миллионных масс людей».

В эти же самые дни Ленин внимательно и с любовью всматривается в стиль жизни рабочей семьи, укрывавшей его, и любит ее. А в него в свою очередь вглядывается Надежда Кондратьевна Емельянова, пораженная до глубины сердца его простотой, дели-

катностью, безыскусственностью, живостью и общительностью. Она видит интерес Ленина к ней, к мужу, детям и старается понять природу этого интереса, совсем простого и житейского, и именно к ней и к ее мальчикам, к их маленьким делам и вместе с тем к чему-то большему, ко всем рабочим людям. «Видно было, что он любое сообщение — самое мелкое — о жизни людей и их нуждах немедленно взвешивает на особых весах, думает о применении в гораздо большем масштабе того, что узнал, о чем услышал». «Он был весь с ними, с людьми, среди которых жил, и был весь не здесь, а с огромным множеством других, незнакомых ему лично людей».

Это были не две черты, это была одна черта цельной натуры, свойство гения, великого стратега, вождя, оперировавшего классами, партиями, нациями, эпохами, и сердечного человека, чья душа была открыта для живого общения с простыми рабочими людьми, полна жадного интереса к их потребностям, к их опыту.

В том, что эта черта живет в повести, и заключается заслуга художника.

Особенно остро она воспринимается сейчас, в наши дни.

С волнением читатель узнает эту черту в величайшем документе эпохи — в Программе партии.

Необъятные просторы, неохватные дали раскрывает она человеку. В ней судьбы народов, стран, классов. В ней шаги богатырского детина международного рабочего класса — мировой социалистической системы, и в ней же первые шаги ребенка, забота о счастливом детстве каждого ребенка. Она говорит о дружбе народов — и о чувствах взаимной любви и уважения в семье. В ней решаются всемирно-исторические проблемы, в ней отражены и повседневные заботы каждого труженика.

Двигается вперед, растет, совершенствуется строй, главная цель которого — счастье человека. Идет вперед, растет, совершенствуется человек, смысл жизни которого — счастье общества, народа. В расцвете общественных чувств чудесно хорошеет человек, строитель коммунизма.

Как радовался бы этому Ленин!

В. СУРВИЛЮ.

О ЛИРИКЕ ЯРОСЛАВА СМЕЛЯКОВА

Ярослав Смеляков. Работа и любовь. Редактор Д. Ковалев. «Молодая гвардия». М. 1960. 272 стр.; Новые стихи. «Литературная газета» от 27 декабря 1960 года, № 153; Из новых стихотворений. «Новый мир», № 2, 1961.

Есть вещи, которые мы повторяем неутомимо. Например: в своем развитии наша поэзия, преодолевая отвлеченность, постепенно сближалась с буднями, с повседневностью, с «черной» работой. И нередко на этом ставим точку. А между тем путь к современности, к живой практике означал расширение поэтического горизонта. И Маяковский и его товарищи по перу боролись с отвлеченностью вовсе не для того, чтобы замкнуться в «общемясничком» масштабе...

Одни наши лирики (например, Эдуард Багрицкий, в ином плане — Михаил Светлов) шли от романтических «высоких костров» к живой правде жизни, не придуманной, но хранящей в себе скрытый огонь романтики.

Иначе сложился путь Ярослава Смелякова. Он открывается нам в сборнике «Работа и любовь» (1960), повторившем название одного из первых сборников поэта. Для Смелякова будни — и не просто будни, а трудовые, рабочие, фабричные, фабзавучские — исходный момент творческого развития. Тема труда не требовала специального «осваивания» — она была в крови. Перечитайте первую книжку поэта — «Стихи» (1932). Цехи типографии, гранки брошюры «Как ладить, как чистить, как смазывать трактор», — ее ждут в колхозах; бригада ударников; старый кухонный быт и — новый, идущий ему на смену; борьба с прогульщиками; ФЗУ «маяк промфинплана» — вот круг привычных тем и образов молодого Смелякова.

Учеба в полиграфической школе, работа в типографии в качестве машинного наборщика — все это не просто осталось позади как пройденное, но вошло в поэтическую биографию, стало гранью писательского облика.

Трудовая жизнь увидена без прикрас, во всей неподдельной доподлинности, суровой простоте и даже не без вызова подчеркнутой «простецкости».

Вот небольшой отрывок из поэмы.

...И вот я такой. Я иду по бульвару.
В кармане моем одиноко и звонко
Вренчат три скучающие монеты.

Их сколько ни складывай, сколько ни
множь их.

Ни вычитай, ни дели, ни делай
Давно позабытые уравниья
С двумя, и с тремя, и с одним неизвестным.
Получится ровно, получится только
Пятнадцать копеек. Пятнадцать. Копеек.
На них я куплю по шестому талону
Там в булочной, ждущей в конце бульвара
(Двадцать шагов от моей комнатенки).
Хлеба горячего, словно сердце.
Хлеба прекрасного, как мечтальня.
Фунт. С меня хватит. Я думаю — хватит!

Монеты, ситный хлеб, рыжее ситро, засаленный профсоюзный билет входят в поэзию во всей натуральности. Автор смотрит на вещи прямо, в упор, говорит о них без псевдопоэтических околичностей.

Можно уловить в приведенном отрывке следы зависимости от белых стихов Багрицкого. Но важнее другое: мы уже начинаем различать интонацию смеляковской речи, чуждой аффектации, облегченной мелодичности, напевности, — простой, резковатой, чуть неуклюжей.

Смеляков боится впасть в пафос. Характерно, что в сборнике «Счастье» (1934), носящем подзаголовок «Политическая лирика», он говорит, что «по привычке давней не приучен в литавры бить». Строгость, боязнь поэтического многословия и велеречивости, рабочее уважение к слову — характерная черта творческого развития Смелякова. С годами словно тяжелеет его слово, становится более значительным и веским. Возрастает «сопротивление» словесного материала.

Однако все это лишь одна сторона дела.

Вслед за признанием «не приучен в литавры бить» в стихах Смелякова раздается призыв, казалось бы противоположный:

Бог моей жизни,
вручи мне медь.
дай мне веселие
прогреметь.

Если вдуматься, здесь нет противоречия. Поэта увлекает медь оружия, рабочего инструмента. Он не хочет «жестяной», трескучей звонкости, боится легковесной псевдопублицистичности. Но, отстаивая «строгость», он стремится к тому, чтобы слить ее с «трибунностью».

Мотив трубной «меди» связывается у него с другим: в «Разговоре о главном» он воспекает «железную колыбель» Магнитки, пожатье ее «чугунной руки».

Прочитайте стихи «Земля», «Мое поколение», вошедшие в сборник «Кремлевские ели» (1948). Вы ощутите суровость, грубоватую прямоту облика лирического героя — человека с темными руками, знавшими и лопату, и кайло, и тачку, и ложу автомата, его уверенное сознание собственного достоинства. Второе из названных стихотворений открывается важным признанием:

Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.

Вот это соединение — «трудно и гордо», твердости железа и «меди» проповеди — неотъемлемая черта смеляковского поэтического своеобразия.

В ранний период творчества — первая половина тридцатых годов — Смеляков стремится воспроизвести окружающий мир труда, цехов, производства. С приходом зрелости воссоздание все больше сливается с поэтическим осмыслением. Первая книга, где поэт в полную силу проявил зоркость и неповторимость художественного видения, где соединились «строгость» и «трубность» писательского голоса, — «Кремлевские ели».

Реальная жизнь возвышается здесь до легенды, но не утрачивает при этом живой достоверности. Мотив легенды, сказки, древнего мифа проходит сквозь многие стихи сборника. В разных планах сталкиваются, то соединяясь, то расходясь, темы реальной жизни и поэтического сказания. Вспомним стихи «Милые красавицы России», «Мать ждала для сына лучшей доли», «Опять начинается сказка...», «Аленушка». Именно здесь, на пересечении сказочно-поэтического и реального «прозаического» сюжета, ярче и резче всего обнаруживаются особенности художественной манеры зрелого Смелякова.

В лучших стихотворениях сборника легенда не заслоняет действительности, но воедино сливается с ней в образе живом, возвышенном и убедительном.

Подлинную победу одерживает Смеляков в стихотворении «Милые красавицы России». Нельзя не почувствовать внутренней переклички со светловской «Рабфакв-

кой». Здесь и непосредственная близость строк.

Читая —

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы, —

вспоминаешь строки о наших девушках, которые «с песней падали под ножом, на высоких кострах горели». И не только внешнее, но и более серьезное сходство: оба поэта сопоставляют русских девушек, дочерей революции, с героинями истории (Светлов), с героинями театра, выступающими «в буре электрического света», — с Джульеттой, Офелией, Золушкой (Смеляков). Оба они утверждают: наши девушки достойны стать рядом, вровень с самыми героическими и прекрасными «действующими лицами» мировой истории и литературы.

И в то же время нельзя не заметить различия. При несомненном внутреннем родстве у Смелякова мысль движется как бы в «обратном» направлении. Светлов кончает стихотворение «сереньким платьем». Смеляков же от «полутемного зала», от «стареньких тифлек» переходит к шелкам и соболям, которыми мы оденем русских героинь-красавиц, к дворцам, которые им построят.

Сравните два окончания:

Платье серенькое твоё
Неподвижно на спинке стула.

И:

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

Поэты стремятся к тому, чтобы связать «осажденный Орлеан» — и «завоеванный зачет», «юную Джульетту» — и «русских принцесс». Смелякова здесь многое роднит со старшим товарищем по поэзии. И вместе с тем отчетливо видна особенность образного мышления поэта: он идет не столько от поэзии к прозе, от легенды — к жизни, от романтики — к будням, а скорее обратно — от будней к романтике, к сочинениям, полным любви и удивления.

Мы находим у него и такие стихи, где он, подобно Светлову, называвшему Пегаса «кобылкой», рассказывает о встрече с музой у проходных ворот завода или описывает двух девочек — маленьких ангелов базара в старых, стиранных платьишках. Однако еще характернее для Смелякова стихи, где поэт идет от проходной

будки к музе, от были — к сказке, от земли — к небу.

Выразительно с этой точки зрения стихотворение «Хорошая девочка Лида» (1941). Внутреннее движение его развивается как бы по расширяющимся кругам.

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Дан адрес — южный городок, Южная улица. Не хватает только названия города и номера дома. Вспоминается ранний Смеляков с его точными указаниями — адрес, место, цена, вес и т. д. Но в отличие от того, что мы видели в первых сборниках, здесь достоверный «адрес» — только начало. Дальше портрет Лиды начинает увеличиваться, не расплываясь в туманность. «По платью, по синему ситцу, как в поле, мелькают цветы...» Портрет как бы сквозит, за ним встает усыпанное цветами поле. И вот уже хорошая девочка Лида «по миру идет не спеша».

О мальчишке, влюбленном в нее, говорится вначале так же точно, сообщается: он живет в доме напротив. Имя любимой он пишет на каменных плитах, где ступали ее ботинки. Но скоро ему улица становится тесной «для этой огромной любви». Имя Лиды он напишет «на всех перекрестках планеты»:

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях...

Точка поэтического видения стремительно взмывает вверх — от Южной улицы до Южного полюса. Но и этого мало:

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет.
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.

Пожалуй, ярче всего сказалась эта особенность поэтического мышления Смелякова в стихотворении «Если я заболею...» (1940). Здесь два масштаба: один — комнатный. «четырёхстенный»; второй — бескрайний. Быт и бытие. Размеренный больничный режим — и неумирающая, жаркая, вечная жизнь.

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану,
обращаюсь к друзьям
(не считите, что это в бреду):

постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

С первых строк раздвигаются стены. Все строится по принципу контраста. «Занавесить» — значит закрыть, отгородить. Но занавесить окна не пологом, а туманом — это имеет прямо противоположный смысл. У изголовья можно поставить лампочку, свечку. Но поставить у изголовья звезду можно только, если речь идет о широкой постели — степи. Контрастный переход поддерживается и внешними ассоциациями (серая занавеска — туман) и тонкой аллитерацией («Постелите мне степь»).

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.

«Бинт» и «горная дорога». Сопоставление неожиданно, подчеркнута разномасштабность. Но оно оправданно общим ходом мысли, подчеркнута зрительным сходством (вьющаяся в горах дорога действительно напоминает ленту). Переход от бурной жизни к ранению, «высокой болезни» подчеркнут выразительной звукописью. После «взрывных» — «напролом», «недотрогой» «ранят», «в справедливых боях» — как бы затихающие строки:

И укройте меня
одеялом
в осенних цветах.

Лечить надо не покоем, а простором, «жарким ветром пустынь». И уходить из жизни надо так же, как и жил, — напролом, не сдаваясь, браться со всей вселенной:

Не облачками желтыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу
коридором
а Млечным Путем.

Удивительно «структурно» это стихотворение от первой до последней строки. Все образы, контрастные ассоциации устремлены в одну сторону. Образные «переходы», в первое мгновение кажущиеся неожидан-

ными, парадоксальными, стремительно возносятся единую поэтическую мысль, выводят ее за рамки привычно будничного к все-ленским масштабам.

Интересно с этой точки зрения взглянуть на поэму «Строгая любовь» (1954—1955). В некоторых рецензиях на нее много раз повторялось: «воспевание будничного, обыкновенного». И как-то уж слишком заурядно и немудрено выглядели будни в таком освещении. Смеляков действительно входит в самую гущу, толщу будней, но приземление у него не означает отказа от поэтически возвышенного. Все дело в том, что это возвышение как бы отяжелено реалистической зоркостью, умением увидеть высокое в неприкрашенно-повседневном. Поэт может возвышаться над землей. Смеляков стремится возвыситься не «над», но как бы вместе с землей.

Путь Смелякова — от будней к высотам поэзии — надо понимать не в том смысле, что поэт перешел от одного к другому. Это был путь сквозь будни и вместе с буднями, это было единое «приземление-возвышение».

Поэт точно сказал:

Звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.

Смеляков не против высоких слов, но против высокопарных. Он не хочет «парить». Он по-солдатски завоевывает каждую высоту и «высотку».

Всегда ли он одерживает успех? Читая его сборники последних лет, наталкиваешься и на такие стихи, в которых поэтическая лампада, или, говоря попроще, «лампочка», светит вполнакала. Суровая трибунность, сдержанная сила вдруг уступают место гому «громкоговорению», от которого отказывался в лучших своих произведениях сам поэт.

Сборник «Работа и любовь» состоит из трех разделов: пятидесятые, сороковые, тридцатые годы. Перечитайте стихи последнего десятилетия. Вы увидите, как иногда поэт, берясь за большую политическую тему, вдруг облегчает себе поэтическую задачу.

Стихотворение «Ветка хлопка» кончается так:

Пушкой она зимой и летом,
попав из Азии сюда,
все наполняет мягким светом,
дыханьем мира и труда.

Чтобы написать так, не нужно быть Смеляковым.

Вот последние строки стихотворения «Товарищ комсомол»:

Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
Отчизне трудовой.

Все правильно. Но вряд ли такие стихи станут повторять из уст в уста.

А когда мы читаем:

И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.—

мы и вовсе не узнаем Смелякова: очень уж мало настоящей поэтической скупости в этой ставшей почти расхожей «скупой мужской слезе».

В пятидесятые годы поэт далеко не всегда находился на уровне своих «Кремлевских елей», терял, если можно так сказать, ощущение своего собственного голоса.

Как сложатся, вернее, как складываются для него шестидесятые? Мы ждем новых стихов, написанных в полную смеляковскую силу.

Одно из них — стихотворение «Поэты», напечатанное вместе с другими в подборке «Литературной газеты» от 27 декабря 1960 года. Вот чтобы написать его, действительно надо быть Смеляковым — и никем другим.

С первых строк «производится» образ слушателей муз:

Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.

Речь идет не о них, а о безвестных, ни в какие антологии и сборники не попавших поэтах, что писали свои стихи на ученических тетрадках и служебных бланках; о тех, кто не мог пробиться к людям сквозь «затвор косноязычья», — неузнанных, не представившихся.

В конце стихотворения поэт говорит, что должен благодарно помянуть этих «бедных братьев»:

Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.

Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбувшись, возвращались
назад, к властителям своим.

Смысл стихотворения не в том только, чтобы обитель поэзии обернулась чердаком или подвалом. Свет поэзии в этом подвале не преобразует будничных стен; создается единый образ — и «низведенный» и приподнятый!

Мы говорили, что за некоторые стихи Смелякова можно упрекнуть в излишней громкости, ложной красивости, штампе — и это противоречит самой природе смеляковского дарования. Не в том, конечно, дело, чтобы говорить намеренно «негромко», вполголоса. Но в том, чтобы публицистика не утрачивала телла, не обезличивалась. Поэт должен говорить «во весь голос», но обязательно своим голосом.

Этим даром владеет Смеляков — автор стихотворений «Наш герб», «Хорошая девочка Лида», «Кремлевские ели», «Милые красавицы России», «Если я заболел...», автор поэмы «Строгая любовь».

Хочется обратить внимание на одно из недавних его стихотворений — «Вы не исчезли» («Новый мир», № 2, 1961). Оно

посвящено «начальникам цехов России», политработникам страны, рядовым людям, кончившим свой «путь короткий».

Поэт опять восклицает: «Боюсь красот!». Но эта боязнь велеречивости вовсе не заставляет его обращаться к низеньким, «малорослым» словам. Простые, знакомые и полужнакомые сверстники сравниваются с быстронесущимися, оставляющими светлый след кометами, но не обычными, а «мобилизованными кометами». И снова слышим мы строгий и трибунный, негромкий и далеко раздающийся голос поэта, обращенный к поколению:

В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.
И их не только наши дети,
а люди разных стран Земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.

Лирика Ярослава Смелякова — это работа и любовь, взявшиеся за руки. Слово и слава, добытые трудом.

Это возвышенные скрижали, вырубленные честным рабочим зубилом.

3. ПАПЕРНЫЙ.



ВТОРАЯ КНИГА

В. А ж а е в. Предисловие к жизни. Повесть. «Октябрь», № 4, 1961.

Этим летом в Дивногорске на строительстве Красноярской ГЭС по окончании литературного вечера нас обступила молодежь. Начались вопросы, и одним из первых был такой:

— Почему молчит Ажаев?

Сообщение о новой повести писателя заинтересовало довольно начитанных и любопытных к новинкам дивногорцев:

— В «Октябре», говорите? В четвертом номере? Целая повесть?

А местный поэт и пропагандист «всего интересного» потом, по дороге на пристань, так объяснял нам суть вопроса:

— Вот вы сказали ребятам о новой повести Ажаева. Я читал. Но мне кажется, что вряд ли она обрадует наших ребят. Они хорошо помнят «Далеко от Москвы». Так разве «Предисловие к жизни» может идти в сравнение с тем романом?

Уже на катере, оставшись в узком кругу «литературной бригады», мы еще долго

спорили о справедливости и несправедливости такого читательского максимализма. В самом деле, появившись эта повесть раньше романа, все с ней было бы просто и ясно, как в школьном учебнике: «Начав с небольшой повести «Предисловие к жизни», посвященной энтузиазму рабочей молодежи в годы первых пятилеток, В. Ажаев в романе «Далеко от Москвы» делает шаг вперед: он продолжает и развивает...» Ну а если все случилось не так и скромная по своим масштабам повесть написана сейчас, через пятнадцать лет после известного всем романа, значит, сомнений быть не может: шаг назад? Или творчество знает и другие направления, кроме «вперед» и «назад»?

Наш спор едва ли стоило выносить на общественную трибуну, если бы не то смущенное молчание, в атмосфере которого оказалась сегодня эта повесть. Видимо, не только наш друг в Дивногорске считает за благо помолчать там, где не все ясно и на-

рушена привычная схема «поступательного движения литературы». Нам же эта история представляется весьма поучительной.

В. Ажаев давно и настойчиво ищет наиболее верный путь к своей второй книге. Успех и известность первого произведения не облегчают, а скорее усложняют ему эти поиски. Ведь бывает так, что у писателя появляется желание продлить судьбу тех же самых героев, роман «надстраивается», и вместо одного интересного произведения иногда выходят явно растянутые и уже малоинтересные дилогии и трилогии. Иное дело начинать все сначала, писать не продолжение первой, а по-настоящему «вторую книгу». Сложность в том, что она должна быть такой же свежей и близкой для читателя и в то же время «совсем не такой», то есть не копировать, а развивать и умножать находки первого произведения. Путь ко «второй книге» во многом сложен и противоречив для поколения прозаиков и поэтов, к которому принадлежит В. Ажаев и которое пришло в литературу на гребне военных лет, их исторического, гражданского и нравственного опыта. Этот опыт ускорил мужание и зрелость многих талантов. Однако не все из писателей обладали достаточным литературным мастерством и достаточным багажом жизненных впечатлений мирных дней, чтобы столь же успешно двигаться дальше. Поэтому на пути ко второй книге они часто терпели неудачи.

После нескольких лет перерыва появились рассказы В. Ажаева. В них все было похоже на роман — тема, масштаб конфликтов, преинтересный интерес к интимным и семейным переживаниям. Да и смена жанра — короткий психологический рассказ — потребовала новых качеств таланта. Все вело к тому, чтобы этот цикл рассказов стал новой, «второй книгой» В. Ажаева, если бы... Если бы рассказы удалась. Но беда в том, что отдельные верные наблюдения не чесли в себе глубокого и цельного художественного замысла. Обидная и горькая неудача, что же дальше? А дальше — нынешняя повесть «Предисловие к жизни».

Писатель продолжает свои творческие поиски: он вновь возвращается в атмосферу напряженного промышленного производства. Но на этот раз повествует о трудовой юности своего поколения, о ребятах и девушках, окончивших школу «с химическим

уклоном» и пришедших в цех московского завода. Писатель не просто возвращает нас к событиям тридцатилетней давности — его волнует судьба не только тогдашней, но и нынешней молодежи. Ради этого вспомнил он о друге детства Борисе, его первых рабочих мозолях, первой получке, первых разочарованиях и ошибках, первой любви. Меньше всего автор повести склонен поучать нынешних семнадцатилетних или снисходительно вздыхать: «Да разве мы так росли?» Росли действительно не так — время было другое, о многом, что сегодня приходит легко и просто, могли только мечтать (и мечтали!), но похожими «болезнями роста» болели и переболели, прежде чем научились различать в жизни ценности истинные и мнимые.

О том, как нелегко, с синяками и шишками, далась им эта наука, и рассказывают молодые рабочие ребята из «Предисловия к жизни». Рассказывают откровенно, доверчиво, не боясь показаться смешными, хотя им самим многое в той юности кажется сегодня смешным и наивным. От этой откровенности возникла необходимость предельно сократить дистанцию между автором и читателем, придать всей беседе доверительный характер — так определилась форма повествования «от первого лица» (форма наиболее частая и излюбленная ныне, особенно среди тех, кто обращается к молодежи, и происходит это, на мой взгляд, из-за сугубо современного стремления установить с читателем наиболее доверительные отношения).

Химический завод, рационализаторское предложение, описанный во всех подробностях технологический процесс — неужели опять рецидив «производственного романа»? В том-то и заслуга В. Ажаева, что он сумел добыть из всей этой «прозы производства» ее лучшее и высшее качество — романтику труда. Когда о технике пишут с налета, понаслышке — это бывает смешно и грустно, когда ее знают, но и только — бывает скучно, а вот если знают и любят так, что описание «скучной профессии» становится признанием в любви, — это всегда увлекательно и достойно искусства. Завод, лаборатория, металл приобретают сами и передают нам теплоту человеческих рук, а любая техническая подробность становится интересной, потому что за ней — человек, увлеченный своим делом.

Эта сторона человеческой души писателю известна во всех тонкостях и хитросплетениях. Он верно нащупал главную нить, связавшую молодежь с заводом: чувство полезности людям, чувство своей необходимости.

Снова вспоминаю дивногорских строителей. Период подготовительных работ кончился, на очередь встали основные сооружения крупнейшей в мире гидростанции, и тут пронесся слух, что сроки откладываются, работы приостанавливаются, пока не подтвердится целесообразность прежних проектов и планов. Казалось бы, что ребята: жилье есть, зарплата идет, прибавляется время для развлечений и отдыха. А они ходят злые как черти и повторяют с любой трибуны: «Мы сюда не филонить ехали. Зачем звали?» Чувство полезности людям для двадцатилетних дороже любых льгот и благ. Оно и приносит человеку рабочую гордость.

Чтобы передать радость этого ощущения, В. Ажаеву не пришлось подыматься на цыпочки и произносить громкие слова. Он деловито и точно (вот тут и понадобились подробности технологического процесса) показывает, почему ребята оказались столь нужными и незаменимыми в цехе, а гордость и романтику этой незаменимости мы ощущаем сами из их рассказа. Например, из рассказа о том, как они перестали стыдиться того запаха лекарств, который безошибочно выделял «химиков» и в кино и на танцплощадках. Или о том, как они за «сотню мелочей умения» оценили и приняли под свою «научную» опеку ворчливого аспирантика Антона Васильева в трудную для него минуту. Или о том, как постепенно разобрались и предпочли суровую правдивость главного химика Пряхина угодливой вежливости лицемера Хорлина. У Бориса и его друзей выработывался характер — настоящий, рабочий характер. Состояние души этих ребят, вросших в заводскую жизнь, известно писателю настолько, что он становится здесь очень точен и лаконичен: «Ребята уже прилипли к заводу, хотя сами и не понимали этого». Без выпренности и точно — «прилипли».

Жизнь ребят за стенами завода автор знает, по-видимому, не хуже, но интересуется ею меньше, от этого она выглядит в повести как «довесок» к той, главной, линии. В окончателных суждениях о событиях этой, второй, жизни писатель может быть

прав или не прав с нашей точки зрения, но и тут и там он недостаточно глубок, и это, конечно, самое обидное. От этой психологической приблизительности появляется и приблизительность в словах — как бы вторая, инородная струя в языковой стихии повести. Вот Антон Васильев, грубоватый, не очень грамотный, пожилой рабочий, заходит в комнату, из которой ушла бросившая его жена и увела с собой трех дочек: «В ушах звенели колокольцы и переливались чистыми ручейками девчоночьи тонкие жалостные голоса». Откуда в голове сурового Антона эти красноты — «колокольцы» и «ручейки»? Хочется автору похвалить Лену, простую и работающую подружку Бориса, и он, словно забывшая уже открывшуюся нам первооснову ее истинной красоты, награждает героиню (да еще от имени все того же Антона) «незабудковыми глазами и улыбкой, обнажавшей необыкновенные зубы». И вдруг, испугавшись всей этой изящной «необыкновенности», писатель бросается в иную крайность, и тогда вместо обычного «навстречу» появляется в рассказе и навязчиво повторяется подчеркнуто простонародное «встречь». Или необходимость и полезность аспирина объясняется «по-рабочему» — через «бурильных мастеров головной боли».

Пожалуй, острее всего эта психологическая (и стилистическая) неточность мешает в описаниях любовных переживаний героев повести. Этих переживаний в повести не так уж много, но почти каждая такая сцена разрушает счастливо найденную цельность того или иного «рабочего характера». Ваня, например, относится к жизни строже и категоричнее всех остальных, да и жизнь у него сложилась труднее многих. Это, разумеется, не могло ему помешать влюбиться в самую легкомысленную и кокетливую среди школьных подружек Галку-аристократку. Но вот как произошло, если верить автору, их решительное объяснение в цехе, за кристаллизатором.

«— Иди сюда, Ваня! — зовет она.— Ну, что ты ничего не скажешь? Скажи, ты доволен, что видишь меня? Не кивай головой, а скажи: доволен, рад, безумно рад. Чудачок, ты теряешь дар речи, когда мы вдвоем.

Какой у нее горящий взгляд, она смотрит прямо в глаза и требует: не отводи взгляда.

— Я хочу читать твои мысли, Ваня.— Она кладет руки на его плечи.— Какой ты неловкий! Не бойся меня, подожди ближе.

Ближе, Ваня. Знаешь, одна женщина мне сказала: поцелуй — это двадцать пять процентов того, что есть у женщины. Смешно, правда? А я считаю, — в поцелуе может быть все! Ваня, ты слышишь, что я говорю? Нет, ты не кивай, а скажи.

— Слышу, — шепчет Ваня пересохшими губами.

— Ваня, ты любишь целоваться? Ты не отворачивайся. Слышал, что я спросила? Я хочу, чтобы ты любил целоваться. Ну, не бойся меня, не бойся, Ваня. Никто не видит. Ну же. Целуй, черт тебя возьми! И не стискивай больше зубы...

Она уносится, как вихрь, серебряный звон ее смущенного смеха еще резонирует в цехе среди аппаратов. Ваня долго стоит, у него распахнутые руки и закрытые глаза. Горят губы. Галя, что ты сделала, Галя? Я не могу открыть глаза. Не могу сделать шага... грохнусь сейчас на бетонный пол...

Этот «поцелуй как двадцать пять процентов» преследует не только Ваню; куда более сообразительный и рассудительный Борис за помощь любимой своей Ленке во время аварии «получил такое, с чем не могла сравниться самая горячая благодарность администрации: неожиданный и самый отчаянный поцелуй среди едких паров уксусной кислоты».

Примитивность и схематизм подобного рода сцен бросают тень на весь облик этих неплохих и неглупых ребят. Поняв и по-

чувствовав красоту своего дела, своего назначения в жизни, они не могут быть такими скучными делягами в любви. Они богаче и сложнее, чем показал их писатель.

Эти заводские парни и девушки, не разглагольствующие о красоте и величии труда вообще, а скромно и увлеченно делающие свое дело, знающие и любящие свое место в жизни, очень нужны нам сегодня в литературе. Ради них — романтиков негромких профессий и любящих не столько быть на виду, сколько быть просто полезными там, где люди ждут и нуждаются в их помощи, — взялся В. Ажаев за свою «вторую книгу». Сейчас, «в буднях великих строек», эта цель особенно важна и благородна.

Писатель проделал немалый путь. Именно здесь, на пути настойчивых поисков, появились у него новые удачи и новые поражения. Мне бы не хотелось хитрить с читателями: новая повесть Василия Ажаева действительно не стала ожидаемой «второй книгой» прозаика. Но она интересна и поучительна как важный этап в движении, индивидуальном и общем, как свидетельство больших, подсказанных жизнью, целеустремленных поисков.

Скорее всего она, эта повесть, — подступы к той, второй книге, которая будет создана писателем.

В. СОКОЛОВ.

★

ПРОЧНАЯ ФАМИЛИЯ

Владислав Броневский. Избранное. Перевод с польского. Составители Т. Агапкина и В. Хорев. Под редакцией Н. Асеева, М. Живова, Б. Слуцкого. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 303 стр.

Об этом вспоминает Н. Асеев. В 1927 году Маяковский побывал в Польше. Вернувшись, он рассказывал о варшавских встречах, называл поэтов. Вспомнил Владислава Броневского и добавил: — Прочная фамилия!

Это не было необязывающим каламбуром, сорвавшимся с языка по случайно возникшей у поэта слуховой ассоциации. Прочность брони не только слышалась Маяковскому в звучании имени; он успел ощутить ее и в стихах молодого поляка (Броневскому тогда не было еще и тридцати) и в приоткрывшемся во время краткой встречи характере.

Ко времени этой встречи у Броневского вышли два сборника стихов: «Ветряные мельницы» и «Дымы над городом».

В первом сохранялась память о войне (Броневский, как все почти европейские поэты его поколения, прощался с юностью при громах и заревах первой мировой войны и шел к поэзии не с книжным грузом, а с окопным опытом). Собственный голос поэта еще не определился в этих стихах; своими были тут боль, раздумья, стремления, мечта о будущем, а в слове и образе явственно слышался Верхарн. Впрочем, и тут Броневский шел общей дорогой своего поколения: влияние Верхарна испытывала едва ли не

вся молодая поэзия той поры, десятью годами раньше не избежал его и Владимир Маяковский.

Одно из стихотворений первого сборника называется «Последняя война». Броневский говорит о солдатах, которые закончат эту войну — последнюю на земле:

Они вернутся
к своим любимым,
а те
повиснут у них на шеях.
Не из могил:
из дальних странствий
придут к родному порогу гости.
Земля расцветет
цветком пахучим,
розой пылающей —
любовью.

За ходовой поэтической лексикой, которая принадлежит своему времени настолько, что стихи можно датировать началом двадцатых годов, даже и не сверяясь с книгой, ощущается страстная мечта о единственно справедливом вознаграждении, к которому стремится юный солдат, возвратившийся с поля битвы в мир, утративший моральное равновесие. Таким вознаграждением может стать только земля, расцветшая любовью. Солдат жаждет поверить в то, что его война была последней и окончилась навсегда.

Рана, полученная Броневским на войне, была одной из самых тяжелых. Это была наиболее трудно заживающая рана души: крах юношеских иллюзий, осознание обмана. Девятнадцатилетний Броневский пошел в легионы Пилсудского, чтобы завоевывать своей родине независимость и величие. Лозунги были звучны и романтичны, действительность оказалась подлой и грязной: руками юных романтиков попытались убить надежду мира — их повели в бой против русской революции, против справедливости и свободы. Такая рана становится для человека жестоким испытанием его душевного строя (если вернуться к слову Маяковского, испытанием «на прочность»). Слабодушный выйдет из такого испытания циником, похоронившим всякую веру. Себялюб распрощается с идеалами и, пренебрегая волновавшими его в юности чужими судьбами, на весь остаток жизни займется устройством собственных дел. Броневский вышел из этого испытания убежденным революционером и стойким борцом. В «Дымах над городом» есть стихотворение, посвященное «товарищам по оружию». Бро-

невский обращается к своим недавним соратникам с горьким упреком:

Вы умеете встать под пули,
водружать знамена в Бельведере.
Но не заглушить вам в победном гуле
стонов из-за тюремной двери!

Вот она, действительность 1926 года: «независимая Польша» заточила в старые царские тюрьмы лучших сынов народа, призывавших к борьбе за истинную, а не мнимую свободу.

И сегодня наша столица
вновь встает в пулеметном шквале...
Для того ль было крови литься,
чтоб жирели те же каналы.

Стихотворение заканчивается боевым призывом:

Бей в стены штыков железю!
Круши тюремные своды!
Варшава, и митральеза,
и жаркий запах свободы!

(Перевод Д. Самойлова)

Таким узнал его Маяковский.

Таким узнали его впервые и советские читатели, потому что уже тогда, в двадцатых годах, стихи Броневского появились в русских переводах — так же как и стихи его друзей и единомышленников Витольда Вандурского и Станислава Р. Станде, с которыми Броневский выступил в общем сборнике, называвшемся «Три залпа».

В стихах своей второй книги Броневский избавился от испытанных в юности посторонних влияний и заговорил собственным, крепнущим голосом. Призывы трибуна уживались с лирическим восприятием мира, веселая решимость бойца оказывалась неотделимой от грусти, порожденной неустойчивостью и несправедливостью окружающей жизни.

Три поэта в «Трех залпах» объявили безоличностей: «Мы боремся за новый общественный строй, и эта борьба — содержание нашего творчества».

Этому манифесту Броневский остается верен на протяжении всей своей жизни. О его верности говорит и жизнеописание поэта и биография его стихов и сборников: Броневского много раз арестовывала полиция «санационного» режима, его книги конфисковывались, его стихи ходили в среде революционеров, в камерах политических тюрем переписанными от руки.

Маяковский писал о том, как Броневский читал свои стихи на рабочем собрании.

«Когда он произнес строку: «Провокаторы ходят меж нами», — какие-то субъекты испуганно поднялись и начали улепетывать из зала, на ходу разъяняя, что они-де не по своей воле. Это стихотворение хорошо рисует и Польшу, и Броневского, и рабочий быт».

Небольшая поэма «Парижская коммуна», написанная в 1929 году, была конфискована. Когда вскоре после этого — уже не впервые — был арестован и сам поэт, прокурор сказал ему на допросе: «При каждом обыске у коммунистов мы находим экземпляр «Парижской коммуны».

Одна из глав этой поэмы заканчивается строфой:

Пади, баррикада!
Взвей знамя выше!
Ты, не сдаваясь,
погибла без стога,
последняя, грозная
в мертвом Париже,
непобежденная,
непобежденная!

(Перевод М. Живова)

В своей поэзии Владислав Броневский передавал эстафету коммунаров Парижа горнякам Домбровского бассейна. Вспоминная о Львовском съезде прогрессивных деятелей польской и украинской культуры (1936 г.), Ванда Василевская рассказывает, как Броневский читал с трибуны этого съезда свое стихотворение «Домбровский бассейн»:

Безмолвная шахта Домбровы,
очнись и скажи свое слово!

В зале присутствовали две тысячи человек.

Поэт дочитывал последнюю строчку:

— К бою! Готовы?..

И на слове ответа его голос потонул в двух тысячах голосов слушателей:

— Готовы!

Слушая пульс мира, Броневский в 1938 году обращался к сражающимся республиканцам Испании:

Братья испанцы, слушайте брата:
я вам бросаю за Пиренеи
сердце поэта — честь и граната!

(Перевод В. Луговского)

С особой внимательностью он обращал свой взгляд и слух ко всему, что доносилось с Востока. В сборнике «Последний клич» (1939) есть стихотворение «Магнитогорск, или разговор с Яном». Оно начинается

повествовательно, разговор идет о том, что стало в жизни поэта привычным:

Сидим с Яном под арестом в охранке
в тринадцатой камере, в центре города.

Поминается сон на полу, поминается суп, который «собака в горло не лезет». Приводится надпись на стене камеры: «Да здравствует забастовка булочников!» О Яне сказано, что ему «скоро пойдет седьмой десяток», что у него «железная воля» и что он болен неотступно терзающей его жестокими приступами болезнью. И вот, проснувшись на полу и застонав от неотвязной боли, Ян произносит первое слово:

«Знаешь, — говорит, — в Магнитогорске
сегодня задуют две первые печи...»

Автор снова возвращается к первоначальной повествовательной интонации. Но теперь в его рассказе появляется новая нота:

Рассвет был серый, и полз он лениво,
в смертном испуге над городом замер он,
и я подумал: «Как жизнь красива
даже в этой паршивой тринадцатой
камере...»

И еще думал о Яне, о многом, о разном,
мысли связать далось нелегко мне.
И пылали над нами в застенке грязном
огромные магнитогорские домы.

(Перевод М. Живова)

Пройдет всего лишь десятилетие, и родными сестрами магнитогорских домен поднимутся доменные печи Новой Гуты в обновленной народной Польше. И ведь предчувствие этого явственно слышится в стихах Броневского, написанных на исходе тридцатых годов. Именно ради того, чтобы сбылось это предчувствие, поэт продолжает борьбу, неотделимую от его поэтического творчества. И несокрушимая вера в исход борьбы делает для них с Яном красивой даже жизнь в «тринадцатой камере».

Но десятилетие, отделяющее тюрьму поэта от дней рождения Новой Гуты (и сборник стихов Броневского «Последний клич» от его книги «Надежда»), будет полно новых испытаний, трагических потерь и трудных битв. Это годы второй мировой войны, годы фашистской оккупации Польши и — для Броневского — годы скитаний по Ближнему Востоку вместе с армией Андерса, куда попал поэт, эвакуировавшись из Польши, чтобы снова, вторично в своей жизни, пережить обман и предательство политиканов, облаченных в военную форму. Затем встреча с окровавленной, изувеченной ро-

диной и трудное начало восстановления городов и строительства новой жизни. Но даже и в самые трудные дни войны Владислав Броневский видел свою цель и верил в победу. Занесенный на иракскую землю, он писал в 1943 году:

Мы строить башню свою
у рек вавилонских не станем,
мы в Польшу — солдаты в строю —
маршем идти не устанем.

(Перевод М. Светлова)

И вот середина века. Та Польша, за которую Броневский боролся словом поэта и оружием солдата, окружает теперь писателя. Романтические мечты юности и стремления зрелости исполнились.

В эти годы в стихи Броневского с удивительной силой входит новый мотив. Это как бы раскрепощенное восхищение родной природой — рощами Мазовии, водами Вислы, рассветами, грозами. Это лирика, обретшая полную свободу и словно хлынувшая за искусственно сдерживавшую ее запруду. Если читать стихи разных лет в хронологическом порядке, то появление таких строк сперва ошеломляет:

Чудесная польская
живая вода,
река моей жизни —
куда мы плывем?..

И если последняя радость моя —
твоя убегающая струя,
умчи меня,
польский чудесный поток,
прекрасная,
ясная
Висла!

(Перевод Л. Мартынова)

Не принадлежат ли эти строки другому поэту? Не насвоевольничал ли тут переводчик? Но вчитываясь в стихи сборника, снова возвращаясь к его началу, мы увидим истоки нынешней незамутненной радости и в том раннем стихотворении двадцатых годов, где белая цветущая майская ветка сравнивается с поднятым знаменем, и в том, где «лучистые песни» обращаются к «зеленым калинам и кленам». В этих ранних стихах общение поэта с природой всегда драматично: с гармонией природы неизменно вступает в спор дисгармония человеческой жизни. Это ощущается с особой ясностью, если сравнить написанное четверть века назад стихотворение «Родной город» с посвященными тому же Плоцку — родине поэта — стихами последних лет.

С какой тоской говорит Броневский об

этом городе со своим читателем в стихотворении, включенном в сборник 1939 года! Ему словно бы жаль всех тех, кто не может разделить с ним прелесть детских воспоминаний о доме и саде «на холме высокомазовецком»:

Если б знали вы, как там поется
старой звонкой меди на закатах,
когда лижет языками солнце
гребни волн, от солнца рыжеватых!

Но эти воспоминания сразу пресекаются иной ассоциацией:

Я отсюда уходил в солдаты,
и в тот город не вернусь я больше...
(Перевод И. Федорина)

Однако грустное предсказание не оправдалось. Он вернулся. И в поэме «Висла», написанной через двенадцать лет после «Родного города», рассказал, каким на этот раз открылся ему родной город. Броневский описал его в «Висле» — под летним животворящим дождем, проливающимся на мазовецкие поля; он увидел, как

...вдруг из разверстой дали
изволил он появиться —
меч из солнечной стали, —
пронзил мохнатые пасти
уже не тучиц, а облаков,
заливши светом и счастьем
окрестности далеко.
И стало от Плоцка до Добжиня ясно —
волнение Вислы и шумная речь.
Это прекрасно:
победил огнеперый солнечный меч!
(Перевод Н. Асеева)

В мире поэта восстановилась гармония, вернулось то утраченное равновесие, о котором мечтал юноша солдат в «Последней войне».

Жизнь на обновленной земле, где «победил огнеперый солнечный меч», рождает у поэта новое восхищение человеком, его могуществом. В кантате «Стихии» Владислав Броневский говорит:

Я воспеваю человека мощь,
ведь с каждым днем все больше мы умеем,
мы в силах осветить любую ночь
огнем, для нас добытым Прометеем.

(Перевод Н. Коржавина)

В первом томе советской Литературной Энциклопедии, вышедшем в 1929 году, было написано: «Броневский Владислав — революционный поэт современной Польши».

Эта сжатая характеристика остается самой верной и тридцатилетне спустя.

Прочная фамилия. Это было подмечено зорко.

А. МАРЬЯМОВ.

ПОЭЗИЯ ТУДОРА АРГЕЗИ

Тудор Аргеzi. Избранные стихи. Перевод с румынского. Составление и предисловие А. Садецного. Редакция переводов И. Миримского. Гослитиздат. М. 1960. 312 стр.

В прошлом году в Румынской Народной Республике широко отмечалось восьмидесятилетие со дня рождения Тудора Аргеzi, румынского поэта, которому выпало редкое счастье — прижизненно получить на отчизне всенародное признание, а также дожидаться известности и во всем читающем мире. Вместе с Михаилом Садовяну, чье восьмидесятилетие также отмечалось в 1960 году, Тудор Аргеzi в наши дни как бы символизирует литературный гений румынского народа.

Практически здесь невозможно подробно говорить об изданиях произведений Тудора Аргеzi, выпущенных в Румынии к этому юбилею, и, тем более, говорить о работах румынских критиков и историков литературы, откликнувшихся на ту же юбилейную дату. Зато совершенно необходимо обратить внимание читателей на «Избранные стихи» Тудора Аргеzi, выпущенные в русском переводе Гослитиздатом.

На русском языке произведения поэта отдельным сборником появляются не впервые. Еще в 1958 году в Бухаресте были изданы его «Стихи». Однако это была небольшая книжка, вместе с предисловием насчитывавшая каких-нибудь восемьдесят страниц. Конечно, издание Гослитиздата гораздо солиднее, притом не только по своим размерам, но и по качеству собранных в нем переводов (сюда же вошли лучшие переводы из бухарестского сборника).

Начальные литературные опыты Тудора Аргеzi (настоящее имя — Ион Теодореску) относятся еще к концу прошлого столетия. Но уверенно работать в литературе он начал гораздо позже.

Румынский критик А. Шахигян пишет: «Когда Тудор Аргеzi выпустил в 1927 году свою первую книгу стихов, она была воспринята румынскими читателями как произведение величайшего после Эминеску поэта... Стало ясно, что на литературном горизонте поднялась звезда первой величины...»

Одно время буржуазная (да и не только буржуазная) критика уделяла непомерное внимание элементам символизма и модернизма в поэзии Тудора Аргеzi, подвергая сомнению, пренебрежению или просто охаи-

ванию все то, что было у поэта от реализма и прогрессивных воззрений.

Как страшно одинок я, боже мой,—
блуждающее дерево в пустыне,
с колючей, непокладистой листвой,
с плодами горше терна и полыни!

Как тяготит безмолвье! Хоть бы звук!
Хоть бы птица на стезе безлюдной
защебетала, засновала вдруг
в тени моей безрадостной и скудной!

(«Псалом». Перевод
Эм. Александровой)

Но ведь подобные стихи вовсе не были проявлением упадочничества, декадентства; нет, это была кровоточащая поэзия человека, наблюдавшего вокруг себя безмерное зло, боровшегося с этим злом, но иногда терявшего силы.

Поэзия Тудора Аргеzi, несмотря на всю ее противоречивость, в основе своей была и в прежней Румынии проникнута духом демократизма и патриотизма, полна антимонархических и антибуржуазных настроений. Было бы, конечно, чересчур педантично, да и не совсем верно определять тогдашнего Тудора Аргеzi как революционного крестьянского поэта — мировоззрением своим он обязан многим жизненным влияниям и разнообразным, интеллектуальным воздействиям, но во всяком случае стихийно поэт осознавал себя прежде всего выразителем чувств и мыслей румынского трудового народа, многовековая история которого была историей бесконечных страданий и бесконечных порывов к воле.

Именно поэтому Тудор Аргеzi еще задолго до освобождения Румынии достиг в своей поэзии определенного единства содержания и формы, которым никогда не может отличаться творчество неорганическое и несамостоятельное. Народная основа поэзии Аргеzi определила господствующие в ней идеи и смысл большинства художественных исканий поэта. Сколько бы ни отходил он подчас под влиянием тяжелой действительности и многих личных нелегких переживаний от своих воинствующих политических и социальных стихов (прямым дополнением которых являются его публицистика и художественная проза) в сторону пессимизма и эстетизма, на смену таким временным настроениям неизменно

приходило главное содержание аргезневской поэзии. Поэт снова и снова считал себя как бы рупором, усиливавшим голос народа. Одно из замечательных его стихотворений, «Завещание», — ключ к поэзии Тудора Аргеzi в ее прошлом. Вот наиболее характерные строки:

...Ведь для того, чтобы нам сменить
впервые
плуг на перо, усилия вековые
дед-пахарь делал, выходил на вспашку
и понукал седых волов упряжку.
Я, вслушавшись, как гонит дед скотину.
взял нужные слова, чтоб петь их сыну
над колыбелью; долгие недели
я их вынашивал, чтоб в сердце пели...
(«Завещание». Перевод Н. Павлович)

Некоторые стихотворения Тудора Аргеzi не что иное, как своеобразные перифразы румынских, точнее — валахо-молдавских дойн или баллад. Поэт, в частности, не раз вдохновлялся сказочным образом Фэт-Фрумуса, этого Геракла давних обитателей нынешней Румынии. Чисто исторические отечественные темы тоже нередки в поэзии Тудора Аргеzi — интересен, например, данный им образ одного из средневековых властителей, возвеличенного народными преданиями за его заслуги в борьбе против турок и беспощадное отношение к боярам-предателям («Князь Цепеш»).

Как у многих румынских поэтов, у Тудора Аргеzi довольно часты и апелляции к античному прошлому родины. У антинародных и эпигонствующих поэтов такие апелляции нередко сводятся к восхвалениям римских цезарей или к прославлению румын как прямых будто бы потомков римлян. Не то у Тудора Аргеzi. Если он пишет, например, о римском императоре Калигуле («Калигула»), то и эти стихи (словные, правда) дают поэту повод для недвусмысленных революционных высказываний. А еще больше интересует поэта реальная румынская античность, прошлое древнейших жителей страны, даков, создавших еще в доримские времена и свою характерную материальную культуру и свое оригинальное искусство.

Поэзия Тудора Аргеzi была и остается прежде всего поэзией лирической. Поэм в строгом смысле слова, то есть произведений более или менее сюжетных, композиционно развернутых, у него нет. Разумеется, это не свидетельствует ни о какой-либо «ограниченности» поэта (все виды поэзии

равноправны), ни о том, что лирика его, так сказать, «лоскутна». Наоборот, у Тудора Аргеzi лирическая материя то и дело сгущается в циклы, в той или иной степени определенные и законченные.

Эта характерная цикличность лирической поэзии Тудора Аргеzi привела в последнее время — когда, казалось бы, творчество румынского поэта стабилизировалось — к некоторым «неожиданностям». В середине пятидесятих годов он опубликовал «1907». Поэма ли это? Нет, скорее поэтическая хроника грозного восстания крестьянских масс, потопленного в крови помещиками и буржуями. А еще вернее, большой цикл стихотворений, притом по-прежнему лирических. Но это особая лирика, до которой автор мог возвыситься лишь после долгих лет творческих исканий.

Это произведение создавалось в то время, когда Румыния стала подлинно свободной демократической страной, когда сбылись наконец общественно-политические идеалы поэта.

И дело не только в том, что в этом своем произведении (лучшем из написанных румынскими поэтами на тему 1907 года) Тудор Аргеzi освободился от различных пережитков, например от свойственной ему прежде религиозной символики, и дал в своих поэтических реконструкциях прошлого мудрое толкование некоторых страшных и великих страниц отечественной истории. Дело в том, что Тудор Аргеzi оказался способным на новое слово, даже достигнув того возраста, когда иные, нередко очень крупные, мастера о таком слове уже и не помышляют. В «1907» он как бы завершил ряд своих прежних стихотворений, лирических по существу, но вместе с тем посягавших и на глубину творений эпических, стихотворений, своеобразно восстанавливавших прошлое не в условной манере романтизма, а путем использования данных исторической науки. Тудор Аргеzi в «1907» доказал, что лирическая поэзия в состоянии соперничать с поэзией эпической и что для лирики характерно не только насыщение стихов всякого рода высказываниями от авторского «я», но и убедительное «незримое» присутствие поэта, его страстей, его убеждений, его знаний. Все стихотворения слагаются в страшную повесть о народном восстании и его кровавом усмирении. Это и различные скорбные или негодующие, народные песни;

это и злые, сатирические фельетоны, словно воскрешающие революционные листки эпохи; это и образцы заключенной в стихи ведомственной переписки и т. п. При всем том перед читателем — галерея лиц, борющихся на той или другой стороне, и за этим — незримая фигура поэта, его сочувствие восставшим и разгромленным, его ненависть и презрение к озверелым помещикам, капиталистам, жандармам, наконец и вся его уверенность в грядущей расплате.

Другое сравнительно недавнее, тоже принципиально новое для румынской поэзии и тоже коренящееся в определенной международной поэтической традиции произведение Тудора Аргези — цикл «Песнь человеку» (1956). Это цепь раздумий поэта об исторических судьбах человечества, о его длительном, тяжком, но неуклонном движении к социально совершенному строю, при котором неслыханные научные открытия и необычайные успехи техники перестанут быть угрозой, поставлены будут на службу свободному и организованному человечеству. Любопытно, что в этих стихах Тудор Аргези при полном отсутствии у него доктринерства и школьных пристрастий фактически стоит на платформе научной поэзии. Следы романтической условности еще видны в этом цикле, но нова-

торское значение «Песни человеку» в румынской поэзии не вызывает сомнений.

Но стал ты Прометея наследником богатым,
когда тебе раскрылся непостижимый атом.
Бесчисленные блага ты можешь дать
вселенной,
и можешь ты ее же дотла спалить
мгновенно.
Ты был рабом покорным всеобщей злобы
диной,
так стань же наконец-то судьбы своей
владыкой.
(«Тот, кто думает сам».
Перевод Н. Стефановича)

Лирическое творчество поэта-академика Тудора Аргези приходит, таким образом, к синтезу и оборачивается к своим нынешним и будущим читателям новыми гранями.

Нельзя сказать, что все переводы, составившие «Избранные стихи» Тудора Аргези, равного достоинства (хотя общее впечатление в этом смысле положительное). Одни из них слишком свободно воспроизводят подлинник, другие тяжеловаты по языку или упрощают его, третьи страдают техническими погрешностями. Было бы хорошо, если бы Гослитиздат, выпуская на русском языке сборники произведений таких выдающихся поэтов, как Тудор Аргези, чаще привлекал к переводам наших крупных художников слова.

Игорь ПОСТУПАЛЬСКИЙ.



ТАКОВЫ ЛИ ИСТИННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ДОБРОЛЮБОВА?

М. А. Наумова. Социологические, философские и эстетические взгляды
Н. А. Добролюбова. Ответственный редактор Г. С. Васецкий. Издательство Академии
наук СССР. М. 1960. 264 стр.

Проблематика рецензируемой книги, вышедшей в свет за год до 100-летия со дня смерти и 125-летия со дня рождения Н. А. Добролюбова, не нова. С освещением различных сторон мировоззрения великого революционера-демократа и критика читатель знаком по исследованиям М. Иовчука, В. Кружкова, А. Караганова, И. Щипанова да и самой М. Наумовой. Поэтому, встретившись с новой монографией о Добролюбове, читатель рассчитывает найти в ней новые аспекты в изложении и оценке философских, социологических и эстетических взглядов соратника Н. Г. Чернышевского, расширение и углубление их анализа, словом, оригинальные и свежие мысли. Дальнейшее

исследование литературного наследства Добролюбова нуждается сейчас, бесспорно, именно в этом. Как же справилась с этой задачей М. Наумова?

Центральное место в книге занимает первая глава — «Общественно-политические и социологические воззрения Н. А. Добролюбова». Она призвана осветить такие вопросы, от понимания которых всецело зависит изложение эстетических и литературно-критических взглядов Добролюбова. Именно в этой главе автор делает основные свои выводы, и, безусловно, она лучше всего свидетельствует об уровне анализа избранного автором круга проблем. Поэтому мы остановимся по преимуществу на рассмотрении.

го, как интерпретируется в книге социолога Добролюбова.

М. Наумова совершенно правильно отмечает, что социологические взгляды Добролюбова имели тенденцию развиваться в сторону исторического материализма. Она пишет, например, что движущей силой прогрессивного развития общества, по Добролюбову, являются материальные потребности людей и что «история человечества имеет общие корни, сущность которых надо искать в экономическом факторе». В ряде мест автор указывает на «глубоко диалектический» подход Добролюбова к анализу закономерностей общественной жизни и выводит отсюда, «что он сделал шаг вперед в направлении к научному пониманию закономерностей общественного развития, по сравнению с западноевропейскими домарксовскими социологами».

Следовало ожидать, что после этого М. Наумова попытается воссоздать систему социологических взглядов Добролюбова и подробнее познакомить читателей с его основными достижениями и промахами в решении социологических проблем. Однако в книге нет даже и намека на анализ такого рода. Вывод о том, что Добролюбов ушел вперед в сравнении с западноевропейскими социологами домарксова времени остается простой декларацией. Больше того, точно забыв об этом тезисе, М. Наумова в дальнейшем утверждает, что Добролюбов будто бы считал смену идей движущей силой общественного развития. По ее мнению, суть истории человеческого общества Добролюбов видел лишь в стремлении «вообще всех благоразумных людей, независимо от их классовой принадлежности», «к удовлетворению своих потребностей», а существование «прогрессивных и консервативных партий», якобы считал Добролюбов, вытекает из биологических свойств природы человека. Характерно, что все это автор пишет, как правило, без ссылок на конкретные высказывания Добролюбова.

Подобная оценка социологических взглядов революционера-демократа влечет за собой то, что М. Наумова в конце концов превращает его в обычного буржуазного либерала, глубоко убежденного, что никакой революции вообще не нужно, что все придет само по себе, по мере постепенного прогресса буржуазного общества. «Человечество,— пишет М. Наумова,— может достичь светлого будущего, по Добролюбову (!), через

просвещение народных масс, через прогресс человеческих знаний». Таким образом, здесь, в сущности, опровергается положение о том, что Добролюбов делал шаги в сторону материалистического понимания истории. Противоречия возникают снова. Так, на страницах 97, 102, 154 автор пишет то о непонимании, то о понимании Добролюбовым основ антагонистических общественных отношений, роли государства и классов в развитии общества.

М. Наумова прошла мимо центральной социологической проблемы, волновавшей Добролюбова, его стремления объяснить ход идей ходом вещей. Добролюбов метко критиковал современных ему историков-идеалистов. Высмеивая их концепции, согласно которым восстание, например, произошло «оттого, что несколько неблагонамеренных человек раздражают народ», он спрашивает: отчего же народы «слушались людей неблагонамеренных, а не слушались благонамеренных?» Этого же вопроса Добролюбов касался и при оценке сатириков XVIII века: «Отчего наша литература столет обличает недуги общества, и все-таки недуги не уменьшаются?» В этом же плане он подвергает критике буржуазную социологию и разбирает теорию и практику утопического социализма.

Добролюбов сделал попытку применить материализм к социологии, а это, по известному тезису Ленина, уже само по себе является гениальной идеей. Добролюбов писал, например: «Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения сознанной всеми потребности». Здесь он по существу ставит вопрос о соотношении объективных и субъективных факторов в развитии общества и решает его в общих чертах в пользу материализма: объективный фактор провозглашается первичным, а субъективный — вторичным. Поскольку Добролюбов поднимается до применения к истории идеи материализма, настолько он выходит за пределы старой социологии. Но историческим материалистом Добролюбов все же не стал. Решая вопрос о соотношении бытия и сознания в развитии общества

в общем материалистически, он не дает ответа на вопрос: в результате каких же причин и движущих начал происходят общественные изменения? Для ответа на этот вопрос необходимо опираться на учение об общественно-экономической формации; Добролюбов сделать этого не сумел. Выйдя за пределы исторического идеализма, он не дошел до исторического материализма, заняв промежуточное положение между ними. В одних вопросах он тяготеет к историческому материализму, в других — к историческому идеализму.

Следовательно, социологические взгляды Добролюбова, как и других его соратников, находились в движении, а поэтому и понять их правильно можно лишь при анализе отдельных ступеней этого движения. Графическая оценка Добролюбова как обычного домарковского социолога глубоко ошибочна.

М. Наумова не только прошла мимо центральной социологической проблемы Добролюбова, но и превратно истолковывает многие позитивные элементы его социологии. Одно из положений Добролюбова, имеющее принципиально важное значение для оценки его социологических взглядов, сформулировано следующим образом: «Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вечном движении и вечной смене идей в обществе, а следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне справедлива». Автор же при обосновании своего основного тезиса о том, что ход истории, по Добролюбову, есть не что иное, как смена идей, подвергает это место из статьи «Когда же придет настоящий день?» вивисекции и цитирует его так: «Мысль... о вечной смене идей в обществе, а следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей — вполне справедлива».

В результате такой «научной» обработки смысл рассуждения Добролюбова изменяется принципиально. По Добролюбову, как мы видели выше, идеи рождаются из сознания происходящих в обществе изменений в положении дел. Словами же о «вечной смене идей в обществе» он хотел только подчеркнуть, что эта смена идей так же вечна, как и вечно изменение положения дел в обществе. В приведенном М. Наумовой отрывке (из которого произвольно выкинуты чрезвычайно важные слова «рассуждая отвлеченно»), полемизируя с «так

называемыми прогрессистами», уверявшими, что проповедовать-де высокие идеи можно просто ради самих идей, Добролюбов в дальнейшем (этого М. Наумова не заметила) указывает, что идеи рождаются не сами по себе и не потому, что действует принцип вечной смены идей. Он подчеркивает, что осознанные идеи, будучи порождением известных изменений в положении дел, должны вести на борьбу со старым за новое; он доказывает, что в России конца пятидесятих годов XIX века потому-то и бесполезны простые проповедники отвлеченных возвышенных идей, что настала пора действовать во имя их реализации.

В книге М. Наумовой дается неверная оценка теории социализма Добролюбова. Автор неоднократно утверждает, что Добролюбов выводил социализм из природы человека, из его «неизменных потребностей» счастья и свободы. Автор, в частности, приписывает Добролюбову наивную идею прогресса истории: необходимость социалистического строя объясняется у него будто бы только тем, что новым поколениям принадлежит будущее.

Характерно, что здесь, как и почти всюду, М. Наумова обходится без анализа взглядов Добролюбова, без ссылок на его сочинения. Надо сказать, что у него встречаются такие термины, как «природа человека», «естественные потребности», «общее благо», но принадлежат они Жеребцову, а не Добролюбову. В рецензии «Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым» он полемически использует терминологию своего противника. Но Добролюбов сам неоднократно указывал, что сущность «природы человека» в эксплуататорском обществе определить «довольно мудрено». Он решительно протестовал против надклассового отделения этих понятий и был глубоко убежден, что «природа человека» имеет «способность к развитию» и непрерывно изменяется вслед за изменениями самой жизни.

У Добролюбова мы встречаем интересную попытку вывести социализм из объективных закономерностей материальных экономических факторов, в частности попытку представить его как результат борьбы трудящихся за возвеличение труда и достижение современным обществом высокого уровня развития общественного производства. Но именно эти-то моменты его теории социа-

лизма и остались за пределами интересов М. Наумовой.

В силу этого она не увидела в социалистических взглядах Добролюбова никакого реального прогресса в сравнении с утопическим социализмом западноевропейских предшественников Маркса.

Вся монография, несмотря на отдельные декларации, пронизана убеждением, что социализм Добролюбова находился примерно на том же уровне, что и социализм Сен-Симона, Фурье и Оуэна. В книге ничего не сказано о различии между эпохами, когда возникли эти две ветви утопического социализма, о накопленном опыте классовой борьбы, о тех новых вопросах, которые ставили и решали русские социалисты. М. Наумова прошла мимо очень содержательной критики Добролюбовым утопической системы Оуэна. А эта критика свидетельствует, что ему были ясны основные пороки западноевропейского утопического социализма, что, намечая решение ряда коренных вопросов теории социализма, он шел в сторону научного социализма, не сумев, разумеется, полностью освободиться от элементов утопизма.

В книге много и других неверных и путанных заключений: социологическим взглядам Добролюбова приписывается созерцательный характер. Автор нередко доходит почти до полного отождествления Добролюбова с народниками и заявляет, что великий русский революционер и социалист будто бы в подробностях рисовал будущее общество. М. Наумова даже утверждает, что основой социологии Добролюбова является «тема патриотизма».

Значительное место в рецензируемой книге отведено освещению эстетических и литературно-критических взглядов Добролюбова. В сущности читателям не сообщается

ничего нового об эстетических концепциях Добролюбова, известных из самих его сочинений и довольно тщательно исследованных в работах многих советских авторов. На нынешнем этапе изучения этой стороны творчества Добролюбова следовало бы, думается, сконцентрировать главное внимание на анализе философских основ его эстетики, на ее связи с социологической проблематикой, на выяснении сущности вклада Добролюбова в историю эстетической мысли.

Правда, автор попытался показать творчество Добролюбова на фоне работ других революционных демократов — Белинского и Чернышевского (непонятно: почему исключены Герцен и Огарев?), но взаимодействие концепций великих критиков в книге не выяснено; лишь обособленно излагаются сначала взгляды Белинского, затем Чернышевского и потом в качестве иллюстраций приводятся отдельные высказывания Добролюбова. При таком подходе Добролюбов изображается лишь сторонником эстетической теории Белинского и Чернышевского, а не их продолжателем. Поставил ли Добролюбов перед эстетической мыслью новые вопросы? Продвинул ли он вперед решение вопросов, выдвинутых до него? Внес ли вклад в эстетическую теорию революционных демократов или же ограничивался комментированием и практическим применением уже до него известных идей? Ответа на эти вопросы в книге нет. Обошла М. Наумова также и другой важный вопрос — об исторических судьбах эстетической теории Добролюбова.

Работа М. Наумовой поверхностна, она в значительной мере компилятивна и не раскрывает подлинного облика и мировоззрения выдающегося русского революционера и социалиста.

А. НАЗАРОВ,

кандидат экономических наук.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ИМЕНИ РУМЯНЦЕВА

В начале октября 1959 года улица Шенауэр Вег в Лейпциг-Клейнцшохере (ГДР) была торжественно переименована в улицу Николая Румянцева. На прикрепленной к стене углового дома мраморной доске высечено: «Донецкий рабочий Николай Румянцев, привезенный в Германию как «восточный рабочий», в 1943 году организовал в Лейпциге Интернациональный антифашистский комитет, который считал своей целью помощь трудящимся Германии в борьбе против гитлеровского фашизма и освобождение советских людей из цепей фашистского рабства. Вместе со многими своими товарищами Николай Румянцев погиб в Аушвице».

Старожилы помнят, что неподалеку отсюда находился небольшой домик, в котором жил старый коммунист Максимилиан Гауке. Здесь-то и был потом создан Интернациональный антифашистский комитет — ИАК.

Кто же такой Николай Румянцев? Какие нити связали его с немецкими коммунистами-подпольщиками? Что практически успел сделать ИАК?

Судебное дело II.I.246/44 было возбуждено гитлеровской прокуратурой против группы лейпцигских антифашистов, которую возглавлял Максимилиан Гауке. Подсудимые обвинялись в «сотрудничестве с большевистскими восточными рабочими... подготовке государственной измены и содействии врагу».

Знакомство с материалами этого дела, рассмотренного 20 декабря 1944 года вторым сенатом гитлеровского верховного трибунала, и побудило меня начать розыски лиц, которые могли иметь какое-либо отношение к подсудимым и их советским друзьям, приговоренным к смертной казни,— Н. Румянцеву, Б. Лосинскому, Т. Тонконогу, Д. Морозу, А. Ружицкому и другим. Трудность состояла в том, что никакими наводящими на их след данными я не рас-

полагал. В документах следствия лейпцигского гестапо имелись лишь указания, что Николай Румянцев был вывезен в Германию из Павлограда, Борис Лосинский — из села Марьевки Павло-

градского района, а Таисия Тонконог до войны проживала в Новомосковске. Все три пункта — в Днепропетровской области.

Запросы, посланные в Новомосковск, ничего утешительного не дали. Оказалось, что хотя здесь живет немало людей, носящих фамилию Тонконог, но Таисию никто из них не знает.

Из Павлограда сообщили, что о Николае Румянцеве, увы, сведений нет. Зато о Борисе Лосинском я кое-что разузнал. Председатель Коховского сельсовета, куда, как я выяснил, относится село Марьевка, Иван Федотович Шевцов писал, что Лосинского хорошо знает, вместе учились. В 1942 году Бориса увезли в Германию. Сейчас в Марьевке живет его тесть, а в Днепропетровске, в диспансере, работает жена Лосинского — Полина Антоновна Холоша.

Вскоре я разыскал Полину Антоновну, и у нас с ней завязалась оживленная переписка. Благодаря этой женщине я смог связаться с женой Н. Румянцева, находящейся в Первомайске Николаевской области, а затем и с матерью Таисии Тонконог (она живет в Вильнюсе).

Наконец в Павлограде отыскался брат Д. Мороза — Петр Мороз.

Постепенно стал восстанавливаться ход драматических событий, разыгравшихся в Лейпциге в годы войны.

Предприятия Лейпцигского промышленного округа имели весьма большое значение для военной экономики гитлеровской Германии. Чтобы их бесперебойно обслуживать, сюда привезли многие тысячи невольников. Среди них были и наши советские военнопленные, а также люди, угнанные нацистами из городов и деревень Украины и Белоруссии. Они-то и явились главной силой антифашистского движения среди иностранных рабочих.

В Лейпцигском промышленном округе основной центр движения сопротивления иностранных рабочих сложился в Таухских лагерях принудительного труда, узники которых работали на заводах «Миттельдейче

моторенверке». В создании и деятельности этого подпольного центра ведущая роль принадлежала коммунисту Николаю Румянцеву и воспитанникам ленинского комсомола Борису Лосинскому и Таисии Тонконог.

О них удалось собрать такие сведения. Николай Васильевич Румянцев родился в 1912 году в семье рабочего. Детство свое он провел в Гатчине. Окончив семилетку, поступил на завод, стал хорошим слесарем. Николай принадлежал к славному поколению комсомольцев тридцатых годов, которое самоотверженно трудилось на лесах Днепростроя и при сорокаградусном морозе, в пургу вело футеровку первых доменных печей Магнитки. Румянцев работал на Краматорском заводе тяжелого машиностроения, на Зуевской электростанции и на металлургическом заводе «Запорожсталь»; за самоотверженный труд был неоднократно награжден. С первых же дней Отечественной войны он на фронте. В ноябре 1941 года, в бою под Харьковом, механик — водитель танка сержант Румянцев попал в плен. Однако за колючей проволокой немецкого лагеря военнопленных на станции Лозовая пробыл недолго — вместе с боевыми товарищами совершил успешный побег, некоторое время скрывался у друзей в Краматорске. В Донбассе, оккупированном гитлеровцами, Николай Васильевич разыскал свою семью, но перейти линию фронта или присоединиться к партизанам не успел — схватили фашисты. Так Румянцев и его жена очутились в Таухском рабочем лагере.

Борис Владимирович Лосинский родом из Павлограда. Шести лет остался сиротой, воспитывался в колхозном детском доме. После окончания школы Борис поступил в Павлоградское ремесленное училище. Здесь он был принят в ряды комсомола. В мае 1942 года Лосинского с сотнями других советских юношей и девушек увезли на принудительные работы в фашистскую Германию, заключили в Таухский лагерь.

Таисия Николаевна Тонконог была землячкой Бориса Лосинского. Потом семья переехала в Новомосковск, это недалеко от Павлограда. Девочка рано лишилась отца и своим воспитанием полностью обязана матери, Евдокии Кузьминичне Замковской, работавшей тогда проводницей на железной дороге. В школе Тая вступила в комсомол, стала одним из активнейших

членов своей организации. У нее были литературные способности. Девочка редактировала школьную стенную газету, писала стихи, печаталась в «Комсомольской правде». После школы Таисия Тонконог работала в Новомосковском архиве, вскоре вышла замуж.

Война обрушила на семью Тонконог лавину горя. В июле 1941 года Таисия потеряла мужа. В начале августа севастопольский поезд, который сопровождала ее мать, подвергся вражеской бомбардировке, Евдокию Кузьминичну тяжело ранило. Это событие повлекло за собой трагические для Таисии последствия. Ухаживая за матерью, она не смогла эвакуироваться из города, когда к нему подходили гитлеровские войска.

В письме, которое я получил от младшей сестры Таисии — Инессы Николаевны Янковской, — рассказывалось, что вначале было решено оставить мать на попечение Инессы, а Таисия намеревалась вместе с нашими воинскими частями пробираться на восток. Однако вышло иначе. Когда сестры уже прощались, в городе послышалась стрельба. «Мы выбежали на улицу, — пишет И. Н. Янковская, — перед нами упал убитый. Непонятно было, откуда стреляют, а через пять минут у нашего дома уже стоял танк с немецким крестом. Мы спрятались в погреб. Вечером Тая ушла, но вскоре вернулась. Попытка бежать не удалась». Вскоре сестер Тонконог отправили в Германию и отдали в распоряжение владельца лейпцигского машиностроительного завода «Карл Краузе».

Прилежное изучение Таисией немецкого языка в школе пригодилось как нельзя больше. Ее назначили переводчицей в заводском лагере принудительного труда. Появилась легальная возможность общаться с немецкими рабочими, многие из них открыто выражали свое сочувствие советским людям, попавшим в лапы нацистов. Надежными помощниками Таисии Николаевны стали украинские девушки Наташа Липка, Тая Коверя и Галича Баля. Они искусно поддерживали конспиративные связи с антифашистски настроенными немцами. Группа Таисии Тонконог установила контакт с группой Николая Румянцева, в которую входили Борис Лосинский, Дмитрий Мороз, Алексей Ружицкий, Валентин Спиридонов и другие. Как мне удалось установить, Румянцев и его товарищи в то время подготавливали побег из лейпцигских лагерей

большой группы советских людей. Они надеялись пробиться в Югославию или в партизанские районы Украины. Позднее, после разгрома Красной Армией гитлеровских войск на Курской дуге, первоначальный замысел был изменен.

Зимой 1942 года жители Лейпцига испытывали большую нужду в топливе. На лесопильном заводе Зейделя продавались опилки. Деньги получал немецкий служащий, а «топливо» выдавали работавшие на заводе советские военнопленные. Как-то разворачивая пустые мешки из-под опилок, они нашли в одном из них пачку сигарет. Вначале подумали, что это результат рассеянности покупателя. Однако спустя несколько дней в том же мешке была обнаружена новая находка. На этот раз — аккуратно упакованный пакетик с продовольствием. Через некоторое время там же оказались ножницы и ножик. Стало ясно, что это подарки какого-то неизвестного доброжелателя. Оставалось узнать, кто же владелец таинственного мешка. К удивлению военнопленных, это был ничем не приметный с виду мальчуган лет двенадцати-тринадцати, довольно шустрый. Стали незаметно наблюдать за ним. Паренек знал несколько русских фраз и, получая свою долю опилок, каждый раз старался заговаривать с военнопленными. Приходившие с ним взрослые немцы называли его Ликсер.

После очередной «посылки» советские военнопленные, наполнив мешок Ликсера до краев опилками, вложили в него записку, в которой написали по-немецки: «Спасибо, товарищ!» — и просили сообщить, где проходит фронт.

С того дня вместе с обычными передачами от незнакомых друзей военнопленные стали находить в мешке Ликсера тщательно сложенные листки папиросной бумаги, на которых схематично была изображена линия Восточного фронта и помечены наиболее крупные города Европейской части СССР.

Однажды Ликсер увидел в своем мешке записку следующего содержания: «Нас 117 человек — один за всех и все за одного. Сколько вас? Мы хотим помочь вам свергнуть Гитлера!»

К началу 1943 года снабжение населения Лейпцига топливом сильно ухудшилось. В поисках его на товарную станцию Плагвиц приходили десятки стариков, женщин

и подростков. Везде даем был тут и Ликсер. На станцию он познакомился, а затем и подружился с работавшими там «восточными рабочими». Одного из них мальчик пригласил к себе домой. По некоторым данным можно предположить, что это был Дмитрий Мороз. Он-то и узнал, что настоящее имя Ликсера — Карл и что его отец и мать, за неимением квартиры в городе, живут в дачном домике на Шенауэр Вег в Лейпциг-Клейншохере. Карл представил гостя своим родителям — Максимилиану и Эльзе Гауке. По всей вероятности, это знакомство и положило начало дружбе семьи Гауке с Николаем Румянцевым, Борисом Лосинским и их товарищами. Во всяком случае можно считать установленным, что именно тот советский подпольщик, который пришел с Карлом на Шенауэр Вег, познакомил позже Гауке с будущими организаторами Интернационального антифашистского комитета.

Собрать сведения о Максимилиане Гауке оказалось не столь трудным делом.

Активный член Коммунистической партии Германии, в ряды которой вступил в 1927 году, актер по профессии, он был одним из лейпцигских функционеров «Роте хильфе» («Красная помощь») — массовой пролетарской организации помощи жертвам реакции и фашизма. Своего сына он воспитывал в коммунистическом духе и в честь великих вождей трудящихся официально назвал Карлом-Ильичем.

После нацистского переворота Гауке многократно преследовался за подпольную антигитлеровскую деятельность и в конце концов был приговорен к тюремному заключению. Но ни гитлеровский трибунал, ни гестаповские застенки не поколебали политических убеждений Максимилиана Гауке. Как об этом свидетельствуют материалы полицейского дознания и судебного дела 11.1.246/44, во время допроса в государственной тайной полиции он заявил, что был и остается верен своим коммунистическим воззрениям.

В 1936 году Гауке вышел из тюрьмы. Ему запретили заниматься актерской деятельностью, и он работал на шахте, был подсобным рабочим, конторщиком: тогда же этот немецкий патриот восстановил связи с лейпцигской подпольной организацией КПГ. А когда гитлеровская Германия вероломно напала на СССР, Максимилиан Гауке возглавил одну из групп местного антифашист-

ского движения. Его группа поддерживала контакт с лейпцигским руководством организации «Свободная Германия».

Деревянный домик на улице Шенауэр Вег стал местом постоянных явок подпольщиков-антифашистов.

У Гауке был хороший друг и единомышленник — Карл Риттер. Румянцев, Лосинский и Таясия Тонконог приходили к нему, слушали радио и записывали сообщения из Москвы. Потом достали портативный множительный станок и в доме Гауке наладили печатание листовок.

Сложнее стало, когда Риттер переехал в восточный Лейпциг. Однако на помощь снова пришел Максимилиан Гауке. Он попросил своего знакомого доктора Фрица Гитцельта разрешить советским товарищам слушать голос Москвы в его квартире на Шенкендорфштрассе. Гитцельт не только охотно выполнил эту просьбу друга, но уже по собственной инициативе стал снабжать советских подпольщиков медикаментами, в которых они очень нуждались.

Осенью 1943 года советские и немецкие подпольщики в Лейпциге решили создать Интернациональный антифашистский комитет, который, по их замыслу, должен был возглавить движение противников гитлеровской тираннии. Признанными руководителями ИАКа стали Николай Румянцев и Максимилиан Гауке.

Комитет опирался на накопленный к тому времени опыт освободительной борьбы внутри гитлеровской Германии и ставил своей задачей вооруженное восстание немецких и иностранных рабочих, а также военнопленных, находившихся в Лейпцигском промышленном округе. Были организованы повстанческие группы в лагерях принудительного труда как в Лейпциге, так и за его пределами. ИАК намеревался захватить лейпцигские оружейные склады, радиовещательную станцию, взять под контроль повстанцев некоторые важные узлы коммуникаций.

Руководство ИАКа призывало к неповиновению нацистским властям, отказу от работы, саботажу и диверсиям на фабриках, заводах и транспорте. В распространении листовок видная роль принадлежала Эльзе и Карлу Гауке, а также Юлии Кирилловне Румянцевой, жене Николая Васильевича.

Передо мной одно из первых воззваний ИАКа. Оно написано карандашом. «Това-

рищи военнопленные! — говорится в этом документе.— Приближается час, когда вы должны будете, совместно с товарищами, сражающимися на фронте, принять активное участие в борьбе за освобождение Родины от захватчиков и оккупантов. Вы должны быть едины в своем патриотическом чувстве, чтобы в любую минуту быть готовыми к приближающимся завершающим боям».

Комитету удалось установить связь примерно с семьюдесятью лагерями принудительного труда. По мере приближения гитлеровской Германии к катастрофе план лейпцигского вооруженного восстания приобретал все более конкретные формы.

В марте 1944 года Румянцев, Лосинский и несколько активистов Интернационального антифашистского комитета бежали из рабочего лагеря в Тауха. Используя фальшивые документы, они поступили на работу на лейпцигские оружейные заводы «Гуго Шнейдер А. Г.» («Gesaag»). Эти заводы вскоре стали центром деятельности ИАКа. Здесь рука об руку антифашистскую борьбу вели советские, польские и немецкие рабочие.

С середины мая Румянцев целиком посвятил себя подготовке восстания. Он окончательно перешел на нелегальное положение, поселился у Гауке на Шенауэр Вег. За короткое время ячейки подпольной организации были созданы уже в восьми лейпцигских рабочих лагерях, а общее число активных членов ее достигало трехсот человек.

Большое значение приобрели связи с военнопленными, в частности с офицерским лагерем, в котором находилось несколько десятков советских старших офицеров. В Таухском лагере содержался полковник Красной Армии, которому по заданию ИАКа предстояло взять на себя руководство антифашистским восстанием. Фамилию этого человека установить пока не удалось. Восстание предполагалось начать в тот момент, когда очередное крупное поражение гитлеровских войск на Восточном фронте вызовет, возможно, более глубокое потрясение в фашистском тылу.

Бесстрашным и искусным подпольщиком-конspirатором оказался один из ближайших соратников Румянцева, павлоградский комсомолец Алексей Ружицкий. По некоторым сведениям, это ему принадлежала за-

слуга установления связи с французскими патриотами, находившимися в Эспенгейнском лагере военнопленных. Как видно из донесения начальника лейпцигского гестапо, узники Эспенгейна ставили своей целью развитие активной освободительной борьбы французских граждан, находившихся в фашистской Германии. Их подпольная организация была построена по-военному и выглядела как боевое подразделение французских франтиреров и партизан. Во главе стоял подпольный триумвират, возглавляемый коммунистами; ему были подчинены три секции, каждая из которых в свою очередь состояла из трех боевых групп (*groupe de combat*), в каждой группе семь человек. Французские подпольщики были вооружены холодным оружием. Всего в организации было около шестидесяти членов, они даже имели конспиративные удостоверения о принадлежности к подпольной организации и активно вели пропаганду среди иностранных рабочих, занятых на крупнейшей в центральной Германии электрической станции в Эспенгейне.

Подпольная организация Эспенгейнского лагеря, получив сигнал о начале восстания, должна была разоружить лагерную охрану, захватить склад боеприпасов и, соединившись с французскими рабочими, находившимися тогда в Саксонии, поддержать лейпцигское восстание.

Руководители ИАКа обращали особое внимание на подготовку нелегальных квартир и явок. В случае внезапного провала или неудачи лейпцигского восстания предполагалось совершить массовый побег подпольщиков через Чехословакию в районы, освобожденные Красной Армией. Комитет предусмотрительно организовал заготовку горючего и подготавливал захват автомашин из лейпцигских гаражей. Вся эта сложная и ответственная работа — подыскание явок, выявление складов горючего, а также наиболее слабо охраняемых автогаражей — была возложена на антифашистов из группы Гауке.

В конце мая 1944 года гиммлеровцам удалось проникнуть в ИАК. Около восьмидесяти подпольщиков было арестовано, среди них и руководители комитета.

Начались пытки и истязания. От Румянцова требовали назвать имена немцев, с которыми он был связан по антифашистской борьбе, указать их адреса. Румянцев решительно отказался дать показания и за-

явил, что своих товарищей не выдаст. Он назвал себя Николаем Орловым из Ленинграда, сказал, что до угона в Германию проживал в городе Павлограде. Спустя некоторое время Румянцев был опознан провокатором.

Благодаря мужеству и стойкости арестованных подпольная организация смогла продолжать свою подрывную работу вплоть до середины июля 1944 года, когда нацистам удалось схватить еще сорок восемь подпольщиков, возглавлявших низовые ячейки ИАКа.

Немецкий антифашист Макс Хашер, находившийся в то время в заключении в лейпцигской полицейской тюрьме, видел в охранном отделении тюрьмы подвешенного на стене, закованного в наручники узника. Позже он узнал, что это был Николай Васильевич Румянцев.

Невероятные муки испытала и Таисия Тонконог. Гестаповцы глумились над ней, привязывали ремнями к столу пыток и избивали ее до тех пор, пока она не теряла сознание.

В нацистских полицейских протоколах есть краткие записи, которые говорят о поведении советских подпольщиков. Николай Румянцев на одном из допросов заявил: «Я делал все, что было в моих силах, чтобы помочь моему народу разгромить германский фашизм». Об Алексее Ружицком в полицейском протоколе записано: «Показал себя до мозга костей большевиком... Дальнейший допрос Ружицкого является бесцельным».

Характеризуя руководящую группу подпольной организации, начальник лейпцигского гестапо доносил Кальтенбруннеру: «Отлично организованная группа. Руководители по преимуществу очень развитые люди». По распоряжению Гимmlера все советские деятели Интернационального антифашистского комитета были отправлены в концлагерь Аушвиц (Освенцим), и на их следственном деле сделана надпись: «Nach Auschwitz zur V.», что означало: «В Аушвиц. Уничтожить в газовой камере».

Как уже говорилось, в декабре 1944 года второй сенат гитлеровского верховного трибунала приговорил Максимилиана Гауке, Карла Риттера, Фрица Гитцельта и Альфреда Шеленбергера к смертной казни. К счастью, дело повернулось иначе. Буквально накануне приведения приговора в исполнение им удалось бежать из камеры смерт-

ников. Решающую роль в возможности этого побега сыграло быстрое наступление советских войск.

Недавно в одной из газет, издающихся в Германской Демократической Республике, было опубликовано письмо Максимилиана Гауке, обращенное к молодежи, в котором он рассказывал о подготовке к восстанию, о том, как были зверски замучены гестаповцами Николай Румянцев, Тая Тонконог и Борис Лосинский, о своем побеге из дрезденской тюрьмы.

Наши войска спасли также и некоторых других немецких участников подпольного движения ИАК, среди которых были Эльза Гауке и ее сын Карл-Ильич. Из советских деятелей комитета в живых остались очень немногие, в их числе сестра Таисии Тонконог — Инесса, Наташа Липка, Галя Баля, Таня Коверя, Юлия Кирилловна Румянцева.

Вот что пишет о своем спасении от гибели Юлия Кирилловна: «Нашу группу в семь человек разделили, одних отправили в Равенсбрюк, а нас троих: Марию Кабакову, Таню Коверю и меня — оставили в Аушвитце... Когда Красная Армия подходила к Аушвитцу, нас вывезли в лагерь Митвайде близ Дрездена... Перед самым приходом освободителей нас ночью погрузили в железнодорожный эшелон и увезли в Чехословакию. В Праге мне улыбнулось счастье. Это было 30 апреля 1945 года. К вагону, в котором я находилась, подошла одна женщина и, обратившись к нам, по-русски спросила: «Девушки, из каких вы мест?» В ответ слышались названия многих областей Советского Союза. Когда я сказала, что мой родной город находится в Одесской области, женщина посмотрела на меня и предложила бежать из эшелона. Затем она дала мне понять, что спрячет меня. В ответ я сказала, что со мной сестра, но и это не остановило мою спасительницу.

Когда часовой, разгуливавший вдоль эшелона, отвернулся, мы с Таней Коверей выпрыгнули из вагона и быстро пошли за нашей избавительницей, которая оказалась чехословацкой гражданкой Дорой Шедивой. Позже она рассказала нам, что ее родина Одесса, из которой она уехала с родителями, будучи еще девочкой...»

На левой руке Юлии Кирилловны и теперь отчетливо виден лагерный номер 82986, наколотый в Аушвитце.

Летом 1958 года из ГДР в Москву приехала группа немецких учителей русского языка. Среди них был и тот, кто в зимние месяцы сорок второго года тринадцатилетним подростком приносил на завод Зейделя своим незнакомым советским друзьям подарки в мешке из-под опилок. Ныне Карл Гауке — директор школы и преподаватель русского языка в городе Плауэне. Когда мы встретились, он рассказал мне, что Лейпцигский музей истории рабочего движения бережно хранит все, напоминающее о славной деятельности ИАКа, и что во время пребывания в Лейпциге Климента Ефремовича Ворошилова ему был передан альбом документов, повествующих о героической борьбе и трагической гибели участников подпольного движения, возглавлявшегося ИАКом. Молодой Гауке сказал мне, что его отец мечтает о поездке в Советский Союз.

Немецкий народ чтит светлую память погибших деятелей антифашистского движения и вместе с ними память коммуниста Николая Васильевича Румянцева, советского человека, который мужественно защищал социалистическое отечество, испытал муки гитлеровского плена, вновь встал вместе с немецкими братьями по классу в строй антифашистских борцов и, не склонив головы, погиб во имя торжества великого дела марксизма-ленинизма.

Е. БРОДСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВА — XXII СЪЕЗДУ КПСС



Советский народ стремится новыми трудовыми успехами, новыми достижениями во всех своих делах встретить XXII съезд нашей партии. Как готовятся отметить это важнейшее событие в жизни страны крупнейшее издательство?

Госполитиздат выпускает «Библиотечку знаний о коммунизме».

Брошюра члена-корреспондента Академии наук СССР Ю. Францева «Извечная мечта человечества» представляет собой краткий очерк о возникновении и развитии идей коммунизма.

К. Гладков в книжке «Век изобилия» рассказывает о создании материально-технической базы коммунизма, о бурном развитии производительных сил нашей страны.

Содержание понятия «от каждого по способностям, каждому по потребностям» раскрывает М. Саков в брошюре «Основной принцип коммунизма».

В этой же серии выходят книжки: Г. Глезерман — «Коммунизм и труд», Д. Чесноков — «От государственности к общественному самоуправлению», Э. Струков — «Человек коммунистического общества», «Коммунизм входит в нашу жизнь», Б. Баянов — «Партия — зодчий коммунизма».

Соцэкгиз знакомит читателей с различными проблемами сегодняшнего дня. В книге «Подъем культурно-технического уровня советского рабочего класса» раскрывается одна из важнейших закономерностей развернутого коммунистического строительства: рост квалификации рабочих, сотрудничество работников науки и производства, значение социалистического соревнования и т. д.

Центральное место в работе С. Сдобнова «Две формы социалистической собственности и пути их сближения» занимает разработка проблемы сближения колхозной собственности с общественной. Большое место автор уделил вопросу о неделимых фондах колхозов, о преодолении различий между городом и деревней.

В книге И. Дудинского «Мировая система социализма и закономерности ее развития» на конкретных фактах анализируется процесс роста экономики братских социалистических стран.

Д. И. Заславский в брошюре «Международное значение советской семилетки» сопоставляет всемирные выставки в Париже в 1900 году, в которой участвовала Россия, и в Брюсселе в 1958 году, где всеобщее внимание привлекал павильон Советского Союза.

В сборник «Решающий этап экономического соревнования двух систем» включены статьи видных советских ученых: академик А. Н. Несмеянова и Н. Н. Семенова, профессоров А. Владзиевского, С. Выгодского, А. Захарина и других.

Коллективом авторов создана монография «Социал-реформизм и колониальный вопрос».

Книга А. Яковлева «Идейная нишета аполлобетов «холодной войны» написана автором на основе изучения американской литературы по вопросам внешней политики США, а также по его личным впечатлениям во время обучения в Колумбийском университете. Читатель получает представление о том, как создается в Америке «общественное мнение», чьим интересам служат различные внешнеполитические программы.

Работа К. Брутенца «Против идеологии современного колониализма» знакомит с изменениями, происходящими в колониальной политике империалистических стран.

Издательство «Советский писатель» выпускает к съезду сборник «Дела и думы» — своеобразную антологию очерков, опубликованных в нашей печати за последние два года. В книге участвуют К. Симонов, И. Довидайтис, В. Кочетов, М. Шагинян, С. Воронин, В. Полторацкий, А. Адамов, Ибрагим Рахим, А. Боршаговский, И. Винниченко и другие. Герои очерков — труженики наших дней: рабочие, колхозники, ученые, конструкторы.

Сборник «На сельские темы» составлен из очерков Е. Дороша, А. Калинина, В. Овечкина, Г. Радова, В. Тендрякова и других.

Людам разных профессий посвящены книги «Посевы солнца» В. Величко и «Встречи на перекрестках» Б. Полтевого.

«У нас в Ленинграде» — такое название носит коллективная работа ленинградских писателей, приуроченная к XXII съезду партии. Читатель найдет в ней маленькие повести, рассказы, новеллы, художественные очерки, зарисовки. Среди авторов — В. Кетлинская, Ю. Герман, А. Прокофьев, В. Панова, О. Берггольц, Д. Гранин, Г. Гор, М. Жестев, П. Капица, А. Лебедево, В. Шефнер и другие.

О проблематике и героях современной советской литературы рассказывает сборник литературно-критических статей «Жизнь, герой, литература».

Сборник «Литература и современность» — второй за последние два года, выпускаемый Гослитгиздатом при участии московской секции критиков. В него вошли статьи о литературе 1960—1961 годов.

«Была раньше Сибирь каторжная, необъятный край необъятного горя, край кандалов и смертей. Сейчас есть обновленная колхозная земля — Сибирь советская, край социалистического созидания». Эти слова А. М. Горького взяты в качестве эпиграфа к сборнику «Стихи о Сибири». В первый раздел сборника — «Во глубине сибирских руд» — включены стихи Радищева, Рыльева, Пушкина, Некрасова, Одоевского, Огарева, а также стихи советских поэтов о прошлом Сибири: В. Маяковский — «Лена», С. Щипачев — «Домик в Шушенском», Л. Мартынов — «Ермак». Во втором разделе «Я знаю — город будет» и третьем «За далью — даль» читатель найдет стихи о социалистическом освоении Сибири, о ее сегодняшнем и завтрашнем дне. Круг поэтов, разрабатывающих эту тему, необыкновенно широк: наряду с коренными «сибиряками» к ней обращаются поэты всей страны.

В книге «От съезда к съезду», выпускаемой издательством «Молодая гвардия», рассказывается о деятельности ленинского комсомола, о трудовых подвигах молодежи между XX и XXII съездами партии.

О новом, коммунистическом взгляде на труд как на первейшую потребность бытия рассказывает в своей книжке «Красота труда» С. Сартаков.

Издательство Академии наук СССР выпускает несколько содержательных сборников. Два из них посвящены Октябрьской социалистической революции. «Великий Октябрь» — сборник документов и материалов. В книге «Зарубежная литература о Великой Октябрьской социалистической революции» помещены материалы, вышедшие как в социалистических, так и в капиталистических странах. Сборник «В труде как в бою» рассказывает о зачинателях «фронтовых бригад», ковавших в тылу оружие для

фронта во время Великой Отечественной войны.

Коллектив авторов подготовил к печати сборник «Социально-экономические проблемы технического прогресса».

В Военном издательстве выходит книга В. Владимирцева «Возрастание роли партии в строительстве коммунизма». Воинам-коммунистам, показывающим пример служения Родине, посвящена книга Б. Мясникова «Совесть полка». Командир одной из частей Советской Армии, полковник Н. Титов, в книжке «За рубежом — рубеж» рассказывает об успехах советских воинов в совершенствовании боевого мастерства, в овладении грозной боевой техникой.

Сборник «Герои мирных дней» включает очерки полковника М. Маковеева «Служат три товарища...», полковника А. Зеленцова «Награда», майора А. Бридня «Новый командир», полковника Б. Дружинина, майора В. Вуколова, подполковника Е. Смотровского «Наши ракетчики» и другие очерки, знакомящие читателя с воинами Советской Армии, доблестно охраняющими мирный труд народа.

Географиз выпустит книги: М. Грин — «У карты шестьдесят пятого года», Е. Ромашков и А. Авакян — «Проекты близкого и далекого будущего», П. Алампиев — «Экономические районы нашей страны». Выходит в свет художественный фотоальбом «Наша Родина».

Из нескольких десятков книг и брошюр, выходящих в Сельхозиздате, назовем следующие: «Кадры решают успех дела» Э. Глухова — рассказ об одном из передовых сельскохозяйственных районов страны, Маринского районе Сталинской области; Г. Воробьев в книге «Кубань выходит на новые рубежи» говорит об использовании резервов Краснодарского края и резком увеличении сельскохозяйственной продукции; о том, как достиг колхоз «Подгорное» Воронежской области больших успехов, читатель узнает из книги Д. Горина «Колхоз и наука»; И. Боловченко в книге «Устойчивые высокие урожаи» рассказывает о совхозе «Петровский» Липецкой области; колхозу имени Ленина посвящена брошюра Героя Социалистического Труда Камбулата Гарчочкова «Высокие урожаи кукурузы на больших площадях»; прославленный мастер хлопковых полей Хамракул Турсункулов в брошюре «Больше хлопка Родине» знакомит с тем, как колхоз стал передовым хозяйством. Имя выдающегося селекционера, дважды Героя Социалистического Труда, академика В. Юрьева широко известно в нашей стране и за ее пределами. О его работе повествуют в книге «Творец золотых колосьев» Н. Воробьев и В. Журавский.

Сортовые семена — важный и наиболее доступный каждому хозяйству резерв увеличения производства продукции земледелия. Об этом рассказано в книге М. Пруцкова и Р. Бляхерова «Семеноводство зер-

новых культур». Важной теме посвящена книга «Тракторные работы на повышенных скоростях». В 1950 году на юге Алтайской степи был создан колхоз, ставший передовым хозяйством зерново-животноводческого

направления. О нем пишет А. Беккер в книге «В целинном колхозе «Страна Советов».

Опытом своей работы делятся в ряде брошюр передовые люди колхозной деревни.

★

А. ИОЙРЫШ. Труд и коммунизм. Соцэкиз. М. 1961. 167 стр. Цена 19 к.

Каждый день мы узнаем о новых достижениях советских людей — строителей коммунизма. Широкий разлив движения бригад и ударников коммунистического труда убедительно свидетельствует, что труд социалистический перерастает в коммунистический: ведь отношение людей к труду — один из определяющих признаков общественного строя. Вот одна из иллюстраций, приведенных в книге.

В автоматного-токарном цехе подшипникового завода в Куйбышеве работает свыше тысячи человек. Здесь нет ни контролеров ОТК, ни бухгалтеров, ни учетчиков. Рабочие сами берут необходимые материалы, сами начисляют и выписывают себе зарплату. За четыре года не было ни одного случая перерасхода фонда зарплат. Вспоминаются слова проекта Программы КПСС о том, что «коммунистическое производство требует высокой организованности, четкости и дисциплины, которые обеспечиваются не путем принуждения, а на основе понимания общественного долга...».

И невольно встает в памяти — ассоциация по контрасту — фраза «автомобильного короля» Форда: «Идеальный фабричный рабочий должен быть обученной обезьяной». Четко выраженная идеология капиталистических рабовладельцев!

Правильно поступил автор, приведя и отдельные отрицательные факты, еще встречающиеся в нашей действительности и говорящие о живучести пережитков капитализма в сознании некоторых людей.

В укор автору (и редактору) можно сказать следующее. В книге собран большой материал, но самое обилие примеров затрудняет их восприятие — они даны очень уж концептивно и не всегда, что называется, «берут за сердце». Затрудняет чтение и обилие цитат. На сто шестьдесят с лишним страниц текста пришлось около ста сносок. Эта книга не ученый трактат, а популярное издание. Число глав можно было уменьшить.

При всем том книга принесет существенную пользу пропагандисту при подборе материала к беседе на столь важную тему, как «Труд и коммунизм».

А. Иглицкий.

★

В. И. КУЗНЕЦОВ. Достижения в области технического прогресса в СССР. Профтехиздат. М. 1961. 304 стр. Цена 60 к.

Главная экономическая задача партии и советского народа, говорится в проекте новой Программы КПСС, состоит в том,

чтобы в течение двух десятилетий создать материально-техническую базу коммунизма.

Книга Е. И. Кузнецова рассказывает о техническом прогрессе в нашей стране, о том, чем мы уже обладаем сегодня и что добавит к этому семилетка. Автор задается целью ознакомить читателя с техническими достижениями в самых различных областях. Он затрагивает проблемы энергетики, реактивной техники, космонавтики и управления с помощью электронных вычислительных машин. В книге показано, что есть у нас нового в машиностроении и металлургии, чем вправе гордиться топливная, химическая, бумажная и деревообрабатывающая промышленность, строительная индустрия. Не обойдется вниманием вопросы механизации и электрификации сельского хозяйства, рассказывается о всех видах транспорта, о производстве товаров широкого потребления. Отдельная глава — правда, небольшая — посвящена творцам новой техники.

Обогащают знания и те разделы книги, где говорится о применении телемеханики в народном хозяйстве, об использовании полупроводников и ультразвука, о большой будущности таких материалов, как пластические массы. Благодарным остаешься автору и за рассказ об установках «Огра» и «Альфа», созданных в нашей стране для термоядерных исследований, и о многом другом, что наполняет твоё сердце гордостью за нашу советскую новейшую технику.

В. С.

★

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ В СССР. Статистический сборник. Госстатиздат ЦСУ СССР. М. 1961. 232 стр. Цена 47 к.

Кто из нас не помнит некрасовских строк:

Доля ты! — русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать!

Проходили годы, десятилетия, а «русская долюшка женская» оставалась столь же тяжкой. Даже на рубеже XX века из каждых десяти крестьянок девять вместо подписи ставили крестики. Восемьдесят процентов всех женщин, занятых наемным трудом, составляли домашние прислуги и батрачки. Высшие учебные заведения, не говоря уже о научно-исследовательских учреждениях, были недостижимы для женщин. Тысячи их, стремившихся получить знания, чтобы служить народу, обивали пороги зарубежных университетов, курсов. Достаточно вспомнить о тернистом жизненном пути великого математика С. В. Ковалевской.

Октябрьская революция, читаем мы в проекте новой Программы КПСС, «впервые

в истории... раскрепостила женщину и предоставила ей равные права с мужчиной... во всех областях государственной, хозяйственной и культурной жизни».

Десятки таблиц, тысячи цифр, приведенных в сборнике, ярко и убедительно подтверждают это положение. Почти всеобщая грамотность давно уже стала достоянием советских женщин; средняя продолжительность их жизни увеличилась более чем вдвое. Женщины составляют почти половину всех тружеников, занятых в общественном производстве. Великая индустриальная и техническая революция проложила дорогу работнице в отрасли, исконно считавшиеся «мужскими», — металлургию, энергетику, строительство, не говоря уже о машиностроении.

Советская женщина заняла достойное место в рядах нашей интеллигенции: из каждого пяти специалистов со средним и высшим образованием — три женщины. В благородном труде по охране здоровья населения, образованию и воспитанию подрастающего поколения главная роль принадлежит женщинам. Среди врачей их семьдесят пять процентов, среди педагогов — семьдесят процентов. По сравнению с дореволюционным временем количество женщин-врачей выросло в сто тридцать раз!

Советская женщина, строитель коммунизма, играет видную роль во всех звеньях государственного управления. В Верховном Совете СССР 366 женщин-депутатов, в то время как в составе конгресса США всего лишь 17 женщин.

Сборник открывает большой простор для обобщений, размышлений не только о пройденном пути, но и для осмысления новых великих задач, поставленных партией.

А. Ф.

★

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. Стихи. Проза. Гослитиздат. М.—Л. 1961. 551 стр. Цена 1 р. 10 к.

Размышляя о литературе, Ольга Берггольц пишет:

«Я уверена, что если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе неодолимо... Главная книга писателя — во всяком случае моя Главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через мое сердце».

В удивительной слитности судьбы писательницы с судьбой ее поколения, в том, что она никогда не была безучастной к жизни своих современников и вместе с ними делила горечь и успехи, в том, что биография страны прошла через ее сердце, — самая характерная, пожалуй, черта художнического облика Ольги Берггольц. По праву могла она написать выстраданные строки:

Я сердце свое никогда не щадила:
ни в песне, ни в дружбе, ни в горе,
ни в страсти...

Эта страстная сопричастность ко всему, что совершается в мире, потребность «обратить в себя этот мир и отдать себя этому миру явственно оцутимы в каждой строке поэзии и прозы Ольги Берггольц. Подтверждение тому только что вышедший ее однотомник, в котором собраны «Дневные звезды», довоенные стихи, стихи военных и послевоенных лет, сборник радиовыступлений «Говорит Ленинград». В однотомник вошли также ранние прозаические вещи писательницы — рассказ «Ночь в «Новом мире» и повесть «Журналисты». Молодые газетчики из этой повести во многом наивны, они убеждены, что жестокая классовая борьба требует от каждого из них аскетизма, подавления естественных человеческих чувств. Порой они слишком прямолинейны и нетерпимы и иногда готовы отнести простые человеческие слабости к проявлениям «вражеской деятельности», но эти недостатки искупаются их страстной верой в правоту революционных преобразований, готовностью перенести любые невзгоды, выдерживать любые испытания, лишь бы принести пользу строительству новой жизни. Со страниц этой повести, несмотря на следы литературного ученичества, которые она несет, встают молодые энтузиасты тридцатых годов — сверстники тех, кто строил Комсомольск, кто прокладывал железнодорожные магистрали в Сибири, кто десять лет спустя принял бой с немецким фашизмом.

Достоинство сборника. Ольги Берггольц не только в том, что в нем широко и полно представлено творчество писательницы, но и в том, что это творчество представлено в развитии — от первых проб пера до произведений последних лет.

Л. Левицкий.

★

Ю. КУРАНОВ. Лето на севере. Костромское книжное издательство. 1961. 102 стр. Цена 6 к.

В небольшом селе Пышуг Костромской области живет молодой писатель Юрий Куранов. Совсем недавно вышла его первая книжка рассказов — «Лето на севере». Юрий Куранов привлекает жизнь обыкновенного деревенского жителя, тихая северная природа с ее неяркими, чистого и нежного тона красками.

Короткие пейзажные зарисовки, жанровые сценки, небольшие рассказы, составляющие сборник «Лето на севере», наполнены мягким ненавязчивым лиризмом, размышлениями о русском человеке, его характере, его прошлой и настоящей жизни. Люди колхозной деревни вызывают у писателя пристальный интерес. Редкое сочетание практической сметки с благородным, поэтическим стремлением к красоте он видит в повседневных действиях человека...

Человек строит дом. Казалось бы, что тут необыкновенного?

Но «разве жилища не определяют характер и жизнь человека? Разве не говорят нам парящие крыши древних китайцев о

высокой поэтичности их строителей?.. Сухая ель — отзывчивое дерево. На каждый луч, на каждый полублеск отвечает она необычайным и резким цветом. В солнечный полдень, когда обветренные бревна становятся белесоватыми, похоже, что стены, наличники и крыши чеканены из старого серебра. Тогда высокая избушка в Петухах, со своей крышей и трубами на ней, всем своим видом просит, чтобы люди забыли, что в ней просто сушат зерно, а поверили, будто живет в ней Василиса Прекрасная».

Так простой житейский факт поэтически трансформируется, превращаясь в лирическое высказывание о характере народа, его жизни, стремлениях и судьбе. И таковы все рассказы Юрия Куранова. Но они были бы недостаточно глубоки, если бы держались только на чувствах, волнующих писателя. Поэзия чувства является у молодого писателя результатом проникновения в характер человека, творческого исследования его.

Юрий Куранов еще весь в пути, весь в поисках. Но главное в нем уже сложилось. Ясная осознанность цели, поэтическая любовь к родной природе, к простому человеку-труженику сообщает оптимистичное звучание его лирическим миниатюрам...

М. Числов.

★

АЛЕКСЕЙ ГМЫРЕВ. Стихи. Смоленское книжное издательство. 1961. 203 стр. Цена 42 к.

«...А ночь-то, а ночь как черна! Родина, когда же ты оденешься в светлые платья?» Эти строки взяты из письма, посланного Алексеем Гмыревым из тюрьмы. Эти строки — великое желание поэта — можно поставить эпиграфом ко всему его творчеству.

Пролетарский поэт прожил короткую, но полную страданий жизнь. Жандармы сделали все, чтобы сгноить его в каторжных тюрьмах, превратить юношу в старика, умирающего от туберкулеза. Поэт погиб двадцати четырех лет от роду...

Жандармы знали, что делали: вся недолгая жизнь Гмырева на свободе была посвящена революции, сплочению рабочих, и стихи его служили этим же целям. Чуть не по пальцам можно пересчитать стихотворения, созданные Гмыревым на воле. Это и не удивительно — с восемнадцати лет жизнь его проходила в тюрьме: архангельская ссылка, казематы Николаева, Херсона, Елисаветграда.

Гмырев воспевает героизм революционеров, погибающих, но не сдающихся, — «Казнь», «Не от мира сего», «Казненным», «Узница». В тюрьмах он писал набатные стихотворения — «Призыв», «Набат», «Буря» и другие.

В стихах, написанных в тюрьме, часто звучит боль борца, для которого главное желание в жизни — «...в борьбе лишь хочу умереть». А вместо этого — угасание в каземате.

Вот и прожита жизнь. Оглянусь ли назад —
Внизу, юность стоит адалене,

Вся в огне боевом, на верху баррикад,
С ярким знаменем воли в руке...

...Вот и прожита жизнь. Только на ноги
встал

И сказал всему миру: лю б лю! —
Налетела гроза... Надломился... Упал...
И теперь у могилы стою...

Так писал Гмырев в одном из предсмертных стихотворений.

Мало кому были известны при жизни стихи Гмырева. Но начиная с 1926 года, когда появилась книга поэта, стихи его стали распространяться все шире и шире. Изданы они несколько лет назад и в Киеве и в Москве.

Сейчас сборник лучших стихотворений поэта вышел на его родине — в Смоленске. Составитель И. Трофимов совершенно правильно поступил, включив в книгу не только стихи поэта, но и письма его к любимой и товарищам, воспоминания М. А. Козловой «Мой друг» и М. Б. Ханина «Каторжная печаль».

Все это, стихи и письма, воспоминания, позволяет воссоздать цельный и глубокий образ Гмырева — страдальца и борца, поэта-революционера.

Р. Борисов.

★

Ф. С. ШКУЛЕВ. К счастью ключи... Детгиз. М. 1960. 128 стр. Цена 19 к.

Многие люди старшего поколения, да и нынешняя молодежь, хорошо знают песню:

Мы кузнецы, и дух наш молод,
Куюм мы к счастью ключи!
Вздвигайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи!

Слова этой песни — «Кузнецы» написал в 1906 году Филипп Степанович Шкулев, поэт-самоучка.

Ф. Шкулев родился в 1867 году в подмосковной деревне Печатники. Только на десятом году жизни ему удалось поступить в сельскую школу. Но через два месяца пришлось оставить ее и идти работать на ткацкую фабрику. «Жизнь на фабрике была настоящая каторга, — вспоминал Ф. Шкулев, — работа начиналась в 5 часов утра, а кончалась в 9 вечера. Зарабатывал я три рубля в месяц на своих харчах, а в награду получал колотушки от мастера».

Грамоте Ф. Шкулев научился сам. С пятнадцати лет он начал писать стихи. А уже в 1890 году были опубликованы его первые два стихотворения. Изнурительный труд рабочих, их тяжелая, безотрадная жизнь — такова тема этих ранних стихов.

Революция 1905 года помогла Шкулеву духовно вырасти, она расширила и углубила его кругозор. В этот период голос поэта зазвучал уверенно, призывно. Он звал народ разбить оковы царизма и приблизить солнце свободы и счастья.

В своих лучших стихах, написанных после Октябрьской социалистической революции, Ф. Шкулев славит радость новой жизни. Светлые, бодрые стихи в честь рабочих

класса и трудового крестьянства характерны для творчества поэта-коммуниста (в 1918 году Ф. Шкулев вступил в партию).

Острая публицистичность, страстность — вот черты, которые и сегодня привлекают нас в поэзии Ф. Шкулева.

Сборник избранных стихов поэта «К счастью ключи...» состоит из разделов: «Я рожден», «Довольно», «Октябрь», «Красные песни», «Слава труду».

Д. Калужный.

★

ПОЧЕТНЫЙ АКАДЕМИК Н. А. МОРОЗОВ. Повести моей жизни. Мемуары. Издательство Академии наук СССР. М. 1961. Том I — 408 стр. Том II — 703 стр. Цена двух томов 3 р. 50 к.

Эта книга (точнее, пять книг, ибо на столько частей разделил ее автор) давно уже имеет своего читателя. Николай Александрович Морозов известен и как старейший русский революционер и как почетный академик, значительно обогативший русскую науку.

Описание жизни большого человека и выдающегося общественного деятеля зачастую является отражением целой эпохи, так как такая жизнь связана с узловыми историческими моментами развития страны. Такова жизнь Морозова, и, говоря как будто «о самом себе» — о «повестях своей жизни», — автор говорит о целой эпохе русского революционного движения: о возникновении народничества, о «хождении в народ», о жизни революционной эмиграции, о замечательных товарищах и спутниках жизни — Плеханове, Лаврове, Вере Фигнер, Халтурине, Кропоткине, Софье Перовской и многих других.

Одним из первых читателей книги Морозова был Лев Толстой, отозвавшийся о ней с восхищением.

Работа Морозова вышла в последний раз не так уж давно — в 1947 году, но найти ее в книжных магазинах невозможно. И совершенно правильно поступило Издательство Академии наук СССР, выпустив двадцатитысячным тиражом этот двухтомник, чтобы он занял место на полках нашего читателя.

В приложении опубликованы многочисленные письма Н. А. Морозова из Шлиссельбургской крепости, которые еще глубже раскрывают облик выдающегося революционера и ученого.

Книга снабжена примечаниями и предисловием С. Я. Штрайха.

Б. Яранцев.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. «Советский писатель». М. 1961. 378 стр. Цена 95 к.

Своими воспоминаниями об Александре Серафимовиче поделились в этом сборнике тридцать литераторов, общественных деятелей, близких друзей писателя. (Некоторые из статей, вошедших в книгу, уже появлялись в печати.)

Это люди разных поколений. Они знали Серафимовича в разные годы, встречались с ним при различных обстоятельствах.

Так, воспоминания П. А. Моисеенко — известного рабочего-революционера, одного из организаторов знаменитой Морозовской стачки — относятся к 1887—1888 годам, то есть ко времени ссылки Серафимовича на север — в Мезень и Пинегу. Писатель И. А. Козлов познакомился с Серафимовичем, когда тот работал над своей прославленной героической эпопеей «Железный поток». Много по-настоящему волнующих моментов, связанных с общественной работой Серафимовича — уже старого человека, нередко приезжавшего на родину, в Сталинградскую область, — передал в своих записках бывший секретарь Серафимовичского райкома КПСС А. М. Рыбин.

Воспоминания близких Серафимовичу людей рисуют живой облик коммуниста-писателя — человека исключительной честности, мужественности, трудолюбия, писателя, чья жизнь была самым тесным образом связана с революционным движением, с историей развития советской литературы.

Воспоминания освещают разные стороны биографии писателя, помогают воссоздать его облик. Вместе с тем они имеют самое прямое отношение и к нашей современности. Высказывания А. Серафимовича о литературе и искусстве, о методе социалистического реализма, его советы молодым, начинающим писателям, бережно сохраненные и переданные нам авторами сборника — сыном писателя И. Поповым, Ю. Либединским, С. Семеновым, Е. Пешковой, Вл. Лидиным, В. Билль-Белоцерковским, Анталом Гидашем, Н. Тихоновым, переводчиком произведений Серафимовича на китайский язык Цао Цзин-хуа, художником Дм. Налбандяном и многими другими, — и сейчас злободневны и актуальны, и сейчас помогают живому процессу развития советской литературы.

Г. К.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Борьба КПСС за восстановление и развитие народного хозяйства в послевоенный период (1945—1953 годы). Документы и материалы. 404 стр. Цена 67 к.

Борьба партии за завершение социалистической реконструкции народного хозяйства. Победа социализма в СССР (1933—1937 годы). Документы и материалы. 552 стр. Цена 91 к.

С. Всехсвятский, В. Казютинский. Рождение миров (Философские проблемы современной космогонии). 176 стр. Цена 20 к.

Е. Городецкий, Ю. Шарапов. Свердлов. Жизнь и деятельность. 288 стр. Цена 51 к.

Отто Гротеволь. Избранные статьи и речи. 560 стр. Цена 88 к.

Из истории марксизма. Сборник статей к 140-летию со дня рождения Фридриха Энгельса. 487 стр. Цена 70 к.

Коммунистическая партия и Советское правительство о религии и церкви. 112 стр. Цена 11 к.

Народ о религии. 312 стр. Цена 48 к.
Партия в период наступления социализма по всему фронту. Создание колхозного строя (1929—1932 годы). Документы и материалы. 464 стр. Цена 86 к.

Морис Понс. Колонии под вывеской департаментов (Мартиника и Гваделупа). Перевод с французского. 48 стр. Цена 5 к.

В. Попов. Декабрьский пленум Центрального Комитета КПСС 1958 года. 88 стр. Цена 10 к.

Французской коммунистической партии 40 лет. Перевод с французского. 84 стр. Цена 10 к.

А. Г. Шигер. Политическая карта мира (1900—1960). Справочник. 192 стр. Цена 40 к.

СОЦЭНГИЗ

М. Э. Айрапетян, Г. А. Деборин. Этапы внешней политики СССР. 536 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Арсенин, В. Назаров. 49 дней в огне. О героях Курской битвы. 88 стр. Цена 10 к.

Д. Р. Вобликов. Эфиопия в борьбе за сохранение независимости (1860—1960). 218 стр. Цена 28 к.

А. Галактионов, П. Никандров. История русской философии. 459 стр. Цена 1 р. 1 к.

Г. П. Жуков. Варшавский договор и вопросы международной безопасности. 79 стр. Цена 10 к.

В. Мавродин. Народные восстания в Древней Руси XI—XIII вв. 118 стр. Цена 11 к.

Л. Майер. Государственные предприятия в монополистическом хозяйстве ФРГ. 207 стр. Цена 65 к.

М. Г. Мошенский. Формы и системы заработной платы в промышленности капиталистических стран. 263 стр. Цена 66 к.

Национально-освободительное движение в Латинской Америке на современном этапе. 298 стр. Цена 70 к.

Коллектив авторов. Очерки истории Аргентины. 575 стр. Цена 1 р. 51 к.

И. А. Орловский, Г. П. Сергеева. Соотношение роста производительности труда и за-

работной платы в промышленности СССР. 144 стр. Цена 31 к.

К. М. Паниккар. Очерк истории Индии. Перевод с английского. 342 стр. Цена 86 к.

Передовые румынские мыслители XVIII—XIX вв. Сборник избранных текстов. 704 стр. Цена 1 р. 55 к.

В. Подсетник. Что такое диалектический и исторический материализм. 152 стр. Цена 68 к.

Г. Н. Севостьянов. Политика великих держав на Дальнем Востоке накануне второй мировой войны. 559 стр. Цена 1 р. 32 к.

Социал-реформизм и колониальный вопрос (Позиция правых социалистов в связи с распадом колониальной системы). 298 стр. Цена 73 к.

П. М. Трофимов. Очерки экономического развития европейского Севера России. 264 стр. Цена 68 к.

Холодный аншлюс. Перевод с немецкого. 63 стр. Цена 7 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Н. Асеев. Лад. Стихи последних лет. 152 стр. Цена 19 к.

В. Беекман. И нет конца пути. Стихи. Перевод с эстонского. 74 стр. Цена 12 к.

В. Воеводин. Покоя нет. Роман. 440 стр. Цена 77 к.

Н. Грибачев. Америка, Америка... Поэма. 32 стр. Цена 5 к.

Т. Журавлев. Была война. Фронтовые новеллы. 244 стр. Цена 23 к.

А. Западов. Отец русской поэзии. О творчестве Ломоносова. 284 стр. Цена 66 к.

В. Конечный. Завтрашние заботы. Повесть. 172 стр. Цена 23 к.

М. Коршунов. Человек, который остановил поезд. Рассказы. 160 стр. Цена 15 к.

И. Котляр. Тихим голосом. Стихи. Перевод с еврейского. 136 стр. Цена 15 к.

В. Кочетов. Руки народа. Из китайского дневника. 292 стр. Цена 32 к.

В. Леднев. Пока я жив. Стихи. 112 стр. Цена 16 к.

Литовские рассказы. Сборник. Перевод с литовского. 442 стр. Цена 73 к.

В. Лукс. Майский пульс. Стихи. Перевод с латышского. 124 стр. Цена 18 к.

А. Маневич. Будем знакомы. Повесть. 232 стр. Цена 26 к.

С. Маршак. В начале жизни. Страницы воспоминаний. 300 стр. Цена 42 к.

Э. Миндлин. Город на вершине холма. Роман. 544 стр. Цена 95 к.

Т. Мотылева. Иностранная литература и современность. Статьи. 368 стр. Цена 86 к.

А. Новиков. Последний год. Роман. 448 стр. Цена 81 к.

Воспоминания о писателе. Павел Бажов. Сборник. 400 стр. Цена 72 к.

Р. Рза. За солнцем. Стихи. Перевод с азербайджанского. 152 стр. Цена 26 к.

Э. Салениек. Шедрая жизнь. Рассказы. Перевод с латышского. 116 стр. Цена 16 к.

С. Смирнов. Книга посвящений. Стихи 124 стр. Цена 32 к.

Тебе, Куба! Сборник стихов. 96 стр. Цена 12 к.
Т. Тэсс. Мать живых. Повесть. 152 стр. Цена 21 к.
И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книги первая и вторая. 636 стр. Цена 76 к.
И. Эфендиев. Ивы над арыком. Повесть. Перевод с азербайджанского. 264 стр. Цена 48 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Эдуард Вейнденбаум. Стихотворения. Перевод с латышского. 75 стр. Цена 4 к.
Самед Вургун. Стихотворения и поэмы. Перевод с азербайджанского. 207 стр. Цена 39 к.
Ольсё Гончар. Маша с Верховины. Рассказы. Перевод с украинского. 222 стр. Цена 35 к.
Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. 215 стр. Цена 50 к.
Анна Зегерс. Транзит. Роман. Перевод с немецкого. 279 стр. Цена 44 к.
Илья Ильф, Евгений Петров. Собрание сочинений. В пяти томах. Том I. 563 стр. Цена 1 р. Том II. 559 стр. Цена 1 р.
Алексис Киви. Семеро братьев. Роман. Перевод с финского. 331 стр. Цена 58 к.
Мартин Кукучин. Новеллы. Перевод со словацкого. 232 стр. Цена 24 к.
Сурьякант Трипатхи Нирала. Поток. Стихи, песни, поэмы. Переводы с хинди. 231 стр. Цена 33 к.
Генрик Понтопидан. Счастливчик Пер. Роман. Перевод с датского. Книга I. 367 стр. Цена 79 к. Книга II. 347 стр. Цена 76 к.
Александр Прокофьев. Собрание стихотворений. В двух томах. Том I. 575 стр. Цена 87 к. Том II. 570 стр. Цена 73 к.
Болеслав Прус. Сочинения. В семи томах. Перевод с польского. Том I. 615 стр. Цена 1 р. 10 к.
Пудумейпиттан. Свет любви. Рассказы. Перевод с тамильского. 223 стр. Цена 31 к.
Марах Русли. Сити Нурбая. История несчастной любви. Роман. Перевод с индонезийского. 279 стр. Цена 45 к.
Синь Ци-ци. Стихи. Переводы с китайского. 131 стр. Цена 12 к.
Н. Сарыханов. Последняя кибитка. Рассказы. Перевод с туркменского. 159 стр. Цена 44 к.
Вадим Стрельченко. Стихи. 175 стр. Цена 35 к.
Мирзо Турсун-Заде. Стихотворения и поэмы. Перевод с таджикского. 223 стр. Цена 38 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Знаменский. Прометей № 319. Рассказы. 95 стр. Цена 14 к.
Валентин Иванов. Русь изначальная. Роман. Том I. 408 стр. Цена 89 к. Том II. 400 стр. Цена 89 к.
В. Каверин. Из разных книг. 240 стр. Цена 51 к.
М. Колесников. Миклухо-Маклай. 271 стр. Цена 61 к.
В. Нейхауз. Украденная юность. Роман. Перевод с немецкого. 256 стр. Цена 66 к.
Л. Обухова. Заноза. Роман. 408 стр. Цена 78 к.
Л. Островер. Тадеуш Костюшко. 272 стр. Цена 59 к.
Вячеслав Пальман. Твой след на земле. Роман. 352 стр. Цена 67 к.
Т. Пиллз. Два сера риса. Роман. Перевод с хинди. 127 стр. Цена 24 к.
Борис Привалов. Надпись на сердце. Юмористические рассказы. 320 стр. Цена 56 к.
В. Родина. Сиреневый сервиз. Рассказы. 176 стр. Цена 40 к.
В. Сидоров. Дом моего детства. Стихи. 111 стр. Цена 17 к.
Слушайте! Стихи молодых поэтов Латинской Америки. Сборник. Перевод с испанского, португальского и французского. 240 стр. Цена 55 к.

С. Смирнов. В Италии. Очерки. 112 стр. Цена 9 к.
Е. Сурова. Белый архипелаг. Рассказы. 112 стр. Цена 22 к.
А. Твардовский. Стихи из записной книжки. 128 стр. Цена 30 к.

ДЕТГИЗ

А. Александрова, М. Туберовский. Серебряный дутар. Повесть. 176 стр. Цена 40 к.
А. Батров. Мальчик и чайка. Рассказы. 96 стр. Цена 23 к.
Р. Бахтамов. Изгнание шестикрылого серафима. 128 стр. Цена 30 к.
Н. Богданов. Когда я был вожатым. Повесть. 192 стр. Цена 37 к.
А. Бруштейн. Весна. Повесть. 320 стр. Цена 61 к.
С. Михалков. Суеверный трусохвостик. Сказка. 33 стр. Цена 23 к.
А. Мошковский. Отцы уходят в океан. Рассказы. 208 стр. Цена 47 к.
Н. Носов. И я помогаю. Рассказ. 24 стр. Цена 21 к.
Б. Раевский, А. Софьин. Следопыты. Повесть. 200 стр. Цена 45 к.
М. С. Яхьяев. Таинственный мешок. Рассказы и повесть. Перевод с кумынского. 192 стр. Цена 37 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая хартия коммунистических и рабочих партий. Творческое развитие марксистско-ленинской теории в документах Совещания представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в Москве в ноябре 1960 г. 448 стр. Цена 1 р. 50 к.
Водный режим растений в засушливых районах СССР. 276 стр. Цена 1 р. 53 к.
Дальний Восток (физико-географическая характеристика). 440 стр. Цена 2 р. 87 к.
Н. К. Кочетков, И. В. Торгов, М. М. Ботвинник. Химия природных соединений (углеводы, нуклеотиды, стероиды, белки). 559 стр. Цена 3 р. 45 к.
Ю. П. Леонов, С. Я. Раевский, Н. С. Райбман. Помощник автоматики (Статистическая динамика в автоматике). 118 стр. Цена 38 к.
Н. Н. Лившиц. Влияние ионизирующих излучений на функции центральной нервной системы. 178 стр. Цена 78 к.
К. М. Малин. Жизненные ресурсы человечества. 133 стр. Цена 20 к.
Мерило праведное по рукописи XIV века. 698 стр. Цена 4 р. 25 к.
Е. Г. Нахапетян. Путь к заводам-автоматам (Автоматизация технологических процессов в машиностроении). 128 стр. Цена 19 к.
Н. В. Овчининский, А. В. Туркин, Л. Н. Коробов. Вопросы развития черной металлургии в центральных районах СССР. 140 стр. Цена 53 к.
Н. В. Осьмаков. Поэзия революционного народничества. 198 стр. Цена 50 к.
Социально-экономические проблемы технического прогресса. Материалы научной сессии отделения экономических, философских и правовых наук АН СССР. 479 стр. Цена 1 р. 95 к.
Труды I Международного конгресса Международной федерации по автоматическому управлению (Москва, 27 июня — 7 июля 1960 г.). 651 стр. Цена 3 р. 55 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. М. Головин. Путешествие на шлюпе «Диана». 480 стр. Цена 1 р. 72 к.
Г. Мелвилл. Моби Дик. 840 стр. Цена 2 р. 18 к.
Н. И. Михайлов. Горы Южной Сибири. 238 стр. Цена 79 к.
И. К. Мячин. Москва (Краткий путеводитель). 174 стр. Цена 55 к.
А. И. Перельман. Геохимия ландшафта. 496 стр. Цена 1 р. 71 к.
В. Ф. Сулов, В. К. Ноздрюхин, А. И. Королев, В. И. Рачулик. Заоблачная дрейфующая. 254 стр. Цена 54 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»**

Итоги выборов и состав депутатов местных Советов депутатов трудящихся 1961 г. 124 стр. Цена 14 к.

На главном направлении (Из опыта работы Советов депутатов трудящихся). 156 стр. Цена 17 к.

СССР. Административно-территориальное деление союзных республик. Дополнение к справочнику выпуска 1960 г. Изменения, происшедшие за период с 1 апреля 1960 года по 1 июля 1961 года). 72 стр. Цена 20 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Упендранатх Ашк. Падающие стены Рома. Перевод с хинди. 188 стр. Цена 60 к.

Кнут Бекстрём. История рабочего движения в Швеции. Сокращенный перевод со шведского. 332 стр. Цена 80 к.

Е. А. Боатенг. География Ганы. Перевод с английского. 224 стр. Цена 83 к.

Вальтер Горриш. Звучащий след. Повесть. Перевод с немецкого. 159 стр. Цена 52 к.

Пола Гоявичинская. Девочки с Новолипецк. Райская яблоня. Романы. Перевод с польского. 663 стр. Цена 1 р. 96 к.

У. Э. Б. Дюбуа. Африка. Очерк по истории Африканского континента и его обитателей. Перевод с английского. 357 стр. Цена 1 р. 35 к.

Сальваторе Квазимодо. Моя страна — Италия. Стихи. Перевод с итальянского. 79 стр. Цена 32 к.

Цирил Космач. Счастье и хлеб. Рассказы. Перевод со словенского. 193 стр. Цена 55 к.

Андре Моруа. Жизнь Александра Флеминга. Перевод с французского. 305 стр. Цена 93 к.

Хосе Антонио Портуондо. Исторический очерк кубинской литературы. Перевод с испанского. 154 стр. Цена 38 к.

Ежи Путрамент. Сентябрь. Роман. Перевод с польского. 481 стр. Цена 1 р. 48 к.

Дебипрасад Чаттопадхья. Лонаята Доршана История индийского материализма. Перевод с английского. 735 стр. Цена 3 р. 4 к.

Японская новелла 1945—1960. Перевод с японского. 474 стр. Цена 1 р. 41 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Бойцы партии. Сборник очерков. 232 стр. Цена 38 к.

Л. Карелин. Открытый дом. Повесть. 312 стр. Цена 36 к.

В. Куклев. Продается пианино. Рассказы. 128 стр. Цена 12 к.

Люди пылливой мысли. 248 стр. Цена 56 к.

Андрей Марков. Осенний гром. Сборник стихов. 160 стр. Цена 28 к.

Партийная организация и борьба за технический прогресс. 112 стр. Цена 11 к.

Ю. Рытов. Дорогами семилетки. 224 стр. Цена 19 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. С. Гольшев. По суду и по совести (Записки народного заседателя). 72 стр. Цена 8 к.

Я. Л. Киселев, В. Н. Чурин. Охрана труда и техника безопасности. Сборник важнейших постановлений и правил. 496 стр. Цена 1 р. 14 к.

Н. С. Лучинин. Будни прокурора. 240 стр. Цена 29 к.

А. Б. Сахаров. О личности преступника и причинах преступности в СССР. 280 стр. Цена 87 к.

ГОРЬКОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. Н. Блохина, А. М. Горький на Волге. 1928—1935 гг. 108 стр. Цена 22 к.

Н. В. Скворцов. Новый дом. Повесть. 154 стр. Цена 38 к.

ЛЕНИЗДАТ

А. В. Сапаров. Камень опасности. Очерки. 70 стр. Цена 6 к.

Н. А. Суханов. Творить во имя победы коммунизма. Из опыта работы Ленинградской партийной организации в области литературы и искусства. 159 стр. Цена 36 к.

СТАЛИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Ф. Домовитов. В гостях у юности. Очерк. 46 стр. Цена 6 к.

Л. Жаринов. Шабля. Рассказ. 27 стр. Цена 4 к.

В. К. Пеунов. Я выхожу в люди. Очерк. 43 стр. Цена 6 к.



ОТ РЕДАКЦИИ

„Новый мир“ в 1962 году

Новый год в журнальных редакциях начинается рано. Еще на дворе октябрь, а уже готовятся к производству январские книжки. И редакции подводят итоги прожитого года, проверяют, как они выполнили обязательства, которые дали подписчикам.

В нынешнем году нам удалось опубликовать на страницах «Нового мира» значительную часть произведений, обещанных читателям: роман К. Федина «Костер», роман В. Фоменко «Память земли», пьесу В. Пановой «Проводы белых ночей», новые повести В. Некрасова, В. Тендрякова.

Кроме того, в десяти книжках «Нового мира» по отделу прозы были напечатаны: вторая и третья книги мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», «Повесть о ненаписанной книге» Е. Драбкиной, очерки Е. Дороша «Сухое лето. 1960», И. Зыкова «Зеленый пояс», рассказы Э. Казакевича, И. Исакова и другие.

В отделе поэзии с циклами стихов выступил ряд известных поэтов: М. Алигер, О. Берггольц, Р. Гамзатов, А. Прокофьев, Я. Смеляков, М. Танк и другие.

Редакция стремилась уделять внимание творчеству писателей братских республик. Были напечатаны: статья М. Рыльского о лирике Т. Шевченко, рассказ Ч. Айтматова «Верблюжий глаз», цикл рассказов Р. Арамяна, стихи П. Бровки, А. Кешокова, Г. Эмина и другие.

«Новый мир» старался предоставлять свои страницы молодым прозаикам, поэтам, очеркистам, критикам. В истекшие месяцы 1961 года были опубликованы повести и рассказы Г. Владимова, В. Войновича, М. Коршунова, Ю. Куранова, В. Липатова, стихи и статья Н. Коржавина, критические выступления Ю. Буртина, И. Виноградова, В. Лакшина, Ю. Манна и других.

Журнал познакомил читателей и с некоторыми произведениями зарубежной литературы: со стихами поэтов Ганы, Латинской Америки, Турции, с книгой Тадеуша Брезы «Бронзовые врата», с рассказами Дж. Сэлинджера, Ирвина Шоу, Дж. Чивера, Э. Хемингуэя, с новеллами писателей Латинской Америки.

1961 год — год XXII съезда партии. Это историческое событие наложило особую ответственность на коллектив редакции:

проблемам, связанным с проектом новой Программы Коммунистической партии Советского Союза, были посвящены публицистические статьи, очерки и выступления В. Емельянова, С. Залыгина, Б. Кербабаева, А. Михалевича, С. Титаренко, П. Юдина, беседы с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по химии Л. Костандовым, с первым заместителем председателя Государственного Комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению П. Боро-

диним, с вице-президентом Академии медицинских наук СССР В. Тимаковым и главным ученым секретарем этой академии В. Ждановым;

проблемы промышленности и строительства освещались в статьях П. Волина, главного специалиста Свердловского совнархоза М. Панфилова, архитектора Г. Борисовского, ученого секретаря Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина А. Кирюхина, в статьях и очерках Д. Данина, М. Белкиной, А. Таланова и других;

о сельском хозяйстве в нашем журнале писали Н. Верховский (освоение целины), Б. Рахманин и М. Курьянов (маяки колхозного производства), М. Поповский (селекция кукурузы), Е. Осликовская (организация опытно-показательных станций), Г. Соколов (мелиорация) и другие;

международные отношения и зарубежная жизнь нашли свое отражение в статьях и путевых очерках Л. Безыменского, Р. Бершадского, В. Галактионова, Ю. Королькова, Н. Прожогина, М. Стеблина-Каменского, С. Утченко.

В разных отделах журнала в этом году были напечатаны также воспоминания академика И. Майского о Бернарде Шоу, Г. Козинцева о первых шагах советского кинематографа, С. Бондарина об Эдуарде Багрицком, А. Гладкова о Всеволоде Мейерхольде, Е. Ратмановой-Кольцовой о Владимире Маяковском и Михаиле Кольцове, статья К. Чуковского о языке, И. Забелина — о культуре мышления.

По отделу литературной критики наиболее существенной мы считаем дискуссию о некоторых вопросах современной поэзии.

В 1962 году редакция «Нового мира» намерена напечатать ряд произведений. Увидит свет продолжение широко известной книги **Ольги Берггольц** «Дневные звезды», которую сама писательница считает своей «Главной книгой». **Ю. Бондарев**, автор военных повестей «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», выступит с новым романом «Тишина», речь в нем пойдет уже о послевоенной жизни советских людей. Новую повесть «Чужой» представит редакции **Г. Бакланов**, публиковавший в нашем журнале повесть «Пядь земли». Молодой писатель **Г. Владимов**, обративший на себя внимание повестью «Большая руда», выступит с новой повестью «Три минуты молчания». **Е. Герасимов** заканчивает работу над современной повестью «Шелковый город». **Е. Дорош**, известный читателям своими рассказами и очерками о советской деревне, книгой «Деревенский дневник», остается верным своей теме и в новой работе «Древнее рядом с нами». **С. Залыгин** заканчивает роман «На половине пути» — о людях, преобразующих жизнь советской Сибири. **Э. Казакевич** работает над большим романом «Новые времена». Новую повесть напечатает **В. Катаев**. Второй частью завершает свою очерково-художественную книгу «Идем на восток» **А. Марьямов**. **К. Паустовский** обещает дать журналу свои путевые очерки (Италия, Франция, Польша). **Л. Первомайский** в романе «Дикий мед» возвращается к теме комсомольской жизни первых лет Октября. **В. Некрасов** снова выступит в жанре путевого очерка из зарубежной жизни, в его новое произведение «Путевые записки» войдут впечатления автора от поездки в Чехословакию, Польшу, США. Поэт **М. Светлов** впервые выступит с большим прозаическим произведением «Повзрослевшие сказки». **Г. Тропольский** заканчивает работу над повестью «В камышах». **В. Панова** на этот раз намерена выступить в необычном жанре романа-сказки. Автобиографические рассказы даст **И. Соколов-Микитов**. Над четвертой книгой «Люди, годы, жизнь» работает **И. Эренбург**.

Будут также опубликованы новые произведения **Б. Агапова, С. Антонова, Ч. Айтматова, Р. Арамяна, Н. Атарова, В. Войновича, Л. Волынского, Е. Драбкиной, Н. Дубова, Т. Есениной, И. Зыкова, Т. Журавлева, А. Кожевникова, И. Константиновского, М. Коршунова, Ю. Куранова, В. Липатова, Н. Мельникова, С. Никитина, В. Рослякова, М. Симашко, В. Тендрякова** и других.

В журнале со стихами и переводами выступят поэты **И. Абашидзе, М. Алигер, Н. Астафьева, О. Берггольц, П. Бровка, К. Ваншенкин, Е. Винокуров, П. Воронько, Р. Гамзатов, А. Гитович, Л. Завальнюк** (Благовещенск), **Б. Ирнин, Ф. Искандер** (Сухуми), **М. Карим, А. Кешоков, Р. Казакова, С. Капутикян, Н. Коржавин, В. Коротич** (Киев), **М. Квливидзе, А. Кулешов, К. Кулиев, Ю. Левитанский, М. Луконин, С. Маршак, А. Молдокматов** (Фрунзе), **А. Прокофьев, М. Петровых, М. Рыльский, Д. Самойлов, Я. Смеляков, В. Сергеев** (Магадан), **М. Танк, А. Твардовский, Я. Хелемский, Я. Ухсай, О. Шахтаманов** (Махачкала), **В. Шефнер, Б. Шинкуба, С. Щипачев, Г. Эмин, А. Яшин**.

В 1962 году в «Новом мире», как и прежде, найдут свое место произведения мемуарного или близких к нему жанров: воспоминания академика **И. Майского**, продолжение «**Невыдуманных рассказов**» адмирала **И. Исакова**, книга воспоминаний об Испании **А. Эйнера**, записки инженера-изыскателя **А. Побожьего** и другие. Будут печататься новые историко-литературные публикации, переписка писателей. В «Дневнике писателя» выступят **И. Андроников, К. Чуковский, С. Маршак, А. Твардовский** и другие.

Журнал по-прежнему намерен продолжать печатание лучших произведений писателей стран народной демократии и лучших писателей капиталистических стран. Будут представлены самые разные жанры — от статьи, художественного репортажа до поэмы, романа.

«Новый мир» всегда имел обширный отдел критики и библиографии. Этот отдел будет стремиться заботливо и внимательно поддерживать все новое в литературе, борясь одновременно с безыдейностью и серостью. При этом свою главную задачу журнал видит в борьбе за подлинную партийность советской литературы, за искусство, глубокое по содержанию и совершенное по форме. Сплочение всех литературных сил на общей марксистско-ленинской основе, активизация их в борьбе за осуществление предначертаний Коммунистической партии — таково главное направление работы журнала в области литературной критики.

Редакция «Нового мира» — литературно-художественного и общественно-политического журнала — будет стремиться развивать и улучшать содержание своей публицистики, очерков, статей научного характера. Одна из самых важных забот редакции — дальнейшее расширение авторского актива. Мы надеемся, что на страницах журнала наряду с известными публицистами выступят партийные и хозяйственные работники, крупные ученые, новаторы производства, специалисты различных областей труда и знания. Двери для них в журнал широко открыты.

В журнале сохранятся традиционные разделы:

Очерки наших дней
На зарубежные темы
Публицистика
В мире науки
В мире искусства
Трибуна читателя
Дневники и воспоминания

и другие.

Как и все советские люди, коллектив журнала «Новый мир» воодушевлен величайшей программой строительства коммунистического общества. Программа Коммунистической партии Советского Союза, которую примет XXII съезд партии, решения съезда станут основой кипучей созидательной деятельности советского народа. Отражать во всей глубине и многообразии великий процесс строительства коммунизма — развитие промышленности и сельского хозяйства, рост культуры, науки и техники, творческие достижения нашего народа — в этом редакция усматривает свой первейший долг и обязанность.

Публикация кратких отчетов об итогах истекшего журнального года и планов на будущее становится традицией «Нового мира». В ответ на это читатели шлют нам письма с замечаниями и предложениями. Редакция журнала «Новый мир» благодарна читателям за их большую помощь в работе. И в новом году мы будем ждать от вас, дорогие читатели, советов и деловой критики.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/VIII 1961 г.	Объем 20 л. л.	Подписано к печати 30/IX 1961 г.
Л 08743	Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	10 бум. л.— 27,4 печ. л.
		Тираж 87 600.
		Зак. 1492.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.

Цена 70 коп.